ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

2
АВГУСТ
1955
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

Содержание

Стр.

СИЛЬВИЯ-МАДЖИ БОНФАНТИ — Сперанца (*Роман*) . . 3
ИОГАННЕС Р. БЕХЕР — Стихи о войне и о мире 50
РОЖЕ ВАЙЯН — Пьеретта Амабль (*Роман. Продолжение*) 55
ВИКТОР ВОРОШИЛЬСКИЙ — О Тадеуше Боровском . . 121
ТАДЕУШ БОРОВСКИЙ — Наставления его преподобия (*Рассказ*) 124
ЭРСКИН КОЛДУЭЛЛ — *Рассказы* 152

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

ДУ ФУ — Стихи 178
КОРЕЙСКИЕ СТИХИ 185

КРИТИКА

Е. ТРУЩЕНКО — Анри Барбюс — борец за мир и дружбу между народами 186
МАО ДУНЬ — Последовательно и всесторонне разоблачать взгляды Ху Фына на литературу и искусство . . 191
Б. БЯЛИК — Эстетика в наступлении 199

РЕЦЕНЗИИ

А. КЛЫШКО — Знать, для чего живешь 205
И. БЕРНШТЕЙН — Роман о судьбе поколения 208
И. ЛЬВОВА — Поэтическое богатство японского народа 211
В. АДМОНИ, Т. СИЛЬМАН — Юбилейное издание сказок Андерсена 214
Р. САМАРИН — Новое исследование о Викторе Гюго . . 217
С. МОКУЛЬСКИЙ — Сборник статей М. Морозова 220

М. ШОЛОХОВ — В редакцию журнала „Иностранная литература“ 223

ПУБЛИЦИСТИКА

С. Ф. ПАУЭЛЛ — Водородная бомба и будущее человечества 225

2

1955

Август

ПИСЬМА ИЗ-ЗА РУБЕЖА

Стр.

ЧИЧЕРОНЕ ТЕОДОРЕСКУ — Писатель и книга у нас . . 235
ХАНС ШЕРФИГ — Судьба печати в Дании 238
МАРИЯ ДЕ ЛУРДЕС ТЕЙШЕЙРА — Литературная жизнь современной Бразилии 241

ЛАУРЕАТЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРЕМИЙ МИРА

И МАРТЫНОВ — Бела Барток 245
Вик. ГОРОХОВ — Иорис Ивенс 247

ОТКЛИКИ, ВСТРЕЧИ, ВПЕЧАТЛЕНИЯ

АНТАНАС ВЕНЦЛОВА — Три встречи с Томасом Манном 251
ДЖОЗЕФ СТАРОБИН — Робсон поет... 253
ДЭВИД ПЛАТТ — Конференция в Колумбийском университете 256
Письмо Анны Зегерс советским студентам 258

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЗА РУБЕЖОМ

Алжирские зарисовки французского художника Б. Таслицкого 261

СРЕДИ КНИГ 265

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ... (Хроника) . . . 272

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ 288

Сильвия-Маджи Бонфанти

СПЕРАНЦА

РОМАН

Перевод с итальянского К. Наумова

ГЛАВА ПЕРВАЯ

На гумне перед домом Минга скликала кур, разбрасывая кукурузные зерна.

Глаза ее так и бегали, и от нее ничего не ускользало; она присматривала за выводком молодых петушков, которые склевывали весь корм.

— Кыш! Кыш!.. Пошли прочь, вы уж налопались до отвала... Кыш!.. Цып-цып, Пеструха, цып-цып, Чернушка...

Цван, сидевший неподалеку, на пороге дома, что-то плел из камышовых прутьев. Он усмехнулся.

— Можно подумать, что сходка идет, когда она кур скликает. Ну и язычок же у женщин! Всего и делов-то — скормить три зерна, а разговору на добрых полчаса.

Он покачал головой, искоса глядя на Мингу.

Сгорбилась старая, согнулась в три погибели и уже не могла распрямить спину. Такой сделали ее полвека жизни на рисовой плантации.

— Да, Минга, тебе сподручно искать чужие пропажи, — говаривал Цван.

И в самом деле, фигурой она напоминала человека, который наклонился и что-то высматривает на земле.

«Как же это ее уложат в гроб, когда она помрет?» — не раз думал Цван и тут же укорял себя за эту мысль. Нехорошо было с его стороны представлять себе Мингу в гробу; но старым людям часто приходит в голову мысль о смерти.

«Должно, сделают гроб по особому заказу», — говорил он себе.

Зато для него самого, надеялся Цван, гроба вообще не понадобится. Ему хотелось бы умереть на болоте, как много лет назад умер его дед, тела которого так и не нашли.

«Никакого расходу, — думал он, — меньше мороки для домашних, да и неплохо остаться там, среди камышей и гнезд водяных птиц... Для охотника из долины лучшей смерти и быть не может!»

— Не смейся, Цван, — отвечал ему старый доктор. — Не смейся, рано или поздно, тем дело и кончится. — Из-за «давления», как говорил старый доктор. Они с Цваном много лет охотились вместе. Цван натаскивал ему собак и, вышколив, являлся в селение к врачу:

— Вот и мы.

— Завтра утром, — отвечал ему тот.

И на следующий день чуть свет доктор подъезжал на двуколке к дому Цвана, уже издалека выделявшемуся в долине, как красный мак среди зелени.

Он отпрягал лошадь и привязывал ее к дереву длинной веревкой, чтобы ей было вольготнее щипать траву. Но лошадь доктора предпочитала кору тополей. Она на них всех оставила метку...

Теперь это были уже высокие деревья, но на стволах их сохранились темные круги... Что ни круг — охотничий сезон...

Старый доктор уже вышел на пенсию, и его должность перешла к другому врачу. Но к Цвану он приезжал попрежнему, измерял давление и покачивал головой:

— Поменьше красного... и поменьше белого... Не то в один прекрасный день свалишься на болоте, пустишь корни, — и вырастет из тебя ива...

— Будьте спокойны, из меня ива не вырастет... Уж если что вырастет, так виноград.

Старый доктор заезжал частенько. Они говорили о том времени, когда оба были молоды и считались лучшими стрелками в долине.

— Помнишь, сколько уток летело в тот год, когда прорвало плотину в Бручата? Прямо тучи... Бывало, небо затмят.

— А в тот год, когда началась мелиорация в Бука? Помните того инженера, который так пристрастился к охоте, что заставлял людей бросать работу, чтоб не мешать собакам идти по следу?

— Господи, как не помнить?! А нагрянул инспектор, застал такую картину: рабочие разлеглись или сидят в тени, а сам инженер приложился к ружью и дичь поджидает...

— Хорошее было времячко, доктор, и давления тогда еще не выдумали.

— И диабета тоже, — прибавлял врач, страдавший этой болезнью.

— Ну, а теперь не худо нам выпить...

— Цван, это же яд и для тебя, и для меня...

— Оно, конечно, доктор, да ведь так и так подыхать. А я хочу, чтобы уже наверняка из меня вырос виноград, а не ива.

Потом он оборачивался к жене.

— Ну-ка, Минга, достань бутылочку!

Минга тут же уходила, до того сгорбленная, что голова намного опережала ее ноги, и тогда Цван поверял врачу свою мысль:

— Доктор, как же ее в гроб уложат, когда она помрет?

Доктор не отвечал, как другие: «Что за мысли тебе приходят в голову, Цван! Разве можно думать о таких вещах...»

Нет. Доктор с минуту размышлял и говорил уверенно:

— Сделают особый гроб, специально для нее; но ни я, ни ты его не увидим. Нас с тобой раньше Минги похоронят...

Потом они откупоривали бутылку, Минга подавала стаканы и, стоя рядом, испытующе глядела на мужа.

— Что так мало наливаешь? Это ты при докторе? Посмотрели бы вы, как он меняет дозу, когда вас нет! А потом у него начинаются приступы, начинаются...

— Уймешься ты или нет? Иди, иди толковать с курами... Убирайся!

Минга проворно уходила, но в дверях оборачивалась и, выдвинув вперед острый подбородок, говорила:

— Что? Правда глаза колет? — И исчезала, показав согнутую спину и голую пятку, вылезавшую из деревянного башмака.

В этот день Цван как раз думал о докторе. Тот не показывался в последнее время, а Цвану хотелось с ним поговорить.

У него было что-то неспокойно на душе.

Он плел люльку из камыша для первого внука. Ребенка ждали со дня на день, но Цван не полагался на местную акушерку, которая что-

то стала привередничать и говорила, что к его снохе хорошо бы позвать врача, что ей надо быть осторожнее.

Сноха Цвана все еще работала в долине, хотя никто ее не заставлял. Женщины в положении, известно, ходят на работу, только если чувствуют, что еще могут работать. Когда им становится невмоготу, они говорят: «Хватит. Больше не пойду».

Когда женщина так говорит, обычно на следующий день — готово дело: в люльке мяучит спеленутый младенец. А не скажет этого, так ребенок родится где-нибудь в долине.

Сам Цван родился дома; но трое из его братьев, например, появились на свет у самого болота, в сараях, куда складывают инструмент, один из них тут же и умер, «потому что комары ему испортили кровь».

А Минга?

Посмотреть на нее теперь, когда она до того скрючилась, что стала не выше табуретки, никто бы этого не сказал... Но молодой она была просто бесом! Разве она не родила своего Берто ночью на речке, когда таскала песок на плотину, размытую паводком? Ее тогда все корили:

— Эх, голова! Надо ж было как раз теперь... Мало и без нее мороки!

Родила она без единого стона, сама поднялась с земли, взяла ребенка и пошла с ним домой без чужой помощи, говоря, что никому не хочет быть в тягость.

Чорт возьми, до чего ж она разозлилась!

Жена Берто была сделана из другого теста. Рослая, крепкая, живая... Не то что Минга, походившая на ящерицу, а с лица серая, под цвет тополей.

Сноха была румяная и сильная, и, должно быть, просто дурь нашла на акушерку, что она пророчит всякие беды.

Во всяком случае, новый лекарь сюда и не заглянет. К Цвану приезжал только старый доктор.

Грози им беда, он давно бы приехал.

Люлька была почти готова. Совсем белая и пахла сыростью. Цван попробовал рукой, нет ли внутри острых концов, которые могли бы поцарапать ребенка...

Больше не слышно было, как Минга разговаривает с курами, зато вскоре она появилась с веревочкой в руке.

— Дай-ка сюда, я сниму мерку...

— Какую мерку? Боишься, что ли, что он не поместится?

— Вот дуралей! Я приготовила перья для матрасика. По всему видно, что теперь уже скоро... Так дай-ка корзину, чтобы сделать его как надо!

Цван отдал ей люльку, и, пока она обмеряла ее веревкой, время от времени завязывая узелки, он почувствовал потребность поговорить с ней о том, что его тревожило.

— Что ты думаешь, Минга, насчет того, что говорит акушерка?

— А ну ее!

— Хорош ответ!

— Что ж ты хочешь, чтобы я тебе сказала! Я и сама не знаю... Это верно, что Роза отекает. К вечеру у нее нога вот тут, в подъеме, толще икры. И руки тоже совсем опухли. Как она только цапку держит. Я ей все время говорю: ты не нашей породы. Тебе бы нужно лечь в постель и не вставать. Или хотя бы оставаться дома, в покое... Куда там! Упрямая! То же самое и Берто ей говорит, но она и его не слушает. Забрала себе в голову до конца работать вместе со всеми: хочет купить новый комод.

— Так как, по-твоему, может, позвать доктора?

— Зачем? Из-за родов? Это же не болезнь — роды... Это ведь даже не давление.

И она ушла скорыми шажками, сокрушенно качая головой.

Что за странные мысли приходят иногда в голову мужчинам!

ГЛАВА ВТОРАЯ

Цван почти окончил свою работу.

Теперь он с проворством кружевницы оплетал края люльки.

Услышав скрип велосипеда на гумне, он поднял голову.

Это приехала акушерка.

Она соскочила с седла, прислонила велосипед к высокой шпалере розмарина и подошла к двери с чемоданчиком в руке.

— Где?

— Кто где?

— К кому ж я, по-вашему, приехала? Не вам же рожать?

— Роза? В долине она... Ее дома силком не удержишь. Мы-то ее не посылаем.

Акушерка уставилась на старика.

— Это еще что за история? За мной приходил сын капрала и сказал, чтобы я скорее собиралась, потому что Розе плохо.

Цван молча выслушал ее, потом легко, как кошка, вскочил на ноги.

— Минга! Эй, Минга! Скорее, Минга! Розе плохо!

Из маленькой двери под навесом высунулась Минга с перьями и пухом в волосах.

— Чего тебе?

Потом она увидела акушерку, поняла, как взволнован старик, и вышла во двор. За ее спиной поднялось целое облако пуха.

— Раз вам сказали, что Розе плохо, и велели идти сюда, значит, ее приведут домой.

Старуха быстро прошла мимо них, вошла в дом и через минуту уже кричала из спальни:

— Пойдите сюда, Тереза. Помогите мне постелить новые простыни!

Акушерка поспешно поднялась наверх, обернувшись на ходу, чтобы сказать Цвану:

— А вы тем временем разожгите огонь и вскипятите воду.

Цвана не надо было подгонять. Мигом заиграло пламя в просторном очаге, и над огнем закачался вместительный медный котел, снаружи черный, но изнутри ослепительно сверкающий.

Потом старик вышел посмотреть на дамбу, но там не видно было ни души.

— Что-то неладно, — сказал себе Цван.

Он подошел к лестнице и, запрокинув голову, крикнул:

— Минга! А если она не может вернуться сама?

— Это еще почему?

— Почему?.. Почему?.. Потому, что не все такие, как ты, чорт подери.

Выглянула акушерка.

— Вы знаете, где работает ваша сноха? Знаете? Ну, так вот. Возьмите лошадь, запрягите ее в двуколку или что там у вас есть и поезжайте ей навстречу.

И она отошла, не дожидаясь ответа.

Хорошо ей говорить! А где взять лошадь?

Управляющий частенько оставлял здесь свою. Но уж известно, как раз когда нужно, ее и нет.

Цван с досадой подумал, что, если бы он позвал доктора (а сердце

ему говорило, что его надо позвать), Роза теперь была бы дома и было бы кому ей помочь. Он нагнулся и стал с таким ожесточением раздувать огонь, что зола набилась ему в ноздри и запорошила глаза. Потом он вышел.

Под навесом стояла тачка. Он схватил ее и, никому ничего не сказав, быстро пошел вдоль дамбы.

Странный выдался день. Утро было погожее, к полудню же стало пасмурно и поднялся сильный ветер, потом опять распогодилось. Но вот на севере небо совсем заволокло тучами и снова подул сильный, резкий ветер.

На дамбе — никого.

Цван с силой толкал тачку, борясь с ветром, налетавшем сбоку.

Он дошел до изгиба дамбы и за барьером тополей увидел зеленую низину, вдалеке — сарай для инструментов, служивший батракам также убежищем в случае внезапной непогоды.

Там, внизу, были люди.

Цван громко окликнул их, приложив руки ко рту рупором, но ветер унес его крик.

Он пустился бежать. Северный ветер сбивал его с ног, и на бугристой, сухой и твердой земле тачка катилась вкривь и вкось. Но Цван не убавлял шага. Он уже различал фигуры людей возле сарая. Все это были женщины; они стояли у входа и заглядывали внутрь.

Ему понадобилось добрых полчаса, чтобы добраться до хибарки.

Только когда он был от нее всего в нескольких метрах, женщины услышали его голос.

— Вот, прости господи! — крикнул он, обливаясь потом. — Битый час ору. Могли бы прийти к нам домой и сказать. Мы от акушерки узнали...

— А где ж она сама, акушерка-то? Вот уже два часа, как мы ее ждем. За ней первой было послано. Потом, когда мы поняли, что Розе с места не сойти, мы еще за Берто и за доктором послали. Но пока никого не видать. А Розе плохо. Только что тут объездчик проехал на велосипеде, так мы и ему наказали, чтоб съездил за доктором... Но он не больно-то всполошился. «Беспокоиться, говорит, нечего: Мори — они что лягушки, у них все на болоте рождаются». Но Розе и вправду худо...

Порывистый ветер завывал все сильнее. Всякий раз, как налетал новый шквал, тополя пригибались к земле, как мальчишки, когда хотят увернуться от подзатыльника. Дощатый сарай скрипел.

Цван растерялся.

Берто, его сын, был далеко — он работал на тракторе, — и на старика, как на единственного мужчину в доме, падала вся ответственность.

— Я Розу здесь не оставлю... Тем более, раз ей плохо... Да еще в такую погоду...

— Как же вы ее теперь повезете? У нее то и дело схватки. Вся напружилась, одеревенела, глаза закатила и продохнуть не может. И потом, на чем вы ее повезете? На тачке, без матраца, без одеяла?

Цван был смущен. Об этом он не подумал.

Старая женщина обернулась к нему и сухо сказала:

— Пока доктор не посмотрит, нельзя ее трогать.

— А если он не приедет? Почему вы не позвали старого доктора? Он бы сразу приехал. Он бы нас в беде не оставил. Но, главное, почему вы нам не сказали? Сейчас Роза была бы уже в постели...

— Все одно, тут она и была бы, а не в постели. А что не сказали, так уж известно: от Минги в таком деле помощи не жди...

Но до старого доктора уже дошел слух о женщине, у которой на-

чались схватки на краю болота, и ему сказали, что новый врач в отъезде... И вот он приехал вместо него.

— Он самый! — крикнула девушка с глазами ящерицы.

Цван обернулся. У него отлегло от сердца.

К дамбе подъезжала двуколка его старого друга. Цвану хотелось побежать ему навстречу и молить его, чтобы он спас Розу, но ноги вдруг словно свинцом налились и приросли к земле.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Голос врача, погонявшего лошадь, слышался теперь совсем близко.

— Сюда! Вот так... Тпру-у!

Лошадь остановилась, и рука доктора легла на плечо Цвана.

— Если бы у Мори женщины перестали рожать в долине, люди подумали бы что у них приблудные дети... — Он коротко рассмеялся и быстрыми шагами направился прямо в сарай.

— Дайте пройти!

Оттуда он сразу закричал:

— Отойдите от входа, ничего не видно!

Но, видимо, тут же передумал, потому что прибавил:

— Что вы там делаете? Не можете, что ли, помочь?

Немного погодя Цван увидел, как из сарая выбежала девушка за сумкой врача, оставшейся на двуколке.

Он смутно слышал доносившиеся из сарая слова: схватки... инъекции... кровопускание... Слышал, как доктор ругался и требовал, чтобы зажгли фонарь.

Фонарь не горел, потому что одно стекло у него было разбито и ветер, врываясь сквозь неплотно пригнанные доски сарая, задувал огонь.

Свет непрестанно вспыхивал и гас. Быстро темнело, и в сгущавшихся сумерках вспышки казались сигналами бедствия.

Потом Цван увидел, как подъехала акушерка и молодой доктор.

Похоже было, что дело серьезное и что Роза с ним не справляется.

Сколько времени он так ждал?

Никогда еще, сколько Цван себя помнил, ему не было так плохо. Пот струился у него по спине, и от порывов холодного ветра старик вздрагивал, будто ему за шиворот лили ледяную воду.

Услышав крик новорожденного, Цван разжал кулаки и перевел дыхание. Он хотел встать, но для этого ему пришлось обеими руками опереться о землю.

— Мальчик или девочка?

Очевидно, он только мысленно крикнул это, потому что сам не услышал своего вопроса.

Снова раздался крик ребенка, на этот раз более пронзительный и требовательный.

«Хорошие легкие, — подумал старик и про себя улыбнулся. — Вот это голосок! Бабкина кровь!»

Из сарая больше не доносилось ни звука. Цван внезапно отдал себе в этом отчет. Он стоял от хибарки метров за двадцать и уже направился к ней, как вдруг тишину прорезал душераздирающий вопль женщин.

Он остановился, пораженный в самое сердце. Потом пошел дальше, но медленно согнув спину, словно готовясь принять удар.

Первой вышла из сарая девчурка Рики.

— Цван, Цван... Она кончилась. Не дышит.

Она с рыданиями бросилась к нему.

— Ой, Цван, я еще никогда не видела, как человек умирает...

Она открыла глаза, глубоко вздохнула и больше уже не шелохнулась...

Девочка цеплялась за него, плача от страха на сумасшедшем ветру.

Цван не двигался с места. Он не мог еще осознать совершившегося. Роза умерла! А ведь еще утром она шутила, готовя ему завтрак.

Сноха — веселая певунья, цветущая, сильная, как мужчина, — умерла! Жена его сына; молодая женщина в доме...

— Господи, боже мой! Что же это такое? Мог сдохнуть я со своим давлением. Могла протянуть ноги старуха, она все жалуется на хвори... Но Роза!

— Не богохульствуйте, Цван... Не богохульствуйте хотя бы из уважения к ней, бедняжке, — она ведь была верующая.

Потом он вдруг увидел перед собой освещенного фонарем сына, выходившего из хибарки. Цван не знал, когда он приехал, не видел, как он здесь появился и как вошел в сарай. Лицо у Берто было бледное и блестело от пота. Он беззвучно шевелил губами, не произнося ни слова. Только положил руку на плечо отца.

Цвану хотелось обнять сына, на которого обрушился такой удар, но он попрежнему стоял как вкопанный. Глаза у него затуманились.

Он видел Берто мальчонкой, играющим с собаками...

Видел его сорванцом, которому Минга грозила, когда он, улыбаясь, уходил в школу: «Если только узнаю, что ты не в школу пошел, а за гнездами, смотри, я вот палку-то об твою спину обломаю...»

Потом сын стал взрослым: ушел в армию и там научился разбираться в моторах. Теперь его Берто уже не работал мотыгой! За ним посылали изо всех имений, где только есть машины. И все говорили: «Кто бы мог подумать! Сын старика Мори — и такой молодец. Не хуже городского!»

Потом он надумал жениться. Цван ему говорил: «По нашей жизни нужно женщину из долины». Но Берто взял себе жену издалека, из Романьи, можно сказать, с самой окраины. Ладная была Роза и опрятная: только приехала, все вверх дном перевернула, везде чистоту навела, дом побелила — теперь и не узнаешь. И шить умела, и все что хочешь... Но Минга своими вечными разговорами о здешних женщинах, которые не гнушаются работать в долине, раззадорила ее тоже попробовать.

И вот чем это кончилось!

Голос Берто вывел его из оцепенения.

— Папа, унеси девочку!

Одна из женщин протянула Цвану сверток.

— Идите скорее, вот-вот дождь польет. Мы после придем, когда доктора кончат.

Цван посмотрел на этот ворох тряпья. Девочка, значит.

Она была завернута в пиджак, вернее, в два пиджака — Берто и старого доктора. Цван мешкотно снял свой и присоединил его к ним, чтобы лучше укрыть маленькую от ветра.

Понурив голову, он пошел по темной дамбе с новорожденной на руках.

На дорогу он мог и не глядеть — он знал ее наизусть.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Когда ветер свищет в долине, кажется, нет на земле другой силы.

Он властвует безраздельно, не зная преград, которые могли бы сдержать его порывы.

Он проносится над землей, как серп в хлебах, не признавая сопротивления и требуя, чтобы все падало или склонялось на его пути.

Начиналась гроза, и первые крупные капли звонко упали на землю.

Освещаемое зигзагами молний, болото загоралось красными отблесками. Потом мрак становился все гуще. Цван шел и шел, прижимая ребенка к груди.

Вот и мертвое болото. Он высвободил руку и перекрестился. Много лет назад здесь погибли люди... Он не раз слышал об этом еще когда был ребенком. Отсюда и название болота.

Целую партию батраков, работавших здесь до мелиорации, унесло внезапным разливом, когда прорвало верхнюю плотину.

Когда Цван был подростком, здесь еще находили белые черепа, из которых тянулись стебли кувшинок с листьями в темнокрасных прожилках цвета запекшейся крови.

И еще другое говорили люди. Когда кто-нибудь умирает в долине, бушует ветер, воет болото и кричат мертвецы, встречая вновь прибывшего.

Он еще раз перекрестился и свернул в сторону, по изгибу дамбы.

Вот и свет в окнах дома. Кто-то, опередив Цвана, уже сообщил Минге о беде.

Когда он вошел в дом и с ним вместе ворвался в комнату ветер, старая даже не подняла головы.

Она стояла на коленях и подбородком почти касалась камня возле очага. Она плакала.

Цван почувствовал внезапную жалость к ней.

Она похоронила столько детей, умерших еще маленькими от малярии. Один только Берто выжил. И вот теперь на ее глазах обрушилось несчастье на сына, и она ничего не могла сделать, чтобы избавить его от горя.

Цван присел рядом с ней возле очага и прошептал:

— Минга, это девочка. Я знаю, знаю, что лучше бы она не родилась и оставила бы нам Розу. Но такая уж наша судьба... Это девочка, Минга. Ты ведь так хотела девочку. Помнишь? Еще когда у нас рождались ребятишки, ты досадовала, что все одни мальчики. Бывало, говорила: «Когда я рожаю, бог уходит в гости и забывает о моих молитвах».

— Если он тогда ходил в гости, то не знаю, где уж он был нынче...

Минга встала.

— Покажи мне ее.

Когда, положив ребенка на стол, они при свете чадившей коптилки развернули пиджаки, из-под них показалась белая, в крупных желтых цветах, косынка Розы.

Минга заплакала навзрыд.

— Целое приданое ей приготовила... А вот пришлось ее прикрыть материнской косынкой! Господи Иисусе!.. Почему ты не прибрал меня!

Маленькая была вся красная и очень потешная.

Цван сквозь слезы смотрел, как она сучит ножками.

Какую тоску наводила эта цветастая косынка! Еще утром они видели ее на плечах у снохи.

— Помоги мне завернуть ее, Цван. Как бы не простыла.

Дрожащими руками старики опеленали маленькую и положили в люльку возле очага. Потом посмотрели друг на друга и опять заплакали.

Вскоре послышались приглушенные ветром шаги и голоса.

Подходило печальное шествие.

Пять женщин несли фонарь и вели смертельно перепуганную девочку, попрежнему плакавшую в голос.

Берто с непокрытой головой и без пиджака толкал перед собой тачку с распростертым телом Розы.

Позади шел доктор, держа под уздцы испуганную молниями лошадь, а рядом с ним — второй врач и акушерка.

Для Цвана было мукой присутствовать при встрече Минги с сыном.

— Берто, Берто! Это я виновата. Я не должна была пустить ее на работу, а не сумела. Даже и невдомек мне было, какая нас беда сторожит...

Берто молчал. Когда покойницу внесли в дом, Минга, казалось, еще больше сгорбилась, придавленная новым горем.

— Дочка... — прошептала она.

Все столпились в кухне, потому что вымокли и окоченели.

Девочка все плакала и умолкла только тогда, когда доктор сказал, что отвезет ее домой на двуколке, чтобы ей не идти в темноте.

Акушерка и остальные женщины обряжали покойницу на супружеской постели, на тех новых простынях, которые Минга приготовила для родов.

Ночь была дьявольская.

Никто не мог уйти, потому что на округу обрушился настоящий ураган.

Укрыв от бури лошадь доктора, все, наконец, разместились в кухне вокруг очага.

Девочка, завернувшись в одеяло, заснула в старом кресле-качалке возле люльки с новорожденной.

Минга ушла наверх — побыть вместе с Берто около невестки.

Как все женщины этих мест, Минга умела сдерживать свое отчаяние, разлив своей скорби.

Она смиренно села в углу комнаты, чтобы сын не был один. Она отдала бы все на свете, чтобы смягчить его боль.

Невестка вошла в дом два года назад. Была она непохожа на них всех, и Минга сразу почувствовала, что она другой породы.

Но старуха сумела заглушить в себе разочарование этим браком и в разговорах с женщинами из долины даже расхваливала ее.

Она расстраивалась только, когда они подтрунивали над ней:

— Минга, ваша невестка увидела, какая у вас спина, и испугалась. Не хочет, чтобы и ее так согнуло. Вот и не идет работать в долину...

Минга ничего не отвечала.

Но Роза не раз слышала эти фразы и однажды объявила, что и она хочет пойти работать в поле.

И пошла, словно бросив вызов кому-то. Дома ее не удерживали. С этого дня Роза почувствовала, что что-то изменилось.

К ней теперь все относились теплее, сердечнее. И она продолжала работать. И вот теперь она лежала, распростершись на кровати, в том самом шелковом платье, в котором венчалась.

Обо всем этом думала Минга, пока сын сидел возле тела жены. Думала, слушая завывания ветра и доносившиеся из кухни голоса.

Время от времени она вставала, чтобы спуститься вниз и подбросить в огонь дров, подогревала для всех вино, заглядывала в корзину, где спала маленькая, и возвращалась наверх.

Рассвело, и непогода улеглась. На дворе было холодно, солнце не показывалось. По небу еще ползли большие темные тучи, и голенастые болотные птицы пролетали стаями с коротким пронзительным криком.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Врач и акушерка собрались уезжать.

Две женщины решили остаться, чтобы помочь старой Минге, остальные — вернуться домой, в селение. Те, что остались, наказали товаркам передать родным, что они здесь и чтобы им принесли черные платья и темные платки.

Врачи подошли к столу составить два документа: свидетельства о смерти и о рождении.

— Как вы ее назовете?

Цван, к которому был обращен вопрос, пожал плечами.

— Что вы у меня спрашиваете? Берто — отец, ему и решать.

Но Берто ответил, что ему все равно, пусть назовут как хотят.

Он еще не взглянул на девочку, казалось, он считал ее виновной в смерти матери.

Тогда вмешалась Минга.

— По мне назвать бы ее Розой, но я знаю, что ее мать уже подумала об имени. Она всегда говорила: «Если будет мальчик — имя выберет Берто; но если девочка — я сама назову ее, как хочу». Она хотела назвать ее совсем не по-нашему: как называлась лодка ее отца... У нее ведь всегда на уме было ихнее море, да ихняя лодка. Она говорила, что так и назвала бы дочку: Сперанца.

— Хорошее имя, — сказал доктор.— И вы правы, Минга: хоть у нас оно и не в ходу...

Цван обернулся как ужаленный.

Короткая, что ли, у доктора память или он насмехается над ним в такую минуту?

Цван знавал только одно существо с таким именем: собаку. Черную собаку, которую доктор много лет назад привез из Комаккьо и которую звали как раз Сперанцей.

— Дать собачье имя одной из Мори?

Но доктор, казалось, не помнил о собаке. Он глядел ему прямо в глаза и говорил:

— Хорошее имя... Знаменательное... Сперанца! Надежда! Кому-кому, а этой малютке нужно имя, приносящее счастье...

И Цван не дерзнул протестовать.

Перед отъездом врачи еще раз осмотрели девочку, потому что считали, что она почти наверняка подверглась интоксикации, хотя, судя по внешним признакам, это был вполне нормальный ребенок.

Так или иначе, доктор обещал заезжать каждый день, да и акушерка сказала, что первое время будет приходить ежедневно и последит за ребенком, а пока что подыщет ей кормилицу.

Минга наказывала уходящим, чтобы они прислали гробовщика, известили священника и постарались снестись с родственниками невестки.

Цван ничего не говорил: он был оскорблен. Дочери его сына дать имя суки! И какой суки!

Все в долине стали бы смеяться над ними, если бы узнали... Добро бы хоть была собака как собака, а то ведь сущее наказанье: никого не слушалась, не хотела сидеть на привязи... Целый день носилась по болоту, прибегала только к вечеру и не раз портила всю охоту, потому что не желала служить человеку и охотилась сама по себе. Еще бы ему ее не помнить!.. Он чуть с ума не сошел от этой собаки...

В конце концов доктор решил оставить ее в лесу. Не прошло и недели, как она вернулась. Еще того хуже!

Он хотел кому-нибудь уступить ее, но в тот день, когда за ней пришли, она сбежала и вернулась только через двое суток.

Так оно всегда и получалось. Всякий раз, как ее собирались куда-нибудь увести, она исчезала, и ее невозможно было разыскать. Наконец, в один прекрасный день ей это надоело, и она убежала совсем, оскорбленная пренебрежением хозяина.

Иногда ее видели в долине; но домой она больше не возвращалась. Охотники жаловались, что эта дикая собака портит им всю музыку.

Она появлялась и исчезала, прибегала назад и опять уносилась, будто нарочно, чтобы отвлечь собак и спугнуть дичь.

В нее стреляли, но не могли попасть.

Потом в долине, в домах и на фермах женщины начали жаловаться, что пропадают яйца и куры. Стали расставлять капканы, но собака была хитрая и никогда не попадалась. Наконец она как сквозь землю провалилась. Кто знает, что с нею сталось!

Но он, Цван, никогда ее не забывал. С годами в его воспоминаниях она приобрела сверхъестественные свойства.

Он сделал последнюю попытку воспротивиться.

— Я, — сказал он, когда врачи стали прощаться...— я знал только одну Сперанцу, и с меня хватит. Бьюсь об заклад, что и доктор помнит...

— Как не помнить!

— А! Я думал, вы ее позабыли... Как же вы тогда решились дать такое имя христианскому дитяти?

— Но это же, Цван, вполне христианское имя. Все мы надеемся, все мы чего-нибудь ждем от жизни. Беда, когда человек ничего не добивается, ни на что не надеется и ходит по земле как пришибленный...

— Да, да, вы красно говорите, но в этой суке было мало чего христианского. Да хорошо ли вы ее помните? Что правда, то правда, никак не скажешь, что это была безобразная собака... Наоборот, красивая: и статьями взяла, и шерсть, как шелковая, так и блестит... Но уж бесноватая...

— Выходит, для тебя все дело в характере, и будь она, к примеру, такая, как Диана, ты бы ничего не имел против...

— Как хотите, так и понимайте... По-вашему, это подходящее имя? Ну, раз так, неважно, что я думаю.

И он отвернулся.

Доктор, улыбаясь и покачивая головой, взобрался на двуколку, махнул на прощание кнутом и уехал, увозя с собой свидетельство о рождении Сперанцы Мори.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Родственники из Романьи прибыли два дня спустя, за несколько часов до похорон.

Роза еще в детстве осталась сиротой. У нее не было ни братьев, ни сестер. Приехали поэтому из мужской родни два дяди и двоюродный брат, из женской — тетка, две двоюродные сестры и крестная.

От селения они добирались пешком. Кто-то им указал дорогу, и они направились к долине. Но не раз им приходилось повертывать назад, натыкаясь на болото.

Мужчины были с ног до головы одеты в черное.

Черные костюмы с толстой серебряной цепочкой, выпущенной поверх жилета, черные шляпы, черные от загара и дорожной пыли лица, шеи, руки.

Они двигались гуськом, не разговаривая друг с другом.

За ними шли женщины, тоже гуськом, тоже в темных платьях, но без платков на голове — в отличие от женщин из долины. Зато у них были широкие шали из черного шелка с бахромой и длинные серьги, свисавшие почти до плеч и звеневшие при каждом движении.

Они были похожи на цыганок в парадной одежде.

В одном месте они оказались на вязкой заболоченной почве и сняли башмаки. От этого все сразу почувствовали себя свободнее, приободрились и пошли быстрее.

Так они и двигались в молчании друг за другом, со шляпами на голове и с башмаками в руках, когда их увидел Цван.

Он удивился и уже готов был отпустить нелестное замечание по адресу странной компании, но вдруг понял, кто эти люди.

Тогда он вбежал в дом позвать сына.

— Берто! Приехали эти, с окраины...

Неизвестно почему Цван упорно называл так побережье.

Люди «с окраины» обнялись с Берто, который каждого называл по имени. Даже женщины обняли и расцеловали его.

Потом все пошли к покойнице, и женщины заголосили, а крестная поцеловала Розу и надела ей на палец золотое колечко.

Цван был ошеломлен этим жестом.

В долине люди практичнее. Здесь никогда не оставляют золото мертвым. Им оно ни к чему, и рано или поздно все равно достанется какому-нибудь бессовестному могильщику. Но об этом вслух не говорят. Когда с покойника перед похоронами снимают золотые вещи, то объясняют это тем, что хотят сохранить их на память.

Садясь за стол, гости не сняли шляп. Ели они медленно и говорили с важностью. Однако Цван обнаружил у них качество, возбудившее его восхищение. Понаблюдав за ними, он нашел, что это люди компанейские, а по части выпивки, пожалуй, и ему не уступят.

Рядом с Цваном сидела крестная мать Розы, та самая, которая надела кольцо на палец покойной. Цвана разбирало любопытство, и он сразу же затронул эту тему.

— Оно у нее так и останется, когда ее похоронят? Я про кольцо...

— Это не настоящее золото, — вполголоса объяснила женщина. Цван ее одобрил.

Потом дядя Розы спросил у Берто, что он думает теперь делать один, с девочкой на руках, и старики с горьким удивлением услышали, что сын собирается покинуть долину.

— Это не жизнь для христиан, — говорил он. — Только сумасшедшие могут бороться с болотом, чтобы вырвать у него полоску земли и после долгих лет труда увидеть, как она исчезает при первом же урагане. Ты думаешь, что совладал с долиной и она цветет у тебя за спиной, а возвращаешься туда, где посеял, смотришь — все пошло прахом... Я и раньше об этом думал, а теперь, когда Роза умерла, и подавно здесь не останусь...

Цван понурил голову.

Приезжие степенно согласились: паршивые места!

— А девочка?

Минга слушала молча, но глаза у нее уже сузились, как у кошки.

— Девочка будет здесь. Девочка никуда не поедет. Она родилась здесь, у Мори, и останется у Мори.

— Тебе, Берто, — прибавила Минга в виде объяснения, — она была бы обузой, а нам будет с ней веселее. И потом, здесь у нас коза, а ребенку менять молоко не годится.

— Насчет этого, мама, я согласен, — сказал Берто. — Пускай остается. Но только пока она маленькая. Потом я ее возьму. Болото убило всех моих братьев; а мать... сами видите, какая она стала... Здесь умерла Роза... Не хотите же вы, чтобы я и дочь оставил здесь на погибель?

— Долина... долина... — с досадой пробормотал Цван. — Причем тут долина, если человек умирает? — И добавил, обращаясь к своякам: — А у вас, что ли, люди вечно живут?

— Ты не можешь понять, папа. Эта земля, этот климат, этот болотный воздух, эта нищета — вот что убивает человека!

— Почему же это все меня до сих пор не убило?

— Что я могу вам на это сказать, папа? Вы, видно, из особого теста...

— Неси бутылки, Минга, — загремел голос Цвана.

Значит, так?! Барчуку не нравится в долине... Для него тут нездоровый воздух. Ладно. Он, Цван, его отец, выпьет по этому случаю бутылочку, и чорт с ним, с давлением...

Они останутся втроем — он, Минга и девочка. Старики с помощью козы сами вырастят маленькую и еще посмотрят, возьмет долина над ними верх или нет.

Ему нужно было столько высказать... Но не стоило говорить об этом с чужими людьми.

Цван пил и думал о долине, о ветре, что гуляет по ней, о знакомых ему с детства звуках.

Пил и думал о диком раздолье родной стороны, где он прожил всю жизнь. Нищета — это так; нищета, голод, деревянные башмаки на ногах, ветер и вода в доме... Но разве болотным птицам лучше живется? Он здесь родился, здесь и умрет. Но его род не кончится с ним.

Сердце ему говорило, что Мори вернутся в долину.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Солнце, поднимаясь над болотом, рассеивало пелену тумана, стоявшую над топью.

Цван давно уже встал.

Теперь он подходил к дому с последними двумя ведрами воды. Вчера вечером Минга поставила ему такое условие: они пойдут на рынок только в том случае, если Цван сначала натаскает воды для стирки.

А лохань у Минги была вместительная, и чтобы наполнить ее, нужно было столько ведер воды, что он чуть не вычерпал весь колодец...

Цван напевал монотонную, заунывную песню, которую исстари пели в долине. Ее сложили, приноравливаясь к размеренным взмахам цапки. Говорилось в ней о белокурой девушке, обманутой возлюбленным и ушедшей с отчаяния в монастырь. Древней печалью веяло от этой песни, но Цван вопреки всему был в хорошем настроении.

Зима кончилась.

Еще была опасность, что поднимется ненароком шальная буря, но самое худшее, можно сказать, осталось позади.

Суровая это была зима для стариков! Одни, отделенные километрами топи от ближайшего жилья, затерянные в самом сердце болота, они изо дня в день ждали, когда она пройдет.

Берто уехал из дому в начале зимы и больше не возвращался. Он погостил сперва у свояков в Романье, но такой человек, как он, разбиравшийся в моторах, не мог осесть и там. Не заезжая домой, он перебрался в город и написал им уже оттуда.

Когда Цван как-то раз побывал в селении, его вызвали на почту, и там он нашел несколько писем и два перевода от сына, которые ему не доставили из-за бездорожья.

Он получил деньги и попросил прочесть ему письма, потому что сам читать не умел.

Дома он с письмами в руке дал обо всем отчет Минге, каждый раз повторяя: «Тут так написано». Но старая все расспрашивала его, а Цван уже не помнил в точности, что писал Берто, и путался. Минга тоже не знала грамоты. Она пошла с письмами в селение, чтобы и ей прочитали, что пишет сын.

Потом, когда она вернулась, старики заспорили о письмах, но так и не пришли к соглашению и в последний раз, уже вместе, сходили в селение для новой читки.

Берто был здоров. Он наказывал, чтобы они берегли девочку, не лишали себя необходимого, купили печку. Писал о большом городе, где работал, и обещал на пасху приехать на несколько дней, чтобы обнять их всех.

Денег Берто прислал много. Так им сказали в селении, а для Цвана и Минги это был целый капитал.

Им редко случалось держать в руках деньги. Цвану, который работал в имении сторожем при инвентаре и лесником, а в рабочий сезон, когда в долину пригоняли быков, ходил за скотиной, в счет платы давали жилье и продукты: картошку, рис и кукурузу. Минга поденно работала на уборке риса и конопли, но у нее столько удерживали за взятые вперед продукты, что к концу работы ей ничего не причиталось.

Дровами они запасались летом и сушили их на зиму. За работу управляющий давал им еще и поросенка, но старикам никогда не удавалось его откормить. Свиньи паслись у них без присмотра, бегали где хотели, как зайцы, и вырастали длинными и худыми... Местные батраки, когда хотели описать какого-нибудь худощавого верзилу, говорили: «Как свинья у Мори».

Все для себя они делали сами: лудили кастрюли, выстругивали деревянные башмаки... Все, без чего можно обойтись, у них давно вышло из обихода, а быть может, и не было никогда в обиходе.

Теперь у них завелись деньги. В зимние вечера они с азартом обсуждали предстоящие весной покупки. Время от времени кто-нибудь из них называл тот или иной предмет, но другой вспоминал вещь, более нужную, и они так ни на чем и не останавливались. У них была нехватка во всем, а все невозможно было купить. Наконец они устали спорить и отложили выбор в надежде, что его подскажут им рыночные лотки.

И вот наступил долгожданный день.

Минга с раннего утра ушла пасти козу. Старуха никогда не оставляла ее одну. Ее купили на деньги, заработанные покойной Розой,— для девочки коза была нужнее комода.

«За эту козу заплачено жизнью женщины», — сказал тогда Берто с недобрым взглядом.

Каждый день Минга водила козу на пастбище и следила, чтобы она щипала хорошую траву: старуха знала все травы, знала, от какой слепнут, какая пьянит, а какая уберегает от сглаза. Минга ухаживала за козой, потому что коза должна была заменить Сперанце кормилицу.

Но вот, наконец, и Минга вернулась.

А вот и маленькая закричала, проснувшись.

— Ее время, — сказала Минга. Она вошла в кухню, а за нею — коза. Если бы в эту минуту здесь присутствовал старый доктор, который посоветовал кормить новорожденную козьим молоком, он был бы просто ошарашен...

Девочка лежала в корзине и плакала, но, увидев козу, сразу начала сучить ножками и радостно размахивать ручонками. Коза подошла к корзине, заблеяла и остановилась. Тогда Минга принесла скамеечку, села на нее и приподняла девочку так, чтобы она могла достать до вымени козы, которая не двигалась с места. Девочка, запрокинув голову, блаженно сосала.

В первое время козу доили и ребенка поили из рожка; но рожок скоро разбился, и тогда они упростили дело.

Сперанца быстро росла и крепла. Она была пряменькая и уже сидела, хотя ей было всего несколько месяцев. Волосы у нее были темные,

а кожа смуглая, как у деда, у прадеда, словом, у всех ее предков, которые недаром носили фамилию Мори *. От матери она унаследовала темноголубые, как море, глаза.

Цван ждал перед входом. Пойдут они или нет?

Уже рассвело, а дорога до рынка была дальняя.

Еще накануне вечером Минга все приготовила. Для нее, привыкшей к постоянному безденежью, идти на рынок — значило нести туда яйца, кур, лечебные травы, диких уток, чтобы получить в обмен хлопковую пряжу, иголки, нитки, а иногда и материю. Материю она брала всегда одну и ту же: бумазею для Цвана и грубое, небеленое полотно для себя.

Цван глядел, как жена укладывает свои припасы в кошелку.

— Уж не хочешь ли ты нести туда все это добро?

Минга посмотрела на него с состраданием. Как будто в первый раз она собирается на рынок!

— Ты забыла, что теперь у нас деньги!

Сегодня Цван чувствовал себя важной персоной и думал, что на рынке он будет выбирать и распоряжаться: «Это отложите для меня... Это я беру: раз хорошая вещь, на цену я не гляжу...»

Он еще не знал, что купит, но в первый раз в жизни чувствовал лихорадочное нетерпение ребенка, которого обещали повести в магазин игрушек и там предоставить ему полную свободу выбора.

Маленькая была готова. На ней было немного вылинявшее красное платьице, которое Минга с грехом пополам выкроила из старого, изношенного платья покойной Розы. Башмаков у нее не было: к чему ей башмаки, раз она еще не ходит?

Ее закутали в шаль — и в путь.

Они шли по илистой дамбе; впереди — Цван с девочкой на плечах, позади — Минга с двумя кошелками.

По дороге к рынку из сумки выскочил один петушок. Старики попытались его поймать, поспорили, повздыхали, но потом решили, что петушок сам вернется домой, и двинулись дальше, чтобы не терять времени. Шли они до селения почти два часа.

Базар еще не начинался.

— Сходим, что ли, на почту. Посмотрим, нет ли письма от Берто?

Но почта была закрыта.

— Зайдем к доктору показать ему девочку?

Служанка открыла дверь и спросила, что им нужно.

— Да вы знаете, сколько сейчас времени? Когда же вы вышли из дому?

Нет, они не знали, потому что у них не было часов. — Впрочем, сегодня мы могли бы купить их, — сказал Цван.

— А зачем? Кто по ним понимает? — шепнула ему Минга.

В ожидании доктора они расположились на кухне.

Сперанца глядела на блестящую медную посуду, развешенную на стенах, и гукала:— Ух! Ух!

— Знаешь что? — шепнул Цван. — Купим-ка мы такую посуду для нашей кухни.

Они подождали еще, но доктор не спускался. Он, понятно, не мог знать, что они его ждут внизу...

Наконец, они решили идти, чтобы не терять времени.

Цван взял одну из кошелок, достал оттуда второго петушка и, протянув его служанке, сказал:

— Это для доктора. Все равно мы их продаем только парами.

Рынок начал оживляться.

---

* Мори по-итальянски значит «мавры», «арабы» или «негры».

Старики медленно шли меж рядов, глядя на прилавки.

Здесь было множество вещей, на которые они никогда раньше не обращали внимания как на недоступные для них. Но теперь они присматривались ко всему.

Минга разглядывала ткани, башмаки, фуфайки, кастрюли, фаянсовую посуду, стаканы.

Цван смотрел на резиновые сапоги, веревки, инструмент...

Они дошли до скотного рынка и огляделись вокруг.

Тут не было ничего, что их могло интересовать. Скотины у них хватало: куры, поросенок, коза. Куда им больше!

Вдруг они увидели осла. Одного из тех маленьких, точно игрушечных, осликов, которые неизвестно на что годятся, до того они хилы.

Сперанца следила за ним глазами.

Воспоминание о давней детской мечте внезапно пробудилось у Цвана, и его вдруг охватило страстное желание иметь этого ослика.

— Минга, мы его берем.

— С ума сошел! Он и стоит дорого, и проку от него никакого.

— Минга, я его беру.

Цван подошел к продавцу, приценился, поторговался.

Но когда он обернулся к Минге, у которой были деньги, она уже исчезла.

Цван бросился искать ее, расталкивая людей.

Он нагнал ее, когда она пыталась спрятаться за каким-то ларьком.

— Дай сюда деньги!

Что-то во взгляде Цвана сказало Минге, что сейчас ему нельзя перечить.

— Я искала, куда бы зайти, чтобы достать... — проговорила она себе в оправдание.

Они вошли в ближайшие ворота, и тут началось...

Деньги были крепко зашиты в мешочек, а мешочек пришит к фуфайке. Фуфайка была самой нижней одеждой, и в нее было всего труднее добраться. Если эта операция могла оказаться достаточно сложной и для человека с нормальной фигурой, то для Минги она превращалась в своего рода акробатический номер.

Цван не находил себе места. Что если тем временем у него перехватят ослика?

— Экая ты, старуха! К дикарям, что ли, собиралась?

Наконец он получил деньги и смог сделать покупку.

Но Сперанца начала плакать, захотела есть.

Цван и Минга посоветовались, как быть. Делать было нечего, оставалось только вернуться. Один знакомый, встретивший их, пригласил их к себе, предложив подогреть скляночку молока для девочки...

— Нет, нет... она его пьет на свой манер... — пробормотал Цван.

Старики заспешили домой с непроданными яйцами и второй парой цыплят в кошелках. Они устали, и Минга думала о том, что не купила ни иголок, ни пуговиц, да и о нитках забыла...

Цван глядел на осла и посвистывал.

Едва войдя в дом, Минга позвала козу и накормила девочку. Потом положила ее в корзину и вышла посмотреть на осла.

— Что ты с ним будешь делать, Цван?

— Как что я буду с ним делать? Вот это да! Она спрашивает, что я буду делать с ослом! Да ты что, с луны свалилась?

— Но он же маленький, Цван! Видишь? Он с меня ростом...

— Нет, выше.

— Нет, тютелька в тютельку.

Минга подошла к ослу и стала с ним рядом.

— Видишь?

— Неправда, он на целое ухо выше.

Минга не стала спорить. Так или иначе, добрую часть денег они потратили и не купили ничего из того, что было нужно иметь в хозяйстве... У них стало меньше петушком, а может, и двумя: того, который вырвался, пока не было видно; три яйца разбились, а вдобавок ко всему, теперь нужно было кормить еще и осла.

На что годился такой маленький ослик? Что он мог везти? И разве у них была повозка? Да у них и нечего было возить на осле!

Минга готова была плакать с досады.

Цван, посвистывая, ходил по двору вокруг осла, как вокруг памятника. Потом вбежал в дом, схватил девочку, и тотчас же за окном послышался его веселый голос:

— Оп-ля! Оп-ля!

Сперанца сидела верхом на осле и смеялась, широко раскрыв беззубый ротик и пуская слюни.

— Видела, на что он годится? Господа своим детям покупают скотину из тряпья: собак, лошадей, ослов... А старый Мори своей внучке покупает настоящего осла!

Минга посмотрела на старика, на девочку, на осла. Она обняла всех троих долгим любящим взглядом и вошла в кухню. Она начинала думать, что, в сущности, может быть, они хорошо сделали, что купили осла.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Весна сияла в долине.

В гнездах водяных птиц, плавающих среди кувшинок и приставших к камышам, уже трепетала жизнь под покрывавшим их пухом, и берега болота смеялись желтой, красной, зеленой красками.

В долине весну возвещает кукушка.

Это самый характерный голос равнины. Он слышится отовсюду, этот короткий вопрошающий крик без ответа, проносится над тобой, улетает... Невольно повертываешься то в одну, то в другую сторону, чтобы понять, откуда он раздается, куда он уносится... И так со всеми звуками долины. Они разливаются слабыми, ленивыми волнами, не спеша, как бы по инерции, катятся в вышине и все дальше и дальше плывут в безграничном просторе.

Когда две недели назад закуковала кукушка, Цван позвал Мингу, и они вместе прислушались.

— Так и есть...

Это значило: скоро начнутся работы и долина оживится присутствием людей.

Несколько дней спустя прибыла первая партия батраков. Цван ее уже поджидал.

Люди еще издали кричали и махали ему рукой.

Цван не выдержал и побежал навстречу товарищам.

Кончилось зимнее одиночество; опять зазвучат человеческие голоса, шаги, песни.

Крича и перебивая друг друга, все направились к дому, где их ждала Минга, приготовив вино. Такая уж была традиция: в первый день работы Мори приглашали работников выпить, оказывая им таким образом гостеприимство от имени долины.

Как всегда, начался долгий обмен новостями. Каждый год кого-нибудь не хватало: то старик умер зимой, то другие не могут двигаться из-за страшных болей в суставах, — это часто случалось с батраками, работавшими на болоте.

Им на смену приходили новые жертвы — подростки, которых представляли Мори как детей такого-то и такого-то. Цван заставлял пить пареньков, которые к этому не привыкли, но хотели доказать себе и другим, что они уже настоящие мужчины.

Девочки с косами на спине молча смотрели на Мингу.

Тогда Цван подмигивал им и говорил:

— Глядите на нее. Глядите получше, потому что и вы такими станете. Что? Не знали?..

Те отводили глаза, и Цван от души смеялся над их смущением. Минга качала головой.

— Зачем ты их пугаешь? Работа и так тяжелая, не надо на них вдобавок страх нагонять...

Заговорили о Берто и о том, что для Мори счастье иметь такого сына.

Минга не упускала случая сказать:

— Да, он зарабатывает много больше, чем здесь, но и в городе хлеб не легко достается. А потом, там ведь и тратят больше — все приходится покупать, даже дрова..

Цван говорил:

— Оно и понятно, что он много зарабатывает. Его работа не то, что наша, — были бы руки, и ладно. Там голова нужна, голова! А ведь не у каждого голова на плечах.

Батраки с восхищением смотрели на Цвана.

— Вы счастливые люди... Такой сын лучше пенсии. Вам теперь нечего бояться за завтрашний день... В селении все говорят, что на деньги, которые вам Берто присылает, можно жить господами...

— Скажу, не кривя душой: на сына мы не нарадуемся... Мы не хотим этим пользоваться, но он всегда говорит: «Покупайте что только хотите, а платить — моя забота...»

Минга с изумлением смотрела на мужа. Цван, казалось, и сам верил в то, что говорил, и от волнения глаза у него наполнились слезами.

Что это с ним? Неужто на старости лет он ко всему еще сделался врале́м?

Встретив удивленный и пытливый взгляд Минги, Цван почувствовал себя неловко.

Потом все стали смотреть на девочку, которая, ползая на четвереньках, старалась догнать козу и смеялась, показывая два зуба.

Тогда Цван пошел за ослом.

Его встретил хор восклицаний. Что это? Откуда он взялся? Берто прислал! Он! Кто же еще? Берто хотел, чтобы Цвану больше не приходилось таскать на плечах дрова из долины!

Цван опять поймал взгляд Минги, теперь уже явно озабоченной. Тогда, чтобы не слышать неизбежных комментариев, он вызвался немного проводить батраков.

— Значит, Цван, вы больше не будете работать?

— Что? Вы думаете, я стану жить на счет сына? Нет, нет, я работу не брошу. Вот скоро пригонят скотину, тогда дойдет черед и до меня. Минга — другое дело. У Минги и с маленькой хлопот хватает, так что она уж на уборку не выйдет.

Но Минга вышла на уборку.

— Видно, тебе в голову ударило, что сын посылает нам пару сольди. Кажется, до сих пор мы сами себе на жизнь зарабатывали? Так чего же теперь? Не хочешь же ты сесть ему на шею. А маленькая? Она ведь растет, о ней тоже надо подумать. Приданое-то ей надо будет справить. А пряжа каждый год дорожает. Или ты хочешь, чтобы дочка Берто вышла замуж, как я: узелок в руке, вот тебе и приданое?

— Но я ж тебя все равно взял.

— Подумаешь! У тебя самого только и было, что козлы да четыре доски вместо кровати...

— Но мы же не тужили.

— Это правда, Цван.

Они отвели друг от друга глаза, вдруг застеснявшись нахлынувшего на них чувства. Потом улыбнулись... Оба подумали о том, как они ели лягушек... Долгие годы лягушки были их главной пищей, и Цван этим оправдывал свое пристрастие к вину.

— Разве ты не понимаешь, Минга, что если я буду пить воду, они заквакают у меня в желудке? Вино, вино нужно, чтоб они молчали...

Лягушки на завтрак, лягушки на ужин... Лягушки квакали всюду — и во сне и на яву. Всю жизнь! А жизнь еще не кончилась.

— Ну, делай как хочешь, — сдался Цван.

Впрочем, если бы он этого и не сказал, Минга все равно сделала бы по-своему.

Сперанцу бабушка брала с собой. Она укладывала ее на берегу в камышах и привязывала поблизости козу. Впоследствии самые ранние воспоминания Сперанцы были связаны с рисовым полем. Она навсегда запомнила свои первые осторожные шаги по краю болота, поросшего густой травой, откуда вдруг выскакивали лягушки, вытянувшись вперед, тонкие, как желто-зеленые стрелы. Они прыгали в воду, и только и слышалось: «Плюх». Потом на поверхности воды появлялись расходившиеся круги, а из глубины поднимались пузырьки. Это было первым развлечением Сперанцы.

Она запомнила навсегда звонкий гул мошкары, роившейся над болотом, когда она в полдень, лежа на спине, смотрела в раскаленное добела и неподвижное небо, а вдали, на тополях, стрекотали цикады, и женщины отдыхали в камышах, и в глубоком безмолвии людей был слышен шорох каждой травинки.

Но лучше всего запомнила Сперанца и всегда носила в себе песнь рисового поля.

Она ждала ее с трепещущим сердцем.

Сначала раздавался одинокий голос. Высокий и резкий голос, поднимавшийся от воды прямо ввысь. Он дрожал в воздухе... повисал... ждал... Потом вступал хор — низко, медленно, строго. То была песня, в которой звучали размеренные шаги людей с тяжелыми инструментами на плечах, людей, влекущих, как волы, тяжкий груз. Подхваченная эхом, она замирала где-то далеко, далеко.

И снова звучал одинокий голос, пронзительный, как вопль раненого животного... А с другой стороны поля вступал новый хор. Он был похож на первый и, как и тот, говорил о терпении, выносливости, о неумолимой судьбе... Песня, словно качаясь на волнах, колебалась в неподвижном воздухе, плыла вдаль, угасала...

Тишина...

Потом, неожиданно, все тот же первый голос испускал крик, один-единственный крик, веселый, дерзкий, как вызов долине, — последнее слово, на которое не было ответа.

Сперанце нравился этот последний крик. Она его ждала с нетерпением.

Перепачканными ручонками она хлопала безвестной певице и ликовала. Она сама не знала, почему он так нравится ей. Тогда она не могла этого понять, а потом, когда стала взрослой, у нее не было времени думать об этом.

Но она всегда носила в своем сердце этот одинокий боевой клич, казалось, торжествовавший над глухим хором рабов. Он звучал у нее

в ушах в самые тяжелые моменты жизненной борьбы; она его почти видела — яркий, как луч солнца, острый, как нож, он поднимался из серой массы согнутых спин, взмывал над зеркалом поля, залитого водой, и уходил в небо.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Сперанца росла в долине здоровой и ловкой, как белка, несмотря на вредный климат и жизнь, полную нужды, которую она вела у стариков.

Цван улыбался, когда доктор, осматривая девочку, говорил об особой породе, создающейся в результате отбора, путем вытеснения более слабых индивидов. Он мало что понимал в этих рассуждениях, но думал, что в общем доктор хочет похвалить породу Мори, и был этим горд.

Девочка не знала печали; она ни о чем не мечтала, потому что не представляла себе иной жизни, кроме той, которой она жила на болоте. Она была счастлива, когда наступали погожие дни, потому что могла беспрепятственно бегать по дамбам, забираться в камыши и открывать все новые чудеса долины. Она различала всех птиц, знала, как каждая из них вьет гнездо, в совершенстве подражала их посвисту.

Грустная пора наступала для нее осенью, с туманами и дождями. Начиналось затворничество. Дни тянулись бесконечно долго. Минга зимой пряла и ткала, Цван делал корзины и деревянные башмаки, но темнело рано, и, чтобы не жечь свет, приходилось ложиться в постель и засыпать, слушая, как ветер свистит под кровлей и капли дождя сквозь щели в потолке падают в лоханки, которые подставляла Минга.

У Сперанцы было пылкое воображение, которое никто не обуздывал, а истории, что зимой рассказывал Цван, желая развлечь девочку, лишь усиливали ее склонность к фантазерству. Она была уверена, что принадлежит к избранному роду. Когда Цван говорил о других Мори, своих двоюродных братьях, которых не видел уже много лет и которые не давали о себе знать, но попрежнему жили по ту сторону болота, где родился и он, девочка надеялась с ними встретиться, убежденная, что речь идет о необыкновенных людях. Она огорчалась, что эти родственники живут так далеко, и боялась за них.

— Но они взаправду еще там, дедушка?

— Должно, там. Вряд ли они куда-нибудь подевались. Не такие это люди!..

Другим предметом гордости для Сперанцы служил ее отец. Она его называла просто Берто. Он жил в городе, и у него была голова на плечах — так говорили дедушка и бабушка; так оно, значит, и было.

Берто приезжал раза два в год повидать своих стариков и дочку. Он привозил подарки: складные ножи для отца, очки для Минги, настоящие ботинки, а однажды и куклу для Сперанцы.

Едва он уезжал, Минга убирала все это в сундук, кроме, впрочем, подарков, предназначенных Цвану, не желавшему ей доверить их.

После этого она продолжала штопать без очков, а девочка носила деревянные башмаки и лишь изредка, в виде награды, могла видеть куклу.

Всякий раз, как открывали сундук, это было праздником для Сперанцы. Тогда ей даже разрешалось потрогать вещи, оставшиеся после матери: серьги, серебряную цепочку, коралловое ожерелье, еще молитвенник с картинками и вышитую фату. Она с восхищением думала об этих чудесных вещах и представляла себе мать госпожой, случайно, по ошибке, попавшей в долину к беднякам.

Цван, между тем, на всем пробовал свой нож и был счастлив, когда

кто-нибудь нуждался в его помощи. Тогда он показывал лезвие и говорил: «Немецкая сталь; вещь что надо! Мне привез его Берто».

Зима на болоте была долгая, и сколько историй приходилось Цвану рассказывать Сперанце, чтобы скоротать время!

У девочки была хорошая память, и нередко она его перебивала:

— Прошлый раз ты не так рассказывал...

Минга отворачивалась и смеялась — тихонько, про себя, чтобы Сперанца не слышала.

Так прошли первые годы Сперанцы, и она вступила в тот возраст, когда должна была идти в школу.

Это был вопрос, о котором в семье избегали говорить. Но все о нем думали. Что было делать? Берто уже объявил, что его дочь будет учиться; в этом он был непоколебим. Но разве можно было заставлять девочку каждый день проделывать пешком двухчасовый путь до селения и обратно? Это значило бы погубить ребенка. И потом, в дождливую пору иные места всякий год затопляло — приходилось идти по колено в грязи. Думая об этом, старики вздыхали.

Но в начале осени приехал Берто, чтобы решить вопрос.

Он был согласен со стариками: нельзя принуждать ребенка к тому, что и для взрослого-то почти невозможно. Дорога в селение была изнурительна, а зимой и опасна.

Надо найти другой выход. У Берто были знакомые в городе, и он не терял надежды найти кого-нибудь, кто помог бы ему устроить девочку в школу «закрытого типа».

Он бросил это предложение равнодушным тоном и выжидательно замолчал.

Цван вскочил как ужаленный.

Так вот к чему он клонил? Ни мало ни много, засадить девочку под замок? Чтоб она там захирела и истомилась... Лишь бы стала барышней и умела читать и писать! Потому что это позор быть такими, как он и Минга? Так, что ли?

Старик выходил из себя и орал все громче:

— Только раньше помолитесь богу хорошенько, потому что, пока я жив, никто ее не тронет... Уведу ее на болото и поминай как звали! Пойду в хибарку, что на той стороне, к своим, да возьму с собой вот это... — он показал на двустволку, висевшую на стене. — ...И пусть попробуют за ней прийти. Ни на кого не посмотрю! Застрелю!

Берто молча свертывал сигарету. Минга продолжала чистить картошку. Они ничего не отвечали. Но, повидимому, угрозы Цвана ни на него, ни на нее не произвели никакого впечатления.

Тогда Цван пустил в ход свой последний козырь.

— Тем более, всем известно, что у нас, у Мори, в семье были сумасшедшие...

Он сказал эту фразу с таким видом, как будто прославлял блеск родового имени.

— И за себя я тоже не ручаюсь... Берегитесь, говорю! Берегитесь!

Берто улыбнулся.

— Значит, это верно, папа, что мы, Мори, сумасшедшие?

Цван сразу как-то сник и сбавил тон.

— Ну, это только так говорится — сумасшедшие... Верно, Джузеппе хватил топором одного из Бернарди. Но тут дело касалось чести. Когда надо постоять за честь семьи, можно и голову потерять. Его посадили в сумасшедший дом, но все говорили, что он прав.

— Так что ж будем делать, папа? Может, отправим ее к Розиной родне? Она была бы там у своих... Я им, конечно, буду помогать, а кончит девочка школу, вернется к вам, в долину.

После предложения поместить Сперанцу в приют Цван этот проект уже не мог отвергнуть. К тому же ему казалось, что, согласившись на него, он сможет выиграть время.

— По мне... Лишь бы ее не послали на эту каторгу... Но нужно будет узнать, возьмут ли они ее? Она еще маленькая, и за ней надо смотреть...

— С ними я уже говорил. Они ее охотно берут. Но вам придется ее самим отвезти, потому что меня больше не отпустят, а они не могут за ней приехать.

Только после того как Берто уехал, Цван, обдумывая эти слова, сказал:

— Раз он уже говорил с теми с окраины и знал, что они возьмут девочку, зачем ему понадобились все эти разговоры насчет «закрытой школы»?

Минга пожала плечами, но Сперанца тут же нашлась:

— Если бы он так не сказал, ты бы и не вспомнил о сумасшедших Мори и не схватился бы за ружье. А это ведь интересная история, и Берто тоже хотелось ее послушать...

Минга выскользнула за дверь, чтобы не смущать своим присутствием и без того сконфуженного старика.

Цван всадил нож в стол, низко надвинул шапку на лоб и начал насвистывать, чтобы придать себе непринужденный вид.

Так решилась судьба Сперанцы. Самой маленькой из Мори суждено было покинуть болото.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Уже неделю в долине батраки толковали о предстоящем путешествии Цвана. Это было целое событие, совершенно неожиданное для старика. Но больше всего его смущало, что на работе для него как раз начинались горячие дни: вот-вот под навес позади дома должны были пригнать скотину, и он не мог оставить ее без присмотра.

Он посоветовался с Мингой, и они решили попросить у управляющего двухдневный «отпуск».

Но управляющий поднял бучу.

Весь год Цван жил в доме — это он позабыл? Хозяйский хлеб, небось, ел? А теперь, в самый разгар работы, он, видишь ли, хочет уехать на целых два дня! Хозяин дает ему жилье не для того, чтобы он разъезжал по своим делам. Что ж он думает, скотина может два дня обходиться без корма? Хоть бы он оставил кого-нибудь за себя! Почему он не вызовет Берто?

Управляющий насмехался над Цваном; ему не нравилось, что Берто ушел из долины... Цван это знал, и кровь бросилась ему в голову. Он ответил, что это его дело, он сам найдет себе замену.

— Но мы еще посмотрим, кого вы найдете... Контракт-то подписан с Мори.

И управляющий ушел ухмыляясь.

— А, чорт побери! — крикнул Цван и бросил оземь шапку. — Чорт побери...— повторил он и наклонился поднять ее.— Вот тут уж схожу к семье Джузеппе!

Минга упала духом. К кому можно было обратиться за помощью?

— Не твоя забота, — сказал Цван, — я найду ему кого-нибудь из наших. Он так говорит потому, что думает, в долине нет других Мори. Смех, да и только... Мори по всему болоту рассыпаны. Если на то пошло, нас целое войско! Я ему докажу...

Через несколько дней вечером Цван пошел на болото. Он сел

в охотничью лодку и начал грести, пробираясь через камыши. Лодка плыла под зеленым сводом в таких местах, куда, казалось, не было доступа.

Он причалил в глухой заводи и уверенно пустился в путь раздвигая кусты.

Много лет он не хаживал в этих местах, но он был родом отсюда и не мог сбиться с дороги. К ночи он добрался до хибарки в зарослях камыша.

Высоко в небе стояла луна. Лаяли две собаки. Цван шел, как во сне, и ему казалось даже, что, когда он постучит в дверь, ему ответит голос его матери.

Собаки с лаем выбежали ему навстречу.

«Наши еще тут, — подумал Цван, — только Мори не привязывают собак».

Он прошел мимо псов, не обращая внимания на их рычание, и они не бросились на него, а лишь с лаем проводили до двери.

Крепко же, видно, спали хозяева!

Но Цван не успел постучать, как дверь открылась, и к нему вышел полуодетый человек с двустволкой в руках.

— Кто вы?

— Да хранит тебя бог! Ты — Мори? Я тебя не знаю, но ты Мори, и это также верно, как то, что я тоже Мори. Я — Цван, двоюродный брат Джузеппе.

В ответ послышался голос из хибарки:

— Не может быть! Цван!.. Коли так — значит, он при смерти. Если Цван вернулся домой, стало-быть, собрался помирать.

На пороге показался старик, сгорбленный, с длинной бородой. Но при свете луны Цван узнал его острые и темные, живые и смеющиеся глаза — глаза Мори.

— Джузеппе!

Старик засмеялся и протянул ему руки. Он был старше Цвана, но обнял его так, что тот почувствовал: есть еще силенки.

— Как ты сюда попал? Может, заплутал на болоте?

Оба засмеялись. Это была шутка: разве кто из них мог заплутать на болоте?

Они вошли, и парень, открывший Цвану, зажег фонарь, подвешенный к балке под потолком.

Комната была маленькая, стены обшиты тесом. Посредине находился очаг с низким колпаком, на котором была развешена скудная кухонная утварь.

У стен стояли две кровати — доски, настланные на козлы, а над ними висели ружья.

Два сундука, стол, табуретки — вот и вся обстановка.

— А женщин у вас нет?

— Одни померли, другие уехали, — ответил старик, и Цван не решился спросить, кто помер и кто уехал.

— Если бы я знал, что ты вернулся, я бы раньше пришел...

— Без малого десять лет уже прошло, как я вернулся, — засмеялся старик.— Но тебя я, по правде сказать, не ждал... Что у тебя стряслось?

— Мне нужно кого-нибудь из наших.., — сказал Цван, глядя на парня. Тот молчал.

Старик тоже посмотрел на него, потом кивнул на стену, где висели ружья.

— Нет! — сказал Цван. — Нет, не то...

А про себя подумал: «Да, чорт возьми, с Мори шутки плохи!»

— Если бы дело было в этом, — продолжал он, — я пока еще сам

за себя постоять умею, да и сын у меня есть... Нет, никто меня не обидел. Тут дело другое. Я схлестнулся с управляющим, и мне на два дня нужен кто-нибудь из родни.

Он рассказал свою историю. Джузеппе, казалось, был разочарован.

— Что ж, пусть идет, если он не против...

Парень кивнул в знак согласия. Тут они познакомились. Это был внук Джузеппе. Сын его сына. Мать парня умерла в родах, как Роза... Отец был убит за браконьерство где-то далеко, в чужом краю.

Теперь они жили вдвоем; парень иногда батрачил, но больше браконьерствовал вместе с дедом — охотился и ловил рыбу. Никто их не трогал. Сторожам трудно было добираться сюда, да и не хотелось им связываться с Мори. Они знали, что если не уложат их с первого выстрела, то им самим не миновать заряда: Мори стреляли без промаха.

Цван начинал беспокоиться: ведь это были почти разбойники!

Он выпил вина, которое ему поднесли в жестяной кружке, и сказал, что ему надо домой. С зарей он должен быть на работе.

Парня звали Таго, ему было девятнадцать лет — и он был силен. Этого достаточно.

Они ушли вместе. С порога Джузеппе окликнул Цвана.

— Послушай, брат. Я тебе вот что скажу. Когда ты пришел, я вспомнил историю, которую мне читали, когда я был там... Есть такие животные, как их? Слоны... Когда им приходит время умирать, они возвращаются на то место, где родились. Неплохо? Все приходят умирать на то место...

Он засмеялся и помахал им рукой.

Цван и Таго молча тронулись в путь. Старик гордился, что легок на ногу, но далеко ему было до Таго, да и болото паренек знал не хуже, чем он. Даже лучше...

Скоро Цван сдался и пошел за ним, предоставив ему выбирать дорогу.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Когда они подходили к дому, Минга уже хлопотала вокруг скотины — сама задавала ей корм.

Увидев их, она не сразу пришла в себя от удивления, недоумевая, кто такой Таго и кем он им доводится? Цван попытался ей это объяснить, но оказалось, что и он ничего не понял: Таго был сын сына Джузеппе, но этот сын Джузеппе родился не здесь, и о его существовании они никогда не подозревали.

Парень говорил мало, но не казался смущенным. Минга на скорую руку собрала завтрак, и он поел с аппетитом, но от вина отказался. Это была новость, несколько подорвавшая высокое представление Цвана о своем роде.

Тем временем встала Сперанца. Она уже научилась сама одеваться и теперь молча спускалась по лестнице, босиком, но с башмаками в руках.

Она остановилась возле стола и, широко раскрыв свои большие голубые глаза, вопросительно уставилась на Таго.

— Вот, это твой родич! Он тоже Мори... Я за ним сходил сегодня ночью... — объяснил ей дед.

Девочка, все так же не сводя глаз с гостя, подошла поближе. Таго улыбнулся и погладил ее по голове.

Когда мужчины встали из-за стола, она пошла за ними. Цван стал рассказывать Таго, что нужно делать, и знакомил его с животными, давая подробное объяснение характеру каждого из них.

— Поосторожнее с Красным — того и гляди лягнет... Да и со Стеллой — бодается...

Сперанца молча стояла позади.

Но вдруг за спиной мужчин, взявшихся за вилы, чтобы ворошить сено, раздался ее голос:

— Теперь я никуда не поеду... Я останусь здесь с Таго, вот.

Цван обернулся, бросил вилы и, сдвинув шапку на затылок, присел на корточки перед девочкой.

— Скажи по правде: он тебе нравится, а? Раненько начинаешь... Но выбрала ты неплохо! Нет лучше, как взять в мужья Мори... Спроси у бабушки!

Минга, стоявшая неподалеку, сокрушенно вздыхала:

— Будет тебе! Нашел о чем толковать с шестилетней девочкой. Да, вы, Мори, хороши... чтобы мучить жен!

— Но ты слышала? Она говорит, что не хочет уезжать, потому что увидела Таго...

— Да. Теперь мне не будет скучно. Вы с бабушкой старые и не ходите со мной в долину. И на ослике меня не возите. А с ним будет совсем по-другому... — объяснила Сперанца.

В результате этой исповеди Таго был освобожден ото всех дел, чтобы он мог побыть с девочкой. Это был ее последний день в долине, и старики хотели, чтобы она повеселилась.

Взяв с собой осла, они пошли вдоль дамбы. Таго ничего не говорил. Он что-то насвистывал и смотрел прямо перед собой. Сперанца держала его за руку и снизу вверх поглядывала на своего старшего троюродного брата.

В тени тополя Таго остановился, сел и, вытащив из кармана тростниковую дудочку, начал наигрывать на ней какую-то песню. Сперанца слушала с восхищением, забыв обо всем на свете. И Таго ее понял: он подарил ей дудочку. Себе он сделает другую.

— До чего ж я рада! — сказала под конец девочка. — Рада, что повидала тебя. Если бы ты не пришел, я бы сама когда-нибудь к тебе прибежала.

— Сама? А кто бы тебе показал дорогу?

— Дорогу бы я нашла. Я умею ходить по болоту, и потом дедушка все время про вас говорит, и я тоже немножко знаю, где вы живете. И потом, ты не знаешь одну вещь... Если я тебе расскажу, ты никому не скажешь?

— Нет, честное слово...

— Вот. Дедушка говорит, что я не могу заблудиться на болоте потому, что меня зовут Сперанца. Ты про это не знаешь, но так звали одну собаку. Черную такую, дьявольскую собаку... Она знала все болото, и никто ее не мог поймать... Потом она пропала, и никто ее больше не видал. Дедушка говорит, что она провалилась сквозь землю; это было ночью, когда сверкали молнии. Кого так зовут, тому хорошо в долине. Если я заблужусь, та черная собака, которую звали Сперанца, опять выберется на землю и прибежит, чтобы вывести меня на дорогу, потому что меня звать Сперанца.

Таго слушал. Он не знал, где в этой сказочной истории кончается суеверие Цвана и начинается фантазия девочки. Но что-то в ней его поразило. Теперь он припоминал... Черная собака... Дикая собака, приблудившая к ним, когда он был маленький...

Эта собака появлялась и исчезала и даже приносила домой кур неизвестно откуда. Никто не знал ее клички. Потом они назвали ее «Черная» — по масти. Отец Таго говорил, что она, должно быть, сбежала от кого-нибудь из долины. У них она прижилась. Все собаки, которые

потом были у Мори, происходили от этой. Она ушла из дому с отцом. Ее вместе с ним застрелили сторожа.

Таго встал, и они пошли домой.

По дороге им встретились люди, бросившие работу, чтобы позавтракать в холодке.

Все они с любопытством смотрели на Таго, который шел между Сперанцей и осликом.

— Это мой троюродный брат, — объясняла им девочка. — Он из тех Мори, которые на другом берегу. Из сумасшедших Мори...

Озадаченный Таго испытующе смотрел на девочку, потом на взрослых, к которым она обращалась. Повидимому, ни на кого эта странная рекомендация не производила впечатления. Люди улыбались и здоровались с ним.

«Это штуки старого Цвана», — сказал себе Таго. Ему вдруг стало весело и захотелось получше узнать этого человека с пламенной фантазией, которую не могли погасить никакие испытания, никакие трагедии.

Дома Таго неожиданно спросил у Цвана:

— Послушайте, много лет назад вы не потеряли собаку? Черную, с длинной шерстью? Молодую собаку?.. Я говорю — много лет назад, потому что я тогда только-только начал ходить.

— Что ты знаешь об этой собаке? — сразу насторожившись, спросил старик.

— Но вы ее потеряли или нет?

— Как бог свят, потерял... Мне привез ее доктор, чтобы я ее натаскал, но с ней бы сам чорт не сладил. Проклятущая была собака... Она попала сюда из Комаккьо...

— В Комаккьо она и вернулась, да только для того, чтобы подохнуть...

Он вкратце рассказал историю Сперанцы, переименованной в Черную. Старик был потрясен.

— Смотри-ка... смотри-ка... Кто бы мог подумать? Второй такой собаки не сыщешь. Пристала к Мори и подыхать вернулась в родную сторону с одним из Мори... Сердце мое чуяло, что это не простая собака... Красивая, смелая, умная...

Он вытер глаза.

В тот день Цван, наскоро поев, встал из-за стола и пошел к батракам, еще отдыхавшим в тени. Он должен был всем рассказать историю Сперанцы. Он должен был реабилитировать собаку в глазах всех... Это была его святая обязанность. Тем самым получало оправдание имя, которым назвали внучку.

Минга, между тем, хлопотала, собирая девочку в дорогу. Готовила свертки, сумки. Вздыхала и плакала. Таго молча смотрел на нее. Ему нравилась эта старушка, и он думал о том, что у него и у деда была бы другая жизнь, будь в доме женщина.

— Не плачьте, бабушка Минга, — сказал он наконец. — Ведь Сперанца вернется. Она любит долину, и никто ее не удержит вдали от дома.

— Хорошо тебе говорить, но она маленькая и едет далеко; а мы — старики, и как знать, доведется ли еще ее увидеть.

— Доведется, бабушка. Вы же оба, слава богу, здоровые... И потом, если когда-нибудь вы на самом деле захотите ее видеть, дайте мне знать, я за ней съезжу.

Это обещание скрепило новую привязанность. Привязанность Минги к молчаливому парню из той окаянной породы Мори, от которой она натерпелась столько горя.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

В ту ночь Минга не смогла заснуть. С зарей она уже была на ногах и возилась у очага с красными от слез глазами.

Цван, спустившись в кухню, поглядел на нее и начал ворчать.

— Кажется, еще не конец света! Нечего плакать, как по покойнику, если девочка уезжает на время... И потом, она скоро вернется!

Молчание.

Старик рассердился:

— Не хочешь же ты, чтобы она осталась такой же невеждой, как мы...

— Разве я что говорю?

— Так чего ж ты куксишься?

— Что ж, я погоревать не могу, если девочка уезжает в такую даль? Сердцу горе не закажешь.

— Закажешь, еще как закажешь, если есть голова на плечах... — и Цван, сердито сопя, вышел во двор умываться.

Час спустя они тронулись в путь.

Минга крепко обняла Сперанцу и вбежала в дом, захлопнув за собой дверь. Но немного погодя, обернувшись, девочка увидела ее за изгибом дамбы. Она тихонько брела за ними, провожая их взглядом.

Цван и Таго с сумками в руках шли быстро. Сперанца старалась приноровиться к их шагу, но то и дело отставала и бегом догоняла их.

Ей было весело... Предстояло путешествие на лошадях, а потом — ей сказали — на поезде...

Она увидит море и побудет там немного.

Кроме того, сегодня на ней было новое платье и блестящие кожаные башмаки, которые привез ей Берто.

Таго должен был проводить их до селения, чтобы помочь им сесть в омнибус, а затем вернуться в долину — присмотреть за скотиной и сказать Минге, что они благополучно уехали.

Как обычно, они пришли в селение слишком рано. Они отправились к доктору, и их встретила все та же служанка. Но на сей раз она позвала врача, который дал ей на этот счет точные указания.

Доктор спустился к ним в халате и домашней ермолке.

— Вот как? Значит, она в самом деле уезжает?

Цван представил племянника и тут же попросил его рассказать доктору историю той собаки.

— Пусть послушает... Пусть послушает...

Таго не мог понять, зачем это нужно, и рассказал ее безразличным тоном в немногих словах.

К его удивлению, доктор расхохотался.

— Смотри-ка... значит, она осталась в семье.

Цван, улыбаясь, поддакивал ему и был, повидимому, очень доволен.

Врач предложил им выпить, но Таго отказался.

— Как? Мори — и не пьет?

Впервые Таго вышел из себя.

— Послушайте, доктор. Я не знаю, что за истории рассказывают о Мори... Дядя Цван, должно быть, развлекается этим, потому что в долине время тянется долго, особенно зимой. Но я здесь всего два дня и только и слышу, что о непутевых Мори да сумасшедших Мори... Кажется, дядя думает, что это к чести нашей семьи. Однако, слава богу, у нас есть Берто, который работает по моторам на заводе... Есть другой двоюродный брат, который служит во флоте и имеет чин... Есть толковые и смелые люди... Но о них почему-то не вспоминают. А вот о моем деде, который хватил топором одного негодяя, говорят охотно, да еще

и смеются... А вот о женщинах Мори, которые рожают на болоте и платятся за это жизнью, говорят как о каких-то чудачках... А вот о мужчинах, которые, чтобы прокормить детей, ловят рыбу в чужом угодье и получают за это пулю в лоб, говорят как о сорви-головах... Меня это злит. Дядя Цван смотрит на это глазами всяких там управляющих, а я нет. Я смотрю на это по-другому.

Доктор слушал, опустив голову и тщательно протирая пенсне. Когда Таго остановился, тяжело дыша от волнения, врач положил ему руку на плечо.

— Таких, как твоя мать, как твоя бабушка, как мать вот этой девочки, которые умерли у меня на глазах, я знаю немало. Похожих на стариков ребятишек, которых в одночасье уносила малярия, я мог бы насчитать тебе сотни. Видел я и продырявленные трупы тех, кто, как твой отец, шли под выстрелы, чтобы выловить несчастного угря. Но если все время думать об этом, можно сойти с ума... Пусть его, бедняга, выкраивает из всего этого веселую историю, чтобы разогнать скуку и подбодрить себя...

— Ладно, доктор. Но я хочу смотреть на вещи прямо и видеть то, что есть. И не сойти от этого с ума, а поискать лекарство...

Цван не находил себе места во время этого разговора. Он чувствовал себя как нашкодивший мальчишка, которого отчитывает взрослый.

И взрослым был его племянник!

«Это он потому так задается, что я его пропустил вперед, дал ему выбирать дорогу, когда мы шли по болоту, — думал старик. — Много ли надо этим молокососам, чтобы они нос задрали. В другой раз на болоте впереди пойду я...»

Ничего другого он не мог придумать.

Доктор подарил Сперанце два маренго *, и она крепко зажала их в руке.

— Завяжи их в платочек и не потеряй, — посоветовала ей служанка доктора. — Купишь на них молитвенник и будешь по нему молиться, когда научишься читать.

— Мне их подарили, и я положу их, куда вздумаю, и куплю на них, что захочу.

Доктор опять засмеялся.

— Цван, я вижу, у вас подул новый ветер: молодежь в семье уже не та... Слышал, как рассуждает этот клоп? Каков язычок?

Подъехал омнибус и остановился как раз перед домом доктора.

Лошади громко цокали копытами, как будто вместо обыкновенных подков на них были кандалы.

Кучер, уже подвыпивший, поднял адский шум, торопя отъезжающих.

Таго влез в омнибус, чтобы уложить вещи Сперанцы и занять для нее место впереди, у окна.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Цван сел впереди, рядом с кучером, с которым тут же завязал разговор.

В омнибусе было мало пассажиров и много багажа: два разносчика со множеством свертков, отправлявшиеся торговать; господин в гамашах и с кожаной сумкой, в котором Цван с первого взгляда определил «нотария»; старая дама с горничной, бесчисленными чемоданами и канарейками в клетке, сразу объявившая, что она едет на свою виллу.

* Маренго — старинная итальянская монета.

Сперанца долго любовалась канарейками. Потом начала рассматривать пассажиров. Дама протянула ей конфету, но девочка, смутившись и оробев, опустила голову; взять ее она не решалась. Тогда карамель ей сунули в руку, и немного погодя она уже с наслаждением сосала ее, глядя в окно.

Лошади трусили не спеша. Путешествие обещало быть долгим еще и потому, что кучер делал остановки чуть ли не у каждого трактира.

Часа через два Цван был его закадычным другом и уже рассказывал ему историю семьи Мори.

Теперь они вместе слезли выпить, и Цван приглашал нового друга приехать к нему в гости.

— Но вы вправду приедете? Смотрите, не обижайте...

— Еще как приеду!

— Руку!

Они пожимали друг другу руки и выпивали.

В омнибусе Цван то и дело повторял про себя: «Смотрите, люди добрые, сколько земли на свете...»

Когда они проезжали по лесистой местности, эта фраза претерпевала легкое изменение: «Люди добрые, сколько деревьев на свете!..»

Кучер, между тем, погонял лошадей, распевал, задирал прохожих. Время от времени он повертывался к Цвану:

— Так, значит, эту суку потом убили сторожа?.. — слышала через занавеску Сперанца, сидя в кузове.

— А вашему двоюродному брату... тому, который хватил топором этого парня... сколько лет ему дали?

Потом он опять орал: «Э-эй! Посторонись, не то задавлю, пропадите вы пропадом!»

— Так, значит, его посадили к сумасшедшим? Ну и ну! Это, видать, те сумасшедшие, кто его туда посадил...

— Смотрите, люди добрые, сколько земли на свете... Сколько земли... сколько земли...

Сперанца уже спала; голова ее качалась из стороны в сторону. Сквозь прикрытые веки она видела «столько, столько земли», что ей не было конца и края...

Она проснулась от толчка и раздраженных голосов.

Человек с сумкой, «нотарий», был судейским чиновником, ехавшим описывать имущество, и Цван, узнав об этом от кучера, вслух пожаловался, что ему не повезло. Каково? Он заплатил за билет, думая, что поедет в компании с порядочными людьми, а вместо этого оказался рядом с мошенником...

Чиновник это слышал и, когда они приехали, вылезая из омнибуса, ясно выразил свое мнение насчет некоторых бродяг, которые не платят налогов, живут на счет хозяина и не имеют даже пары стульев, на которые можно было бы наложить арест в возмещение убытков.

— У-у! — заорал ему вслед Цван, уже основательно подвыпивший.

Ничего не соображающую, полусонную Сперанцу кто-то поднял с сидения и поставил на землю.

— Проснись, поедем на поезде!

Кучер вызвался взять им билеты и помог влезть в вагон. У Сперанцы заколотилось сердце.

— Дедушка, а поезд не может опрокинуться?

— Дурочка! Кто ж тогда в него сел бы?

Но и у Цвана были свои опасения. Больше всего он боялся туннелей.

Ему сказали, что поезд проезжает сквозь горы в темноте, и он не мог понять, как не обвалятся эти подкопанные горы.

Они были одни в купе, и, когда вошел контролер проверить билеты, Цван обратился к нему:

— Туннели надежные?

— Какие туннели?

— Которые под горами.

— Да нам и не ехать через горы... Здесь кругом равнина.

Цван ободрился и облегченно вздохнул. Потом повернулся к Сперанце и громко сказал:

— Я ж тебе говорил, глупышка, что бояться нечего.

— Ты врун, — ответила девочка и с негодованием отвернулась от него.

Но, когда поезд тронулся, они забыли о ссоре и крепко обнялись.

«Минга, если бы ты знала! — думал старик. — Минга, ну и скорость! Это тебе не лошади!»

Сперанца, широко раскрыв глаза, смотрела в окно.

— Дедушка, дедушка, деревья бегут! Смотри, дедушка! Почему они бегут? Как же так, ведь у них корни в земле?

— Не знаю, милая. Ей-богу, не знаю! Тут не то, что в долине, — такие вещи творятся, что и не поверишь! Минга, если бы ты знала!

Потом они замолчали, обалдев от грохота, и пришли в себя, только когда поезд остановился и объявили название станции.

Они сошли на платформу и огляделись вокруг. Потом двинулись за другими пассажирами и вышли на площадь.

Неподалеку стояла кучка людей, болтавших между собой. Один из них отделился от остальных и пошел навстречу Цвану и Сперанце. Он был босой, в засученных до колен полотняных штанах, подпоясанных красным вязаным кушаком с кисточками на концах.

— Добро пожаловать, — сказал он и, улыбаясь, протянул Цвану руку. Цван присмотрелся и узнал его: это был двоюродный брат покойной Розы, один из тех, что приезжали к ним шесть лет назад.

Тот наклонился поцеловать девочку и взял сумки.

— Нам сюда...

И тут-то Цван и Сперанца застыли в изумлении.

Перед ними, покуда видит глаз, волнуясь, ширился голубой простор.

— Море! — вскрикнула девочка. И оба побежали к воде.

— Море, — повторяла Сперанца, смеясь и отступая перед волнами, лизавшими ее ботинки.

— А вы никогда не видели моря? — спросил у Цвана свояк.

— Нет, — ответил он. А мысленно говорил: «Минга, сколько воды на свете!»

Родственники Розы жили в двух километрах от станции.

Добраться туда было лучше всего на шлюпке: и скорее, и вещей на себе не тащить, да и девочке покататься на лодке в новинку.

Влезть в нее было для Цвана делом нелегким. Она была не такая, как на болоте, да и море ни минуты не стояло на месте.

Сперанца сидела на носу, не шевелясь, с глазами, полными страха. Цван поместился на корме. Гребец, стоя посредине, отталкивал лодку, упираясь веслом в дно.

Через минуту он вытащил весло из воды, сел и принялся грести.

— Боязно? — спросил он девочку.

Сперанца не ответила.

— Твоя мать гребла, как мужчина. Привычная была... Но ты морячка по крови, быстро научишься.

Сперанца крепче уцепилась за полубак и затаила дыхание.

Лодка, плывя вдоль берега, наискось резала волны. Гребни порой

перехлестывали через борт и обдавали брызгами Цвана, который в такие минуты не мог удержаться, чтобы не соскользнуть на дно лодки.

«Минга, какая буря!» — шептал про себя старик.

Потом спросил вслух:

— А что, море всегда такое?

— Неплохо бы, — засмеялся свояк, — неплохо бы для нас, чтобы оно всегда было такое спокойное! Посмотрели бы вы на него, когда шторм. Ну и бушует!

«Минга, и это еще даже не буря! Что же будет, когда оно разойдется? Минга, куда мы отвезли девочку?»

Потом невозмутимость моряка и кажущееся спокойствие Сперанцы немного ободрили его.

Тогда он вспомнил одну вещь, о которой слышал когда-то, и тихо, осторожно, чтобы не качнуть лодку, протянул руку за борт и опустил палец в воду. Потом незаметно поднес его ко рту. Соленая!

Он повторил опыт и сплюнул.

— А вы, должно быть, соль-то никогда не покупаете? Вам стоит только поставить воду на огонь — и готово дело!

Свояк засмеялся.

Между тем Цван почувствовал какое-то странное недомогание. Кружилась голова, мутило...

Минуты через две он перегнулся через борт: его рвало.

— Плохо? — спокойно спросил свояк, едва взглянув на него через плечо.

«Минга! Они просто дикари! Ему до того плохо, что хоть ложись да помирай, а этот даже не остановится...»

— Извините, — пробормотал старик.

— Ничего, ничего. Это часто бывает, если кто не привык.

Так. Все вино, которое он выпил в компании с кучером, вылилось в море.

«Должно быть, подмешанное», — подумал Цван и в изнеможении свалился на дно шлюпки.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Лодка с повисшими на реях парусами покачивалась на якоре в нескольких метрах от берега.

Примостившись на дне лодки и голой ногой поглаживая обшивку борта, Сперанца дудела в тростниковую дудочку. Она глядела на отражения облаков и тени чаек, мелькавшие на воде, и все наигрывала один и тот же незатейливый мотив, но мысли ее были далеко: она рылась в воспоминаниях и старалась разгадать будущее.

Через несколько дней она уедет, покинет тетю Марту и дядю Тони, с которыми жила вот уже шесть лет, и вернется в долину, к деду и бабке, родителям отца.

Никто ее к этому не принуждал, но девочка чувствовала на себе своего рода ответственность.

Она должна была вернуться!

Ее лицо, обрамленное прядями спутанных волос, падавших, как водоросли, ей на плечи, казалось особенно удлиненным и худым на темном фоне сетей, лежавших ворохом у нее под головой.

Она дудела и дудела, монотонно, упорно, дудела и думала...

Она все эти годы так больше и не видела стариков и получила от них всего несколько писем, написанных всякий раз другим почерком. Если в одном письме говорилось о скором приезде дедушки Цвана, то

в следующем сообщалось, что по особым обстоятельствам поездку пришлось отложить до будущей весны. И так всегда.

Сперанца не раз плакала от тоски и горького разочарования после долгих месяцев бесполезного ожидания. Потом она привыкла к несостоятельности этих обещаний и под конец вместе с тетей Мартой только посмеивалась над ними.

Отец приезжал несколько раз, но только в первое время, когда еще не началась война.

Потом как-то ночью — она это хорошо помнила — Сперанцу разбудили и принесли на кухню, где ее ждал Берто.

Отец был в серо-зеленой форме: он приехал повидать ее перед тем, как отправиться на фронт. Он побыл у них недолго в тот раз, и девочка, совсем сонная, с ним почти не говорила. Потом она часто пеняла на себя, что не сказала тогда всего того, что надо было бы сказать тому, кому не суждено было вернуться.

От него теперь сохранился в ее памяти лишь плоский, безжизненный портрет человека с длинными усами в военной фуражке.

Вслед за Берто в армию ушел и дядя Тони, и скоро один за другим все мужчины покинули деревню.

На несколько лет в низеньких домиках у моря остались только женщины, старики, ребятишки.

Лодки, перевернутые вверх дном, долго лежали на берегу, как огромные черепахи под своими щитами, пока старики не собрались, наконец, посоветоваться, как быть. Так больше не могло продолжаться: на одно пособие нельзя было жить, да и лодки придут в негодность, когда с юго-запада подует муссон и начнется непогода. Их надо спустить на воду, и поскорее.

Жены призванных, которым принадлежали лодки, должны были на это решиться.

Лодку Тони доверили старому рыбаку Микеле, которому пришлось удовольствоваться командой из ребятишек.

Сперанца так приставала к тете Марте, что добилась от нее разрешения участвовать в рыбачьем промысле. Она была единственной девочкой, которая ходила в море. Себе в оправдание она сказала, что хочет последить, чтобы не повредили дядину лодку, но на самом деле прекрасно знала, что Микеле сам позаботится об этом. Сперанца просто хотела быть полезной!

Микеле был хорошим старшим, и ребята его любили.

Правда, он то и дело грозил всех их выбросить в море и цветистым языком проклинал их за озорство и небрежность, призывая бога в свидетели своего долготерпения, но был отходчив и в часы ожидания, когда сети закинуты и спешить некуда, легко поддавался уговорам рассказать какую-нибудь стародавнюю историю с приключениями.

Сколько лет ему было, он и сам толком не знал. Ребята выводили его из себя, спрашивая об этом, и тогда он орал:

— А что б вас черти побрали... Ступайте к Тестине! Он знает, сколько мне лет.

Тестина был служащим отдела записей актов гражданского состояния и потому верным хранителем тайны возраста Микеле и многих других стариков.

Рассказывая свои истории, Микеле тоже бывал не в ладах с хронологией. Он приписывал своему отцу приключения, которые, если бы действительно имели место, могли относиться, по меньшей мере, к временам его прадеда.

Ребята внимательно слушали. Потом кто-нибудь из них говорил:

— А вы не ошибаетесь, Микеле? — и все прыскали со смеху.

Микеле, изрыгая проклятия, поднимался со своего места, и вся шайка бросалась от него кто куда, отчаянно раскачивая лодку.

— Вира, вира! За сети! — вдруг орал Микеле. — Вира! Ребята!

Это был для команды самый заманчивый и интересный момент. Ребятам платили, как это обычно делалось у взрослых рыбаков, соответствующей частью улова. Поэтому вытаскивать сети их упрашивать не приходилось. Тетя Марта аккуратно получала две доли за расходы на ремонт лодки и снастей. Только Сперанца ничего не получала. Однако она себя не жалела и первой лезла на мачту, когда надо было ослабить ванты или сменить паруса. Она была ловкой и смелой и ревниво оберегала дядину лодку. Каждый раз, как они возвращались с лова, она осматривала ее корпус и первая замечала места, где нужно было что-то зашпаклевать или просмолить.

Потом она не без гордости говорила тете Марте:

— «Кончетта» содержится лучше всех лодок. Микеле на ней даже спички об дно зажигает.

У Сперанцы вошло в привычку ходить со стариком на рыбный рынок. Она тихо проверяла вес, и Микеле мало-помалу тоже привык видеть возле себя эту молчаливую девочку и стал обращаться к ней за помощью.

— Сперe, взгляни-ка! Ты в этом разбираешься лучше меня!

Потом и другие моряки стали частенько подзывать ее, чтобы она проверила их счета. У Сперанцы была математическая жилка, и она редко ошибалась.

— Сперe, посмотри-ка, верно здесь подсчитано...

Сперанца, прыгая через мотки веревок и корзины с рыбой, проворно перебегала от одного к другому.

Даже перекупщики, приезжавшие на рынок, привыкли к присутствию девочки.

— Ну, что скажет наш бухгалтер? Сходится счет?

Сперанца, не замечая иронии, серьезно кивала головой. Один только раз ей пришлось вмешаться в переговоры. Перед этим они рыбачили ночью и заплыли в запретную зону. Ночь была «паршивая», как говорил Микеле. Дул мистраль, и лов вышел никудышный. Внезапно они оказались прямо перед огнями минного тральщика.

— Перешли границу! — закричал Микеле. — Поворачивай, ребята, нажимай!

Он взялся за руль, торопя остальных подобрать паруса и переменить галс; в темноте один из ребятишек заплакал.

С тех пор как началась война, морякам приходилось опасаться не только шторма: прибавился страх перейти предписанную границу и оказаться в зоне военных действий.

Как неотступный кошмар, их преследовало опасение наскочить на мину или лишиться лодки, которую в случае запрета могла реквизировать береговая охрана. А между тем, чтобы что-нибудь выловить в этом уголке Адриатики, приходилось не раз нарушать этот запрет.

В ту ночь удалось избежать опасности, но ребята вернулись с окровавленными от снастей руками, исхлестанные градом, провожавшим их до самого берега.

Они пришли домой промерзшие до костей, с плохим уловом.

На следующий день на молу между рыбаками и перекупщиками зашел спор о ценах на рыбу.

— Микеле, брось ее обратно в море! — вдруг закричала Сперанца.— Брось ее в море, Микеле, и пусть поплавают за ней между мин!

Все обернулись к девочке, вспыхнувшей от гнева темным румянцем.

— Что с тобой, Спере?

— Что это нашло на бухгалтера?

К ней подошел один из барышников.

— Сейчас война, девочка. Нельзя назло нам выбрасывать то, чем можно накормить людей.

— А вы дарите, что ли, людям рыбу? Нет! Вы перепродаете ее и цену назначаете, какую хотите, потому что они голодают. Выходит, на жертвы должны идти только мы? Ладно, как хотите, а две доли улова я брошу в море. Не продам — и все тут!

Ее всячески пытались успокоить, но цена на рыбу в тот день повысилась.

С тех пор Сперанца стала не только портовым «бухгалтером», но и «биржевым листком». Никто из моряков не знал в точности, что означает это прозвище, но Микеле попросил тетю Марту оставлять дома девочку, когда он идет продавать рыбу.

— Ну, нет, наоборот. Я сама ее пошлю на рынок. Она умнее вас всех, и у нее одной хватило смелости сказать, что нужно. Пускай ходит. Ничего не добьется, так, по крайней мере, отведет душу в свое удовольствие.

Так во имя удовольствия отвести душу Сперанца продолжала говорить свое слово на рынке.

Потом произошло еще одно событие.

Тетя Марта потребовала долю выручки за Сперанцу.

— Но вы же и так получаете две доли за лодку! Чего же вам еще?

— Что же, по-вашему, Сперанца — часть лодки? Может, она стала веслом или реей? Ну-ка, скажите, Микеле. Остальным-то вы платите? Платите! Так чем она хуже других?

Микеле немного поартачился, но в конце концов честно признал, что девочка работала, как и все, а во многом была даже ловчее и проворнее других.

И Сперанца стала получать свою долю как равноправный член команды.

Так оно и шло до того дня, когда прибыло письмо от стариков.

Оно было адресовано тете Марте и написано незнакомой рукой. Марта сразу передала его Сперанце.

— Прочти мне его, ты быстрее разбираешь.

Сперанца начала читать своим ясным голосом:

— «...нас постигло величайшее несчастье...»

Марта вскинула голову. Сперанца, словно окаменев, сидела на пороге и попрежнему смотрела на листок, который держала в руке, беззвучно шевеля губами, будто скандируя то, что читала.

— Спере! Боже мой, Спере!

Листок еще кружился в дверях, но Сперанца была уже далеко. Марта, крича ей вслед, бросилась было за ней, но увидала, что девочка помчалась прямо к морю и вбежала в воду.

— Спере! Спере!

Вода была уже по грудь Сперанце. Тогда она пустилась вплавь.

Волны заливали ей лицо, смывая слезы.

До боли сжимая зубы, она в отчаянии плыла и плыла, а из груди ее рвался вопль: «Папа, папа!»

В первый раз Сперанца так называла Берто: «Папа! папа!»

Она все плыла и плыла, мысль: «Домой!» — словно молотом стучала ей в голову.

Скорее к деду и бабушке! В красный домик посреди долины, где в ней нуждались подкошенные горем старики.

Там, быть может, ей легче будет воскресить в своей памяти родное лицо Берто; того Берто, который улыбался ей, стоя на пороге дома, подмигивал, слушая истории Цвана, с любовью склонялся над Мингой...

Сперанца плыла в каком-то исступлении, глотая соленую воду и слезы, и не слышала ни голосов, звавших ее с берега, ни быстрых ударов весел, раздававшихся все ближе.

Вдруг рядом с ней вырос корпус шлюпки.

— Сперe...

Это были Микеле и двое из ребят.

— Дай руку, девочка; ну-ка, влезай!

Она дала себя втащить на борт, но слезы у нее все текли и текли по щекам.

— Ради бога, девочка, и не думай больше о таких вещах. Разве можно?..

Сперанца с недоумением подняла на старика свои большие глаза и только тогда поняла.

— Нет, Микеле. Вы не должны так обо мне думать. Никогда такой вещи я бы не сделала. Мне только надо было побыть одной, собраться с мыслями...

Микеле понял, что девочка говорит правду, и не нашел ничего лучшего, чтобы выразить свое сочувствие, как хлопнуть ее по плечу, пробормотав сдавленным голосом:

— Крепись, бухгалтер!

На берегу тетя Марта, окруженная женщинами, ломала себе руки и вытирала глаза кончиком фартука. Скоро девочка была в ее объятиях.

— Ты не одна, Спере! Ты ведь знаешь, что мы с Тони тебя считаем за дочку. Ты знаешь, что это твой дом. Мы так тебя любим...

— Да, тетя Марта, я знаю. Но я вернусь к деду и бабушке.

Потянулись тягостные дни. Марта то и дело плакала и не находила себе места. Сперанца мучилась, но рано пробудившееся чувство ответственности говорило ей, что ее место возле стариков.

Они пришли к компромиссу, договорившись, что Сперанца дождется дядю Тони, который писал, что его скоро демобилизуют, а потом уедет к старикам.

Наконец вернулся дядя Тони. Все возвращались мало-помалу... Только не Берто.

— Что ты будешь делать, Спере?

Это был вопрос, всего более смущавший девочку.

Начальную школу она кончила уже год назад. Надо было приниматься за работу... Но она разбиралась только в рыбе, парусах, ветрах. В долине, конечно, все это ни к чему.

— Что ты будешь делать, Спере?

Она пожимала плечами.

— Не знаю. Но что-нибудь буду. Долина велика, найдется место и для меня.

В эти дни, когда она думала об отцовском доме, у нее оживало воспоминание о Таго. Он написал ей года два назад, когда его призвали. С тех пор она ничего о нем не слышала.

Сперанца тщетно пыталась вспомнить его лицо. Она мысленно видела лишь высокую, стройную фигуру юноши и прядь волос, падавшую ему на лоб. Но глаза, лицо стерлись в ее памяти, словно растворились во времени.

Она цеплялась за это воспоминание в надежде найти в долине хотя бы двоюродного брата и опять начала играть на тростниковой дудочке, которую хранила все эти годы, будто искала у нее помощи, чтобы снова вступить в тот далекий мир, в который она должна была вернуться.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

— Причастие... Раньше она должна принять первое причастие!..— повторяла Марта.— Если она сейчас его не примет, пока она здесь, то уж так и не причастится.

— Что это вы вдруг надумали?—говорили соседки.— Вот уж шесть лет, как девочка живет у вас, и вы об этом вспомнили только теперь, когда она уезжает?

— Что вы хотите? Пока шла война, не до этого было. И потом, вы же сами знаете... Всегда она в море, бедняжка Сперо, всегда работает, как мужчина... Никогда не поиграет, как полагается в ее возрасте. У нее и времени-то не было учить катехизис.

И тетя Марта вытирала глаза, как всегда, когда превозносила достоинства девочки.

— Но первое причастие она у меня примет. Это уж так! Не хочу, чтобы меня мучила совесть!

Марта говорила это искренне, не отдавая себе отчета в том, что цепляется за всякий предлог, чтобы отдалить отъезд Сперанцы.

Для подготовки к первому причастию девочка была поручена попечению дона Гаэтано.

Она никогда раньше не бывала в доме священника, но ей там сразу понравилось. Это был просторный дом с высокими потолками, в жару в нем было прохладно и всегда стоял легкий запах ладана и айвы.

Сзади к нему примыкал обнесенный забором широкий двор, с одной стороны выходивший на кладбище, а с других окруженный фруктовым садом священника. Во дворе бродили индюки и индюшки со своими выводками, и ребятишки играли в пятнашки или качались на качелях.

Сперанца среди них чувствовала себя неловко. Многие дети были ее сверстниками, но ростом она была выше всех.

И в самом деле, ей сразу поручили следить за самыми маленькими, чтобы они не упали с качелей.

Потом девочкой завладела Клементина, сестра священника, посылавшая ее то туда, то сюда и после бдительного наблюдения объявившая, что Сперанце можно доверять, потому что, нося отбросы на навозную кучу в саду, она даже не смотрит на фрукты. После этого ей было поручено также наливать в чашу святое вино и прибирать кабинет дона Гаэтано.

— А тем временем повторяй молитвы, чтобы не отстать от других,— внушала ей Клементина.

Сперанца молилась и подметала, а между тем думала о домике в долине и об одиноких стариках, ждавших ее возвращения.

Клементина была добра к Сперанце и подарила ей стеклянный ларец с восковым младенцем Иисусом, окруженным цветами и разноцветными бабочками, ракушками и голубками.

Сперанца никогда не обладала таким сокровищем и была очень тронута. Она сразу же поставила ларчик на комод тети Марты; все соседки по очереди приходили посмотреть на это чудо искусства, и все ей завидовали.

Сперанца очень скоро открыла, что в одном углу ларчика стекло было разбито и заклеено бумагой. Она тихонько отколупнула ее и просунула в дырку палец. Так ей удавалось коснуться белой голубки и края голубого одеяния.

Хотя детство Сперанцы было далеко не безмятежно и не лишено суровых испытаний, она все же оставалась ребенком: прикосновение к одежде маленького Иисуса зачаровывало ее и наполняло чувством веры в какое-то чудодейственное взаимное понимание.

Она стала поверять восковому мальчику все свои горести и заботы и даже заключать с ним договоры. Договоры, которые должны были бы остаться в тайне, если бы дон Гаэтано не страдал прогрессирующей глухотой.

Из-за этого и разразился скандал.

Когда дети, наставляемые в вере, стали достаточно сведущими в катехизисе, они подготовились к исповеди.

По совету Клементины, которая знала, что брат стал туговат на ухо, дон Гаэтано решил впускать их в церковь по одному.

Сперанца с замиранием сердца ждала своей очереди. Она заключила договор с маленьким Иисусом и теперь должна была набраться мужества его выполнить.

Когда настало время, она на цыпочках пошла к исповедальне через притвор церкви, в котором, казалось, никого не было. На самом деле там были свидетели. Двое мальчишек, братья «горезцы», знавшие о глухоте дона Гаэтано, спрятались под алтарем святого Антония, чтобы насладиться исповедью товарищей.

«Горезцы» были известны во всем селении как самые отпетые сорванцы. Их настоящую фамилию знал разве только Тестина; для всех остальных они были просто «горезцы», как и их отец, дед и прадед, происходившие из Горо.

Когда пущенный из рогатки камень попадал кому-нибудь в голову или разбивал оконное стекло, можно было поручиться, что это дело рук «горезцев».

Сперанца, ни о чем не подозревая, с волнением подошла к исповедальне.

Дон Гаэтано высунулся в окошечко, чтобы взглянуть, кто будет приносить покаяние; ведь многим из детей он мог бы кое о чем напомнить, если бы они забыли рассказать об этом на исповеди.

Увидев, что исповедоваться пришла единственная из его маленьких прихожан, которая никогда не воровала у него в саду фруктов и не пила святое вино из чаши, он спокойно откинулся на спинку кресла, приготовившись слушать.

— Да славится имя твое и ныне и присно, — слабым голосом начала Сперанца.

— Громче!

— Да славится имя твое и ныне и присно! — крикнула девочка.

Теперь начиналось самое главное. Она крепко сжала кулачки и проглотила слюну.

— Я никогда не хожу к обедне и всегда говорю, что бог витает в облаках и забывает о бедных. Я ругаюсь, пью много вина и вру почем зря.

Она прокричала это одним духом на всю церковь.

Дон Гаэтано встал:

— Ты думаешь, это пустяки?

— Нет, преподобный отец, я не думаю, что это пустяки...— пробормотала Сперанца.

— Что ты сказала?

— Я не думаю, что это пустяки! — крикнула Сперанца.

— Подойди поближе.

— Иисус, Иисус,— шептала про себя девочка,— дай мне смелость выполнить договор.

И громко сказала:

— Я хватила топором по голове одного человека, потому что он задел мою честь.

Дон Гаэтано выскочил из исповедальни и подошел к Сперанце, чтобы удостовериться, что это в самом деле она.

Потом одним прыжком вернулся на свое место.

— Что ты сказала?

— Я хватила одного человека топором по голове...— глухо повторила Сперанца.

— И это был настоящий топор?

— Да.

— ...ты сказала, что этот человек задел твою честь?

— Да.

— Как?

— Так.

— Ты знаешь, что это значит?

— Нет!

— Так что же ты говоришь?

— Так люди сказали...

Дон Гаэтано опять вышел из исповедальни.

— Подожди-ка, но ведь ты же Спере... Племянница Тони. Та самая, которая всегда помогает Клементине. Ты сказала, что пьешь вино... Уж не выпила ли ты случайно и сегодня, перед тем, как прийти сюда?

— Нет...

— Ты поняла, что я спрашиваю?

— Поняла. Я же сказала: нет! Я не выпила!

Дон Гаэтано, бормоча себе под нос, вернулся в исповедальню. Эта девочка, видимо, была повреждена в уме...

Сперанца, между тем, носовым платком вытирала ладони.

«Так,— думала она, — с дедушкой Цваном, бабушкой Мингой и дядей Джузеппе покончено. Теперь про других...» Она уже готовилась обрушить на священника новый поток покаяний, но дон Гаэтано ее предупредил.

— Скажи-ка... а за тот удар топором, который ты, говоришь, нанесла, тебя никто не наказал?

— Наказали. Меня отправили в сумасшедший дом...

В исповедальне прозвучал не то вопль, не то стон, тотчас заглушенный приступом кашля. Потом воцарилась тишина.

«Уж не хватил ли его удар», — с содроганием подумала Сперанца.

Потом голосом человека, покорившегося судьбе, дон Гаэтано проговорил:

— Что же теперь делать, рассказывай дальше, и будем надеяться, что ты не убила человека...

— Ну, того, которого я хватила топором, преподобный отец, я, должно быть, убила...

Снова тягостное молчание. Наконец, еле слышно, донеслось:

— Святый боже! Кто бы мог подумать! С виду она казалась нормальной.

Сперанца опять сжала кулаки и продолжала:

— Я обещала мадонне пожертвовать серебряную цепочку на шею, длинную-предлинную, до самой земли, если только дядя Тони вернется с фронта. С месяц назад он вернулся, но я уже не собираюсь ее жертвовать.

Никакого ответа. Сперанца обливалась потом.

— Потом, я пристаю к Гите и все норовлю ее ущипнуть. Она дает мне за это оплеухи, но принесешь ей немножко рыбы, она и утихомирится и не идет жаловаться тете Марте.

В исповедальне, казалось, раздувают меха.

— Хватит! — заорал дон Гаэтано. — Это все болтовня...

Сперанца дрожала.

— Ты сказала, что была в сумасшедшем доме? Когда ты там была? Ты, что же, пришла сюда морочить мне голову? Смотри, ты в церкви, а в церкви говорят правду...

— Я заключила договор, — всхлипывая, пробормотала девочка.

— Что ты сказала?

— Договор... Но это тайна между мной и младенцем Иисусом.

Дон Гаэтано, отдуваясь, опять вышел из исповедальни.

— Выкладывай правду...

— Я... я хотела исповедаться и за других, за тех, кто никогда не ходит в церковь, чтобы вы им всем отпустили грехи...

— Смотри-ка, смотри-ка... А кто же они, эти люди?

— Дедушка Цван, бабушка Минга, дядя Джузеппе — тот, который с топором... Потом тетя Марта, что обещала серебряную цепочку, и дядя Тони — это он мучает Гиту. Теперь мне осталось только покаяться за Микеле — и все.

В эту минуту статуя святого Антония зашаталась, как от подземных толчков, из-под алтаря с шумом выскочили два «горезца».

— Сукины дети! — завопил дон Гаэтано.

Сперанца, вскочив на ноги, поняла, что попала в глупое положение.

«Горезцы» побежали к выходу, но дон Гаэтано, шелестя развевающейся сутаной, уже бросился за ними.

Сперанца с минуту помедлила; потом ее охватил страшный гнев, и она тоже бросилась за мальчишками.

— Вот я им задам... — бормотал дон Гаэтано. — Наведу порядок.

— Приведите лучше в порядок ваши уши, — крикнула ему Сперанца, обогнав его и обернувшись на бегу.— Приведите в порядок ваши уши, это все из-за них.

— Приведи в порядок свою голову, сопля. Сорок лет людей исповедую и никогда еще такого не видел... Где же это слыхано — каяться в чужих грехах. Сумасшедший дом! Сумасшедший дом, да и только!

«Горезцы» замешкались на паперти возле ограды, остановившись позубоскалить.

Сперанца, как метеор, налетела на них, схватила их за шиворот и стукнула друг о друга стрижеными головами. Мальчишки закричали от боли. Но это было еще не все. Пользуясь их замешательством, она пустила в ход кулаки и ноги, и дон Гаэтано, стоя в дверях церкви, едва удерживался, чтобы не закричать:

— Так их, дай им еще!

Наконец, выбившись из сил, Сперанца оставила их в покое и, тяжело дыша, обернулась, собираясь схватиться с новым противником, но, к своему удивлению, увидела, что дон Гаэтано улыбается, поднося к носу понюшку табака.

— Все?

Сперанца не верила своим глазам.

— Ты с ними разделалась, правда? Теперь иди обратно.

— Не пойду.

— Что ты сказала? Сейчас же ступай в церковь!

— Не пойду.

— Я хочу дать тебе отпущение. Ну, живо!

Сперанца робко направилась в церковь. Дон Гаэтано положил ей руку на плечо, и они вместе подошли к исповедальне.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

В тот день был праздник моряков, и в селение на украшенном флагами пароходе должен был прибыть епископ.

Все лодки в гавани были разубраны гирляндами цветов, а команды одеты по-праздничному.

Вдоль мола в ожидании прелата с букетами в руках стояли дети, которым предстояло принять конфирмацию. Сперанца была в белом платье и белых чулках, с большим венком на голове, из-под которого на плечи падала фата.

Когда пароход был уже вблизи гавани, зазвонили колокола, и дон Гаэтано, подталкивая вперед клирика, державшего крест, поспешно прошел через толпу детей прямо в конец мола.

Все задвигались, расступаясь, чтобы дать дорогу священнику. Дети, стоявшие впереди, на самом краю мола, чтобы без помехи полюбоваться зрелищем, начали толкать друг друга, стараясь тут же встать на свои места.

Одного из самых маленьких, который, позабыв обо всем на свете, во что бы то ни стало хотел остаться в первом ряду, пихнули сзади, и он полетел в воду. Раздался отчаянный вопль — вопль тех, кто стоял с ним рядом. Малыш даже не вскрикнул. Он камнем пошел ко дну. На мгновение наступило общее замешательство.

Как раз в этот момент пароход входил в гавань. Заиграл оркестр. Сперанца отдала себе отчет в грозившей опасности. Она сорвала с головы венок, не нагибаясь — ногой об ногу — скинула башмаки и бросилась в море. За первым криком последовал второй... Но это был уже не крик ужаса. Напротив, в нем слышалось облегчение. Никто не сомневался, что все обойдется благополучно: Сперанца плавала хорошо, и ребенок не мог быть тяжелым; вытащить его было довольно легко. И в самом деле, Сперанца скоро вынырнула с малышом, и они под пароход не попали.

Гребя одной рукой, она поплыла к лестнице на молу, где к ней потянулось множество рук.

Сперанца нырнула и вынырнула — только и всего, но в результате этого маленького купанья туалет ее оказался в плачевном состоянии. Венок, брошенный на землю, был растоптан десятками ног, фата разорвана, а платье, вымокшее в грязной воде, стало скорее серым, чем белым, и издавало острый запах гнилых водорослей.

— Боже мой, Спере, ты не сможешь теперь принять конфирмацию,— сказала со вздохом стоявшая возле нее девочка.

— Вот жалость, Спере... Во что превратилось твое платье...

— Что же, по-вашему, мне надо было стоять на месте — пусть себе тонет? — вспылила Сперанца, уже заметившая, в каком она виде.

Дон Гаэтано схватил ее за руку и сказал:

— Живо беги к Клементине! Пусть тебя обсушат и переоденут во что-нибудь. Поняла? Марш!

Сперанца не захотела бежать; она пошла медленно, точно стыдясь происшедшего. Все ее сторонились, чтобы не запачкаться.

— Спере, ты похожа на собаку, которую только что выкупали...— весело подмигнув ей, сказал старый Микеле.

— Молчите уж, — загремел вдруг дон Гаэтано, который на этот раз, казалось, обрел превосходный слух.— Молчите и подумайте лучше, не пора ли выбросить тот кусок известки, который вы подкладываете под чашку безмена, когда вешаете рыбу. Я уж давно хотел вам это сказать.

Микеле выпучил глаза и проводил дона Гаэтано изумленным взглядом.

Сперанца, побледнев, обернулась к священнику, но он уже нагнал ее и, подталкивая вперед, говорил шепотом:

— Ничего, не бойся... Тайна исповеди священна. Этот кусок известки я мог видеть своими глазами. Не беспокойся. Ну, живее! Беги к Клементине.

К тому времени, когда дети торжественной процессией пришли в церковь, Сперанца уже переоделась.

У Клементины, готовившей обед для монсиньора, в этот день было много хлопот. Ей помогало несколько женщин из селения. Они все вместе принялись обсушивать Сперанцу и приводить ее в порядок, пытаясь как-нибудь помочь беде.

Но, несмотря на всю их добрую волю, результаты были жалкие.

Упирающуюся Сперанцу втолкнули в церковь, повторяя на все лады: «Просто прелесть! Ты прекрасно выглядишь».

Но она была не глупа и понимала, что это неправда. Больше всего ей было жаль тетю: Марта так старалась собрать деньги, чтобы приодеть Сперанцу, и, конечно, пришла в церковь посмотреть на нее. Как она расстроится!

Выше всех ростом, в серой блузе одной из соседок, с лиловым покрывалом на голове, Сперанца казалась старушкой среди детей.

Но дон Гаэтано спас положение.

— Дорогие дети, это прекрасный праздник: наш общий и в особенности ваш праздник. Сегодня вы здесь, в доме божьем, окруженные своими близкими, и на вас за вашу невинность снизойдет великая благодать. Все вы дороги божественному младенцу, но не примите во зло, если я сегодня особенно похвалю одну из вас. Юное и великодушное создание, она только что в присутствии вас всех доказала свое человеколюбие. Вы уже поняли, конечно, о ком я говорю: о нашей славной Сперо...

Из глубины церкви до Сперанцы донеслись всхлипывания.

«Тетя Марта», — подумала девочка.

— Сперо была прилежной, когда училась в школе; работала в море в самые суровые дни войны и всегда жертвовала собой... У Сперо теперь нет, как у вас, родителей под боком, которые могли бы ее радостно встретить, но они пекутся о ней на небесах...

Для дона Гаэтано это была очень длинная речь, и все одобрительно кивали головой.

До Сперанцы донесся теперь легкий вскрик. «Так и есть: тетя Марта увидела, как я одета». Сперанца была подавлена.

Наступил момент, когда дети должны были встать в ряд, каждый перед своей восприемницей, но Сперанца тщетно озиралась по сторонам: ее восприемница исчезла. Это была молодая девушка, двоюродная сестра Сперанцы; она, наверное, сочла зазорным принимать конфирмующуюся в таком наряде. Это переполнило чашу, и Сперанца чуть не расплакалась.

К счастью, Клементина, присутствовавшая при церемонии, поняла, в чем дело. Сперанца почувствовала на своем плече руку старухи и оправилась от волнения. Получив конфирмацию и благословение епископа, она подняла голову и огляделась вокруг.

Это был действительно чудесный праздник. Прямо перед ней, на другой стороне церкви, выстроившись в ряд, стояли мальчики. Там были и оба «горезца», боязливо смотревшие на нее. И Сперанца заметила, что только они одеты по-будничному. Их было семь братьев, так чего же было удивляться, что родители не могли приодеть их получше.

Она почувствовала, что у нее пропала вся злоба на «горезцев», и улыбнулась им.

Она опять обвела взглядом церковь и в толпе мужчин увидала человека, чье лицо ей показалось смутно знакомым. Человек этот с каким-то любопытством смотрел на нее и, казалось, насмешливо улыбался, хотя на лице у него не дрогнул ни один мускул.

Она почувствовала себя как-то неловко и сразу отвела глаза.

Но почти тут же она опять взглянула на него и снова встретила этот взгляд... Кто бы это мог быть? Видно, приезжий: в селении она знала всех. Тем не менее он пристально смотрел на нее; казалось, он ее знал.

Где она его видела? Она опять отвернулась, стараясь вспомнить, кто это. Потом вздрогнула. Нет! Не может быть!

Сперанца еще раз посмотрела на незнакомца, выдержала его взгляд и вдруг улыбнулась. Тот просиял и помахал ей рукой. У нее запрыгало сердце. Таго! Как она его сразу не узнала? Таго! Конечно, он... Вот и Тони с ним рядом.

Таго, должно быть, приехал, когда она была уже в гавани вместе с другими детьми. Он приехал не иначе как за нею. Сперанца не могла больше следить за церемонией. Она уже ничего не слышала и не видела. Она вернется домой. Вместе с Таго... Потом она вспомнила, как одета, и ей стало стыдно. Если бы, по крайней мере, Таго видел ее перед тем, как она нырнула, такую нарядную, с венком на голове... Если бы он хоть знал, что с ней случилось...

Народ повалил из церкви. Сконфуженную Сперанцу вытолкнули на паперть. Тут она сразу же сдернула с головы покрывало Клементины и готова была снять и серую блузу, но во-время спохватилась, что останется тогда в нижнем белье.

Смущенная, она осталась на паперти, поджидая своих; ей пришлось ждать недолго. Скоро ее уже обнимала тетя Марта.

— Дорогая! Что за несчастье! Бедное ты мое сокровище! А Бруната, вот стерва, удрала. Посмотрим, хватит ли у нее после этого духа прийти обедать...

— Тетя Марта, Таго приехал, правда?

— Кто? А, этот двоюродный брат твоего отца. Он приехал за тобой. Но не можешь же ты так сразу взять да уехать... Поедете через несколько дней... Мне еще нужно собрать твои вещи... Дорогая! Что за несчастье!

Немного погодя подошли Тони и Таго.

Сперанца только смущенно улыбалась, и Таго первый протянул ей руку.

— Ну, Сперанца, ты меня не узнаешь?

— Конечно, узнаю!

— Я слышал, что ты теперь вроде как героиня, спасаешь утопающих... Молодчина! Когда про эту историю узнает дядя Цван, он ее так распишет, что вся долина будет диву даваться. А дома тебя ждут не дождутся.

Между тем Клементина позвала Сперанцу, и ей пришлось еще раз зайти на квартиру священника.

Ее платье уже высохло, и она могла переодеться.

Сперанца так и сделала и через несколько минут вышла в измятом и запачканном платье с венком в руке, похожем, скорее, на веник, которым она помахивала на ходу.

— Надень его на голову, — посоветовала тетя Марта.

— Его теперь и не напялишь, в комок свалялся,— ответила Сперанца.

— Дорогая, что за несчастье!

Сперанца и Таго шли, взявшись за руки, Марта и Тони — по сторонам.

— Спере, дон Гаэтано оказал тебе особую честь...

К ним торопливо подошла какая-то женщина и, отстранив остальных, обняла Сперанцу.

Потом ушла, ни слова не говоря.

— Это мать того мальчика, который упал в воду, — объяснил Тони.

Подошла к ним и Гита поздравить девочку: Сперанца украдкой огляделась — нет ли поблизости кого-нибудь из «горезцев».

Наконец, слава богу, добрались до дома. Сперанца, у которой мучительно болела голова, сразу побежала в спальню, разделась и со вздохом облегчения легла в постель. Вот и приняла конфирмацию. Она насмешливо улыбнулась самой себе. Ей всегда не везло. Ни в чем ей не было удачи. Даже в том, что должно было быть праздником для всех детей. Ни в чем.

«Ведь тебя почему-то зовут Сперанца»,— горько усмехнулась она про себя. — На что же тебе надеяться?»

Потом она посмотрела на младенца Христа в стеклянном ларце, и у нее отлегло от сердца.

Здесь был Таго. Он вернулся и приехал специально за ней, чтобы отвезти домой. Эта мысль, казалось, возмещала все неприятности. Она повеселела и легла поудобней.

Когда пришла тетя Марта позвать Сперанцу к столу, та уже спала, уровнив на глаза руку и сжав кулачки.

— Спере, —тихо окликнула ее Марта.

Девочка не проснулась.

Тетя Марта с минуту поколебалась, будить ее или нет, потом побежала на кухню посоветоваться с мужчинами.

— Как быть?

— Пусть спит, — сказал Тони.— Сегодня она наволновалась.

Таго был того же мнения.

— Бедняжка, — вздохнула тетя Марта, неся на стол индейку.— Бедняжка, что за несчастье!

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Они уехали на рассвете. Сели на «Кончетту» и поплыли вдоль берега на станцию.

Сперанца смотрела прямо перед собой. В этот час лодки выходили из гавани, скользя друг за другом по воде, казавшейся жидкой сталью. На горизонте вырисовывались темные линии голых мачт и рей. Потом медленно поднимались паруса: натягивались и надувались, устремляясь в полет.

— Вон бизань «Сантафеде», латинские паруса «Ветрогона», вон широкий красный парус «Марианы» и черный с голубым на «Сирене».

«Прощай, «Сантафеде», прощай «Ветрогон»...

Сперанца, как несколько лет назад, когда она приехала сюда, неподвижно, точно окаменев, сидела на полубаке и смотрела вперед. Как тогда, она крепко сжимала поручни, но уже не от страха, а от волнения.

Она прощалась со всем этим таким дорогим ей миром... Она уезжала. Она уезжала в край, о котором у нее осталось лишь смутное воспоминание, почти незнакомый ей теперь. Уезжала с двумя сумками, в которых было все ее имущество; с верой в будущее и жизненным опытом тринадцатилетней девочки; с двумя драгоценными подарками: восковым Иисусом и матросским ножом.

Нож подарил ей Микеле. Она пошла попрощаться с ним накануне вечером в его почерневшую от времени дощатую хибарку, опутанную, точно паук в своей паутине, двойным слоем сетей, растянутых для просушки. Когда она пришла, старик сидел на пороге и чистил рыбу.

— Хочу попрощаться с вами, Микеле, — сказала девочка.

Она откладывала это прощание до последней минуты, предчувствуя, что не осилит волнения.

— Значит, уезжаешь?

Старик даже не поднял головы.

— Да, Микеле. Прощайте... И простите. Простите, если я когда-нибудь вас огорчила.

Микеле медленно поднялся, тщательно вытирая нож о штаны.

— Не надо говорить «прощай», Спере. Мы еще увидимся... Ты молодец, а я собираюсь пережить вон то воронье.

Он указал рукой на черную стаю птиц, кружившуюся вдалеке над соснами. Лукавый огонек сверкал в его голубых глазах, а Сперанца вспомнила то, что не раз слышала от Микеле и других старых рыбаков. В детстве у Микеле были карие глаза, но мало-помалу они всё светлели, пока не стали совсем голубыми, как море, на которое он смотрел долгие годы.

— Мы еще увидимся. А теперь я хочу сделать тебе подарок. У хорошего моряка, Спере, должен быть свой нож... Настоящий нож, такой, как положено...

Он погладил лезвие ножа, потом сразу сложил его.

— Держи.

— Микеле... Ваш нож!

Все знали, что значит для Микеле этот нож.

— Что ты хочешь? — сказал старик, почесывая голову.— Человек предполагает, а бог располагает. Я-то собираюсь жить долго, но не знаю, как бог на это посмотрит. А если я умру, кому он достанется? Возьми уж лучше ты и пользуйся им, как надо. У него хорошее лезвие, и если бы он мог говорить, ему было бы что порассказать! Всего и за месяц не переслушать. Пользуйся им как надо, Спере, с умом, но без страха.

Сперанца смотрела на него, не в силах вымолвить слова, и Микеле, быть может, отдал себе отчет в нелепости своего подарка, глядя на худенькую руку, державшую складной нож с грубой рукояткой. Он взъерошил волосы девочки и засмеялся.

— Он пригодится тебе резать хлеб, и пусть у тебя, Спере, всегда будет кусок хлеба!

Микеле повернулся и вошел в хибарку.

Сперанца с минутку колебалась, потом подошла к порогу и пробормотала:

— Спасибо, Микеле, и до свидания. До скорого свидания.

И убежала.

Теперь Микеле плавал на «Ветрогоне», и Сперанца старалась различить его на обычном месте старшого, возле руля. С ним рыбачили самые бедовые мальчишки в гавани, в том числе трое старших «горезцев», и Микеле целый день орал на команду, выходил в море в любое время и любую погоду.

— С ума посходили! — говорил дядя Тони. — Вот уж правда: ветрогоны. Не то что за ветром, за молниями гоняются.

Не раз, возвращаясь на заре, они встречались с лодками, выходившими из гавани.

— Мы все море обчистили! — кричал Рыжий, один из «горезцев», приложив рупором руки ко рту. — Оставили вам всего одну сардинку. Попробуйте, поймайте!

Сперанца смотрела на лодки и мысленно повторяла:

«Прощайте, прощайте!»

На минуту она задумалась о матери, которая тоже когда-то сказала «прощай» облакам и парусам и уехала далеко, на болото, чтобы найти там смерть.

В молчании они приплыли к станции. Таго и Тони попрощались. Сперанца без слов поцеловала дядю.

— Но вы ее хоть привезете как-нибудь к нам?

— Конечно, если захочет.

Поезд тронулся, и Сперанца повернулась к окошку. Она глядела в него, но ничего не видела: слезы ей застилали глаза.

Спустя некоторое время ей на колено легла рука Таго.

— Крепись, Сперанца! Тебя ждут дедушка и бабушка и, как видишь, немало людей тебе желают добра. Что говорить, жизнь тебя не очень-то балует. Это верно, но кое-кому еще хуже, дочка. Есть и такие, кто совсем одинок.

Сперанца внимательно посмотрела на Таго. Горькая складка легла у него вокруг рта, и резкая морщина между бровей говорила о том, что у него в жизни было больше испытаний, чем радости.

— Таго, теперь, когда я буду в долине, я позабочусь и о тебе.

Таго с удивлением обернулся.

— Что ты хочешь сказать?

— Я думаю, что смогу приходить к тебе прибрать в доме и посмотреть за твоей одеждой... Не скажу — каждый день, потому что вы очень далеко живете. Но раз или два в неделю приду. Как ты думаешь, дядя Джузеппе позволит?

Таго засмеялся.

— Конечно, Сперанца. Только когда пойдешь знакомиться с ним, оставь дома это... — он показал на стеклянный ларчик,— а возьми с собой это...— и постучал пальцем по ножу Микеле.

Он опять засмеялся, забавляясь недоумением Сперанцы, потом взял ее за плечо и прижал к себе.

Сперанца почувствовала, что краснеет, сама не понимая почему, и Таго это заметил.

— Ты ведь еще ребенок, разве я не могу тебя поцеловать?

— Я не ребенок, Таго, — твердо сказала Сперанца.

Таго с минуту помолчал, видимо, не зная, как к этому отнестись. Потом снова засмеялся.

— Ладно, как хочешь. Но мне будет трудно смотреть на тебя, как на взрослую девушку. Не забудь, Спере, что позавчера я видел тебя в белом платье и с венком в руке. Если не будешь у меня ходить по струнке, шлепков тебе не пожалею.

Сперанца улыбнулась, не столько из-за шутливой фразы двоюродного брата, сколько потому, что Таго назвал ее «Спере» и это уменьшительное имя устанавливало между ними известную близость, перенося ее обратно в дорогой ей мир, который она оставляла позади.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

В селение они приехали вечером. Таго взял сумки, и они по дамбе пошли к долине. Сперанца озиралась по сторонам. Раза два она споткнулась и чуть не упала; пришлось держаться за Таго.

— Спере, не смотри на облака. Это хорошо на море. Здесь нужно глядеть себе под ноги. Сейчас-то еще ничего, но если ты вправду вздумаешь прийти ко мне на болото, то раньше научись хорошенько смотреть в землю. Не то очутишься в воде, как в день конфирмации.

Он тихо засмеялся, зная, что задел ее за живое. Ведь Сперанца старалась объяснить ему два дня назад, какая она была нарядная до этого злосчастного прыжка в воду.

Шли молча. Поднимался густой туман. Сперанца все смотрела по сторонам, но вокруг не было ничего знакомого, привычного. Теперь, когда их окутала мгла и в долине воцарилась мертвая тишь, ее охватило щемящее душу чувство тревоги и страха. Она крепко сжала руку Таго.

— Тоскливо, да? Ничего, привыкнешь. Здесь туман шесть месяцев в году.

— Тоскливо, это ты верно сказал. Так и в море бывало. Знаешь, иной раз плывем и даже воды не видим; только слышно, как она бьется о корпус. Потом, когда покажется, что берег близко, трубим в рог и ждем. Никто не откликается... Плывем дальше... Потом опять трубим и трубим... Опять не откликаются. А там уж стемнеет. Холодно... Так и блуждаем часами. Потом, наконец, с берега ответит другой рог. Прямо гора с плеч! Правим на звук, плывем тихо, мерим глубину — как бы не сесть на мель. Становятся слышны голоса. С берега нам кричат, какое это селение. Сколько раз бывало — не наше, и приходилось поворачивать и плыть в другую сторону. Но уж когда приплывали в свою гавань и приставали, не наскочив на камни, вот была радость. Выпрыгнем на землю, бросим лодку, как есть, и бегом по домам, а там огоньки горят, нас-то ведь ждут. Микеле кричит: «Что б вам всем пусто было! Сейчас же вернитесь помогать!»,— но мы ходу, только пятки сверкают...— Сперанца на минуту умолкла, потом прибавила вполголоса: — Хотя я почти всегда возвращалась. Подтянуть да зачалить лодку недолго, а больше и делать нечего — не мыть же ее в такой туман. Но Микеле уже старый, ему это труднее, чем нам. Нехорошо было оставлять его одного.

Таго остановился и опустил сумки на землю. Он закурил, потом неожиданно взял Сперанцу за руки, повернул их ладонями кверху и провел по ним пальцем.

— Не очень-то тебя жалели, Спере, родственники в Романье. Руки у тебя такие, что сразу видно, работала не на шутку. Сколько тебе лет, Спере? Двенадцать, кажется?

— Скоро тринадцать.

Таго глубоко затянулся и выпустил дым изо рта, потом с силой, так, что Сперанца пригнулась, положил ей руку на плечо.

— Посидим здесь минутку.

Сперанца молча села. Трава была мокрая и жесткая, и девочка подумала, что ей были бы здесь очень кстати прочные полотняные штаны, которые она носила на море. Таго сел возле нее.

— Я тебе должен кое-что сказать, Спере. Думаю, ты меня поймешь. Я был меньше тебя, когда спознался с голодом. Ты никогда не голодала, и дай бог, чтобы тебе никогда не пришлось голодать. А я вот голодал, да так, что все нутро выворачивало. Тогда еще дедушка был там, в сумасшедшем доме, и я его не знал. Отец время от времени приходил домой и приносил немного рыбы или водяную курочку. Когда он приходил, мы ужинали. Когда не приходил — зубы на полку. Нас было четверо ребят; и я — самый старший. Женщина, которая тогда жила с моим отцом, бывало, часами стояла на пороге хибарки и ждала. Глаза у нее становились все больше и мрачнее, лицо пожелтело. Она никогда не говорила с нами. Только когда отец возвращался, они оба кричали и он ее бил. Однажды она ушла и вернулась только к вечеру. Это было в первый раз. Потом она все чаще стала где-то пропадать по целым дням. Домой она приходила с хлебом и фруктами и все смотрела на нас, пока мы ели, а глаза у нее блестели, как в лихорадке. Когда отец погиб, она

сложила в мешок свои пожитки, взвалила его на плечи, взяла на руки самого маленького, позвала двух других, которые с обеих сторон уцепились за юбку — это были ее дети, — и ушла, спросив у меня, пойду я с ней или останусь. Я остался. И больше ее никогда не видел. Говорят, она живет с одним объездчиком, который ее бьет, как бил мой отец, но кормит — и ее, и детей. Несколько месяцев я жил один в хибарке. Дедушка Джузеппе тогда еще не вернулся, и у меня никого не было. Дня через два после того, как ушла моя мачеха, я вышел из дому и болотом добрался до «хуторов». В одном из них я наворовал кукурузы, сварил ее и поел. Я возвращался на то же место несколько дней подряд, и в конце концов меня поймали. Били так, что у меня вот здесь,— он показал на плечо,— до сих пор есть отметина, а в первые дни я не мог двинуть рукой. Потом я пришел к тому крестьянину, который меня избил, и сказал ему: «Вы правы, потому что это ваше добро, а воровать нельзя. Но я хочу есть». Тогда он взял меня на работу. Я работал весь день за миску поленты, а к ночи удирал с сеновала и шел на болото, чтобы хоть поспать в своей хибарке. Как-то вечером я еще издали увидал над ней дымок и прямо глазам своим не поверил. Вот, думаю, чудеса. Прихожу, а там какой-то старик — это был дедушка. Он не позволил мне больше ходить на ферму, а вместо того научил меня охотиться. Так мы и жили много лет: охотились да ставили капканы. Когда мы приходили в селение, на нас люди пальцами показывали: «Мори...» А потом шептались у нас за спиной о дедушке, о моем отце, о мачехе. У меня от этого всегда такая горечь была — полон рот желчи. Но я молчал. Я так долго молчал, Спере, для того, чтобы когда-нибудь сказать все разом и без лишних слов. Этот день еще не наступил, но он не за горами. Со временем — я был тогда уже взрослым парнем — я нашел себе товарищей, и теперь больше не занимаюсь браконьерством, а работаю вместе с ними на осушке болота и вечерами читаю. Все это я к тому говорю, что, в сущности, ты, девочка, начинаешь жизнь все-таки в лучших условиях, чем я, и если я выдержал, выдержишь и ты. Твой дед и бабушка состарились, Спере, а после смерти Берто стали и вовсе плохи. Минга иногда заговаривается, а дядя Цван... Этот всю жизнь ничего путного не говорил. Одиноко тебе будет с ними в этой глуши; покажется, что затерялась в таком вот тумане. Здесь в рог не затрубишь, чтобы откликнулись с берега. Но здесь я, и ко мне ты всегда сможешь прийти. Было бы жаль, если бы ты не пришла когда надо.

Он вскочил на ноги. Поднялась и Сперанца. Его слова не ободрили ее, ей стало еще тоскливее.

Они молча двинулись дальше. Темнота все сгущалась. Наконец они подошли к болоту, и Таго решил перейти его вброд, чтобы сократить путь.

— Обожди. Я тебя перенесу, а то промочишь ноги с непривычки, ничего не видно.

Он снял ботинки и засучил штаны; потом взял вещи Сперанцы и вошел в воду. Сперанца ждала, прислушиваясь к удаляющемуся плеску и озираясь в темноте. Вдруг где-то совсем рядом раздался резкий крик.

И сразу же послышался голос Таго:

— Не бойся, Спере. Это филин.

Голос звучал как-будто рядом. И в самом деле, тут же опять показался силуэт Таго, и Сперанца опрометью сбежала с дамбы ему навстречу.

Когда он ее поднял, чтобы перенести через болото, Сперанца положила ему голову на плечо и вдруг почувствовала себя спокойной.

(Продолжение следует)

Иоганнес Р. Бехер

СТИХИ о войне и о мире

Перевод с немецкого Льва Гинзбурга

Пусть на меня клевещут словоблуды,
Пусть злобствуют, пусть лают день и ночь.
Я буду жить, творить, смеяться буду,
Лишь изредка скажу негромко: «Прочь!»

Но если нечисть подлая грозит
Родной земле, с которой сердцем связан,
Тогда любой, кто мыслит и творит,
Ее от новых войн спасти обязан.

И ты, поэт, познавший силу слов,
Кому навек дана народом лира,
Ты, выразитель пламенных идей,

Иди в народ, буди сердца людей,
Чтобы везде услышан был твой зов,
Набатный твой призыв: «Добьемся мира!»

БИТВА У БЕРЕЗЫ

Баллада

Береза во поле росла,
Корой покрыта белой.
Над ней гудел, взметнув крыла,
Злой ветер ошалелый.
Он тучи хмурые сбирал,
Зеленый свет листвы дрожал,
И нависали грозы
Над зеленью березы.
Береза в русской стороне
Стояла в чистом поле

И вспоминала, как во сне,
О прежней тяжкой доле.
Но прочь ушла пора невзгод.
Гармонь приветливо поет
На танцах в воскресенье
Под той зеленой сенью.

Вдруг с запада ударил гром
И молнии сверкнули.
Ствол пошатнулся, и кругом
Застрекотали пули.
И чванный оберст молвил так:
«Сия береза — это знак
Победы над врагами.
Рус дрогнул перед нами!»

Была изрезана кора
Фамилиями немцев.
Здесь отдыхали у костра
Отряды чужеземцев.
«Эй, немцы, кто вас звал сюда?
Вы не уйдете от суда!
Спасайтесь! Будет поздно!»—
Листва шумела грозно.

Они сошлись в зловещий круг,
Как палачам пристало.
Кора березовая вдруг
Еще белее стала:
На голой ветви при луне
Мертвец качался в вышине,
И в скорби похоронной
Береза никла кроной.

И тайно к дереву народ
Со всей земли сходился,
Как будто в этот черный год
В березе свет таился.
Мечта свершится ль, наконец?
И тут к живым воззвал мертвец:
«Вперед, за дело чести!
Враг не избегнет мести!»

И ночь прошла, и день настал,
И листья встрепенулись,
Из тысяч жерл ударил шквал —
То русские вернулись.
Под грохот битвы грозовой
Шел у березы смертный бой,
Вскипая днем и ночью,
Все злее и жесточе.

Кора изрезана была
Фамилиями немцев.
И вот под деревом — тела
Убитых чужеземцев.

А на березе письмена,
Чужие эти имена,
Как раны, рубцевались...
...За что же вы сражались?

Береза грустно на траву
Героя опустила.
И весь народ, склонив главу,
Стоял у той могилы.
Затем промолвили они:
«Береза! Пусть в твоей тени
Спит сын народа павший,
Все Родине отдавший!

Как ты, свежа и зелена,
Жизнь расцветет здесь смело!»
И, крону выпрямив, она
Листвой зашелестела.
О дивный, нежный свет берез!
И не скрывали люди слез,
Крепки рукопожатья.
«Мы победили, братья!»

Дома украсили они
Зелеными ветвями.
Листва светилась в эти дни
В любой оконной раме.
Уже гармонь играет вновь.
Нет, проливал недаром кровь
В бою за древо жизни
Тот, кто служил отчизне!

«О немцы! Что за страшный сон!
Без пользы и без цели
Вы на березу с трех сторон
Обрушиться посмели.
Кто вас погнал в страну берез,
Беду Германии принес!»
Шумит береза летом,
Сияя вечным светом.

О РОДИНА — МОЯ ПЕЧАЛЬ

Сквозь шквал огня, сквозь тучи дыма,
Твой вечный образ возлюбя,
Искал тебя неутомимо
И вдруг в себе нашел тебя.
Среди руин в немом рыданье,
В лохмотьях беженки седой

Нашел тебя, мое страданье,
Мое стремленье домой.

В крови искал и в рваных ранах,
Средь жертв, которым нет числа.
Не ты ли в муках постоянных
Мне утешением была?

Я призван мертвыми твоими,
Кто за твою свободу пал,
Чтоб я, возникнув пред живыми,
Их волю братьям передал.

О, я немалый путь измерил!
И там, во мгле руинных груд,
Нашел тебя средь тех, кто верил,
Что все равно тебя найдут.

Так что же вечно в этой жизни,
Что освещает путь мой вдаль?
О, лишь одно: любовь к отчизне,
Ты, Родина,— моя печаль!..

НОВАЯ ПЕСНЯ ЖИЗНИ

Стучит ли дождь в оконце,
Гремит ли в небе гром,
Иль жарко светит солнце —
Мы эту песнь поем.

Ее поют машины
На фабрике, в цехах,
Она незаглушима,
Живет в людских сердцах.

Поют ее мальчишки
В столице и в селе,
И песни в море вышли
На смелом корабле.

С надеждой и любовью
Поют ее кругом:
Рыбак поет на ловле,
Рабочий за станком,

Крестьянин, засевая
Просторные поля,
И в праздник урожая
Поет ее земля.

Нет, мы подобной песни
Не знали до сих пор.
Вздымайся ж к поднебесью
Сердец могучий хор!

И новой песне вторя,
Мы славим лучший час,
Что от былого горя
Навек избавил нас.

Вы все, кто безымянны,
Пусть каждый запоет
О времени желанном,
Что людям мир несет!

СНЕГОПАД

Сегодня сильный снегопад,
И кажется, что это
Из мрака на землю летят
Густые хлопья света.

Полей задумчивая гладь
Искрится ночью темной,
Чтоб свет широко разостлать
По всей земле огромной.

Рожэ Вайян

ПЬЕРЕТТА АМАБЛЬ

РОМАН

(продолжение)

Перевод с французского М. Надеждиной и И. Эрбург

Пьеретта вошла, Летурно затворил дверь.

Она удивилась: как здесь светло! Все кабинеты ПТАО, в которых она бывала, казались мрачными: в каждом из них единственным источником света служило окно с мутными стеклами — мыли его всего два раза в год, весной и осенью,— стены были засижены мухами, потолки облуплены.

В этой комнате — угловой с тремя окнами — на белых, свежевыкрашенных стенах развешаны яркие картины в светлых рамах.

— Садитесь...

Летурно указал на мягкое кресло у письменного стола. Пьеретта хотела было отказаться и сесть на один из деревянных стульев в прежнем стиле ПТАО, выстроенных в ряд вдоль стены, но тут же одернула себя: а почему, собственно говоря, делегатка рабочих не имеет права сидеть в кабинете директора в мягком кресле? И она опустилась в глубокое кожаное кресло, вытянула одну ногу, подогнула другую и положила руки на подлокотники. Затем она подняла глаза к Летурно; он сел по ту сторону стола, в обитое кожей кресло цвета лимонного дерева. Эта очень светлая кожа напомнила Пьеретте предметы роскоши, выставленные в витринах магазинов. Тут она заметила на столе вазу с розами. Летурно отодвинул ее в сторону, чтобы она не мешала им видеть друг друга.

— Вас удивляют розы в конторе ПТАО? — спросил он.

— Вы меня вызвали...

— Да, да, минутку...

Летурно рылся среди бумаг и книг, наваленных на столе.

— Нашел, — сказал он. — Дело в том, что Нобле просил меня подписать приказ об увольнении трех чернорабочих со склада, которые... явились на работу пьяными...

Летурно улыбнулся, словно извиняясь.

— Я вам прочту докладную записку. «...которые, значит, — продолжал он, подражая актеру, играющему жандарма в комедии,—...которые явились на фабрику в нетрезвом виде, в четвертый раз в течение одного месяца, несмотря на то, что предварительно получили три предупреждения по тому же поводу».

«Слово «предварительно» он прибавил от себя, — подумала Пьеретта, хорошо знакомая со стилем приказов ПТАО. — Должно быть, Летурно хочет мне показать, что он не такой, как Нобле, а человек образованный, ученый».

— Как вы к этому относитесь? — спросил Летурно.

— Впервые слышу об этом. Надо будет навести справки. Пожалуйста, назовите фамилии уволенных рабочих.

— К чему? Я отказался подписать приказ, — Летурно, смеясь, заглянул ей в лицо.

«Сколько ему лет? — думала Пьеретта. — Говорят, двадцать четыре, но смех у него совсем детский. Беспечная жизнь. Такие люди не взрослеют».

— Спасибо, — сказала она безразличным тоном.

— Если им будут чинить неприятности, я их вызову... и мы с вами... вдвоем... поговорим с ними.

Пьеретта встала.

— Благодарю вас от имени этих рабочих.

Она кивнула и повернулась к двери.

— Мне надо с вами еще кое о чем поговорить, — торопливо сказал Летурно, вскакивая с места.

Пьеретта вернулась к столу.

Теперь они стояли друг против друга. Летурно указывал большим пальцем на картину, висевшую за его спиной:

— Нравится вам такая живопись?

Пьеретта обдумывала: «Как мне поступить? Уйти? А может быть, сухо ответить: ПТАО мне платит не за то, чтобы я любовалась картинами... Но зачем обижать парня, который до сих пор...» Тут у нее мелькнула другая мысль: «А вдруг в самом содержании картины есть что-нибудь для меня оскорбительное? Тогда я дам пощечину пакостному мальчишке». Пьеретта взглянула на картину и расхохоталась.

— Ну как? — настаивал Филипп.

— Право, не знаю.

— Это превосходная репродукция Пикассо того периода, который я больше всего люблю. Вам не кажется, что она так и дышит счастьем?

— Не знаю.

— Но вам, конечно, известно, что Пикассо член вашей партии?

— Значит, он честный человек.

— Но его живопись вам не нравится? — не унимался Летурно.

— Я недостаточно образованна, чтобы о ней судить.

— Вот это интересно! — воскликнул Летурно. — «Я недостаточно образованна». Вы чудесная женщина, вы даже сами не понимаете, какая вы чудесная...

Пьеретта смотрела на него широко раскрытыми глазами.

— Вы прекрасны своей непосредственностью, — продолжал Летурно, заметив ее недоумение. — Я убежден, что вы разбираетесь в живописи гораздо лучше, чем вам кажется.

— О живописи я могу судить только по картинкам почтового календаря. Других картин я, пожалуй, и не видела.

— Извините, — сказал Филипп. — Пожалуйста, простите меня.

— За что?

Летурно с минуту молчал, потом неожиданно спросил:

— Почему вы меня ненавидите?

— Вовсе нет, — рассмеялась Пьеретта.

Филипп, казалось, совсем растерялся. Пьеретта добавила:

— Я даже думаю, что вы славный малый.

— Я хочу добра рабочим, — быстро сказал Филипп. — Сами видели, что я не подписал приказа об увольнении ваших товарищей... Нобле, конечно, доложит об этом в ПТАО... А мне наплевать.

— Не думаю.

— Вы не верите, что мне наплевать на ПТАО?

— Этому — верю. Я не сомневаюсь, что вы можете себе позволить иногда и позлить дирекцию ПТАО. Я хотела сказать другое: вряд ли Нобле рассердится на вас. Скорее всего он воспользуется случаем, чтобы подчеркнуть снисходительность дирекции по отношению к рабочим. Ведь пьяниц, из-за которых вы меня вызвали, наверняка стоило бы выгнать.

— Так вы согласны с теми мерами, против которых я восстал? — удивился Летурно.

— Нет, я против любых репрессий. В конце концов, если рабочие пьют, в этом вина ПТАО. Но я просто хотела обратить ваше внимание на то, что Нобле всегда оказывает снисхождение пьяницам.

— Значит, он лучше, чем я думал.

Летурно и Пьеретта попрежнему стояли друг против друга у стола.

— Дирекция вообще смотрит сквозь пальцы на проступки рабочих, если они вызваны пьянством.

— Вот уж не думал, что дирекция ПТАО так гуманна.

Наступило молчание. Пьеретта вспомнила о старухе работнице из ее цеха, которая пила запоем и все же работала, не снижая темпа, потому что сама уже стала частью машины. Проходя мимо нее, инженеры перемигивались: «Вот бездонная бочка мамаша Варье!» Ей прощали прогулы, опоздания: но надо сказать, что в последней забастовке одна она не принимала участия.

Пьеретта в двух словах рассказала об этом Летурно.

— Но когда я защищаю пьяниц, я исхожу совсем из других соображений, чем Нобле, — живо возразил Летурно. — Будем пьяны, вечно пьяны — писал Бодлер... Моя сводная сестра — вы вчера ее видели — напивается каждый вечер... Тем более я способен понять ваших товарищей, они живут в таких ужасных условиях...

Пьеретта молча глядела на него. Филипп осекся, потом сказал:

— Я говорю глупости... Я отказался подписать приказ потому, что хотел доставить вам удовольствие. Вот и все.

Пьеретта нахмурилась.

В это время кто-то постучался и тут же открыл дверь, не дожидаясь ответа. Пьеретта услышала за своей спиной голос Нобле:

— Виноват, прошу прощенья!

Дверь затворилась.

— Не подумайте только... — продолжал Летурно.

Пьеретта смотрела на него вопросительно, без тени улыбки и даже несколько сурово.

— Я презираю тех, — продолжал Филипп, — кто пользуется своей властью, чтобы... Да ведь и вы не потерпели бы...

Улыбка, скользнувшая по губам Пьеретты, вернула Летурно его красноречие.

— Мне хотелось доставить вам удовольствие. Возможно, это и эгоистично, но я хотел себе самому доказать, что я непохож на людей моего круга. Да, так оно и есть... Я стремился доказать себе, что я на стороне рабочих.

Пьеретта снова улыбнулась.

— Но дело не только в этом, — поспешно добавил Летурно. — Мне очень хочется заслужить ваше уважение... Вы поняли меня?

— Кажется.

— Присядьте на минуту, — попросил Летурно.

— Не могу. Если я у вас пробуду еще дольше, пойдут разговоры.

— Неужели вы считаетесь с мнением Нобле?

— Мне трудно будет с ним бороться, если он перестанет меня уважать.

— Хотите, я распахну дверь настежь?

— Если я сейчас же не вернусь в цех, мои товарки тоже начнут судачить. Они вправе не доверять, их слишком часто обманывали. До свидания, мосье Летурно...

— Вы отказываете мне в помощи... — сказал Филипп. — Не хотите, чтобы я при вашем содействии помогал вашим товарищам.

— Что же, — Пьеретта лукаво улыбнулась, — тогда завтра к вам придет кто-нибудь из коммунистов и передаст вам нашу просьбу.

— Что-нибудь важное?

— Мы придаем этому большое значение.

— Можете на меня рассчитывать.

— Увидим.

Пьеретта пожала ему руку и направилась к двери.

— Мадам Амабль! — окликнул ее Летурно.

— Что еще? — сухо спросила Пьеретта.

— Разрешите сделать вам подарок, не имеющий никакой ценности!

— Смотря что.

Летурно порылся в ящике стола, вынул книжечку чуть потоньше «Лекций о задачах коммунистической партии», раскрыл ее, разрезал страницы и что-то там написал; потом протянул книжечку Пьеретте.

Она прочла на обложке: «Филипп Летурно. Утес, мел, песок. Стихи. Издательство Пьера Зегерса»; на заглавном листе было выведено крупным детским почерком: «Мадам Пьеретте Амабль, уважение которой я хотел бы когда-нибудь заслужить».

— Прочтите, если будет время... Правда, это стихи не совсем обычные, как и картина Пикассо... Но примите их в знак дружбы...

— Спасибо, — сказала Пьеретта. На этот раз в ее улыбке не было ни иронии, ни насмешки. Филипп в ответ тоже улыбнулся.

— Итак, завтра я подвергнусь испытанию, — сказал он, крепко пожимая ее руку.

Пьеретта стремглав сбежала по лестнице — свидание продлилось сорок минут. В цехе она бросила книжечку стихов на тумбочку около станка, и Маргарита, воспользовавшись перерывом, взяла книжку и прочитала надпись.

— Чепуха! — сказала Пьеретта.

— Что же ты так покраснела?

— Ты дура, — вскипела Пьеретта. — Потому я и покраснела, что знаю, какая ты дура.

IV

Когда смена окончилась, Маргарита отыскала Пьеретту и спросила ее:

— Ты не сердишься на меня?

— За что, собственно?

И, взявшись под руку, они пошли к родителям Маргариты. Пьеретта всю дорогу выслушивала признания подруги. Маргарита была влюбчива. Последним ее увлечением был молодой парень, служивший в ведомстве путей сообщения; он должен был со дня на день получить назначение в окрестности Лиона: «Ах, если бы он увез меня с собой!..» — мечтала вслух Маргарита, ей очень хотелось вырваться из Клюзо.

Пьеретта пришла домой только в семь часов. На кухне уже собрались Бомаск, Фредерик Миньо и Кювро.

— Добрый вечер, мадам Амабль, — встав с места, поздоровался Бомаск.

— Меня зовут Пьеретта.

— Добрый вечер, Пьеретта, — сказал Бомаск.

Такой разговор повторялся при каждой встрече. Хотя все в Клюзо называли Пьеретту по имени, Бомаск упорно обращался к ней «мадам Амабль» и изменял своему правилу, только когда она просила об этом.

Он предложил ей сигарету из легкого табака, с золотым ободком. Бомаск курил только «Сюльтан», хотя его товарищи французы и подсмеивались над ним.

Миньо был занят чтением последнего номера «Франс нувель» и делал из него выписки.

— Опять дома неладно? — спросила Пьеретта.

— Опять, — проворчал Миньо, не поднимая головы.

— Ох и всыплю же я им! — воскликнул Кювро. Он записал на листке, вырванном из тетради, текст своего выступления на предстоящем собрании муниципального совета и начал читать его вслух, но Миньо возмутился:

— Невозможно работать!

В этом году апрель стоял холодный, и Кювро, не дожидаясь Пьеретты, растопил плиту. Пьеретта оставляла ключ от квартиры в почтовом ящике на первом этаже или в дверях. Товарищи могли заходить сюда в любое время, чтобы прочитать какую-нибудь брошюру, просмотреть подшивку коммунистической газеты или журнал, порыться в профсоюзном архиве или просто спокойно поработать, если им мешали дома.

— Раз ты плиту растопил, надо было двери открыть! — рассердилась Пьеретта. — У меня в комнате, наверно, мороз.

Пьеретта распахнула настежь двери трех смежных комнат; спала она в крайней, которая выходила окнами на север, прямо против скалистого обрыва. Рабочий поселок строили в начале века, когда у Жоржа Летурно было не менее пяти тысяч рабочих. Сейчас, хотя количество продукции и увеличилось благодаря техническим усовершенствованиям, на фабрике работало всего тысяча двести человек. Вот почему каждому рабочему в поселке предоставлялась отдельная комната. (Пьеретта получила свою нынешнюю квартиру еще в то время, когда жила вместе с мужем и ребенком.) На каждом этаже была всего одна уборная на все десять квартир, расположенных вдоль открытой галереи. Во всем поселке не было ни одной ванной. Душевая, устроенная на площадке между домами, действовала только летом. Когда же Пьеретта потребовала, чтобы ее топили и зимой, Нобле ответил:

— Это дорого обойдется. Да и к чему? Вы же сами знаете, что зимой никто не станет принимать душ и правильно поступит. Теперь вошло в моду вечно мокнуть в воде, и не удивительно, что люди так часто болеют ревматизмом и чахоткой.

Нобле говорил вполне искренне. Кстати, на вилле, где он жил, выстроенной ПТАО для высокооплачиваемых служащих, тоже не было ни ванной, ни душа. Двадцатитрехлетняя дочь Нобле, которая заочно окончила курс гуманитарных наук, ежегодно устраивала отцу сцены, требуя, чтобы тот построил в кредит ванную комнату, но ею руководило только одно соображение: «так полагается». Мари-Луиза Нобле читала журнал «Селексион». Уступи ей отец, она все равно зимой не пользовалась бы ванной — такова сила привычки. А вот технический директор, тридцатипятилетний инженер Таллагран, поставил за свой счет ванну для жены, и она купалась каждое утро — весь город говорил об этом. Но Таллагран окончил «Эколь сантраль», и его жена — дочь управляющего одной горнопромышленной компании, разбогатевшего на национализации. В таких мелочах и раскрывалось глубокое различие между двумя поколениями служащих ПТАО. То же различие существовало в их методах работы на фабрике.

По обстановке комнаты Пьеретты можно было судить о зажиточности ее дяди, моего соседа по Гранж-о-Вану. Старик Амабль дал племяннице в приданое широченную кровать вишневого дерева, похожую на ладью, с красной периной из гусиного пуха, массивный ореховый шкаф. Один только шерстяной тюфяк равнялся по стоимости месячному заработку Пьеретты, а может быть, и того больше.

Во второй комнате, смежной с кухней, стояли диван и полированный буфет с застекленными дверцами — безумная прихоть мужа Пьеретты, — приобретенный к первой годовщине их свадьбы. Он купил буфет в рассрочку, а деньги пришлось в конце концов вносить Пьеретте. Долгое время буфет этот вызывал в ней отвращение, как и всё, что напоминало ей изгнанного негодяя. Теперь она хранила в буфете профсоюзный архив.

Пьеретта поставила кастрюлю супа на плиту и спросила Миньо, ужинал ли он.

— Нет, но это не важно.

— Опять не поладил с женой?

— Я сам во всем виноват. Стал ее попрекать вчерашними разговорами о младшем Летурно; она возмутилась: «Стоило появиться в наших краях приличному человеку... Ты, конечно, предпочитаешь, чтобы я водила знакомство с твоими «бико́». Начались спазмы. Я хлопнул дверью и ушел.

— Ты груб с женой, — сказал рабочий Кювро.

— А что с ней делать? Она мечтает об одном — быть принятой в доме мадам Таллагран. И ненавидит нас за то, что мы этому мешаем.

(У Раймонды Миньо было превратное представление о высшем обществе Клюзо. Жена инженера ни за что не пригласила бы к себе жену Миньо. Из опасения прослыть провинциалкой мадам Таллагран ни к кому в гости не ходила, никого у себя не принимала и кичилась тем, что друзья у нее только в Париже, куда она ездила дважды в год на две недели. Именно в этом и проявлялась провинциальность мадам Таллагран. Дочь Нобле по той же причине не заводила знакомств в Клюзо.)

— Незачем было на ней жениться, — продолжал Кювро. — Или разойдитесь. Но нельзя же день и ночь упрекать ее за то, что она мещанка.

Бомаск усмехнулся. Он, как истый итальянец, знал, как должен вести себя муж, если хочет быть хозяином в доме. От его насмешливого взгляда Миньо стало не по себе; он поднялся и подошел к плите, делая вид, будто хочет погреться. Тут он увидел сборник стихов Филиппа Летурно, который Пьеретта положила на стол. Миньо раскрыл книжку и прочел посвящение.

— Вот ты и готова броситься в объятия красавчика Филиппа!

Пьеретта смолчала. К Миньо все относились снисходительно, объясняя его желчность тяжелым характером жены. Пьеретта подробно рассказала о своем свидании с Филиппом Летурно.

— Будь осторожна, он провокатор, — сказал Миньо.

— Ты думаешь?

— Он хочет втереться в доверие, чтобы развязать тебе язык. Он шпик ПТАО.

— Нам нечего скрывать, — возразила Пьеретта.

— По-моему, он просто гага, — вмешался Бомаск.

Все рассмеялись. «Что ты хочешь этим сказать? Почему «гага»?

Бомаск объяснил, что в Италии так называют молодых людей, которые носят длинные волосы и узкие брюки...

— По-нашему, это пижоны, — догадалась Пьеретта.

— Маменькины сынки, — добавил Кювро.

В старину о таком молодом человеке, как Филипп, сказали бы, что он франт или щеголь.

— На мой взгляд, он просто несчастный мальчишка, — сказала Пьеретта.

— Если он говорил искренне, пусть займется сторонниками мира,— решил Кювро. — Он может наладить отношения с врачами, нотариусами и директором школы, с которым мы никак не можем договориться.

— Мне вот что пришло в голову, — проговорила Пьеретта. —Попросим его подписать протест против ареста Х.

— Таким образом он сразу сможет доказать, честный ли он человек. Да и от подписи внука Летурно вреда нам не будет.

— Великолепная мысль! — воскликнул Миньо.

— Кому мы это поручим? — спросила Пьеретта.

Сперва полагалось определить «задание», потом назначить «ответственного за выполнение», а затем «представить отчет». У Пьеретты это уже вошло в привычку.

— Займись ты, — предложил ей Миньо.

— Нет, — возразила Пьеретта.

— Почему же нет? Ведь вы с ним в хороших отношениях, — настаивал Миньо.

— Если я еще раз с ним встречусь, найдутся такие же дураки, как ты, и сделают выводы вроде тех, что ты начал было мне выкладывать.

— Она права, — сказал Кювро. — Ты сдавал разные экзамены — кому же, как не тебе, разговаривать с поэтом?

Пьеретта вынула из ящика кухонного стола школьную тетрадку и чернильный карандаш; помусолив кончик карандаша, она написала:

«З а д а н и е: Подпись Ф. Летурно под протестом против ареста Х. О т в е т с т в е н н ы й з а в ы п о л н е н и е: Миньо».

— Когда ты пойдешь? — спросила она.

— Завтра.

Пьеретта снова помусолила кончик карандаша и записала: «П р е д с т а в и т ь о т ч е т: 28 апреля».

Затем она налила супу Миньо и себе; Бомаск и Кювро уже поужинали. Съев суп, Пьеретта сбила яичницу и открыла консервную банку с тунцем. Рядовой рабочий в Клюзо не может себе позволить такую роскошь, но Пьеретта очень не любила готовить и потому покупала яйца и консервы. Правда, к концу недели, перед получкой, она сидела на одном хлебе и кофе с молоком, но нисколько от этого не страдала.

Пьеретта получала около 25 тысяч франков в месяц, включая пособие на сына. Ребенок находился у дяди, и его содержание ничего ей не стоило. Жила она лучше, чем Миньо, хотя тот и зарабатывал 50 тысяч франков. Жена Миньо много тратила: она купила холодильник, шубу из золотистой цыгейки. Ей казалось, что благодаря этим приобретениям она приближается к высшему обществу.

И все же, хотя Пьеретта и жила в сравнительно большем достатке, чем Миньо, она была гораздо беднее его. Пьеретта ни разу не ездила в мягком вагоне, никогда не видела моря, не была в Париже, никогда не носила шелкового белья. В Лионе, куда она отправлялась четыре раза в год на общие собрания делегатов рабочих всех отделений ПТАО, Пьеретта с любопытством разглядывала в витринах парфюмерных магазинов различную косметику, назначение которой ей было известно со слов Маргариты, но губную помаду и крем для лица покупала в магазине «Стандартные цены» или у парикмахера в Клюзо. Всего два раза в жизни Пьеретте удалось побывать в театре «Селестэн», да и то на

галерке. Всегда она бывала вынуждена «высчитывать» (занятие далеко не из приятных).

Миньо благодаря премиальным и полученному им маленькому наследству не раз смог, «не очень высчитывая», совершить поездку на юг, купить новый костюм.

Жакляры преподавали в школе, и вместе с пособием, которое они получали на своих троих детей, располагали 120 тысячами франков с лишним в месяц. Пьеретта и они представляли собой два типа коммунистов, столь же отличающихся друг от друга, как Нобле от Таллаграна, если сравнивать служащих фабрики. Жакляры имели машину, которую, правда, они предоставляли в распоряжение партии; а Пьеретте даже в голову не приходила мысль о приобретении собственной машины до тех пор, пока все не изменится и «мы наш, мы новый мир построим». Покупка автомобиля так же мало входила в ее расчеты, как перемещение звезды четырнадцатой величины в расчеты прочности железобетонного моста. Но каждый раз, когда она обращалась к Жаклярам с просьбой отвезти кого-нибудь из товарищей, она старалась как можно более непринужденно поблагодарить их; она боялась их обидеть, дав почувствовать, что они живут в лучших условиях, чем она; это и есть свойственная рабочим деликатность.

Пьеретта не замечала своей бедности. В ту пору она отказалась от личной жизни, целиком отдалась общественной деятельности и уже почти совсем превратилась в профессиональную революционерку, хотя, если бы ей это сказали, она крайне удивилась бы. Выражение «профессиональная революционерка» ей было знакомо только по русским романам, и она считала, что ей бесконечно далеко до героев рабочего движения.

После ужина, который занял мало времени, начался урок. Бомаск не мог похвастаться большими успехами; у Пьеретты было слишком много обязанностей, и уроки она давала нерегулярно. Она села в плетеное кресло, Бомаск — напротив нее на стул, положив на колени календарь, а поверх него — лист бумаги. Сегодняшний диктант был посвящен правописанию безударных гласных.

«Солнце уже склонялось, далеко отражая косые лучи...» — диктовала Пьеретта.

— Касые? — спросил Бомаск.

— Да нет, ты же не скажешь «касо». Тебе это правило и было задано.

— Напрасно вы тратите на меня время, мадам Амабль!

— «...и дети заспешили домой, боясь рассердить маму».

— Вы оба скоро превратитесь в полных идиотов, — проворчал Миньо.

В одиннадцать часов Пьеретта пошла спать и закрыла дверь в свою комнату. Бомаск, Миньо и Кювро некоторое время еще поговорили и разошлись, бросив ключ от квартиры в почтовый ящик. Клюзо — узловая станция, и случалось, что кто-нибудь из членов федерального бюро партии или департаментского объединения профсоюзов попадал в город ночью; по утрам Пьеретта не раз обнаруживала в другой комнате на диване спящего товарища. По этому поводу никто никогда не судачил ни в рабочем поселке, ни на фабрике. Однако в тот вечер во многих семьях толковали о том, что утром Пьеретта провела сорок минут в кабинете Филиппа Летурно. И неудивительно: жители рабочих поселков по опыту знают, как часто предприниматели идут и на такую подлость: покупают жен и дочерей рабочих.

Как-то на профсоюзном собрании Пьеретта вышла из себя и чуть было не дала пощечину товарищу, который предложил войти в сделку с дирекцией из-за несправедливо уволенной работницы. После собрания старик Кювро подошел к Пьеретте и пристально посмотрел ей в глаза.

— Ты что-то стала раздражительной...

— Не больше, чем всегда, — сухо ответила Пьеретта.

— Тебе не кажется, что молодой женщине вредно всегда спать одной?

— Мне так хорошо одной! — воскликнула Пьеретта.

Прошло уже три года с тех пор, как она прогнала мужа, но Пьеретта не переставала радоваться тому, что избавилась от его присутствия.

— И тебе не бывает тоскливо? — спросил старик.

— Мне противно все, что напоминает Люсьена, — ответила она чистосердечно.

Кювро заговорил о другом, но Пьеретта поняла, что он с ней не согласен. Она решила обдумать это как-нибудь на досуге. Пьеретта была занята шестнадцать часов в сутки: фабрика, партийные дела, работа в профсоюзном комитете. И неудивительно, что после такого трудового дня она спала очень крепко.

V

На следующий день, как только почтальоны вернулись с обхода, Миньо отправился в дирекцию фабрики.

— Мне нужно видеть мосье Летурно, — сказал он старику швейцару, сидевшему в прихожей за грязным, залитым чернилами столиком.

— Вас вызывали?

— Нет.

— Заполните бланк.

Миньо написал: имя: — «Фредерик Миньо»; по какому делу — «по поручению секции Французской коммунистической партии в Клюзо».

— Подождите, — сказал швейцар и заковылял к лестнице.

Миньо показалось, что швейцар бросил на него испуганный взгляд. В действительности же, старик был так близорук, что ничего не мог прочесть даже в очках: это и придавало ему растерянный вид.

— Пусть войдет, — сказал швейцару Летурно и с бьющимся сердцем стал ждать посетителя.

«Вот оно, — подумал он, — таинственное поручение, о котором говорила вчера Пьеретта». Она сдержала слово. Филипп был убежден, что свершает едва ли не подвиг. «Я ввожу врага в свой дом. Это мой первый смелый поступок».

Миньо приготовился долго убеждать Летурно, что необходимо подписать петицию об освобождении Х. Но Филипп поставил свою подпись, не дав ему даже рта раскрыть.

«Только и всего?» — подумал Филипп. А он-то опасался, что Пьеретта потребует от него публичного признания в сочувствии коммунистам: например, в воскресное утро продавать «Юманите» на паперти по окончании службы. Филипп боялся показаться смешным. Пугало его не мнение местных буржуа. Что ему до этих мещан! А парижские и лионские друзья нашли бы даже «пикантным», что он, Филипп Летурно, продает «Юманите» на уличках провинциального городка. Филипп боялся уронить себя в глазах рабочих. «У меня не получилось бы так, как у них, я был бы смешон». Со времени своего приезда в Клюзо Филипп ни разу не выходил из дому в воскресенье утром и потому не знал, что здесь на улицах никто не продает «Юманите»; та горсточка активистов, которую удалось собрать Пьеретте и Миньо, доставляла газету ее постоянным читателям на дом. В воскресное утро до самого полудня на улицах Клюзо можно было встретить только тех рабочих, которые ходили в церковь, чтобы выслужиться перед Нобле.

Филиппу приходила в голову и другая мысль: если станет известно, что он продает «Юманите», то он не получит въездную визу в Соединен-

ные Штаты, куда мать обещала его отправить после стажировки на фабрике. «В наше время, каких бы убеждений ты ни придерживался, нельзя считать себя полноценным человеком, не побывав в США. А французская полиция обо всем осведомляет их консульство; не дадут мне визы». Всю ночь Филипп размышлял о том, в каких выражениях он откажется продавать «Юманите». «Чем меньше будет известно о моих симпатиях к вам, тем больше я смогу принести пользы».

Миньо настаивал, чтобы Филипп хотя бы прочел петицию об освобождении Х.

— Нет, нет! Я вполне вам доверяю, — отмахнулся Филипп.

Больше говорить им было не о чем.

— В каком отделе вы работаете? — спросил Филипп.

— Если бы я работал на фабрике, то не пришел бы к вам в качестве представителя этой организации, — и Миньо указал на графу «по какому делу».

«А почему?» — спросила бы его Пьеретта. В отличие от Миньо, она не считала ПТАО такой уж грозной и загадочной силой.

— Я почтовый инспектор, — добавил Миньо.

— Заходите ко мне как-нибудь вечерком, — сказал Филипп. — Я перевез сюда часть моей библиотеки, может быть, вы найдете книгу по вкусу... У меня есть полное собрание сочинений Карла Маркса.

— Вы читали его?

— Не все. Я больше интересуюсь стихами.

Филипп сказал первое, что ему пришло в голову. Он старался «сломать лед».

— Знаю, знаю,— подхватил Миньо.— Я видел вашу книжечку у мадам Амабль.

Но Филиппу в эту минуту меньше всего хотелось говорить о своих поэтических опытах, и он перебил Миньо:

— Но я достаточно знаком с трудами Маркса, чтобы не сомневаться в его правоте...

Филипп сделал паузу, потом с жаром добавил:

— Я убежден, что вы, коммунисты, переоцениваете своего противника... Вы и представить себе не можете, до какой степени разложения дошли люди моего класса.

Миньо ничего подобного не ожидал от Филиппа. Он ухватился за слова «люди моего класса».

— У людей вашего класса еще хватает сил, чтобы держать в тисках рабочих. Доказательство...

И Миньо кивнул на только что подписанную Филиппом петицию.

— Верно,— проговорил Филипп, — об этой стороне вопроса я как-то не подумал...

Филипп приложил ладонь к своему большому гладкому, без единой морщинки лбу; казалось, он тщетно пытается нахмурить брови над широко расставленными глазами. Выражение лица у него было беспомощное и растерянное. Миньо едва сдержал себя — ему захотелось сказать Филиппу что-нибудь ласковое.

— Многое мне еще непонятно, — продолжал Филипп. — Приходите ко мне... Я буду вам очень, очень рад.

Миньо горячо поблагодарил Летурно за то, что тот подписал петицию. Вечером, придя к Пьеретте, он застал у нее рабочего Кювро и Бомаска и «отчитался».

— Сходи к нему, непременно сходи,— настаивал Кювро.— Надо его прощупать. Может, он и неплохой парень...

VI

Не прошло и двух недель после бала коммунистической секции Клюзо, как в Гранж-о-Ван по проселочной дороге прикатил на мотоцикле Фредерик Миньо. Он привез мне документы, переданные ему Филиппом Летурно, считая, что они могут пригодиться мне для газетных статей.

После первого свидания с Филиппом Летурно в дирекции фабрики Миньо выждал несколько дней, «чтобы он не подумал, будто я ухватился за случай побывать у него», — как объяснил он мне. Наконец однажды вечером, часов в девять, Миньо отправился в замок.

В каждой из комнат домика консьержей, где жил Филипп, было по два окна: одно выходило на шоссе, другое — в парк. Со стороны шоссе железные ставни никогда не открывались.

Приглашая Миньо, Филипп сказал:

— Если вы увидите свет сквозь щели и жалюзи, постучите.

Миньо постучал. Филипп тотчас же вышел и открыл калитку в решетчатой ограде.

— Как хорошо, что вы пришли! — воскликнул он.

Заметив, что в парке у домика консьержей стоит спортивная машина «Альфа-Ромео», и услышав смех и женский голос, Миньо смутился:

— Я вам помешал. Лучше приду в другой раз...

— Да нет, что вы, напротив,— возразил Филипп, вводя его в домик.

Миньо увидел двух молодых женщин и сразу узнал их: они были с Филиппом на балу. Натали Амполи лежала на железной кровати, рядом с ней на стуле стояли бутылка виски и три стакана. Белый пуловер обрисовывал ее худые плечи и красивую грудь. Бернарда Прива-Люба была, как и на балу, в английском костюме. Она перебирала патефонные пластинки, сложенные на кресле.

Миньо с недоумением разглядывал жилище молодого директора по кадрам: побеленные стены, кресла в чехлах, книжные шкафы со снятыми с петель дверками; на полках в беспорядке громоздились книги, папки, бумаги, и тут же валялась электрическая бритва. Дверь в смежную комнату была открыта, и Миньо увидел тахту, на ней груду одеял и сложенный вдвое тюфяк; на полу лежали стопки книг, а с потолка свисала веревка от крышки чердачного люка.

Летурно, уловив изумленный взгляд Миньо, указал на железную кровать:

— Эта койка не помешала бы моему счастью, если бы я мог чувствовать себя счастливым. Свой кабинет на фабрике я заставил переделать только назло скрягам из ПТАО, а абстрактной живописью мне хотелось внести смятение в душу Нобле...

Филипп познакомил Миньо с дамами.

— Виски? — предложила Натали.

— Право, не знаю...

Миньо чуть было не сказал: «Не знаю, хорошо ли пить виски», — но сдержался, и слова его повисли в воздухе.

— Как поживают черные глаза? — спросила Натали.

— Какие черные глаза? — удивился Миньо.

— Молодая женщина, которая отказалась танцевать с Филиппом,— пояснила Натали.

— А-а, теперь понял.

— Она красивая, — сказала Натали. — Не то что я, кожа да кости.

Она оттянула ворот пуловера, потом медленно разжала пальцы — и эластичная шерстяная ткань плотно облегла ее худые плечи.

— Видите? — Натали опять начала теребить пуловер.

— Брось! Мосье Миньо наплевать на это! — крикнула Бернарда.

— Правда? — спросила Натали, приподнимаясь на локте.

Миньо не ответил.

— Так вы тот самый красный, о котором нам рассказывал Филипп?

Филипп стоял у книжной полки и рылся в бумагах.

— Не приставай к нему! — круто повернувшись, крикнул он.

— Извините, мосье Миньо, но я кажется пьяна.

Филипп наконец нашел то, что искал.

— У меня тут есть кое-что любопытное для вас. Пройдемте в другую комнату, — предложил он.

— Зачем в другую комнату? — запротестовала Натали.

— У нас серьезный разговор.

Неожиданно Натали перешла на умильный тон:

— Филипп, дорогой, прошу тебя, доставь мне удовольствие — поговори при мне хоть раз о чем-нибудь серьезном.

Филипп пожал плечами, но придвинул для Миньо одно из покрытых чехлами кресел, а сам уселся напротив, в ногах у Натали, на краешке железной кровати. В руках он держал четыре связки бумаг.

— Я порылся в архивах фирмы и нашел кое-какие документы. Никакой ценности, кроме исторической, они не представляют, но для вашей борьбы могут пригодиться...

Он помолчал немного.

— Род мой, — начал он, — с давних пор промышляет разбоем...

* * *

В конце восемнадцатого века один из предков Филиппа Летурно основал километрах в десяти повыше Клюзо шелкопрядильную фабрику; ее машины приводились в движение водами Желины. Году в 1820-м на лионском рынке цены на шелковую пряжу катастрофически упали, так как эльзасские промышленники ввели новый способ обработки. Троим братьям Летурно, сыновьям основателя фабрики, грозило полное разорение; тогда младший из них под чужой фамилией нанялся простым рабочим на одну из эльзасских прядилен.

В первой связке бумаг, переданной Миньо Филиппом, находилась относящаяся к тому времени переписка между братьями Летурно. В письмах с полной откровенностью говорилось о систематическом похищении чужих изобретений. «Не забудьте про механизмы, о которых вы нам сообщали, — писал старший брат... — Во что бы то ни стало все разузнайте. Если есть надежда выведать еще что-нибудь, не спешите с возвращением...» И все в этом же роде.

В последующие годы производство на прядильной фабрике «Летурно и сыновья» увеличилось в десять раз. Но где найти такую же дешевую рабочую силу, как у эльзасских конкурентов, которые пользовались трудом уголовных преступников, или у швейцарских, которые нанимали «раскаявшихся» проституток, лишенных свободы по решению духовных властей. Братья Летурно решили занять на фабрике детей из окрестных горных деревушек.

Во второй связке, переданной Миньо Филиппом, находились «правила», касающиеся применения детского труда. Например: «На каждую деревню назначается надсмотрщик. Он ежедневно по утрам обходит дворы с цветным фонарем в руке (у каждой деревни свой цвет) и трубит сбор... Когда наступает время трогаться в путь, надсмотрщик снова тру-

бит сбор, и дети строятся: мальчики впереди, девочки позади, надсмотрщик между ними... Для детей продолжительность рабочего дня не должна превышать двенадцати часов... Вечером, как только раздается сигнал об окончании работы, дети должны помыться и почистить одежду... по второму звонку они отправляются на молитву... после молитвы каждый идет в цех, к месту сбора своей деревни, обозначенному особым цветным флажком, затем приходят надсмотрщики...» И так далее...

К 1830 году предприятие Летурно достигло такого расцвета, что к прядильне были присоединены ткацкие цехи. Тем временем некий Пьер Амабль открыл в Клюзо небольшую ткацкую мастерскую, всего на двенадцать рабочих. Пряжу он покупал у Летурно; в общем полукустарное производство. Но сын Амабля получил техническое образование и, вернувшись в Клюзо, изобрел ткацкий станок, который носит его имя и до сих пор еще применяется на большинстве ткацких фабрик и во всем мире.

— Не дальний ли он родственник Пьеретты Амабль? — спросил Филипп.

— Вероятно, но едва ли она об этом знает. Надо бы порыться в метрических записях мерии.

Станок Амабля быстро помог «Ткацкой фабрике Клюзо» стать опасным конкурентом фирмы Летурно. Братья Летурно перестали снабжать пряжей своего соседа и тайком договорились с другими фабрикантами, чтобы и те не поставляли сырье Амаблям. Но окончательную победу братья Летурно одержали благодаря эпидемии тифа, унесшей каждого десятого из жителей Клюзо; в числе ее первых жертв был Пьер Амабль. Его сын сложил оружие и в виде компенсации был назначен главным инженером фабрики, объединенной с отцовской мастерской. Он умер в бедности, хотя не раз получал премии за свои многочисленные изобретения. Братья Летурно перевели в Клюзо дирекцию своих предприятий и мало-помалу распространили свое влияние на весь район.

Третья связка содержала документы, относившиеся к эпидемии брюшного тифа, опустошившей Клюзо в 1836 году. Здесь были негодующие письма жителей города. За неимением водоразборной колонки они вынуждены были пить воду из Желины, загрязненной отходами фабрики Летурно, расположенной выше по течению. Здесь же были жалобы, направленные муниципалитетом в префектуру, благоприятные заключения, выданные по знакомству врачами, связанными с братьями Летурно, и, наконец, постановление Луи-Филиппа: «Господину Летурно дано разрешение сохранить свою шелкопрядильную фабрику на реке Желине». Документ помечен 1834 годом, эпидемия разразилась в 1836 году.

В конце прошлого века Амеде Летурно, прадед Филиппа, фактически держал в руках все шелкоткацкие и шелкопрядильные фабрики в долине реки Желины и в соседних долинах. Большинство прядильных и ткацких предприятий департамента Ардеш, пользуясь приблизительно теми же приемами, захватили фабриканты Прива-Люба. Но в первые два десятилетия нашего века пути Летурно и Прива-Люба расходятся. Франсуа Летурно довел до совершенства техническое оборудование своих фабрик, и они стали образцом для всей Европы, а Жоаким Прива-Люба реорганизовал свои предприятия в Прядильно-ткацкое акционерное общество (ПТАО), учредил банк, контролирующий ПТАО, и постепенно расширил свою финансовую деятельность как во Франции, так и за границей.

Женитьба Жоржа Летурно, единственного сына Франсуа, на Эмили Прива-Люба, единственной дочери Жоакима, положила начало объединению обеих фирм, слиянию промышленности с финансами, католического капитала с протестантским банком, созданию новой европейской

династии королей шелка. Появление на свет Филиппа праздновалось, как рождение наследника престола. Отец Филиппа Жорж Летурно, унаследовавший слабое здоровье от своей матери-эльзаски — она так и не привыкла к жизни в горном ущелье,— умер в 1927 году. Матери Филиппа — Эмили в ту пору минуло тридцать лет; она обладала железным здоровьем, и все ее помыслы были только о делах.

В четвертой связке находилась переписка матери Филиппа с его дедом по материнской линии, Жоакимом Прива-Люба, во время крупной забастовки 1924 года и в следующие за ней месяцы. Эти письма Филипп нашел не в архиве ПТАО, но он не сказал, где он их обнаружил или откуда выкрал. В них Эмили сообщала отцу, как день за днем упорно и искусно она укрепляет решимость свекра не уступать бастующим рабочим и убеждает его принять ссуду, предложенную банком Прива-Люба. Ни одно из своих обещаний, данных на словах, банкиры Прива-Люба не сдержали, и через несколько месяцев после окончания забастовки ПТАО поглотило предприятие Летурно.

Франсуа Летурно не пришлось даже выгонять из дому вероломную сноху; спустя три месяца после смерти Жоржа она вышла замуж за Валерио Ампoли, крупного лионского банкира, происходившего из знаменитого рода флорентийских евреев-финансистов. Когда кризис, охвативший Америку, дал себя знать во Франции, Эмили обратила оружие, которым она расправилась со свекром, против родного отца, и в 1932 году ПТАО перешло под контроль банка Ампoли.

— Вот какова моя семья, — заключил Филипп Летурно. — Теперь вы знаете, что наше богатство выросло на воровстве, на эксплуатации детей, на использовании эпидемии тифа, на беспощадном истреблении конкурентов, на предательстве в своей же семье... Моя мать, вероятно, самая подлая из всего нашего рода...

* * *

Все время, пока Филипп говорил, Натали пила, но наливала себе понемногу, и ее колючие глазки блестели не больше, чем когда пришел Миньо. Бернарда выпила несколько полных стаканов виски; на ее лице и руках выступили красные пятна. Было уже за полночь.

— Моя мать, вероятно, самая подлая... — сказал Филипп.

— Твоя мать хочет теперь угробить моего отца, — взволнованно перебила его Натали.

Она резким движением приподнялась на кровати и наклонилась к Филиппу.

— Твоя мать, — продолжала она, — задумала гнусную махинацию вместе с моей теткой Эстер...

— Эстер Дюран де Шамбор, — уточнила Бернарда, обращаясь к Фредерику Миньо.

«Дюран де Шамбор» она произнесла иронически, с расстановкой.

— Дюран де Шамбор? — переспросил Миньо. — Знакомая фамилия...

Натали обернулась к нему и сухо сказала:

— Мой отец читает все речи Сталина. Вы могли бы знать, по крайней мере, имена самых лютых ваших врагов.

— Французская семья, эмигрировавшая в восемнадцатом веке в Америку, — скороговоркой начала Бернарда. — Ныне — американский трест химической промышленности, атомной промышленности и, что имеет прямое отношение к нам, искусственного шелка...

— Знаю, знаю, — сказал Миньо, сразу вспомнив, что он где-то об

этом читал; потому фамилия Дюран де Шамбор и показалась ему знакомой.

Но Натали уже снова напустилась на Филиппа:

— Если ты не обуздаешь свою мать, то в одно прекрасное утро окажешься под забором, так как у тебя появится американский братик, которому и достанутся... — Натали на мгновение умолкла, —... достанется все, что разбоем добыли твои и мои предки, — закончила она с громким смехом.

— Не тревожься, Филипп...— медленно, ледяным голосом произнесла Бернарда.

Она встала с кресла и продолжала говорить стоя, прислонившись к стене. Миньо с удивлением заметил, что в ее серых глазах вдруг вспыхнула ненависть.

— Не верь ей, такие люди, как Амполи, всех перехитрят. Они всегда остаются в выигрыше...

Бернарда помолчала. Филипп, обернувшись, глядел на нее. Его явно удивило внезапное вмешательство немногословной Прива-Люба.

— Единственный, кто уже проиграл по всем статьям, это ты, бедняжка. Проиграл и как Летурно, и как Прива-Люба. Ты разбит наголову! Да посмотри на себя в зеркало, у тебя и лицо и походка побежденного...

Ее голос вдруг зазвенел.

— Ты побежден, — резко сказала она, — потому и заигрываешь с красными. Блеешь вместе со всем стадом.

— И ты бита, — сказал Филипп.

Он тоже встал, налил себе полный стакан виски и выпил его залпом. Потом прислонился к стене, напротив Бернарды. Только Миньо остался сидеть немного поодаль. Никто уже, видимо, не замечал его присутствия.

— Да, сейчас я разбита, но я еще отыграюсь, — твердо сказала Бернарда.

Филипп молча смотрел ей в лицо.

— Я буду драться до конца, — с ожесточением говорила Бернарда. — И никогда не унижусь до того, чтобы заискивать перед коммунистами, рассказывая им о своих семейных делах...

— Сука! — крикнул Филипп. — Ты лижешь пятки Натали, чтобы вытянуть из нее деньги.

Натали залилась визгливым смехом.

— Филипп, ты просто прелесть, я тебя обожаю! Как ты хорошо это сказал! — Натали повторила последние слова Филиппа и снова захохотала.

— Почему ты меня не любишь? — спросила она. — Ты один только можешь развлечь меня.

— Выродки вы оба, вот что! — сказала Бернарда.

Тут Филипп вспомнил о Миньо и повернулся к нему.

— Бернарда — фашистка, — сказал он.

Натали тоже повернулась к Миньо:

— Знаете, почему она каждую ночь начинает беситься?

— Меня это не интересует, — ответил Миньо.

— Я-то знаю, — продолжала Натали. — Когда она не может уснуть, она мне все рассказывает. Вспоминает о смерти...

— Замолчи! — крикнула Бернарда.

— Она знает, что умрет так же, как ее брат...

— Не смей! — крикнула Бернарда.

Она выбежала в соседнюю комнату, захлопнув за собою дверь. На-

тали бросилась за ней. До Филиппа и Миньо донеслись злобные голоса, плач, глухой стук падающих на пол предметов.

— И так каждую ночь, — сказал Филипп.

Он наполнил два стакана неразбавленным виски и протянул один Миньо; тот выпил.

— Как умер ее брат? — спросил Миньо.

— Он служил в петэновской милиции. Его закололи вилами крестьяне одной деревни в Ардеше на глазах у Бернарды. Он умер на куче навоза. Он указал гестаповцам несколько маки. Вся деревня пришла плюнуть на его труп... Бернарда теперь состоит в организации, объединяющей бывших солдат петэновской милиции, нацистов, осужденных как военные преступники и выпущенных на свободу, и агентов ОВРА *, которых итальянские партизаны не успели повесить... В прошлом году для своих грязных делишек она ездила в Испанию и потащила с собой Натали.

За дверью кричали: «Паршивая еврейка!» — «Ты подохнешь так же, как твой брат!» — «А ты еще раньше... ты уже боишься вернуться в Америку!»

— Так они будут переругиваться до трех часов утра, — сказал Филипп. — Не знаю, что лучше — то ли спрятать от них виски, чтобы они не буянили, то ли дать им напиться до полного бесчувствия...

* * *

Кто-то постучал в ставень окна, выходившего в парк. Бернарда стремительно вошла в комнату. Она несколько раз судорожно глотнула воздух, стараясь отдышаться. Стук повторился.

— Сейчас! — крикнула Бернарда и вышла в сад.

Слышно было, как скрипит гравий под ее ногами. Филипп потушил свет и, приоткрыв ставень, выглянул в парк.

— Что это значит? — спросил Миньо.

— Тише, тише, — прошептал Филипп.

Через щель в ставне Миньо увидел старика Летурно. Освещенный луной, он стоял возле машины, обхватив руками какой-то громоздкий предмет, завернутый в тряпку.

— Кто там? — спросил старик, показывая большим пальцем в сторону привратницкой.

— Натали, — ответила Бернарда.

— Я слышал мужской голос.

— Это я! — крикнул Филипп.

Франсуа Летурно опустил свою ношу на дорожку перед самой машиной. Вспыхнули фары, и громадная тень старика протянулась до высокой липы в конце аллеи.

— Выключи! — потребовал Франсуа Летурно. — Еще увидит кто-нибудь.

— Все спят, — послышался голос Бернарды.

Хлопнула дверца машины, и Бернарда появилась на освещенной фарами дорожке. Она сняла тряпку с принесенного стариком предмета — это оказался маленький шкафчик — и, став на колени, осмотрела его.

— Подделка, — сказала она.

— Нет, настоящий, у меня есть удостоверение эксперта.

— Да вы посмотрите...

— Не хочу. Я не торговец. Мне всегда верили на слово.

— Хорошая подделка, но все же подделка.

---

* Итальянская фашистская полиция.

— Сколько? — спросил старик.

— Десять.

— Убирайся!

Бернарда поднялась и сошла с освещенной фарами дорожки.

— Сколько? — крикнул старик.

— Пятнадцать, — ответил голос Бернарды.

— Убирайся, и чтоб ноги твоей здесь больше не было!

Снова хлопнула дверца машины, и фары погасли.

Филипп подошел к окну.

— Сколько ты просишь за свою шифоньерку?— спросил он деда.

— Тридцать пять тысяч.

— Пятнадцать, — раздался из темноты голос Бернарды. — А если вам нужно больше, добавьте севрский сервиз.

— Все Прива-Люба грабители, — сказал Франсуа Летурно.

Натали тоже подошла к окну.

— Бернарда, — крикнула она,— дай ему тридцать пять!

— Ни за что, — ответила Бернарда.

— Я покупаю за тридцать пять. Заплати за меня, — сказала Натали.

Зажглись фары, Бернарда подошла к старику, дала ему три бумажки по десять тысяч и пять по тысяче. Франсуа Летурно пересчитал деньги и, не сказав ни слова, исчез в темноте.

Филипп закрыл ставни и снова зажег свет. Натали налила себе полный стакан виски.

— Ему все это непонятно, — сказал Филипп, показывая кивком головы на Миньо.

— Еще бы! Вообрази себя на его месте, — ответила Натали.

— ПТАО оставило моему деду только небольшую ренту, а его розарий обходится дорого. Оранжерею надо отапливать, освещать специальными лампами... И вот для того, чтобы успеть до своей смерти вырастить голубую розу, дед распродает полученную в наследство мебель... тайком от своей старой служанки, чтобы никто не узнал. «Летурно всегда покупают, и никогда не продают...» — так издавна говорили в Клюзо...

— Продавали пряжу и ткани, — вставила Натали.

— Продавали труд своих рабочих, — добавил Миньо.

— Ну, конечно... — согласился Филипп.

Натали и Миньо сидели, а Филипп стоял посреди комнаты, опустив руки, покачиваясь, и смотрел на своих собеседников. Миньо решил, что Филипп слегка пьян.

— Мне кажется, что всем нам сегодня нехватает чувства юмора, — заявил Филипп.

Это было так неожиданно, что Натали и Миньо расхохотались.

— Сейчас ты увидишь, есть ли у меня чувство юмора, — вдруг сказала Натали.

Ее узенькие глазки загорелись. Она встала и не очень твердой походкой направилась к выходу. Филипп и Миньо тоже вышли в парк. Бернарда сидела в машине, за рулем; на заднем сидении была надежно пристроена шифоньерка.

— Едем домой, — сказала Натали.

— Я тебя жду, — ответила Бернарда.

— Пусти меня. Я поведу машину.

— Не пущу.

— Подвинься! — крикнула Натали и изо всех сил нажала на ручку дверцы, которую Бернарда придерживала изнутри.

— Филипп! — позвала Бернарда. — Не пускай ее. Она совершенно пьяна. Мы разобьемся.

Филипп смеялся. Он ничего не ответил. Миньо стоял поодаль, в тени домика.

Внезапно дверца открылась. Бернарда обеими руками вцепилась в руль. Натали кинулась к ней и рывком сбросила с сиденья. Бернарда упала на дорожку. Натали села за руль и захлопнула дверцу.

Филипп все также беззвучно смеялся. Бернарда встала, отряхнула пыль с костюма.

— Теперь садись рядом со мной, — сказала Натали.

Бернарда не тронулась с места.

— Если я уеду одна, ты меня больше не увидишь, — продолжала Натали. — И ты знаешь, что я всегда держу слово... даже когда я совсем пьяна, как сейчас.

— Садистка! — в ярости крикнула Бернарда.

— Подсадить тебя в машину? — предложил Филипп, подходя к Бернарде.

Бернарда резко обернулась к нему:

— Убийца!

— Ты совершенно лишена чувства юмора, — сказал Филипп и протянул руку, чтобы взять ее за локоть.

— Не трогай меня! — крикнула Бернарда.

Она обошла машину и села рядом с Натали.

— Филипп, открой ворота! — сказала Натали.

Филипп подошел к воротам, Миньо за ним.

— Вы не боитесь отпускать их в таком виде? — спросил он.

— Натали и пьяная отлично правит, — ответил Филипп.

Он распахнул ворота и вернулся к машине. Натали уже завела мотор и засветила фары. Она высунула голову в окошечко.

— Поцелуй меня, — сказала она Филиппу.

Филипп пагнулся, поцеловал ее и отошел в сторону.

«Альфа-Ромео» резко рванулась, но, вместо того чтобы выехать на шоссе, свернула на центральную аллею и понеслась прямо к замку. Натали обогнула дом, тормозя на поворотах, и каждый раз машину заносило по гравию.

— Это лишь генеральная репетиция, — тихо сказал Филипп. — Когда Натали садится за руль после нескольких стаканов виски, Бернарда умирает от страха. Сестра пользуется этим и изводит ее.

— Почему? — спросил Миньо.

— Мстит Бернарде за отвращение, которое она ей внушает.

— И так каждую ночь?

— Очень часто.

Натали снова под прямым углом свернула на главную аллею и, выключив мотор, проехала мимо Филиппа и Миньо.

— Посмотрите на нее! — крикнула Натали и зажгла в машине свет, чтобы им было виднее.

Бернарда, бледная как смерть, вцепилась одной рукой в дверцу, другой — в сиденье.

Натали снова так резко набрала скорость, что Бернарда прикусила губу. «Альфа-Ромео» вылетела на шоссе. На нее стремительно мчалась другая машина. Шофер отчаянно затормозил. Проскочив у него под самым носом, «Альфа-Ромео» въехала на противоположный тротуар, мгновенно выправилась и с головокружительной скоростью ринулась в ночь.

— Она разобьется, — сказал Миньо.

— Вряд ли, — ответил Филипп. — Насколько мне известно, ей всегда везет.

Филипп с помощью Миньо закрыл ворота.

— Выпьем еще по стакану виски? — предложил Филипп. — Не хочется?.. Заходите, когда вздумается... всегда рад буду вас видеть. Спокойной ночи.

Филиппу хотелось, чтобы прощание вышло как можно сердечнее, и все же последние слова он произнес тоном хозяина, который дает понять подчиненному, что беседа окончена. Это он всосал с молоком матери.

Филипп вернулся в парк через калитку, держась за кирпичный столб ограды: он тоже выпил много виски.

* * *

Миньо кончил свой рассказ о встрече с Филиппом.

— Какие-то сумасшедшие, — заключил он.

— Да, — согласился я. — Это общество обречено на безумие.

Тут же я подумал о «спазмах» жены Миньо, о постоянных сомнениях самого Миньо, о тракторе Жюстена, халате Эрнестины и о тех юношах из Клюзо, которые каждое воскресенье ходят на танцульки и напиваются раньше, чем успеют потанцевать. Противоречия господствующего класса неизбежно отражаются и на других социальных слоях. Но в тот вечер я был слишком взволнован рассказом Миньо, чтобы распространяться на эту тему.

Впрочем, Миньо скорее всего обвинил бы меня в сочувствии врагу. Он ушел в маки́ в 1943 году, успев сдать только часть экзаменов на аттестат зрелости. После Освобождения поступил на службу, подготовился к конкурсу в почтовые инспекторы, занимался в партийной школе. Словом, он еще совсем недавно учился, а школьникам, как известно, свойственно обвинять в цинизме всех, кто описывает им действительность без прикрас.

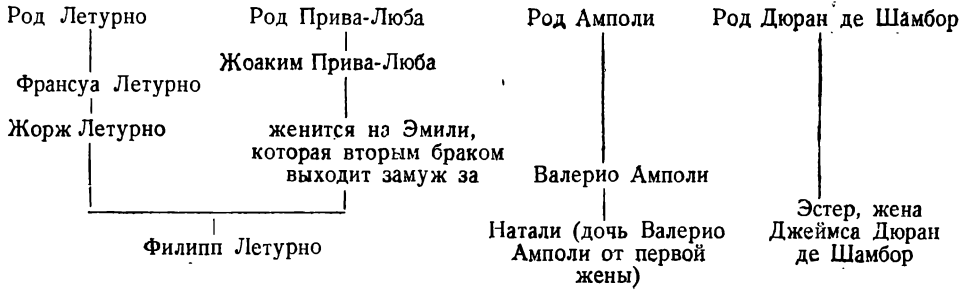
— Пригодятся тебе материалы Филиппа Летурно? — спросил меня Миньо.

— Очень даже.

— Ты напишешь серию статей об истории ПТАО?

— Это сюжет для трагедии...

И я набросал генеалогическое дерево семьи Летурно и ее недавно обретенной родни.



Эмили, урожденная Прива-Люба, судя по всему, хочет выйти в третий раз замуж, а именно за одного из Дюран де Шамборов, возможно за Джеймса.

Я вдруг загорелся.

— Ты только посмотри, — сказал я, — Эмили Прива-Люба в центре всего... предположим, что она была любовницей Валерио Амполи еще до

1927 года... и помогла своему мужу поскорее отправиться на тот свет... а сейчас отбивает мужа у Эстер Амполи... Она главное действующее лицо трагедии. По сравнению с нею леди Макбет — просто ангел.

Но ход развития подлинной трагедии, разыгравшейся в последующие недели, не подтвердил моих догадок.

VII

В начале мая Филипп Летурно, Нобле и инженер Таллагран по вызову управления ПТАО поехали в Лион. Их принял Нортмер — главный директор акционерного общества.

Он без обиняков описал им создавшееся положение. Фабрика натурального шелка в Клюзо стала убыточным предприятием. Из-за войны в Корее прерваны торговые отношения с Китаем и цены на шелк-сырец сильно поднялись. Техническое оборудование, установленное на фабрике Франсуа Летурно в десятых годах, образцовое для своего времени, теперь устарело. Швейцарские и немецкие конкуренты выпускают больше продукции при меньшем количестве рабочих. Вот почему акционерное общество решило коренным образом реорганизовать производство на фабрике в Клюзо, как и другие убыточные французские предприятия.

Производство натурального шелка прекращается. Ткацкие цехи закрывают.

Фабрика будет переоборудована и приспособлена исключительно для обработки искусственного шелкового волокна и производства различных сортов вискозной пряжи. (Пряжа будет перерабатываться в ткань на других предприятиях ПТАО, специально для этого приспособленных.)

Реорганизацию предполагается произвести постепенно, в течение трех лет. Начнется она сразу же после того, как правление утвердит специальные ассигнования, вопрос о которых уже поставлен.

Таллаграну поручается связаться с техническими отделами главного управления и срочно разработать план реорганизации. Сейчас уже ведутся переговоры с одним немецким станкостроительным заводом о поставке необходимых машин для ткацкого «цеха ста», с тем чтобы уже с октября он начал выпускать пряжу из искусственного шелка. Итак, надо немедленно браться за дело.

Летурно и Нобле, следовательно, должны предусмотреть план сокращения штатов и новой расстановки рабочих.

Свои объяснения Нортмер начал так: «Вам известна конъюнктура мирового рынка. Шелк-сырец вздорожал...»

Дальше Филипп не слушал. Это был его принцип: как только при нем произносили слово «шелк», или слово «рынок», или любое другое слово, имеющее отношение к промышленности или к финансам, он замыкался в себе. Ему стоило немалых усилий подобрать для Миньо документы по истории фабрики Летурно; только упоительное ощущение, что он предает своих, помогло ему довести свой замысел до конца. Однажды Филиппу сказали, что его отчим Валерио Амполи остроумный человек; это его крайне удивило; на протяжении десяти лет он по крайней мере один раз в день встречался с отчимом за столом, но никогда не прислушивался к тому, что тот говорит. Входя в столовую, Филипп замыкался в себе; как только мать взглядом разрешала ему уйти, он немедленно поднимался из-за стола. Филипп очень гордился своей способностью «думать о другом». Тем самым он как бы уподоблялся йогам — в течение нескольких месяцев он делал их упражнения. Все время пока Нортмер говорил, Филипп старался восстановить в памяти начало

третьей песни Мальдорора *. Ему удалось вспомнить большой отрывок:

«Есть в мире насекомое, пищу которому доставляют люди. Они ничем ему не обязаны, но испытывают перед ним страх. Оно не пьет вина и предпочитает кровь. Оно обладает магической силой, и если человек откажется удовлетворить его законные притязания, раздуется до размеров слона и будет топтать людей, как траву... Ему предоставляют голову, это его трон, и он с достоинством цепляется ногтями за корни волос... О вошь, твой суженный зрачок...»

Таллагран предложил Летурно и Нобле отвезти их домой в своей машине. Нобле сел на переднем сиденье, Филипп — на заднем. Таллагран и Нобле оживленно разговаривали, Филипп продолжал думать о другом. Для своих снов наяву он изобрел бесшумную летательную машину, чуть легче воздуха — на ней так удобно было витать в облаках. Но тут его попутчики повысили голос, и Филипп очнулся.

—... в том случае, если фабрика будет переоборудована, — говорил Нобле.

— Это уже дело решенное, — ответил Таллагран.

— Нортмер, — возразил Нобле, — сказал, я даже записал его слова: «Реорганизация начнется сразу же после того, как правление утвердит специальные ассигнования. Вопрос об этом уже поставлен...»

— Раз он сообщил нам об этом, значит решение уже принято.

— Вы еще молоды. А я давно работаю в ПТАО. Не впервые меня вызывают, чтобы сообщить о планах, которые так и остаются на бумаге.

— Можно подумать, что вы против реорганизации?

— Совершенно верно.

Филипп стал внимательнее прислушиваться к разговору, заметив, что у Нобле горят щеки, как в тот вечер на балу, когда его оскорбила Натали.

— Модернизация фабрики нарушит заведенный порядок, к которому вы привыкли.

— Потребуется вдвое меньше рабочих, куда же денутся остальные?— спросил Нобле.

— Если бы мы рассуждали по-вашему, то до сих пор работали бы вручную.

— Нельзя же одним росчерком пера разбить жизнь нескольких сот семей... Надо подумать... Найти выход... Вот в 1913 году Франсуа Летурно...

— Времена меняются. Уволенные рабочие распределяются по другим фабрикам и, в конечном счете, тоже выиграют от роста производительности. Теперь рабочий может купить себе больше рубашек, чем во времена ручных станков. Его жизненный уровень из года в год повышается.

— Неверно. Рабочие Клюзо живут сейчас хуже, чем в начале века.

— Но тогда они работали двенадцать часов в день.

— И все-таки к 15 мая все огороды и виноградники уже бывали обработаны. Сейчас мы поедем вдоль Желины, и вы увидите — половина участков еще не вскопана.

— Что это доказывает?

— А то, что мы установили такие темпы, которые выматывают рабочего за восемь часов больше, чем прежде за двенадцать. У него уже нет сил обработать свой участок.

— Ах да, я и забыл, вы же председатель Общества взаимопомощи любителей садоводства! — рассмеялся Таллагран.

---

* «Песни Мальдорора» — произведение французского писателя Лотреамона (1846—1870).

— Эти участки дают возможность вдвое меньше тратить на питание: рабочий экономит треть своего жалования. Неужели вы думаете, что великий Летурно наделил каждую семью землей из собственных владений ради любви к бегониям?.. Да и ПТАО тоже не зря оставила им их участки.

— Повысится производительность, а с ней и заработок рабочего; тогда ему незачем будет терять время и скрести камень на берегах Желины.

— Именно эти участки в течение пятнадцати лет спасали нас от крупных забастовок. Скрести землю, как вы это называете, — это не только кормит рабочих, но и заполняет их досуг, им некогда взвинчивать себя на профсоюзных собраниях. Женщины не огородничают, поэтому и хлопот с ними больше, чем с мужчинами.

— В наше время имеются другие способы расположить к себе рабочий класс. Если бы вы занимались спортом, вы бы лучше понимали психологию молодых рабочих...

— Молодых работниц, — язвительно прервал его Нобле.

— Вы стареете, — рассмеялся Таллагран. — В вас говорит зависть.

Таллагран увидел в зеркальце лицо Филиппа и понял, что тот прислушивается к их разговору.

— Кстати, Летурно, почему бы вам не организовать футбольную команду, которая могла бы посоперничать с регбистами лесоторговца? В спортивные организации всегда входит самая смышленая молодежь. Футбольная команда — это своего рода питомник для будущих агентов администрации.

— Из всех видов спорта меня привлекает только охота на китов, — ответил Филипп и продекламировал:

— «Мое имя Измаил. Пусть так. Несколько лет назад, не будем говорить, когда именно, оставшемуся почти без денег и ничем не занятому на суше, мне вздумалось еще раз пуститься в плаванье, вернуться в мир океанов...»

— Да, да, я уже слышал, что вы пишете стихи, — сказал Таллагран. — Лично я предпочитаю баскетбол.

— Баскетболисток, — ввернул Нобле.

— А почему бы и нет? Я мужчина — и горжусь этим. А что тут дурного, если я полюбезничаю с красоткой в укромном уголке? — Таллагран беззвучно рассмеялся. — Таков мой метод воспитания лучших работниц в духе ПТАО.

Он опять рассмеялся. Нобле молчал, сердито поджав губы. Филипп подумал, не была ли Маргарита любовницей Таллаграна? Эта мысль разозлила его, хотя он и сам не мог понять почему; он вспомнил, как Маргарита и Пьеретта на балу стояли обнявшись и улыбались. Пьеретта сказала: «Маргарита хороший друг» — или что-то в этом роде; Филиппу неприятна была мысль, что подруга неподкупной Пьеретты могла уступить Таллаграну. Пошлость инженера вызывала в нем отвращение.

— Я согласен с Нобле, — неожиданно заявил Филипп, — и буду возражать против всякого сокращения рабочих.

Из спора между Нобле и Таллаграном Филипп уловил одно — старого начальника кадров тревожит предстоящее увольнение «половины рабочих». Почему это должно произойти, Филипп не имел ни малейшего представления, так как не слышал всего предыдущего. Хотя Нобле и не придавал значения «коммунистическим» выходкам Филиппа — хозяйский сынок может себе позволить такую прихоть, — он не удивился, найдя в нем союзника: ведь Филипп внук великого Летурно, а тот говорил «мои рабочие» и судил о своем благосостоянии по количеству занятых у него людей.

Таллагран в ответ только пожал плечами. Инженер окончил «Эколь сантраль» и считал ниже своего достоинства пререкаться с «пижоном», которого навязало фабрике правление акционерного общества.

Они уже подъезжали к Клюзо. Таллагран молчал. Он вел машину быстро, но осторожно, не обгоняя на спусках, не выезжая на середину дороги при поворотах, как и полагается человеку зрелому, благоразумному, уравновешенному — не чета сумасбродной Натали.

Выдержка инженера тоже злила Филиппа. У него самого никогда не было хорошей машины. Он покупал старые автомобили, которые пожирали огромное количество горючего и не могли развить скорость больше девяноста километров в час. Филипп знал, что собутыльники его надувают, делая вид, будто уступают по дешевке роскошную машину, но считал, что давать себя обворовывать таким образом — это его «стиль». У последней его машины, американского «Форда» образца 1928 года, на полпути к перевалу Лотаре мотор окончательно отказал; Филипп столкнул машину с дороги и оставил ее ржаветь в горах.

* * *

К концу беседы Нортмер роздал всем троим отпечатанное на машинке краткое изложение «Предварительного плана переоборудования». Таллагран, как и Нобле, положил свой экземпляр в пустой портфель, а Филипп машинально сунул в карман, но в какой именно — не помнил. Придя к себе в кабинет, Филипп принялся его искать и, наконец, обнаружил — сложенный в несколько раз, он затесался среди каталогов новых книг, бумажек с отрывками стихов и бессмысленными рисунками, которые Филипп чертил от скуки.

Несмотря на свое полное невежество в вопросах техники, Филипп приблизительно понял, о чем идет речь, и сразу же решил предупредить рабочих. Он очень серьезно отнесся к словам, которыми они обменялись с Пьереттой Амабль в конце их единственного свидания у него в кабинете. Он сказал: «Можете на меня рассчитывать», и она ответила: «Увидим».

Но как им дать знать? Филипп не решался снова вызвать Пьеретту к себе, боясь, что Нобле и все рабочие примут его за пошляка вроде Таллаграна, а главное — так может подумать сама Пьеретта, пусть даже на одно только мгновенье. Пойти к Миньо на почту? О том, что он побывал у «вождя» коммунистов, станет немедленно известно во всем городе. Через два часа об этом донесут Нобле, а назавтра — Нортмеру; что он ни предпримет в дальнейшем, все будет вызывать подозрение.

Прошел целый час, а Филипп все еще не мог ничего придумать и находился в полном унынии. Ему пришло в голову, что в своем директорском кабинете он еще более отрезан от мира, чем арестант в одиночке. Заключенные находят тысячи способов для общения друг с другом; Филипп много раз читал об этом в романах и мемуарах; порой им удается даже наладить простые, человеческие отношения с надзирателями. Да, пожалуй, его одиночество больше похоже на одиночество тюремщика: «Если у тюремщика есть сердце, он, должно быть, не осмеливается заговаривать со своими узниками, так же как я с Пьереттой. Но может ли быть сердце у тюремщика?» Внезапно Филипп решился — он пошлет Пьеретте письмо.

И Филипп написал на большом листе бумаги: «Прилагаю проект переоборудования фабрики в Клюзо, о котором мне сообщили сегодня. Реорганизация повлечет за собой увольнение половины рабочих. Готов бороться бок о бок с вами против этого гнусного плана».

Немного подумав, Филипп разорвал записку и на другом листе бумаги написал все заново, оставив в конце: «Готов бороться бок о бок с вами» — и опустив слишком высокомерное «против этого гнусного плана». Он поставил свою подпись: «Филипп Летурно» — и написал адрес на конверте: «Мадам Пьеретте Амабль. Поселок Амеде-Летурно» (рабочий поселок в Клюзо носил имя прадеда Филиппа), — и тут же пошел на почту, чтобы собственноручно отправить письмо.

Филипп возвращался к себе в самом восторженном настроении. «Я написал, я поставил свою подпись, — повторял он про себя. — Я им доказал свою полную преданность, теперь они не могут не доверять мне... Я первый из всех Летурно перешел на сторону пролетариата». Филипп взбежал по широкой каменной лестнице, перепрыгивая через ступеньки, и вихрем влетел к себе в кабинет.

Через несколько минут к нему постучался Нобле.

— Мне кажется, — начал старый начальник кадров, — что можно иным способом сделать фабрику рентабельной. Мое предложение обойдется ПТАО дешевле и не так тяжело отразится на рабочих... В былые времена мы выпускали товар высшего качества, мы прославились своим первоклассным пан-бархатом и другими тканями...

Нобле изложил свой план реорганизации фабрики, подкрепляя его цифрами, которые наспех набросал на бумажке. Филипп не слушал, погруженный в мысли о том, какое геройство он проявил, написав Пьеретте, и лицо его сияло, а старик радовался, что его предложение вызывает такой живой отклик у Филиппа Летурно.

— Браво! — сказал Филипп, когда Нобле кончил. — Я был уверен, что вы найдете выход. Завтра вы поедете со мной в Лион и расскажете все моему отчиму Валерио Амполи.

— Я собирался написать докладную записку мосье Нортмеру.

— Нортмер — ничто, — сказал Филипп. — Ныне ПТАО — это Валерио.

Филипп одно за другим отвел все возражения Нобле, и они тут же условились, что завтра в семь часов утра встретятся на вокзале.

* * *

Нобле провел ужасную ночь. Жена сразу же внесла ясность в это дело. Что, собственно говоря, они знают о Филиппе? Ему покровительствует ПТАО — вот и все. А ведь в высших сферах акционерного общества идет постоянная борьба между могущественными противниками, Нобле даже по имени их не знает. Кто поддерживает Летурно младшего? Во всяком случае, устроил его на фабрику не его дед — тот давно отстранен от дел. Правда, Филипп Летурно по материнской линии Прива-Люба, но, насколько известно, в последние годы Прива-Люба потеряли всякое влияние. По утверждению молодого Летурно, фактический хозяин ПТАО сейчас Амполи; может, это и так, но если мосье Валерио и в правду «самый главный хозяин», как говорит его пасынок, то он будет крайне удивлен, что такой старый служащий, как Нобле, человек рассудительный, дал увлечь себя мальчишке, согласился на вздорную затею — явиться к нему, Валерио Амполи, с необдуманным предложением. Если же, напротив, в этой закулисной борьбе Амполи — представитель меньшинства, а Нортмер — большинства, тогда нехорошо, чтобы считали его, Нобле, в лагере меньшинства. Вся эта авантюра может плохо кончиться. Из-за какой-то чепухи он потеряет свою репутацию, репутацию единственного высшего служащего фабрики, за сорок лет не получившего ни одного серьезного замечания.

Как ты теперь выпутаешься из этой истории? О том, чтобы отказать-

ся от поездки в Лион, и речи быть не могло: Филипп Летурно обидится. А кто знает? Может быть, за ним и стоят влиятельные покровители.

К утру Нобле с женой придумали такую лазейку: Нобле даст понять своим поведением, что он сопровождает Летурно только из уважения к нему. Проект Нобле пусть изложит Летурно. А Нобле будет строго держаться своей роли: нет ничего удивительного в том, что начальник кадров озабочен последствиями, которые возымеет план Нортмера; массовые сокращения вынудят ФУ * встать на позиции ВКТ, и, таким образом, ПТАО сыграет на руку коммунистам; будет достигнуто то единство рабочего движения, которого они тщетно добиваются. Всем известно, что Нобле немало потрудился ради раскола профсоюзного движения. Понятно, что он опасается, как бы плоды пятилетней успешной борьбы не пошли прахом из-за оплошности фирмы. Вот и все. И ни в коем случае не сходить с этой точки.

VIII

Филипп Летурно и Нобле прибыли на вокзал Лион-Бротто в восемь утра. Так как за проезд платил Филипп, Нобле решил, что он, в свою очередь, угостит Филиппа завтраком в каком-нибудь кафе около вокзала, где они посидят до открытия банка. Но когда они вышли из вагона, Филипп сказал:

— Отчим по утрам не бывает в банке. Да и вообще он редко туда заглядывает... Мы поедем к нему на дом и подымем с постели...

— Не знаю, удобно ли это... Мне неловко... — пытался возражать Нобле, с тревогой думая о том, что «поднять Амполи с постели» куда больше обязывает, чем посетить его в банке.

Но Филипп уже посадил его в такси и велел шоферу ехать в Кальюр — пригород Лиона, где находилась вилла семейства Амполи.

Как только мост Моран остался позади и машина выехала на Кальюрское шоссе, Филипп нахмурился. На этой хорошо знакомой дороге ему стало не по себе — словно он уже предстал перед отчимом. Глядя на помрачневшего Филиппа, Нобле совсем упал духом. А Филиппа мучили сомнения —не примет ли отчим его ходатайство за очередную причуду...

Сдав экзамены на аттестат зрелости и получив диплом кандидата филологических и философских наук, Филипп сперва увлекся труппой, которая собиралась поставить «Театр ужасов» Антонена Арто, потом школой иогов, которую открыла в горах Савойи бывшая танцовщица, слишком старая, чтобы выступать на сцене; и, наконец, небольшим издательством. Каждый раз Филипп с воодушевлением излагал свои планы отчиму и просил у него денег. «Пожалуйста», — неизменно отвечал Амполи. Он поручал кому-нибудь из банковских служащих ознакомиться с проектом, после чего выдавал пасынку некоторую сумму — значительно меньшую, чем тот просил. Когда Филипп охладевал к своей очередной затее, банк спасал то, что еще можно было спасти. От издательского дела осталась типография, которая теперь выпускала справочники по садоводству; от «Театра ужасов» — зал, арендованный на выгодных условиях, где была открыта постоянная выставка тканей одного из предприятий ПТАО. Меньше всего денег Амполи дал на школу иогов, и не потому, что считал пропаганду учения иогов занятием более нелепым, чем любое другое, но просто танцовщица показалась ему уж слишком отъявленной мошенницей; когда Филипп с ней поссорился, банку достался домик в горах,, и там теперь проводили каникулы дети служащих.

---

* «Форс Увриер» — Профсоюзное объединение правых социалистов.

«Мало надежды, что на этот раз отчим всерьез отнесется к моим словам», — волновался Филипп. Он подумал также, что совсем не знает Валерио Амполи и ни разу не говорил с ним по душам. Такси остановилось у ворот, и Филипп еще больше насупился. В этом доме он всегда чувствовал себя скованным, словно в чем-то провинившимся.

— Вчера приехала ваша матушка, — сообщил швейцар.

— Ах, вот как...

И пока они шли по саду, Филипп объяснил Нобле:

— Никто никогда не знает, где моя мать...

Поднимаясь на крыльцо, он добавил:

— Сейчас она бо́льшую часть времени проводит в Америке.

Вилла Амполи была построена в 1935 году в стиле «Лазурного берега»: белые стены, зеленые газоны, плоские крыши с цветниками. Валерио Амполи держал двух садовников и ежегодно тратил три миллиона франков на газоны и на английский сад, который начинался за домом и тянулся до самой Соны; в конце сада, на высоте тридцати метров над уровнем воды, была сооружена терраса; сам Амполи никогда здесь не бывал. Вначале такое великолепие строго осуждалось лионскими буржуа, которые признавали роскошь только в отношении автомобилей, охоты и пикников, но попрежнему жили без всяких удобств в виллах, построенных в конце прошлого века. Но Амполи побаивались; он поразительно предугадывал конъюнктуру и из любой паники или бума на бирже выходил победителем. Не было ни одного промышленника, который хоть раз не обратился бы к нему за помощью. Вся округа ненавидела его. Амполи уехал из Франции в июне тридцать девятого года, заключив предварительно соглашение со швейцарскими банками, в результате чего вишийскому «комиссариату по делам евреев» удалось конфисковать лишь помещение банка Амполи; после Освобождения здание было возвращено владельцу. Теперь же, когда Амполи породнился через свою сестру с Дюран де Шамборами, лионцы находили его расточительность вполне закономерной.

— Ваша матушка приехала вчера утром, — сказал Филиппу лакей.

Амполи велел подать завтрак к десяти часам. Он проводил ежедневно два часа в ванной комнате, душился английскими «мужскими» духами и любил помечтать, сидя в ванне: об этом знали от прислуги. Амполи «следил за собой», и уж одно это в Лионе 195... года вызывало подозрение.

До десяти часов было еще далеко, и Филипп провел Нобле в свою комнату. Стулья и кресла были завалены книгами, гирями и другими гимнастическими приборами. Освобождая место для Нобле, Филипп отодвинул лежавшие на кровати картины без рам. Он раз и навсегда запретил прислуге убирать комнату в его отсутствие.

Филипп взял книгу и притворился, что читает. Приезд матери расстроил его. А Нобле проклинал себя за то, что ввязался в эту авантюру.

— Вы разве не пойдете поздороваться с вашей матушкой? — спросил он.

— Если я ей понадоблюсь, она пришлет за мной, — ответил Филипп подчеркнуто холодным тоном.

Вошла молоденькая горничная с подкрашенными губами, с модной прической. Должно быть, в центре города, на улице Репюблик, ее принимали за парижанку, которая находится в Лионе проездом. Она спросила Филиппа, приготовить ли ему постель.

— Не надо, я всего на несколько часов... Сестра встала?

— Мадемуазель Натали вернулась вчера очень поздно... Но мадам уже заходила к ней...

Горничная взглянула на Нобле и осеклась. Она мгновенно определила его социальное лицо: кто-то из подчиненных, а при служащих не полагается распускать язык.

Филипп пожал плечами:

— Натали еще не протрезвилась?

— Слышен был крик. Мадам сейчас же вышла из комнаты, и дверь хлопнула.

— Кто хлопнул дверью? Натали или мать?

— Мадемуазель Натали.

Горничная снова покосилась на Нобле. Филипп кивнул ей, чтобы она продолжала.

— Они еще вчера вечером начали ссориться...

— Из-за чего?

— Не знаю... Кажется, мадам настойчиво чего-то требует от мадемуазель Натали, а она отказывается...

— О чем шла речь?

— Как будто о какой-то подписи. Но что за подпись — не могу сказать... Мадам говорила, что она нарочно для этого приехала из Нью-Йорка.

— Почему сестра отказывается дать подпись?

— Она не отказывалась; она только кричала, чтобы ей не мешали веселиться... что она не в настроении говорить о делах... у нее были гости — знакомые мадемуазель Бернарды; они все много выпили... а потом вместе уехали из дому.

— Ну, если речь идет всего-навсего о делах... — сказал Филипп.

Раздался звонок.

— Меня зовут, — сказала девушка и тотчас скрылась.

Около десяти часов лакей доложил, что Амполи ждет Филиппа в летней столовой.

— Идите, — сказал Нобле. — Пришлите за мной, когда мосье Амполи пожелает меня принять.

— Нет, нет, — возразил Филипп и взял его под руку. — Вы позавтракаете с нами.

Нобле больше не спорил. Он знал, что вынужден будет уступить. С той минуты, как он вошел в этот дом, где царили непонятные для него порядки, Нобле потерял всякую самостоятельность. Он сделал ошибку, уступив настояниям мальчишки, — теперь надо расплачиваться.

Столовая, застекленная с трех сторон, выдавалась вперед, как нос корабля, и нависала над английским садом. Отсюда открывался великолепный вид на Сону и Золотые горы.

Валерио Амполи шагал взад и вперед по комнате и грыз ломтик поджаренного хлеба. Это, несомненно, человек зрелого возраста, но сколько ему лет, определить трудно. Лицо у него — в отличие от лионских буржуа, больших любителей вина «божоле», — не красное, а белое, даже без розового оттенка и почти без морщин; лицо, лишенное печати возраста. Стройный, в костюме из легкой шерстяной материи, в фланелевой рубашке с клетчатым шерстяным галстуком. Волосы, еще не тронутые сединой, аккуратно зачесаны назад. Совсем не таким представлял себе Нобле закулисного хозяина ПТАО.

Амполи пошел навстречу пасынку и протянул ему руку:

— Здравствуй, Филипп...

Сердечный тон и приветливый взгляд Амполи приободрили Нобле. Но Филипп ничего этого не заметил; уже много лет, как он не «видел» своего отчима.

— Здравствуйте, мосье, — ответил Филипп.

Он называл отчима «мосье» не потому, что ревновал к нему мать, — это было одно из средств отгородиться от своей среды. Нобле не мог этого знать и решил, что такое неравенство в отношениях было навязано Филиппу, и снова пал духом.

Филипп представил Нобле: «Начальник кадров на фабрике Клюзо, один из старейших служащих...»

Между тем метрдотель подал завтрак. Нобле пригласили к столу. Амполи продолжал разгуливать по комнате и на ходу брал с тарелки то ломтик поджаренного хлеба, то апельсин. Филипп сел на край одного из столиков и сказал:

— Мы с Нобле хотим сделать вам важное сообщение, касающееся фабрики...

Непривычная обстановка смущала Нобле: обычно он вел деловые разговоры в кабинете или же, в крайнем случае, в ресторане, как это бывало с предшественником Нортмера.

— Нобле сперва изложит вам сущность дела, — продолжал Филипп. Амполи повернулся к Нобле:

— Я вас слушаю...

Нобле растерялся, забыл, что по разработанному с женой плану он должен был перебросить мяч Филиппу, и, пролепетав несколько слов о важности предполагаемой реорганизации фабрики, сразу же отступил на заранее подготовленные позиции: реорганизация осложнит отношения между дирекцией и профсоюзом ФУ и между профсоюзом ФУ и рабочими...

— Тебя волнует судьба ФУ? — спросил Амполи у Филиппа.

— Нисколько. Дело не в этом...

— Я так и думал, — сказал Амполи.

И тут же засыпал Нобле вопросами о положении рабочих в Клюзо, о дифференциации заработной платы в зависимости от возраста и пола, о состоянии оборудования и достигнутых темпах работы, о ценах на продовольствие, о квартирной плате и т. д. Нобле удивило и то, что человек, которого Филипп назвал подлинным хозяином ПТАО, интересуется такими вещами, и то, что он, видимо, несведущ в них. Мог ли Нобле знать, что успехи Амполи как в мелких, так и в крупных делах объяснялись, между прочим, и неизменной его манерой задавать вопросы, и даже когда собеседнику казалось, что теперь-то Амполи придется уже дать ответ, тот отвечал новым вопросом. Впрочем, в данном случае Амполи не знал почти ничего из того, о чем спрашивал, и с удовольствием выслушивал точные ответы старика. Амполи всегда интересовался новыми проблемами, с которыми ему приходилось сталкиваться.

Вопросы так быстро следовали один за другим и так естественно вытекали один из другого, что Нобле отвечал доверчиво, не взвешивая своих ответов. Как ни искушен был Филипп в этой «односторонней диалектике» отчима (по собственному определению Филиппа), однако и он по обыкновению попался на удочку и, вмешавшись в разговор, стал дополнять ответы Нобле, когда они казались ему недостаточно исчерпывающими. Через четверть часа Амполи была ясна вся картина; Филипп даже успел упомянуть о «необычайном благородстве» молодой делегатки рабочих ВКТ и о почтовом инспекторе — «коммунистическом вожде, совестливом и нерешительном, как Гамлет».

В столовую вошла Эмили.

— Я думала, ты в Клюзо, — обратилась она к Филиппу.

— Ваш сын приехал по делам фабрики, — ответил за него Амполи.

По глазам ее было видно, что она не очень этому верит.

— Рада слышать, что ты с интересом относишься к своей работе, —

сказала она и кивнула вскочившему с места Нобле: — Кажется, я вас знаю...

— Я имел честь видеть вас несколько раз, когда вы еще не были замужем и, впоследствии, когда вы стали супругой мосье Летурно...

Нобле спохватился и прикусил язык: он подумал, что совершил грубую бестактность, упомянув покойного Жоржа Летурно в присутствии Амполи. Сбитый с толку оборотом, какой приняла беседа, и допросом, учиненным ему Амполи, Нобле решил искать союзника в лице Эмили и намеренно завел речь о тех временах, когда она, будучи еще невестой сына хозяина, впервые посетила фабрику; это он ведь водил их тогда по предприятию.

— Да, да, — рассеянно ответила Эмили, — свекор очень ценил вас...

С тех пор как Эмили отняла фабрику у старика Летурно, она говорила о нем только в прошедшем времени.

Затем она вообще перестала замечать Нобле.

Возраст Эмили Прива-Люба, по первому мужу Летурно, по второму — Амполи, было так же трудно определить, как и возраст Валерио Амполи. Ей исполнилось пятьдесят три года, но с таким же успехом ей можно было дать и тридцать, и сорок, а то и все пятьдесят три и даже больше; на ее холеном лице, над которым трудились лучшие специалисты в мире, не было никаких примет возраста. У Эмили и в юности была плоская грудь. Маленькая, тоненькая, она всегда одевалась с большим вкусом. Филипп никак не мог понять, чем его мать привлекает мужчин. Он считал ее сухой и черствой.

— Филипп возражает против переоборудования фабрики в Клюзо,— сказал Амполи.

— Филипп? — удивилась Эмили и резко повернулась к сыну.

— Что с тобой?

— Мы с Нобле разработали другое, более выгодное предложение.

— Что ж, очень похвально, — сказала она, — хотя в данном случае ты несколько опоздал. Впрочем, советую тебе показать свой проект Нортмеру... Я попрошу его обсудить предложение вместе с тобой... Это будет очень полезно для твоего образования...

— Я не согласен с тобой... — сказал Валерио Амполи.

Он попрежнему расхаживал взад и вперед; дойдя до восточной стены столовой, он повернулся лицом к жене.

— Я с тобой не согласен, — повторил Амполи, приближаясь к Эмили. — Доводы Филиппа против намеченного плана, на мой взгляд, довольно убедительны.

— Слишком поздно, — твердо сказала Эмили.

— Правление еще не высказало своего мнения, — возразил Амполи, проходя мимо жены.

— Решение фактически уже принято, — ответила она.

Амполи дошел до противоположной стены и повернул обратно. Жена следила за ним глазами, поворачивая голову то в ту, то в другую сторону.

— Мосье Нобле, — сказал Амполи, снова приближаясь к Эмили, — мосье Нобле обладает большим опытом, и он, кажется, не прочь поддержать Филиппа.

Нобле решил, что настало время оправдываться.

— Профсоюз ФУ... — начал он.

Эмили пожала плечами, и он умолк. Амполи остановился у стола, взял апельсин и снова зашагал к восточной стене.

— Сынок, — обратилась Эмили к Филиппу, — я очень довольна тем, что ты так серьезно относишься к своим временным обязанностям, но из

своего кабинета в Клюзо ты не в состоянии охватить все вопросы, связанные с управлением такого крупного дела, как ПТАО.

— А куда мы денем своих безработных?! — воскликнул Филипп.

Амполи снова приближался к Эмили. Он улыбался. Эмили заметила его улыбку и внимательно посмотрела сначала на мужа, потом на сына.

— Нет, нет, — сказал Амполи, — мы с ним не сговаривались. Филипп только что приехал.

— Перестаньте ходить по комнате, как лев в клетке! — крикнула Эмили. — Это несносно!

Амполи продолжал свою прогулку.

— Не понимаю, куда вы оба клоните, — заметил Филипп.

— Скоро поймешь, — ответил Амполи.

— Не желаю ничего понимать! — вспылил Филипп. — Меня интересует только судьба будущих безработных Клюзо.

— Ты думаешь, нас это не интересует? — сказала Эмили.— Но у нас нет выбора. Акционеры ПТАО не хотят больше мириться с тем, что все доходы идут на покрытие дефицита наших французских предприятий... Либо мы проведем реорганизацию — и это даст пятьдесят процентов безработных, либо закроем фабрики — и тогда все сто процентов останутся без работы... Что, по-твоему, лучше?

Филипп пытался перехватить взгляд отчима, надеясь найти у него поддержку, но тот продолжал шагать по комнате, на ходу снимая кожуру с апельсина. Амполи улыбался и молчал.

— Но ведь предложение Нобле как раз и предусматривает... — снова начал Филипп.

— Не может быть и речи о каких бы то ни было новых планах, — живо перебила его Эмили. — Терпение американских акционеров истощилось. Мне едва удалось спасти положение...

— Ясно, — сказал Филипп.

В комнату бесшумно вошла Натали. Услышав последние слова мачехи и ответ Филиппа, она лукаво улыбнулась отцу; потом заметила начальника кадров из Клюзо, с которым была на балу.

— Здравствуйте, Нобле, — бросила она.

— Доброе утро, мадемуазель.

Эмили метнула в их сторону настороженный взгляд:

— Вы знакомы?

— Мы с ним танцевали на коммунистическом балу в Клюзо, — сказала Натали.

— Разрешите объяснить... — начал Нобле.

— Вижу, что я во-время вернулась во Францию... Придется навести порядок в доме, — сказала Эмили, взглянув на мужа.

— Нам всегда очень вас недостает, — ответил Амполи.

Натали пришла в халате; растрепанные волосы свисали на лоб, по лицу была размазана тушь для ресниц, которую Натали не смыла перед сном.

— Могли бы причесаться перед тем как выйти к завтраку, — заметила мачеха.

— После пьянок у меня очень чувствительная кожа на голове, больно дотронуться, — ответила Натали, развалившись в плетеном кресле у стола.

Нобле встал и подошел к Амполи, дошедшему до восточной стены.

— Прошу извинить меня... — начал Нобле.

— За что же? — Амполи почти ласково улыбнулся старику.

В это время Натали говорила мачехе:

— Вы не можете себе представить, как я вчера нализалась!

— У каждого из нас свои семейные неприятности,— сказал Амполи.

— Извините, что я позволил себе... — продолжал Нобле.

— Вы сообщили мне весьма интересные сведения, и я искренне вам признателен, — сказал Амполи. — Я узнал от вас много такого, о чем и представления не имел... А что касается дела, которое вас привело ко мне, пожалуй, будет целесообразнее, если вы непосредственно обратитесь к мосье Нортмеру...

— Я полагаю, мне лучше уйти... как бы это сказать... по-английски...

— Вот именно, — улыбнулся Амполи, — по-английски.

Нобле незаметно выскользнул из комнаты.

— Я не совсем поняла, из-за чего вы тут спорили, — говорила Натали мачехе, — но мне показалось, что вы хотите одурачить Филиппа...

Натали глотнула чаю, и тут же резко отодвинула чашку.

— Чай остыл! — крикнула она метрдотелю.

Амполи подошел к жене.

— Филипп серьезно отнесся к своим обязанностям директора по кадрам, — сказал он со свойственной ему усмешкой, смысл которой никто, за исключением, быть может, Натали, не мог разгадать. — Он приехал сюда защищать интересы своих рабочих.

Натали пронзительно засмеялась.

— Значит, с черными глазами дело идет на лад? — спросила она Филиппа.

— Я с ней больше не виделся, — решительно запротестовал Филипп.

— Вы разве не знали, — обратилась Натали к отцу, — что Филипп влюбился в самую главную коммунистку Клюзо?

— Теперь все понятно, — сказала Эмили.

Филипп отошел к западной стене и повернулся ко всем спиной.

— Молодая? — спросил Амполи.

— Двадцать пять лет, — ответила Натали.

— Мила?

— Огромные черные глаза... и сложена куда лучше, чем твоя жена или я.

— Умна?

— Во всяком случае, она произнесла очень неглупую речь.

— Очень рад за Филиппа, — сказал Амполи.

— Если она славная девушка, — заговорила Эмили, — надо ее вытащить из Клюзо... во всяком случае, с фабрики... Я с удовольствием буду давать Филиппу больше денег, если у него появятся новые расходы...

Затем, повысив голос, она добавила: — Я очень рада, что он наконец-то завел себе любовницу.

Филипп резко обернулся.

— У меня нет ничего общего ни с кем из вас! — крикнул он. — Я вас презираю! Вы омерзительны.

Он снова повернулся к ним спиной, поднял одну раму в застекленной стене, и все запахи только что политого сада хлынули ему в лицо.

Метрдотель бесшумно прислуживал за столом. Натали закурила и мучительно закашлялась. Амполи встревоженно склонился над дочерью. Эмили намазывала масло на ломтик поджаренного хлеба.

Когда приступ кашля прошел, Натали негромко сказала мачехе:

— Вы же знаете, я люблю Филиппа...

Эмили недоверчиво смотрела на нее. Глаза Натали блестели, но совсем не так, как от виски. Они не потемнели, а были естественного цвета — светлокарие; глядели они необычайно вызывающе. Обе женщины смотрели друг на друга в упор.

— ...но я не нужна Филиппу, — продолжала Натали. — Он любит эту коммунистку... хочу верить, что он ее в самом деле любит... И я решила содействовать его счастью... Мне кажется, она женщина с харак-

тером; она потребует от вашего сына доказательств того, что у него «нет ничего общего с нами», как он сейчас крикнул... Я помогу ему доказать это: я возражаю против реорганизации фабрики в Клюзо.

— И что же дальше? — спросила Эмили.

— Дальше? Доверенность, которую вы от меня требуете со вчерашнего вечера, вы получите только в том случае, если ПТАО откажется от переоборудования фабрики.

— Это ребячество.

— Просто каприз.

— Вы ищете предлог, чтобы нарушить свое обещание.

— Исполните просьбу Филиппа, и я немедленно выдам доверенность.

— Решение принято, и его нельзя отменить, вам это отлично известно.

— Изворачивайтесь, как знаете.

— Никогда тетя Эстер не простит вам такой измены.

— У меня есть свое собственное состояние, и мне его вполне хватает.

— Дрянь! — сказала Эмили.

Натали залилась смехом и, откинув со лба спутанные пряди волос, уселась поудобнее в кресле.

— Поразительно, до чего у меня по утрам ясная голова. Давно мне не было так весело... Я устраиваю счастье Филиппа и вдобавок еще оказываю услугу рабочим Клюзо... Добродетель всегда вознаграждается...

— Вы совсем помешались, — сказала Эмили.

— Это я предвидела, — ответила Натали. — Я похожа на вас: всегда все предвижу... Но ничего вам не поможет, отец не даст упрятать меня в сумасшедший дом.

Эмили устремила глаза на Амполи.

— Образумьте вашу дочь.

— Вы же знаете, если Натали вобьет себе что-либо в голову — невозможно заставить ее уступить.

Эмили задумчиво грызла сухарик. Она старалась понять, перечит ли ей падчерица из чистой злобы, что случалось довольно часто, или же поступает так по наущению Амполи, который намерен теперь сорвать одобренное им было финансовое соглашение. Действовать с дальним прицелом и извлечь пользу из создавшегося положения, прикрываясь капризом Натали, было бы совершенно в его духе.

Филипп никогда не интересовался денежными делами семьи. Он знал, что у Натали есть личное состояние и она может ссужать его деньгами, но в чем состоит ее богатство, Филипп не задумывался. Он не понимал, из-за чего произошла ссора, но смутно чувствовал, что послужил лишь внешним поводом к ней. Он глядел на сад, на Золотые горы и не вслушивался в разговор. Его занимала мысль — почему родная мать ненавистна ему?

— Пойду писать письма, — сказала Эмили.

И, смерив взглядом Натали, добавила:

— Когда вы оденетесь, мы с вами еще поговорим.

— Вряд ли. Бернарда сейчас заедет за мной. Мы отправляемся на Баскское побережье. Я не вернусь до тех пор, пока Филипп не сообщит мне, что вы ему уступили...

Потом Натали громко крикнула Филиппу:

— Ты слышал? Согласен?

— Мне наплевать на все ваши гнусные махинации, — ответил Филипп. — Но я не хочу, чтобы за них расплачивались рабочие Клюзо. Поэтому я готов на все, лишь бы помешать реорганизации фабрики.

— Видите, — сказала Натали мачехе, — ваш сын со мной заодно...

Эмили быстро прикинула, что Бернарда, принадлежавшая к ветви разорившихся Прива-Люба, ни в чем не посмеет ей отказать. Эмили велит ей удержать Натали в Лионе, и общими усилиями да еще при помощи виски они добьются от Натали доверенности. Слабые попытки Филиппа оказать сопротивление нимало ее не беспокоили.

Эмили вышла, ничего не ответив падчерице.

Она была лишена чувства юмора и поэтому даже не улыбнулась при мысли, что ее сын, сойдясь с работницей (Эмили была в этом уверена), продолжает семейную традицию, против которой, как ему казалось, он восстает. Некогда Франсуа Летурно выстроил для одной ткачихи из Клюзо виллу на берегу озера Буржэ в Экс-ле-Бен; для того чтобы удобнее было к ней ездить, он и приобрел в 1912 году свою первую машину марки «Шенар и Уолкер».

— До первого стакана виски я бываю удивительно проницательной, — потягиваясь сказала Натали. — Держу пари, что она уже звонит Бернарде. — Она вскочила с кресла. — Пойду укладываться. Прощайте.

Натали быстро вышла из комнаты, но в коридоре ее приковал к месту новый приступ кашля.

Филипп и Амполи молчали. Это длилось долго. Натали никак не могла побороть душивший ее кашель. Внезапно повернувшись к Амполи, Филипп увидел, что тот напряженно прислушивается и что на глазах у него слезы. У Филиппа сжалось сердце.

Он подумал, что, прожив столько лет бок о бок с Валерио Амполи, совсем его не знает. Филиппа кашель Натали тоже приводил в отчаяние.

— Почему вы не запретите ей пить? — спросил он.

— А что мы можем ей предложить взамен? — ответил Амполи.

— Вино ускоряет процесс болезни.

— Может быть, это ее способ лечиться.

— Мне кажется, что сейчас вы рассуждаете, как ребенок, — сурово сказал Филипп.

— В нашем мире все ведут себя, как дети. Но вся разница в том, что Натали славная девочка.

Филипп и Амполи снова замолчали. Натали вышла из коридора. Видимо, она в своей комнате укладывала вещи; звонки, вызывающие прислугу, раздавались непрерывно.

«Славная девочка» в применении к Натали изумило Филиппа и заставило его глубоко задуматься.

— Чем тебя привязала к себе эта работница из Клюзо? — неожиданно спросил Амполи.

— Ничем. Наш роман существует только в воображении Натали, — живо ответил Филипп.

— Ты не сошелся с ней?

— Нет.

— Я так и думал... Почему же ты так яростно сопротивляешься реорганизации фабрики?

— В Клюзо есть честные люди, — твердо и убежденно сказал Филипп. — Мужчины и женщины совсем непохожи на нас. Я пытаюсь заслужить их уважение.

— Коммунисты?

— Да.

— Все мы к этому пришли, — сказал Амполи. — Мы судим о событиях применительно к коммунистам... Даже когда мы их убиваем или сажаем в тюрьму... Ты читаешь газеты?

— Нет.

— Ты бы увидел, что, призывая к крестовому походу против коммунистов, теперь пользуются их же терминологией. Они уже одержали верх.

Валерио Амполи говорил спокойным, ровным голосом, словно описывал со стороны занимательное явление, которое его лично совершенно не касается. Это тоже было для Филиппа неожиданностью.

— Что вас привязывает к моей матери? — внезапно спросил он.

— Ее здоровье, — тотчас ответил Амполи.

Вероятно, он часто задавал самому себе тот же вопрос, потому что продолжал не задумываясь.

— У нее нет ни сердца, ни ума. Французская мещанка, которая упорно, без оглядки стремится к поставленной перед собой цели «создать себе положение». Она не имеет ни малейшего понятия о том, что происходит в мире, да ее это и не интересует. Она настойчиво карабкается по социальной лестнице, как она это называет, не замечая, что ступеньки уже прогнили...

— Ее отец был банкиром, — вставил Филипп.

— Мелкий банкир в Ардэше.

Филипп спросил в упор:

— Она была вашей любовницей при жизни моего отца?

Амполи пропустил вопрос мимо ушей.

— Ты заметил, как только твоя мать входит в гостиную, за ней немедленно начинает ухаживать самый богатый из мужчин.

— Я не бываю в обществе, — сказал Филипп.

— Холодные женщины привлекают тех мужчин, которые могут все купить. Только абсолютная холодность, не допускающая притворства, может устоять перед ними. Они постоянно ищут женщину, о которой могли бы сказать: «Вот мое единственное поражение в жизни...»

— Натали гораздо больше похожа на вас, чем я думал.

— Твоя мать, — продолжал Амполи, не обращая внимания на замечание Филиппа, — использовала меня, как использовала до этого твоего отца и твоего деда. А сейчас она использует мою сестру. Если ей удастся войти в семью Дюран де Шамборов, это будет самая головокружительная карьера нашего века.

Амполи увел Филиппа в соседнюю комнату и стал у окна, откуда открывался вид на английский сад и на ворота, выходившие на лионское шоссе.

— Через десять лет Советский Союз и Китай будут производить больше стали, чем все остальные страны взятые вместе, — сказал Амполи без всякого перехода. — Никто не решится напасть на них. И тогда даже Америка начнет распадаться... А Эмили будет слишком стара, чтобы заново устраивать свою жизнь с каким-нибудь народным комиссаром...

Амполи следил из окна за тем, что происходит в саду. Повернувшись к Филиппу, он добавил:

— Но твоя мать до последнего вздоха будет пытаться создать себе положение...

Он улыбнулся и негромко продекламировал:

— «Мы узнаём, как надо жить, когда жизнь уже позади. Сто учеников успели заразиться сифилисом, прежде чем они дошли до учения Аристотеля о воздержании...»

— Что это такое? — удивился Филипп.

— Монтень... Ты никогда его не читаешь?

— Нет.

— «Можно ли утолить желания, — продолжал Амполи, — кои растут по мере их удовлетворения? Тот, все помыслы которого направлены на приобретение, не помнит о приобретенном».

Филипп прервал его:

— Как вы думаете, она ускорила смерть моего отца?

— Есть столько способов ускорить смерть... — ответил Амполи.

Слова отчима не потрясли Филиппа. Он давно привык к этой мысли, хотя впервые так отчетливо ее выразил. Да он и не помнил отца.

Амполи снова повернулся к окну и приподнял занавеску. Филипп последовал за его взглядом. С крыльца сходила Натали; она накинула на плечи плащ, повязала голову косынкой и держала в руке небольшой чемодан.

— Так спешила, что даже не причесалась, — заметил Амполи.

Натали направилась к гаражу. Вскоре «Альфа-Ромео» развернулась на аллее «английского сада» и подкатила к воротам, которые в ту же минуту распахнул привратник. Натали остановила машину на противоположной стороне шоссе. Почти одновременно подъехало такси. Из него вышла Бернарда.

— Твоя мать, конечно, наблюдает за ними из окна своей комнаты,— сказал Амполи.

Бернарда подошла к «Альфа-Ромео». Натали высунулась из машины, и некоторое время девушки, повидимому, пререкались. Затем Бернарда села рядом с Натали, и машина рванулась по шоссе, «обгоняя ветер»,— обычная манера Натали.

Эмили стремительно вошла в гостиную.

— Бернарда обманула меня, — сказала она, обращаясь к Амполи.— Только что по телефону она обещала мне удержать Натали дома.

— Ты поскупилась, — спокойно ответил Амполи. — Моя дочь щедрее.

Эмили подошла вплотную к мужу.

— Для тебя нет большего удовольствия, чем видеть меня в дурацком положении, — сказала она, злобно глядя ему в лицо.

— Это единственное удовольствие, которое ты мне доставляла за всю нашу совместную жизнь.

Эмили вышла, даже не взглянув на сына.

И только тут Филипп хватился Нобле. Сначала его отвлекли споры из-за него между матерью и Натали, потом он слушал отчима и совершенно забыл о старике.

— Где же Нобле? — спросил он.

— Я послал его переговорить о вашем деле с Нортмером.

— Вот трус! — воскликнул Филипп.

— По-твоему, он должен был присутствовать при наших семейных сценах?

— Все равно, он трус, — повторил Филипп. — Он бросил меня в разгар боя.

— Он мне не показался трусом. Мало кто из наших молодых инженеров нашел бы в себе мужество так откровенно говорить со мной о положении рабочих в Клюзо.

— Он думает об одном — как бы не полетели к чорту его гнусные расчеты на ФУ.

— Этим он оправдывает перед нами и, быть может, перед самим собой свою точку зрения. Но мне кажется, что в глубине души он гораздо больше гражданин Клюзо, чем служащий ПТАО.

— Вам кажется...— повторил Филипп.

Он очень удивился, услышав из уст Валерио Амполи такие слова, как «в глубине души». И было совершенно ясно, что это не ханжество.

— А теперь мне надо поработать, — сказал Амполи.

Филипп пожал протянутую ему руку.

— До свидания, мосье.

— Почему ты не называешь меня по имени? — спросил Амполи, не выпуская руки Филиппа.

— До свидания, Валерио, — сказал Филипп, крепко пожимая руку отчима.

* * *

На следующее утро Эмили получила письмо от Натали:

«Дорогая мама, мы с Бернардой поселились в Клюзо, у Филиппа. Если вам в самом деле нужна моя подпись, приезжайте за нею сюда, с петлей на шее, то есть с договором (предоставляю вам сочинить его текст), по которому вы обязуетесь пойти навстречу Филиппу и согласиться на тот несусветный вздор, который он городит о каких-то ткацких станках. Советую поторопиться, так как наше присутствие ужасно обременительно для вашего сына, а мое пьянство вызывает всеобщее осуждение среди жителей городка, где вы провели самые счастливые годы вашей жизни. Ваша дочь Натали».

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

Раз в месяц, в воскресенье, Пьеретта ездила к сыну на ферму своего дяди и моего соседа по Гранж-о-Вану. Автобус довозил ее до перекрестка, откуда ответвляется проселочная дорога, а дальше она шла пешком.

Но в то последнее воскресенье мая, который выдался на редкость солнечным, Пьеретта решила идти прямо из Клюзо исхоженными с детства горными тропами вместе с Раймондой и Фредериком Миньо. О прогулке условились две недели назад. Стариков Амаблей, уже знакомых с четой Миньо, известили заранее. В последнюю минуту к ним присоединился и Бомаск — по воскресеньям его заменял другой шофер сыроварни.

Они вышли ранним утром; когда они, проходя мимо ограды парка Летурно, поравнялись с окнами Филиппа, наглухо закрытыми ставнями, Миньо заметил:

— Как-никак, парень проявил мужество, послав тебе проект реорганизации фабрики.

— Мало ты веришь в людей, — ответила Пьеретта.

И они заговорили о другом. Они еще ничего не знали ни о попытке, сделанной Филиппом в Лионе, ни о приезде Натали с Бернардой в Клюзо, ни о странном затеянном ею шантаже, мнимой целью которого было спасти от безработицы половину рабочих фабрики.

Миновав парк, они вышли на каменистую горную тропку, которая вилась среди виноградников. Раймонда всю дорогу пела песенки из оперетт, слышанные ею по радио еще в ту пору, когда она, вернувшись из монастырской школы, жила в родительском доме; в ответ Бомаск запел итальянские песни, чем привел Раймонду в восхищение: по ее понятиям, именно так и проводят с приятностью время на загородной прогулке.

У первой же деревушки они свернули и пошли оврагом, пролегающим в соседней долине. Раймонда начала жаловаться, что ей больно ступать по камням, и сгоряча обмолвилась: «По такой дороге только коров гонять».

— Ты так не задирала нос, когда пасла отцовских коров, — ответил Миньо.

Дальнейшая перепалка развивалась столь стремительно, что через четверть часа они единодушно решили разделиться: Пьеретта и Бомаск

продолжают подъем, который становился все более и более крутым, а супруги спустятся обратно в Клюзо и приедут в Гранж-о-Ван на мотоцикле.

Не став обладательницей четырехместного автомобиля, жена Миньо примирилась с мотоциклом, как, впрочем, и со многим другим, потому что в ее родной деревне даже велосипед с моторчиком считался предметом роскоши.

* * *

Овраг выводил прямо к буковой поросли. Под сводом молодых деревьев стояла глубокая и прохладная тень.

Бомаск шел впереди. Всякий раз, когда, чуть колышась, их путь преграждал нежнозеленый свежий побег ежевики, которая росла по откосам оврага, он отводил его рукой, чтобы шипы не оцарапали Пьеретту.

В двух шагах от него шла Пьеретта — в ситцевом платье, с обнаженными руками, в сандалиях на веревочной подошве, надетых на босу ногу. Оба подымались в гору быстро, но дышали спокойно и ровно. Она следила взглядом за Бомаском. Он накинул свою куртку на плечи; всю нагрузку при подъеме несли ноги — корпус оставался неподвижным и только слегка покачивались бедра. На память ей вдруг пришла песенка, выученная в школе: «Стук-стук, стучат твои сабо...» Нет, Бомаск, конечно, никогда не носил сабо. Ни у кого из парней в Гранж-о-Ване нет такой легкой походки. «Вот еще причина, почему девушкам больше нравятся рабочие», — подумалось Пьеретте.

Взгляд ее скользнул вверх и задержался на глянцевито-черных курчавых волосах Бомаска. «Итальянец»,—подумала она. Вспомнилось, где-то она читала о ночах на Капри. «Южанин», — подумала она. И горячая кровь ударила в сердце. Пьеретта с досадой сказала себе: «Вот и я такая же дура, как девушки, читающие «Мы с тобою вдвоем». Сколько времени с ней этого не бывало... И чтобы пресечь поток своих мыслей, Пьеретта заговорила:

— Они придут раньше нас.

— Не придут, — ответил Бомаск. — Целый день будут дома ссориться... Миньо не мужчина.

— Не болтай глупостей, — оборвала его Пьеретта.

— Миньо хороший товарищ, — сказал Бомаск. — Но с женой он ведет себя не как мужчина.

— Тебе, может быть, хочется, чтобы он ее бил?

— Да надо бы, — отвечал Бомаск, не повышая голоса, не замедляя шага.

— Ты рассуждаешь, как мелкий буржуа, — горячо сказала Пьеретта.

Бомаск остановился, посмотрел на нее и расхохотался. Он смеялся так неудержимо, что Пьеретта растерянно спросила:

— Да что с тобой?

— Есть вещи, о которых я не могу с тобой говорить,— ответил Бомаск. — Слишком уж я тебя уважаю.

Он повернулся к ней спиной и продолжал идти, легко перепрыгивая с одного плоского камня на другой.

Они взбирались в гору еще с полчаса, как вдруг у опушки букового леса дорога оборвалась. Бомаск замер, перегнувшись над листвой последнего куста. Когда Пьеретта нагнала его, он приложил палец к губам.

— Погляди, — прошептал он.

Мимо них бежала лисица.

— Какая она золотистая, — сказала Пьеретта.

— Рыжая, — поправил ее Бомаск. — Здешняя лиса — рыжая.

— А по-моему, она золотистая.

— Что ж, пусть будет по-твоему.

Лисица не спеша трусила по открывшейся перед ними пустоши, которая тянулась по крутому склону, заканчиваясь ельником. Стрелки молодой травы с трудом пробивались сквозь сухую прошлогоднюю. Раньше здесь был луг, потом летний выгон для скота, но с течением времени у людей пропала охота выкорчевывать кусты можжевельника и шиповника, которые, как передовой отряд, открывают нашествие леса; и теперь среди жесткой травы, растущей между колючими кустарниками, больше не пасется скот; так из года в год дичает эта гора, покинутая людьми.

— Твоя лиса и не оглядывается на нас,— сказала Пьеретта.

— Ей не до тебя, — ответил Бомаск.

Лиса скрылась за высоким можжевельником, потом снова показалась совсем близко от елей. На минуту она остановилась, повернула мордочку к Пьеретте и Бомаску и исчезла за кустами, окаймлявшими ельник.

— Она на меня посмотрела, — заметила Пьеретта.

— В эту пору лиса смелая, — сказал Бомаск. — В другое время года она охотится только ночью. А сейчас она кормит лисят и даже днем шныряет около курятников.

— Откуда ты это знаешь? — спросила Пьеретта.

— Приходилось работать и в «фонди».

Они сели на траву покурить. Бомаск рассказал о «фонди» — крупных поместьях на его родине, о поселках сельскохозяйственных рабочих, разбросанных среди обширных владений римской знати, о забастовках, о стычках с карабинерами. Пьеретта слушала рассеянно. Она думала о лисице, которая так нахально поглядела на нее и которая охотится для пропитания своих лисят.

— Когда я была маленькая и ходила в горы с матерью, — сказала Пьеретта, — мы здесь сворачивали с дороги и шли тропками напрямик через гребень. Гранж-о-Ван как раз напротив нас, по ту сторону гребня. Но с годами тропки совсем заросли кустарником.

— Пойдем напрямик, — предложил Бомаск, — может, наберем сморчков под елями.

— Сморчки уже сошли.

— Ты шипов боишься?

— Да нет, пойдем, — сказала она. — По следу золотистой лисы.

Теперь впереди шла Пьеретта. Она смело прокладывала себе путь среди высоких жестких трав, огибая кусты можжевельника, отстраняя ветки шиповника кончиками пальцев, ухватившись за гладкий стебель между колючками, легко преодолевая крутой склон.

Бомаск следовал за ней шагах в десяти, чтобы ветки шиповника не хлестали в лицо. Он любовался ее гибкой талией, стройным станом, крепкими красивыми ногами. Ему нравилось даже и то, что она худощава, тонка, мускулиста. Он подумал: Пьеретта — девушка, которой можно гордиться, и она гордая девушка, да ведь, по правде сказать, это одно и то же. Он ускорил шаг, чтобы ее догнать.

В словом лесу они набрели на отлогую тропинку, которая вилась вокруг одного из уступов горы. Мох и хвоя, устилавшие землю, мягко пружинили под веревочными подошвами их сандалий.

— Хорошо идти здесь в тени, — сказала она.

— Хорошо идти здесь, мягко,— сказал он.

Сделав крутой поворот, тропинка побежала в гору, затем оборвалась у буковой поросли.

— А теперь куда? — спросил Бомаск.

— Прямо через чащу,— ответила Пьеретта, — до гребня; теперь, верно, уже недалеко.

Бомаск пошел первым. Поросль была молодая и необычайно густая. Они пробирались очень медленно. Приподняв ветку, Бомаск наклонялся и проходил под ней, затем передавал ее Пьеретте, которая, в свою очередь, наклонялась, проходила под веткой и выпускала ее из рук. Так они преодолевали чащу, словно танцуя танец в четыре такта.

Ища прогалину, они сворачивали то вправо, то влево. Справа они наткнулись на просеку, вырубленную в прошлом году, но уже так густо заросшую ежевикой, что она стала почти непроходимой. Слева же перед ними открылся обвал, где деревья росли не так часто и подъем им облегчал очень старый и очень глубокий мох. Но это была лишь краткая передышка: взобравшись наверх, они вынуждены были еще с десяток метров ползком пробираться под молодыми деревьями, которые выросли слишком чахлыми и тесно переплелись между собой. Редкая листва почти не давала тени, и в этой роще, которая, едва приоткрывшись, сразу сомкнулась за ними, не чувствовалось ни дуновения ветерка.

Когда они выбрались из чащи, Пьеретта поднялась, но тут же споткнулась о корень и ухватилась за плечо Бомаска. Она ощутила под пальцами мокрую от пота ткань его голубой рубашки, прилипшей к телу.

Он улыбнулся ей. Капли пота, градом катившиеся со лба, застилали его глаза. Ей захотелось отереть ему лицо.

— Передохнем? — предложил он.

— Нет, нет, — ответила она, — еще немножко. Мы уже почти на гребне, смотри...

Она показала рукой на голубую полоску неба, сквозившую между стволами.

— Идем, — сказал он.

Подъем становился все круче. Бомаск попрежнему передавал ей из рук в руки ветви. Проходя под ними, она поневоле касалась его. И каждый раз она слышала его дыханье.

Неожиданно лес кончился, и они очутились среди папоротников, которые были выше их самих. Пьеретта ускорила шаг и забежала вперед.

— Осторожнее, там гадюки, — крикнул вдогонку Бомаск.

— В папоротниках гадюки не водятся, — крикнула в ответ Пьеретта.

Чем ближе они подходили к гребню, тем более отлогим становился склон. За гребнем должна была открыться большая лощина; ничто пока ее не предвещало, но они чувствовали ее близость так же явственно, как это бывает во сне, когда знаешь, что ровная поверхность, на которую ты сейчас ступишь, не равнина, а нагорье.

В уже видимом для них небе кружил коршун над еще невидимой лощиной. Коршун парил, распластав огромные красновато-коричневые крылья, и светлые полосы на нижней стороне их отливали золотом. Он описал в небе несколько постепенно суживающихся кругов, затем издал пронзительный клекот.

— Добычу пугает! — крикнула Пьеретта.

Должно быть, лощина по ту сторону гребня кишела всякой живой тварью. Они побежали, Пьеретта впереди.

Листья папоротника наотмашь били их по лицу. Это были крепкие затрещины, от них веяло свежестью, сильным бодрящим запахом — и хотелось бежать все быстрее. Пьеретта попрежнему была впереди. Когда папоротник становился почти непроходимым, она с разбега бросалась всем телом на зыбкую стену; папоротники принимали ее, обдавая крепким ароматом, затем расступались. Она, смеясь, вставала и бежала дальше еще стремительней прежнего.

Из лощины по ту сторону гребня — он был теперь уже совсем близко — поднялись три ворона. Коршун полетел им навстречу с угрожающим клекотом. Затем и коршун и три ворона скрылись в лощине.

— Вороны всегда возьмут верх! — крикнула Пьеретта.

— Потому что нападают стаей, — крикнул в ответ Бомаск.

— Подлые они! — откликнулась Пьеретта.

Склон становился все более отлогим. Они пробежали еще несколько десятков шагов. Пьеретта попрежнему была впереди. Достигнув гребня, она опустилась на траву. Бомаск догнал ее и опустился рядом.

Они лежали ничком, в низкой горной травке, совсем близко, но не касаясь друг друга. Каждый из них слушал, как медленно стихает бурное дыханье другого. Горячий пот, разгоряченная от бега кровь жгли каждую клетку их тела, словно укусы миллиона красных муравьев.

Бомаск зарылся лицом в траву, ища прохлады.

Вдруг он вскинул голову и увидел, что Пьеретта, слегка приподнявшись на локтях, смотрит на него. Он поймал ее взгляд; она не отвела глаз, но в глубине их он увидел какое-то безмерное смятенье. И он робко потянулся к ней. Тогда она припала к нему, спрятав лицо в ямку между шеей и плечом, прижавшись к его пропитанной потом рубашке, и ощутила на губах солоноватый вкус.

Теперь коршун отбивался уже от десяти воронов. Их злобное карканье отдавалось в небе воинственным кликом. Красновато-коричневые и черные перья реяли в воздухе и медленно падали на сплетенные в объятие тела Пьеретты и Бомаска.

* * *

Бомаск привык к тому, что женщины удерживают его подле себя, медлят в его объятиях, когда он пытается разомкнуть их. Он этому не противился, потому что любил женщин и был благодарен им за ласки. Но сам, едва утолив страсть, уже думал о чем-нибудь другом: о подготовке нападения на оккупантов, когда партизанил; о технике клепального дела, когда работал на верфях в Ансальдо. А в объятиях мавританки размышлял об остроумном устройстве парусного судна, позволяющем моряку использовать ветер, чтобы идти против ветра; он был тогда моряком и возил на паруснике каррарский мрамор в Северную Африку. В мозгу его немедленно возникали новые замыслы, новые соображения и образы, как после чашки очень крепкого кофе — doppio espresso. И все-таки он не отстранял женщину, отвечал на нежные слова милыми шутками, давая ей ласкательные прозвища на своем языке, хотя думал он — и при этом очень усиленно — совсем о другом.

Но Пьеретта не медлила.

— Солнце уже высоко, — сказала она вставая. — Я обещала, что мы придем к десяти...

Она старательно очищала платье от приставших сухих былинок. Бомаск еще лежал в траве и, закинув руки за голову, с изумлением смотрел на нее.

— Сын, верно, заждался меня, — сказала она.

Бомаск встал:

— Идем!

У ног их раскинулась ложбина, поросшая пушистой травой и мхом; посреди высилась дубовая роща, откуда выходила тропинка. Бомаск шел следом за Пьереттой. Она спускалась с откоса широким шагом, но таким легким, что, казалось, она парит в воздухе.

В роще был родник; они рядом опустились на колени. Она окунула

лицо в воду, потом, выпрямившись, тряхнула головой, рассыпая вокруг себя дождь брызг.

Бомаск смотрел на нее, впервые в жизни чувствуя себя неловким. Он притянул ее к себе и попытался поцеловать; она мягко его отстранила.

— Ты сердишься? — спросил он.

На ее лице, покрытом капельками воды, мелькнула улыбка.

— За что же?

Он пригнулся к роднику, чтобы напиться.

— Нет, не так, — остановила она его.

Сложив горсточкой ладони, Пьеретта набрала воды и протянула их Бомаску. И пока он пил из ее ладоней, она коснулась его лба беглым поцелуем и тотчас же встала.

— Мы опаздываем, — сказала она. — Иди за мной. Мы спустимся прямо через пастбище.

Когда они вышли из ложбины, прямо под ними показались черепичные кровли жилищ и крытая шифером колокольня Нижнего квартала Гранж-о-Ван — тридцать домишек, приютившихся в расселине, за которой высилась отвесная гора, а у ее подножия простиралась едва видная за дымкой равнина.

Они шли по пояс в траве. Пьеретта стремительно сбегала по самым крутым склонам, свободно раскинув руки, легко ступая, чуть-чуть откинув назад голову. Места эти были исхожены ею с детства. Да и он был родом из горного края. Они преодолели спуск, не сделав ни единого привала, не разговаривая, чтобы сберечь дыхание.

II

В то воскресенье меня не было в Гранж-о-Ване, и только потом из рассказов Бомаска, Пьеретты и Миньо я узнал, как прошел этот день у моих соседей Амаблей.

Миньо приехали на своем мотоцикле задолго до прихода Пьеретты и Бомаска. Эме Амабль тут же повел Фредерика в погреб попотчевать его стаканом вина. Вслед за гостем отведал вина и хозяин.

— М-да, хвалиться нечем, — сказал он, поморщившись.

— Почему же? Неплохое винцо, — вежливо ответил Миньо.

— Чистый уксус, — сказал старик.

— Может, еще не перебродило,— заметил Миньо.

— Кислятина!

— Может, оно со временем станет лучше, — предположил Миньо.

— Виноград теперь подстать всему остальному, — сказал старик. — Все прахом идет... Взгляни-ка на орешник: скоро на нем останется не больше листьев, чем у тебя волос на голове, и, знаешь, почему? Я как-то зимой спилил два дерева: они гниют изнутри... А ты заметил дубы у дороги? Они так и кишат голубыми мотыльками: гусеницы сожрали все молодые побеги... Дуб нынче не стойкий...

— Может, деревья подкормить нужно, — заметил Миньо.

— Ты говоришь точь-в-точь, как школьный учитель, — ответил Амабль. — Ты думаешь, что всему можно помочь химией... Да ведь пятьдесят лет тому назад не было надобности ни обрабатывать купоросом виноградники, ни опрыскивать ядом плодовые деревья, а за вином и фруктами в Гранж-о-Ван приезжали даже из Лиона. А в последние годы какие растут яблоки? Ты их пробовал? Прежде такие яблоки скармливали свиньям; ранет был как ранет, кальвиль как кальвиль; а из теперешних яблок только сидр гнать можно...

Миньо не мешал старику Амаблю разглагольствовать о том, что пришли последние времена. Он уже не раз слышал такие разговоры в здешних местах. И он сделал свои выводы. Сам по себе факт подмечен правильно. Когда плотность населения уменьшается, когда горные луга наступают на возделанные земли, а лес — на пастбища, вся природа начинает возвращаться к состоянию первобытной дикости?

— Пройдет еще пятьдесят лет, — продолжал Эме Амабль, — и ничего здесь больше не останется: ни орешника, ни яблонь, ни дубов — одни заросли кустарника.

— Да, вот что, — прервал его Миньо, — Пьеретта просила вам передать, что приведет с собой еще одного гостя.

Старик внимательно посмотрел на него:

— Решилась все-таки завести себе дружка?

— Нет, нет, — возразил Миньо, — он наш товарищ... и для нее он тоже только товарищ.

— Все еще политикой занимаетесь? — спросил старик.

— И будем, пока не переделаем мир, — ответил Миньо.

— Миру придет конец раньше, чем вы его переделаете, — сказал старик.

Раймонда Миньо чувствовала себя превосходно в доме Амаблей, где проводила уже не первое воскресенье. Они были землевладельцы, как и ее родители, а землевладельцы всегда друг друга поймут. Ну могут ли рабочие, с которыми встречается Фредерик, понять чувства дочери землевладельца? Дом родителей Раймонды стоял у самого шоссе, а дом Амаблей — в глуши, в конце проселка. Поэтому Раймонда считала себя выше Амаблей, невзирая на приблизительное равенство общественного положения. Иначе говоря, Раймонда чувствовала себя так, как если бы пришла в гости к людям своего круга, которые живут чуть-чуть похуже ее. Кроме того, здесь все напоминало ей прежний, привычный уклад. Уже через полчаса после приезда Раймонда повязала передник поверх сшитого прошлым летом нарядного платья, надетого ею для прогулки, и принялась помогать тетке Пьеретты щипать курицу на жаркое. Тем не менее старуха посматривала на нее критическим взглядом. Она находила, что у Раймонды слишком толстые лодыжки и запястья: «Тамошних женщин, что живут на равнине, откармливают кукурузой, как каплунов; оттого-то они и жиром обрастают не там, где надо».

— Автобус давно прошел по шоссе, — сказала старуха. — Пьеретте пора бы уж быть здесь.

— Кстати, — сказала Раймонда, которая выжидала удобного случая, чтобы выпустить первый заряд, — я забыла сказать, что Пьеретта идет пешком через горы.

— Ах, так!

— Кстати, — продолжала Раймонда, — я забыла вам сказать... Пьеретта просила предупредить, что приведет к обеду своего друга...

— Кто такой? — спросила старуха.

— Вы его знаете. Это итальянец, который ездит к вам за молоком.

— Вот уж не думала, — сказала старуха, — что Пьеретта станет дружить с макаронщиком.

* * *

Пьеретта не захватила с собой карманного зеркальца. На работу она всегда выходила подкрашенная — это был долг вежливости по отношению к товарищам, но в то весеннее воскресенье, собираясь на прогулку в горы, она только умылась холодной водой. В волосах ее застряли травинки. Бомаск, озадаченный молчанием Пьеретты, сбитый с толку ее не-

возмутимостью, умолчал об этом. Как только они вошли, тетка Амабль сказала:

— Длинная же была у вас дорога.

Пьеретта не заметила насмешки. Она обнимала сына.

— Вы, верно, вздремнули на травке? — спросила Раймонда.

Пьеретта вся вспыхнула.

Тогда Миньо, совершенно неспособный понимать такого рода намеки, запел, чтобы прервать внезапно водворившееся молчание:

Среди нескошенного хлеба
Нас только солнце видит с неба...

Раймонда визгливо засмеялась.

— Чему ты смеешься? — спросил Миньо.

Пьеретта круто повернулась и сказала сыну:

— Пойдем, посмотрим твоих ягнят.

Она взяла его за руку и увела с собой. Но не успела она выйти во двор, как ее снова бросило в краску; она подумала, что Бомаск может вообразить, будто она стыдится его потому, что он «мака́».

В овчарне Роже начал объяснять ей: — У Белянки получился только один, черный, ягненок, а у Чернушки — целых трое, и совсем белых; самого маленького пришлось кормить из рожка, и он потом стал самый толстый... — Но Пьеретта почти не слушала мальчика и рассеянно гладила его по головке. Она была зла на себя; не потому, что придавала особенное значение случившемуся с нею в горах. На четырнадцатом году своей жизни и позднее, до восемнадцати, она, гостя летом в Гранж-о-Ване, пасла скот, и, как у всех других пастушек, у нее тоже водились «дружки» среди ее сверстников-пастухов. Но на собственном опыте и опыте своих товарок по фабрике она узнала цену любви. «Вступить в брак», «устроить свою жизнь» означает готовить обед, мыть посуду и стирать на двоих после восьмичасовой работы в цеху; это значит, что уже никогда не будет времени на чтение книг, и надо отказываться от многих поручений, которые составляют смысл ее жизни; а любовные приключения обычно кончаются вмешательством акушерки или бабки и всеми муками, уготованными женщине. Пьеретта знала, что когда-нибудь будет иначе; ради этого она и боролась, но пока что было именно так. Она верила, что ей удалось окончательно оградить себя от силков, которые расставляет любовь. С тех пор как Пьеретта прогнала мужа, она без труда обуздывала свои желания; теперь она сердилась на Бомаска за то, что он разбудил их, и сердилась на себя за то, что сердится на него.

* * *

Малыш повел Пьеретту осматривать усадьбу. Ульи были починены и свежевыкрашены. Ветхие столбики в штакетнике вокруг огорода заменили новыми. Яблони избавились от душившей их омелы, которую старик Амабль за много лет так и не удосужился уничтожить. Все это не ускользнуло от внимания Пьеретты: недаром она в детстве подолгу жила в Гранж-о-Ване. Роже объяснял ей:

— Это кузен Жан так покрасил ульи... Кузен Жан починил дымоход в печке... Жан купил себе мотоцикл. Он катал меня на нем...

Тут Пьеретта вспомнила, что был какой-то «кузен Жан», но ей никак не удавалось восстановить в памяти его лицо. Кто такой этот незнакомец, о ком ее сын говорил без умолку и следы которого она встречала на каждом шагу? Обычно Пьеретта не очень беспокоилась о сыне. Он жил в Гранж-о-Ване, где она сама находила приют в тяжелые минуты

своего детства и отрочества, где и поныне ничто не изменилось с тех пор, как она себя помнила; этого было вполне достаточно, чтобы она не тревожилась за ребенка. Но прогулка на мотоцикле ей не понравилась. Она тут же вернулась в дом.

— Кто это катает Роже на мотоцикле?

— Ну как же, — сказала старуха Амабль, — неужто ты не помнишь? Это же сын нашего... внук нашего...

— Он служит на железной дороге,— сказал Эме Амабль.— В депо Сент-Мари-дез-Анж. (Сент-Мари-дез-Анж — городок, расположенный в пятнадцати километрах от Гранж-о-Вана; это одна из крупнейших сортировочных станций на юго-восточной линии).

— Они с твоим сыном сдружились. Когда Жан здесь, мальчишка ходит за ним по пятам.

— Он заезжает к нам, помогает помаленьку. На мотоцикле езды ему всего четверть часа.

— Да как же ты не помнишь?.. Ты даже танцевала с ним...

Но тут с проселка донесся нарастающий гул мотора, и во двор въехал железнодорожник на большом красно-зеленом мотоцикле. Его никелированные части ослепительно сверкали на солнце. Видно было, что это завсегдатай дома, потому что он, никого не спрашивая, поставил машину под навес сеновала. Потом он вошел в дом. Это был белокурый рослый парень, плотный и румяный.

— Не узнаешь меня, Пьеретта?

— Да нет, узнала... — ответила Пьеретта. — Постой-ка, а почему ты приехал один? Ты, кажется, женился на девушке из Аннонэ...

— Жена у него померла в прошлом году, — сказала старуха Амабль.

После короткого молчания, которым почтили память покойницы, Жан уселся на край деревянной скамьи и взял сына Пьеретты на колени.

— Ну как, карапуз, все еще хочешь стать мотогонщиком?

Пьеретта сразу поняла, куда клонят дядя с теткой. Все девушки в Гранж-о-Ване мечтали выйти замуж за железнодорожника. Не то чтобы железнодорожник так уж много зарабатывал, но его ежемесячное жалованье — это наличные деньги, оборотные средства, в которых больше всего нуждаются мелкие землевладельцы.

Жан продолжал играть с Роже. «Он уже чувствует себя его отцом», — подумала Пьеретта; глаза ее гневно сверкнули. Бомаск любовался блестящими глазами Пьеретты, ее румянцем, однако он не понимал, какие побуждения руководят всеми этими людьми и, видимо, настраивают их друг против друга. Он подумал, что, может быть, все это из-за него, и ему стало горько. Обед прошел в мрачном молчании. Разговор за столом поддерживали только Миньо и хозяин.

* * *

После обеда старик Амабль предложил Пьеретте пройтись по проселку.

— Тебе этот парень очень по душе? — спросил он вдруг.

— Какой парень?

— Дружок твой.

Она посмотрела ему в глаза.

— Бомаск мне не дружок.

— Молодой женщине вредно долго жить одной,—продолжал старик.

— Это я уже слышала, — с вызовом ответила Пьеретта.

Ей припомнились слова старика Кювро. Но тогда она была тронута сердечной заботой старого товарища, а замечание дяди ее рассердило.

«Какое ему дело?» В тех редких случаях, когда дядя пытался воздействовать на нее, она оказывала ожесточенное сопротивление. Когда-то Эме Амабль заставил своего младшего брата, отца Пьеретты, пойти на фабрику в Клюзо и получил, таким образом, возможность откупить у него за бесценок его долю земли, которую он, работая на фабрике, был не в состоянии обрабатывать. «А теперь что ему нужно?» К тому же Пьеретта, хотя и безотчетно, считала себя, фабричную работницу, более сведущей во всех вопросах современного мира, чем старый крестьянин, более опытной и более способной принимать разумные решения.

— Понятно, — продолжал старик. — И не раз, должно быть, слышала. Ты ничуть не постарела, почти такая же, как до замужества. Люди знают, какая ты работящая. Мало найдется мужчин, которые отказались бы от такой хозяйки.

— С меня хватает и моего хозяйства, — сухо ответила Пьеретта.

С минуту они шли молча. Молчание становилось тягостным. Они огибали луг Эме Амабля, который он приобретал в течение тридцати лет по клочкам: кое-что выменял, кое-что досталось по наследству, кое-что выторговал. В 1900 году, когда в Гранж-о-Ване было свыше сотни дворов, в этой ложбинке сеяли коноплю, отчего за лугом и осталось название «Конопляник». Пьеретта все это хорошо знала, ей об этом рассказывали сотни раз.

— А «Конопляник» зазеленел, — сказал он, — несмотря на засуху.

— Это лучший наш луг, и все-таки нынешний год я останусь без сена. В Молляре трава будет дрянная: я прошлым летом не успел ее скосить, а весной не смог сжечь. Люцерна на «Гнилой земле» чахнет, потому что нет удобрений...

Амабль вдруг остановился.

— Что ты потеряешь, если бросишь фабрику?

— Мою работу, — ответила она.

— Это ведь не железная дорога, тут ты пенсии не получишь.

Пьеретта опять вспомнила Кювро.

— Неправда, — сказала она, — ПТАО выплачивает пенсию старым рабочим — тысяча триста пятьдесят франков в месяц.

— Гроши!

— И я так думаю!

— Мы со старухой,— сказал Амабль, — больше не справляемся одни.

Пьеретта не поверила ему. Вот уже десять лет, как он обрабатывает ровно столько земли, сколько требуется для пропитания семьи. Остальная земля идет под луга и пастбища. А выручки от продажи телят и молока хватает на все мелкие закупки в базарные дни по пятницам.

— Мы старимся, — сказал он.

— Напротив, я давно не видела вас таким бодрым,— ответила Пьеретта.

Тогда Амабль сказал напрямик:

— Здесь хватит работы на две семьи. И я завещаю землю твоему сыну.

— Вы хотите, чтобы я помирилась с Люсьеном? (Так звали ее бывшего мужа.)

— Нет,— сказал старик,— Люсьен дармоед. Но ты можешь выйти замуж за другого.

— Когда это случится, тогда и поговорим, — ответила Пьеретта.

Она невольно подумала, что за несколько минут успела вновь усвоить принятую в Гранж-о-Ване манеру вести разговор. «Когда это случится, тогда и поговорим» — на самом деле значило: «Знаю, куда ты гнешь, но говори, я слушаю».

— Жан не прочь опять жениться.

— За вдовца! — воскликнула Пьеретта.

Она вспомнила, что в Гранж-о-Ване охотно отпускали шутки по адресу молодых женщин, выходивших за вдовцов.

— Ты не девушка, — сказал Амабль.

— Но Жан мой кузен, — ответила она.

Ответ ее был тоже вполне в духе Гранж-о-Вана. На этой горной поляне, которая до того, как к ней проложили проселочную дорогу, была отрезана от окружающего мира, точно остров, затерянный в океане, страх перед вредными последствиями браков между родственниками оказывался сильнее корыстного расчета, сильнее сердечного влечения. Дочь одного из соседей Амаблей так и зачахла к тридцати годам потому, что десять лет тому назад семья воспротивилась ее браку с двоюродным братом, которого она страстно любила.

Пьеретта отвечала дядюшке Амаблю так, как это принято в Гранж-о-Ване, но в то же время горько упрекала себя, зачем она позволяет старику «гнуть свое»? Это недостойно ее; она должна была сразу его оборвать. Почему она дала вовлечь себя в игру? Потому, что сейчас три часа дня и на проселке очень жарко? Потому, что она устала? Недовольна собой, разочаровалась в себе? Она, значит, сразу струсила оттого, что утром уступила чувству, которое считала навсегда преодоленным? А может быть, ей просто жаль огорчить старика, жаль разбить мечту, которую он, наверное, лелеет уже давно.

— Вы не двоюродные, а троюродные, — сказал старик Амабль и стал перечислять всех удачных детей, родившихся от известных ему браков между троюродными братьями и сестрами.

— Так вот почему Жан сюда зачастил. Роже показал мне пчельник, новую ограду... Ты никогда особенно не любил этим заниматься...

— В последнее время Жан оказывает мне кое-какие услуги.

— Найми себе батрака, — посоветовала Пьеретта.

— Батраки теперь дорого обходятся. Они хотят получать такое же жалованье, как в Босе или в Бри. На тамошних фабриках зерна (слово «фабриках» было произнесено с великим презрением) со всякими машинами и химией они снимают по сорок центнеров с гектара. А мы здесь в самые урожайные годы больше пятнадцати не выколачиваем. Не можем же мы платить батракам по таким ставкам.

— А чего ради они пойдут к тебе на меньший заработок?

— Я их и не виню, но...

И старик объяснил, почему выгода от помощи батрака не покрывает расходов на его содержание. Они уже дошли до конца проселка, где дорога упирается в гору и превращается в тропу. Отсюда им видны были все владения старика Амабля.

— Стало быть,— сказал он,— я тридцать лет собирал эту землю, чтобы она заросла диким кустарником?

Пьеретта подумала, что крупные землевладельцы в Босе и Бри — слишком сильные конкуренты, и они захватят землю ее дяди так же, как он сам когда-то захватил участки мелких землевладельцев в Нижнем квартале. Им это удастся потому, что у них есть тракторы и деньги на удобрения; а дядя тридцать лет назад добился того же, одалживая соседям своих волов в обмен на их труд. Пьеретта не стала об этом говорить; она сочувствовала горю старика. И все-таки кое-что еще оставалось неясным: дядя никогда не нанимал батраков; неужели он так сразу состарился, что уже один не справляется.

— Жан, — говорил старик, — поступил на железную дорогу, как только вернулся из армии. Если он выйдет в отставку через двадцать лет, он еще будет молодой. Ну а я к тому времени уже буду покойником или

все равно что покойник, и земля достанется вам даром, без всякого труда.

Когда Амабль сказал «через двадцать лет», Пьеретта вдрогнула. Она была убеждена, что через двадцать лет в Гранж-о-Ване будет колхоз. Один агроном говорил ей, что почва и местоположение деревни благоприятствуют плодоводству. Она много об этом думала, потому что любила Гранж-о-Ван, где прошли немногие счастливые дни ее детства до поступления на фабрику. В мечтах ей часто представлялось, как склоны покроются шпалерами — до того самого родника, из которого они пили с Бомаском, — кустарники выкорчуют, еловый лес превратится в парк, разбитый вокруг летней детской колонии; а в июне из ложбины потянется вереница грузовиков, развозя по городам спелые вишни. И, мечтая обо всем этом, она неизменно спрашивала себя, каким образом уговорить дядю вступить в колхоз, принять участие в гигантской будущей работе; ведь старик потратил тридцать лет на собирание земли. Советские люди сталкивались с теми же трудностями, и Пьеретта думала, что их пример поможет преодолеть все трудности. Нужно во что бы то ни стало избежать тех ошибок, которые они совершали. Она плакала над «Поднятой целиной». Но не объяснять же все это старику... Пьеретта не отозвалась на слова «через двадцать лет». Она напрямик отрезала:

— За Жана я не пойду.

Они молча возвратились домой. Когда они оказались в тени старой липы у колодца, Эме Амабль остановился, решив высказаться до конца.

— Ты знаешь, — сказал он, — что у жены Жана была лавка?

— Нет, — ответила она. — Я уж лет пять ничего не слышала о Жане.

— Скобяная лавка в Сент-Мари-дез-Анж.

— Понимаю теперь, откуда у него такой замечательный мотоцикл. Жалованья у железнодорожников едва хватает на жизнь...

— В декабре, — продолжал старик, — мне пришлось продать волов, чтобы заплатить врачу за операцию твоей тетки. Весной Жан продал лавку жены и одолжил мне двести тысяч франков на покупку новой упряжки. Он выдал закладную под нашу землю.

— Жан берет с вас деньги за работу? — спросила Пьеретта.

— Нет, — ответил старик. — Ведь он обрабатывает свою собственную землю. Если еще две недели не будет дождя, у меня не будет сена на продажу, и тогда мне не заплатить даже процентов по закладной. Он хорошо знает, что в конце концов доканает нас.

Они пошли дальше. Перед самым домом старик снова заговорил:

— Подумай! От тебя зависит, кому все это достанется: твоему сыну или Жану.

Она покачала головой.

— Может, ты боишься, — сказал он.

Она вопросительно посмотрела на него.

— Если с тобой что-нибудь стрясется, тогда ясно, что Жан может жениться в третий раз, это бывает. А там и дети пойдут... Но я и это уже обдумал: составлю завещание в пользу твоего сына, а вы получите только право землепользования.

Пьеретта опять покачала головой.

— Нет, — сказала она, — не пойду я за толстого Жана.

Дядя испытующе посмотрел ей в глаза.

— Не пойдешь же ты, в самом деле, за нищего макаронщика?

Глаза Пьеретты сверкнули:

— Он такой же рабочий, как и я!

* * *

Жан был родом из Юры и умел простым ножом вырезать из дерева все что угодно. Роже не отходил от него ни на шаг. Когда Пьеретта вошла в кухню, Жан заканчивал колесо для игрушечной лесопилки, которую они собирались поставить на ручье.

— Теперь, — сказал Жан, — пойдем проверим наш механизм в воде.

— Идем, идем! — закричал Роже.

— А ты с нами не пойдешь? — спросил Жан Пьеретту.

Все это, конечно, было подстроено заранее.

— Нет, — ответила Пьеретта.

— Идем скорее, — торопил Жана мальчик.

— А ты не побудешь со мной немножко? — спросила Пьеретта сына.

— Что ж, если тебе так хочется, — грустно ответил Роже. Ему явно было веселее с Жаном, чем с матерью.

— Ну, ступайте, — сказала Пьеретта.

Жан и мальчик ушли. Но Роже сразу же вернулся.

— Пойдем с нами, мама, — сладким голосом попросил он. — Я так был бы рад...

Разумеется, его подослал Жан. Пьеретта притянула к себе сынишку и крепко расцеловала. Потом, отстранив от себя, сказала:

— Иди играй.

Бомаска в доме она не застала. Тетка Амабль увела Раймонду нарвать роз в заброшенном церковном саду. Пьеретта знаком попросила Миньо не уходить; ей не хотелось оставаться наедине с дядей. Миньо погрузился в чтение старых номеров «Французского стрелка». Эме Амабль молча о чем-то раздумывал. Так прошел час, в течение которого Пьеретта испытала целую гамму чувств, весьма противоречивых и бурных, и, чтобы не выдать себя, она взяла в руки вышивание, начатое ею, когда она была еще девушкой и к которому она не прикасалась много лет.

* * *

Бомаск тем временем вышел на церковную площадь, где было два кабачка — один напротив другого; в первом было пусто; во втором четверо парней играли в карты. Они поздоровались с ним — кто в деревне не знал сборщика молока? — однако не пригласили его к своему столику. Он сел у окна возле вьющегося растения, которое почти зачахло, потому что его уже много лет не пересаживали.

Хозяйка подошла к Бомаску.

— Так вот оно как, — сказала она, — вы, значит, шли из Клюзо с Пьереттой...

— Мадам Амабль-младшая показала мне дорогу через горы.

— Да этак, пожалуй, тяжелее добираться, чем на вашем грузовичке, — сказала хозяйка.

— Конечно, — подтвердил он.

— Но в приятном обществе время летит быстро.

Она бросила на него лукавый взгляд.

— Мы собрались было идти большой компанией, — сказал Бомаск, — но потом другие отстали, испугались крутого подъема.

— Пьеретте нелегко живется, — вздохнула хозяйка.

— Работницы шелкоткацкой фабрики ходят не в шелках.

— Ну, уж вы за словом в карман не полезете! Но Пьеретта до-

ждется своего счастья. У мосье Амабля другой родни нет. Он, наверное, оставит ей все свое состояние.

— Этого я уже не увижу, — сказал Бомаск. — Пора домой собираться...

— А что, у вас там семейство есть? — спросила хозяйка.

— Имеется,— ответил Бомаск. (Это выражение он усвоил во время одного из уроков Пьеретты.)

— А может, и жена?

— Женского пола у нас в семье хватает.

— Вы все только шутите... Может, и детишки есть?

— Все вы падки до этого...

— До чего? — спросила она.

— До того, отчего детишки бывают.

Женщина схватилась за бока, заливаясь хохотом.

— Я-то уж не молоденькая, — сказала она сквозь смех.

В глазах Бомаска мелькнула улыбка.

— Пожалуй, и до вашей молодости доискаться можно.

Хозяйка залилась смехом пуще прежнего. Бомаск пошутил с нею еще немного, потом расплатился и ушел.

Он медленно поднимался обратно к Верхнему кварталу. За высоким бурьяном в огородах не видно было овощей; стволы плодовых деревьев покрылись мохом и лишаем; переспелые вишни гнили на ветвях. Бомаск хорошо знал, что эта горная поляна пропадает из-за нехватки рабочих рук, а рук не хватает оттого, что труд здесь больше не может прокормить человека. Но Бомаск был родом из страны, где рабочие руки тоскуют по земле, где нужно охранять плодовые сады от бесчисленных голодных ртов, поэтому его злило запустение в Гранж-о-Ване. Навстречу ему попалось несколько парней; они не смеялись, не пели, не шутили. Никогда еще Бомаск не чувствовал себя таким чужим во Франции. Даже Пьеретту, подумалось ему, он не может понять. И его страстно потянуло на родину.

Когда он проходил по Верхнему кварталу, над его головой отворилось окошко.

— Здравствуй, Бомаск.

У окна стояла Эрнестина с тщательно выложенными белокурыми локонами, в воскресном красном болеро поверх белой шелковой блузки.

— Здравствуй, — ответил он.

— А я как раз собиралась варить кофе. Может, зайдешь?

Он прошел воротами, в которые каждое утро въезжал на грузовичке сыроварни. Эрнестина встретила его на крыльце.

В кухне никого не было.

— Твоего мужа нет дома?

— Он на воскресном дежурстве в отделе техники безопасности.

Бомаск сел. Эрнестина стояла совсем близко от него перед газовой плитой и осторожно лила в кофейник кипяток, каплю за каплей. Что может быть прелестнее женщины, занятой домашними хлопотами? Она ходит по комнате, непринужденно двигаясь среди привычных предметов, платье ее развевается и шуршит, задевая мебель; особенно соблазнительно шелестит шерстяное платье; а мужчина сидит тут же и смотрит; он думает о том, что стоит ему сказать слово, и нежное создание, которое сейчас хлопочет ради него, падет в его объятия; но он молчит, он длит ожидание. Обычно Бомаск очень ценил эти нехитрые радости. Но в тот день мысли его были заняты другим.

— Так ты теперь гуляешь с Пьереттой? — сказала Эрнестина.

— Зачем ты говоришь такие глупости?

— Я видела, как вы вдвоем спускались с гор.

— Ну и что из этого? Пьеретта Амабль просто хороший товарищ.

Эрнестина подала на стол кофе и села рядом с Бомаском на скамью. Он пил молча; потом, подойдя к окну, выходившему во двор, напротив трех елей и каменного креста, облокотился на подоконник. Во дворе разгорелась ожесточенная драка между двумя петухами. Оба одновременно подскакивали, били друг друга и клювом и шпорами, и выдранные перья так и разлетались вокруг; потом оба опускались на землю и стояли, клюв к клюву, подстерегая, нацеливаясь, ища слабое место противника. Эрнестина облокотилась на подоконник подле Бомаска. Вдруг один из петухов отскочил и, опустив голову, удалился, но не спеша, мелкими шажками, стараясь не уронить своего достоинства.

— Удирает, — сказал Бомаск.

— Все самцы таковы, — ответила Эрнестина.

Она никогда досыта не кормила домашней птицы, потому что Жюстен был плохим хозяином и его поле давало скудный урожай зерна. Но Эрнестина предоставляла курам полную свободу, и они сами искали себе корм в лугах и даже в лесах. Куры неслись плохо, петухи были тощие, сухопарые. Но случалось и так, что исчезнувшая курица, которую считали жертвой коршуна, вдруг являлась домой после долгой отлучки, а за ней следовал выводок цыплят, которых она высидела в лесу. Петухи же с каждым годом становились все воинственнее, летали все выше и быстрее; так в Гранж-о-Ване дичала даже домашняя птица.

Из-за креста выпорхнула стая цыплят, преследуемая каким-то хищником, и укрылась во дворе. Пестрые крылышки цыплят были необычной расцветки, точно крапленые.

— Похожи на фазанов, — заметил Бомаск.

— Правда, хорошенькие? — сказала Эрнестина.

Не в пример селекционерам, Эрнестина ликовала, когда в оперении нового выводка цыплят появлялся еще невиданный оттенок.

— Говорят, — продолжала она, — фазаны не гнушаются курами, которые заходят в лес.

Она придвинулась вплотную к Бомаску и оперлась грудью о его плечо. Он отодвинулся.

— Не хочешь? — спросила она.

Он пожал плечами.

— Я так и знала, что для тебя это только забава, — сказала она.

— Я никогда не обещал тебе ничего другого.

— Не оправдывайся.

Он повернулся к Эрнестине и улыбнулся ей, чуть прищурясь, отчего его взгляд стал лукавым и нежным.

— Я не сержусь на тебя, — сказала она.

Она отошла от него и села. Он сел против нее, положив руки на стол. Она прикрыла их своими руками.

— И все-таки я тебя очень люблю, — сказала она.

Эрнестина отняла руки, встала и в упор посмотрела на него. Он отвел глаза и, взяв нож, начал водить острием по щели в столе. Эрнестина подошла к буфету.

— Выпьешь глоток мара? — спросила она.

— Не откажусь.

Эрнестина налила ему рюмку мара. Он закурил «Сюльтан».

— А меня ты не угостишь сигаретой? — спросила она.

— У нас женщины не курят, — ответил Бомаск.

— А вот Пьеретта курит.

— То совсем другое дело.

— Ты любишь ее, — сказала Эрнестина.

Он вскинул на нее глаза.

— Ты так думаешь?
— Тебе лучше знать.
— А я не знаю.
— Любишь, будь покоен.
Бомаск встал.
— Ну, прощай.

Он сжал ладонями ее лицо и крепко поцеловал в губы. Потом вышел от нее и вернулся к Амаблям. Все уже были в сборе: вернулись и тетка Амабль с Раймондой, и толстый Жан с маленьким Роже. Каждому дали по чашке кофе с булочками, затем мужчины налили себе мару в еще не остывшие чашечки — сколько хотелось. За столом говорили мало. Беседа не клеилась.

В пять часов Жан предложил Пьеретте отвезти ее в Клюзо на мотоцикле.

— Мосье Бомаск, верно, и сам найдет дорогу в горах, — сказала старуха Амабль.

— Ноги у него длинные, он скорее доберется один, чем с женщиной, которую надо то и дело поджидать на дороге, — сказала Раймонда.

— И с сыном ты тогда дольше побудешь, — сказал племяннице старик Амабль.

Пьеретта положила руку на плечо Бомаска.

— Нет, я пойду пешком с моим другом.

Они посидели еще немного и распрощались. Как только деревня осталась позади, Бомаск взял Пьеретту под руку.

— Не надо, — сказала она.

Он пошел вперед, и так как вскоре дорожка стала слишком узкой для двоих, то вопрос этот больше не возникал.

III

Они возвращались лугами по тропинке, которая огибает гору и ведет к еловому перелеску, откуда, петляя, спускается к тому месту в лесу, где они утром заметили лисицу.

Они медленно поднимались к перелеску, иногда сходя с тропинки и прямиком пересекая луг. Бомаск шел впереди с заплечным мешком, набитым всякой снедью — яйцами, маслом, сыром, — которой старики Амабли снабдили на целый месяц племянницу. Пьеретта молча следовала за Бомаском. Каждый думал о своем.

Бомаск не пытался разгадать причины изменчивого настроения Пьеретты: он был занят самобичеванием.

Он чувствовал свою вину перед Эрнестиной, но куда больше перед Пьереттой. Живи он в другие времена, получи он другое воспитание, Бомаск бил бы себя в грудь, каясь в том, что неизменно впадает в один и тот же грех.

То взаимное влечение, в силу которого его тянуло к женщинам, а их — к нему, не раз приводило к осложнениям — иногда забавным, но чаще неприятным. Бомаск, рано искушенный в этих делах, знал о вреде легкомыслия и всегда был настороже. В Генуе, где он долго работал и жил холостяком в меблированных комнатах, он старался держаться подальше от хозяйки или хозяйкиной племянницы. В густонаселенных домах больших итальянских городов всегда много молодых женщин. Но в голосе Бомаска, когда он при встрече желал «доброго утра», вдруг проскальзывали ласковые нотки; ему отвечали в том же тоне, и сразу же возникало какое-то пленительное взаимопонимание (в котором рев-

нивцы усматривают сообщничество). Так как Бомаск никого не собирался покорять, то женщины и не думали защищаться. Он держался с ними столь «естественно», что они с самого начала были твердо уверены в одном: произойдет ли впоследствии между ними что-либо, или не произойдет, обойдется без боя. Та легкость в отношениях, которая устанавливалась между ними, была плодом негласно заключенного мира. Они сходились, когда их на это толкал случай, либо попросту, когда случай им благоприятствовал.

Бомаску не пришлось покорять и Эрнестину. Она отдалась ему без колебаний в первый же раз, когда он пришел в отсутствие Жюстена проверять счета за молоко. А затем начались признания.

Жюстен и Эрнестина встречались два года до того, как пожениться, но через шесть месяцев после свадьбы Жюстен остыл к своей жене. Он никогда с ней не ссорился, подчас бывал даже нежен, особенно на людях, и соседи завидовали их семейному счастью; но для Жюстена она перестала быть женщиной. И это ее мучило.

Бомаск старался помочь Эрнестине найти объяснение: Жюстен не любил крестьянский труд, ведь он увеличивал его рабочий день вдвое; он не раз предлагал Эрнестине бросить Гранж-о-Ван и переселиться в Клюзо; она бы тоже работала на фабрике, и жалованья обоих хватало бы на городскую жизнь. Но Эрнестина упорно отказывалась; фабрика внушала ей страх, жизнь в рабочем поселке представлялась ей кошмаром. Ей нравилось управлять своим крохотным стадом и одичавшими курами. Почем знать, может быть, Жюстен перенес на свою жену то отвращение, которое он питал к Гранж-о-Вану? «Если ты любишь мужа, — говорил Бомаск, — нужно жить с ним там, где ему нравится». Но любит ли она его? «Ну, конечно, люблю», — отвечала Эрнестина. Бомаск был в этом не столь уж уверен, но не возражал, ибо не имел на этот счет твердого мнения; он так сильно любил женщин, что, по его глубокому убеждению, ничего не мог понимать в любви.

— Наверное, у мужа кто-то есть, завел себе работницу какую-нибудь, — говорила Эрнестина. Потом она утешилась: ухаживала за скотиной, читала «Признания», шила себе новые платья, а потом сошлась с Бомаском.

Женщины, даже самые щепетильные во всем, что касалось чести мужа, искренне не желавшие огорчить его, спокойно обманывали мужей с Бомаском. Они уступали ему, как уступают при случайной встрече в вагоне или на пароходе даже самые добродетельные женщины, потому что твердо знают, что эта мимолетная связь не перейдет в постоянную. А расставшись с ним, они продолжали о нем мечтать. Бомаск был героем их любовных грез. В глубине души они считали — более или менее откровенно, в зависимости от того, насколько трезво смотрели на вещи,— что имеют право хоть на этот любовный роман. Долгие годы они вспоминали о нем с нежностью; память о нем была их самым неотъемлемым, самым сокровенным достоянием.

Когда Бомаск расставался с женщиной, он делал это с такой же милой непринужденностью, с какою, помимо своей воли, соблазнил ее. Женщины никогда на него не обижались. Бывшие его подруги всегда радовались встрече с ним. Осложнения создавали другие — мужья, братья, родители, товарищи. Бомаску тяжело было огорчать ревнивцев, и он не выносил обмана и притворства. Поэтому ему не раз приходилось перебираться с квартиры на квартиру, из города в город и даже, как это с ним однажды случилось, с одного берега Средиземного моря на другой. И всякий раз он давал себе клятву, что больше не польстится на легкие победы, но все было тщетно.

В 1943 году, когда он состоял членом подпольной группы в Лациуме, его послали вместе с женой одного товарища подсчитать количество немецких грузовиков на дороге в Неаполь. Они должны были изображать влюбленную парочку. По молчаливому уговору, они держались друг с другом с величайшей холодностью. Восемь долгих дней они крепились, а на девятый пали. Жена товарища, типичная интеллигентка, сочла долгом чести в тот же вечер объявить об этом мужу и всей группе подпольщиков. Бомаска вызвали и предложили ему чистосердечно объяснить, как это произошло. «Мы не нарочно», — вот все, что он мог бы с полным правом ответить. Он получил выговор. Муж потребовал, чтобы жена сделала выбор: либо тот, либо другой, но ни о каком выборе и речи не было, ей и в голову не приходило переменить спутника жизни; у нее тоже не хватило смелости сказать: «Мы не нарочно», она даже подумать такое не посмела, ведь она была интеллигентка. Она сначала немного поломалась, затем упала в объятия вновь обретенного супруга. А он, гордясь тем, что преодолел в себе обиду и феодальные пережитки, еще столь живучие в Италии, протянул руку Бомаску.

Ни с одной женщиной он не был так настороже, как с Пьереттой. Он не допускал и намека на ласку, ни в голосе, ни во взгляде. Вот почему он упорно не желал называть ее Пьереттой; обращаясь к ней, он говорил «мадам Амабль» или «товарищ». Его восхищали бесстрашие и прямота Пьеретты в борьбе за интересы рабочих, ее начитанность, ее знания, которыми она делилась с ним. Восхищала и чистота ее — не потому, чтобы чистота сама по себе казалось ему большим достоинством, но он считал, что это одна из самых исключительных черт, присущих его героине. В его глазах Пьеретту нисколько не унизило то, что она утратила свою чистоту; ведь он знал лучше всякого другого, как многое зависит от обстоятельств. Он во всем винил одного себя. Он опытнее, он должен был отказаться от возможности остаться с ней наедине летним утром в горах, уж, во всяком случае, не сворачивать с тропинки. Он боялся, что теперь она сердится на него за это.

Вот о чем думал Бомаск, шагая с мешком за плечами по тропинке, ведущей к еловому перелеску. Он спрашивал себя, как заставить Пьеретту забыть о том, что произошло между ними утром в горах.

Два раза в неделю, по четвергам и воскресеньям, он писал под ее диктовку. Эти диктанты, после которых начиналась беседа, стали самой большой радостью в его жизни. Неужели она откажется дать ему урок сегодня вечером из боязни, что потом он захочет остаться? Он отлично понимал, что она дорожит своим одиночеством; но как убедить ее, что он и не думает воспользоваться ее минутной слабостью и что между ними все останется как было. С другими женщинами он никогда не задавался подобным вопросом; он знал, что они такие же, как он. Но Пьеретта была его героиней, а он еще ни разу в жизни не встречался с героиней и понятия не имел, что нужно делать теперь после того, как героиня стала его возлюбленной. С той самой минуты, как там, на гребне горы, она первая отстранилась, он испытывал чувство неловкости; этого не удавалось еще ни одной женщине.

А когда они уходили из Гранж-о-Вана, он долго колебался, прежде чем попытался взять ее под руку; и если он все же решился на этот жест, то только из приличия, потому что так полагается вести себя наедине с женщиной, которая впервые стала твоей несколько часов тому назад. Когда же она отказалась идти с ним под руку, он почувствовал облегчение. Едва они вышли на узкую тропинку, он забежал вперед, чтобы не смотреть на нее; он знал, что его опять потянуло бы к ней, и если бы пришлось отвечать на какой-нибудь ее вопрос, звук голоса

выдал бы его. Но от одной этой мысли, невзирая на крутой подъем и тяжелый мешок за плечами, в нем опять вспыхнула страсть — и с большей силой, чем раньше. Как же было ему не укорять себя?

* * *

Ход мыслей Пьеретты был совсем другой. Она думала очень быстро. Она всегда думала быстро, так как ела мало и не пила вина; кровь у нее была легкая. А в тот вечер мысли так и бежали одна за другой, потому что ее взволновало признание дяди о грозящем ему крахе.

Земли Гранж-о-Вана некогда принадлежали одному аббатству и были проданы и разделены в качестве национального имущества в 1793 году. С тех пор, на протяжении всего XIX века и вплоть до войны 1914 года, участки в Гранж-о-Ване мельчали с каждым новым поколением. Вот почему старшие в роду настойчиво требовали восстановления майората и всегда голосовали за реакционные партии.

В 1914 году ни один земельный участок в Гранж-о-Ване не превышал десяти гектаров, но к этому времени образовались две категории крестьян. К первой относились те, которым, несмотря на последовательное дробление земли, все еще принадлежало от пяти до десяти гектаров, что позволяло им кое-как перебиваться «на своей землице»; вторую категорию составляли крестьяне, имевшие меньше пяти гектаров и потому вынужденные брать землю в аренду и несколько месяцев в году продавать свой труд.

Когда Эме Амаблю было двадцать лет, он, чтобы заранее избавиться от необходимости делить наследство в десять гектаров со своим младшим братом — отцом Пьеретты, — уговорил его поступить на фабрику в Клюзо. Иметь дело с рабочим куда выгоднее: берешь у него взаймы его долю наследства, потом помаленьку откупаешь ее, обманывая брата при подсчете урожая и ссужая его деньгами под ростовщические проценты во время безработицы.

Эме Амабль, женившись, решил иметь только одного ребенка, чтобы спасти свою землю от раздела. Он обрек себя на суровое воздержание, потому что кюре запретил его жене принимать меры предосторожности. По базарным дням Эме Амабль пользовался гостеприимством дома терпимости в ближайшем городке.

После 1914 года положение коренным образом изменилось. Конкуренция районов с массовым производством сельскохозяйственных продуктов привела к разорению мелких производителей конопли, вина, пшеницы. Владельцы участков свыше пяти гектаров в Гранж-о-Ване сначала нажились на этом, скупая за бесценок землю у крестьян, имевших меньше пяти гектаров и вынужденных покинуть насиженные места. Именно таким способом Эме Амабль постепенно собрал свои двадцать гектаров.

Но брат и сын Амабля погибли на войне, и его заложенная земля была обречена: либо она пойдет с торгов, либо попадет в руки толстого Жана.

Пьеретта знала, что дядя безжалостно расправлялся с мелкими землевладельцами Гранж-о-Вана. И все же она жалела его: вся жизнь старика ушла на собирание земли; других помыслов он не знал. Ей было жаль миллионов мелких собственников, которые, как и он, оказались или окажутся перед угрозой неминуемого разорения; крупные сельскохозяйственные предприятия несли с собой такую же верную гибель мелкому производству, какую в свое время паровой двигатель принес ткацкой мануфактуре.

Толстый Жан нашел свое «дельце». Одним железнодорожникам в Сент-Мари-дез-Анж таким «дельцем» служила выгодная женитьба,

другим — разведение овощей, третьи нанимались на полный рабочий день или полдня к крестьянам, работали лесорубами, занимаясь всякими слесарными поделками. Для тех, кто нашел себе выгодное дельце, оно становилось главным источником дохода; службу на железной дороге они не бросали только ради пенсии. Таким образом, их рабочий день удлинялся вдвое, и почасовой заработок, учитывая ежедневный шестнадцатичасовой труд, все же был ниже почасового заработка самых низкооплачиваемых чернорабочих. Но французский рабочий — мастер на все руки, у него есть сметка, и он от природы «политехничен», он легко находит себе «дельце» и так гордится этим, что иной раз забывает о борьбе за подлинное улучшение условий труда. Пристрастие к «дельцу» — наибольшая опасность для французского рабочего. Вот о чем думала сейчас Пьеретта.

Пьеретта ненавидела деляг, а в эту минуту особенно остро ненавидела толстого Жана. Он внушал ей даже физическое отвращение. Все в нем выдавало делягу. Ей противна была ловкость, с какой он вырезал из дерева игрушки для ее ребенка. Когда Жан собирал хрупкие колесики для игрушечной плотины, шевеля пухлыми, розовыми пальцами, это вызывало у нее чувство тошноты. Ненависть Пьеретты к делягам, проистекавшая от ее собственного прямодушия, немало затрудняла ей работу в профсоюзе; Пьеретте не всегда удавалось совладать с этим чувством. И старик Кювро справедливо упрекал за это ее. «Они защищаются, как умеют, — говорил он. — Ты не должна ругать их. Ты должна им объяснить, что их дельце — вещь ненадежная и что они, помимо своей воли, делят участь всего рабочего класса в целом».

Пьеретта, внучка и племянница крестьян, и сама не сознавала, что она склонна гораздо снисходительней относиться к старому хищнику Амаблю, чем к железнодорожнику Жану, который, хотя и обирал старика Амабля, отнюдь не являлся более алчным хищником, чем тот. Такова была Франция 195... года, где происходил сложнейший процесс частичного стирания граней между отдельными общественными прослойками, что вызывало противоречивое отношение к ним даже среди коммунистов. С другой стороны, самый изобретательный из всех местных рабочих деляг был так невероятно беден, что даже представить себе не мог, насколько богаты Амполи, или Эмили Прива-Люба, или Дюран де Шамборы.

Однажды Пьеретта изругала двух чернорабочих за то, что они вышли из ВКТ, страшась потерять свой приработок: они ухаживали за клумбами с геранью и бегонией, разбитыми администрацией ПТАО вдоль фабричных корпусов, у обочины дороги. Зарабатывали они 90 франков в час, меньше любой служанки. Это было их «дельце», совсем крохотное «дельце». «Понимаешь, — говорили они Пьеретте, — есть-то надо: дочка больна, жена беременна и так далее. Но при тайном голосовании мы попрежнему будем голосовать за делегатов ВКТ». Она обозвала их трусами и предателями. А придя домой, плакала от злости на себя за то, что вспылила, и от злости на них.

Три года тому назад в Клюзо проездом остановился член Центрального комитета. Пьеретта спросила его: «А скоро будет революция?» Он улыбнулся и посоветовал ей прочитать «Мать» Горького: «Тогда ты поймешь, что такое терпение!» Теперь, когда у нее уже был больший политический опыт, она не задала бы такого наивного вопроса. Знала она и то, что после завоевания власти понадобятся еще долгие годы, годы исполинского труда, чтобы построить новый мир. Но вопрос «когда?» для нее попрежнему оставался самым жгучим.

* * *

Бомаск и Пьеретта подходят к еловому перелеску. Еще один поворот — и они увидят внизу, в горной расщелине, островерхие крыши фабричных корпусов, на которых начертано название фирмы — ПТАО — такими же гигантскими буквами, как названия столиц мира на площадках аэродромов.

Они замедляют шаг: у перелеска подъем становится круче.

В детстве, возвращаясь с родителями в Клюзо после летних каникул или окончания забастовки, Пьеретта всегда с замиранием сердца приближалась к еловому перелеску, зная, что перед ней вот-вот откроются крыши фабрики. Такое же чувство тоски и страха охватывало ее от одного запаха карболки в первый день школьных занятий или в вестибюле дирекции фабрики: и в школе и на фабрике для дезинфекции пользовались карболкой.

Шести лет Пьеретта поступила в школу, где детей били по рукам. Весь день учительница вела точный счет ударам, причитавшимся ученикам за нарушение правил, ею самой выдуманных и почти невыполнимых. За полчаса до конца занятий наказанные выстраивались перед кафедрой и по очереди вытягивали руки со сложенными пальцами; удар наносился линейкой из твердого дерева с медными уголками. Школьники редко жаловались родителям — не так страшна была боль, как унизительный церемониал наказания, а об унижениях не рассказывают. По той же причине бывшие заключенные фашистских концлагерей неохотно говорят о том, что там происходило.

Шестилетняя Пьеретта бессознательно отождествляла отношения между рабочими и предпринимателем со своими собственными отношениями с учительницей-садисткой. Она подметила, что когда родителей или соседей вызывают в дирекцию, на лице у них появляется выражение страха и стыда; это же чувство испытывала она сама, услышав свое имя в час наказания. Иначе вели себя только передовые рабочие, — каждый соответственно своему характеру: одни сжимали кулаки, словно готовясь к единоборству на ринге; другие крепко стискивали зубы; третьи, как Кювро, который хорошо знал, что он скажет хозяевам, лукаво щурили глаза. Но всем им было чуждо чувство стыда: они шли в бой. Вот почему Пьеретта, как только достигла положенного возраста, вступила в комсомол, а с течением времени жизнь и товарищи воспитали ее.

Самым унизительным было звонить в колокольчик у калитки мадемуазель Летурно, старой девы и сестры «великого» Летурно, ныне покойной. Мадмуазель Летурно велела сделать маленькую калитку в садовой ограде — поодаль от шоссе, в укромном уголке, наполовину заросшем крапивой. Таким образом, свидания происходили более или менее негласно. У калитки висела цепочка от колокольчика, звон которого слышался в покоях старой девы; стоило дернуть за цепочку и мадемуазель Летурно собственноручно отворяла калитку: «Что вам угодно, дитя мое?» К ней обращались только в случае крайней нужды, когда рабочему грозило увольнение либо когда кто-нибудь в семье заболевал и надо было поместить его в больницу ПТАО: городская больница в Клюзо существует только с 1934 года и была построена муниципалитетом, состоявшим из коммунистов и социалистов. Мадемуазель Летурно неизменно обещала просителю поддержать его просьбу, и заступничество ее в большинстве случаев оказывалось успешным; но при этом она внушала, что для блага семьи или для спасения души просителя ему необходимо посещать церковь, либо учить детей катехизису, либо, если приближалась пасха, пойти на исповедь, при этом условии, очевидно, она и оказывала помощь. Но для того чтобы торг не носил слишком открытого

характера, она давала авансом талоны в фабричную лавку на хлеб или даже на пару башмаков, если грешник проявлял раскаяние.

Бомаск и Пьеретта вошли в еловый перелесок. В самой глубине ущелья, между крышами фабрики и крышами рабочего поселка, выделялось яркозеленое пятно: деревья и лужайки парка. В садовой ограде, сверху казавшейся только узкой белой чертой, Пьеретта явственно представила себе цепочку у калитки мадемуазель Летурно.

И сразу же перед ней встало лицо отца, вернувшегося домой после исповеди; это было в тот год, когда ему грозило увольнение и он вынужден был просить заступничества у сестры хозяина. Он избегал смотреть в глаза дочке. Пьеретте тогда исполнилось семь лет.

Не слыша за собой шагов Пьеретты, Бомаск оглянулся. Он увидел, что она стоит на краю дороги у большой ели, бледная, как полотно, с глазами, полными слез; он подбежал к ней, и первые слова, которые сами собой сорвались с его уст, были слова родной ему речи:

— Che cos'ai, piccolina? Что с тобой, моя крошка?

Пьеретте хотелось припасть к нему и выплакаться на его груди.

С первого же дня их знакомства она была убеждена в том, что Бомаск человек честный, что ему вполне можно верить и довериться, что на него можно положиться. Но этот порыв заглушило недоверие, свойственное женщинам католических стран, где мужчина чувствует себя властелином женщины, если она ему, как принято выражаться, отдалась.

Он подошел совсем близко к ней, но стоял отвернувшись, из деликатности; ведь он видел, что у нее слезы на глазах. Но Пьеретта не заплакала.

— Пустяки, не обращай внимания, — сказала она. — Я просто дура.

Они стали спускаться с горы. Бомаск был грустен. Он умел грустить не ища этому объяснения. «Il cuore mi pesa», — сказал он вполголоса.

— Что ты говоришь? — спросила Пьеретта.

— Ничего, — ответил он.

Немного погодя он добавил:

— Есть вещи, которые невозможно объяснить по-французски.

— Все можно объяснить по-французски, — ответила она, — нужно только знать язык.

И она заставила себя улыбнуться.

— У меня тяжелое сердце, — сказал он.

— Тяжело на сердце, — поправила она. — У нас обоих тяжело на сердце.

Они пошли лугами, чтобы сократить путь. Пьеретта думала о том, что завтра же надо будет призвать товарищей к борьбе против предполагаемых увольнений, о которых сообщал в своем письме Филипп. Это накануне подтвердил и Нобле, вернувшийся из Лиона. Однако он умолчал о попытке, сделанной им совместно с Филиппом на вилле Амполи.

Нобле знал, что отец Пьеретты ходил на исповедь. Тем большее мужество потребовалось Пьеретте, когда она впервые столкнулась с Нобле. С тех пор ей часто доводилось являть пример гордой независимости, что она перестала бояться грустно-лукавого огонька, мелькавшего подчас в выпуклых глазах старика.

Прежде чем созывать собрание, ей нужно поговорить с людьми, проверить, как рабочие относятся к тому, что их ждет. Начнет она с Маргариты. «Охота тебе убиваться из-за других!» — ответит та. Ведь Маргарита мечтает лишь об одном: уехать в Париж, где ее родственники держат молочную; они обещали взять Маргариту к себе, как только их приказчик найдет себе другое место. Маргарита была уверена, что найдет в Париже мужа, который обеспечит ее квартирой, холодильником,

шубкой из золотистой цигейки и, может быть, даже автомобилем. На фабрике работают только те, кто не может уехать из Клюзо, — большей частью женщины и девушки.

Самые решительные мужчины в Клюзо уехали работать на строительство гидроэлектростанций в соседних департаментах, где плата в пять-шесть раз больше, чем на фабрике, либо нанимались на металлургические заводы под Лионом. Менее предприимчивые ценой терпеливых усилий добились места в почтовом ведомстве, в жандармском управлении или на железной дороге. На фабрике остались только мужчины, женатые на местных крестьянках, как Жюстен, муж Эрнестины. Рассчитывать на их активность в борьбе не приходилось, потому что они были обеспечены жильем и пищей в деревне. Были и такие, которых удерживало на месте собственное безволие — они вечно откладывали свое решение на завтра под влиянием выпитого накануне красного вина. Этих-то людей дирекции легче всего удастся уговорить, что им выгодно согласиться на частичное сокращение рабочих. «Иначе, — скажет им Нобле, — ПТАО, чтобы не терпеть убытка, уволит всех». Женщины были более активны. Но сколько еще таких Маргарит придется убеждать в том, что другого выхода нет и борьба неизбежна? Вот о чем думала Пьеретта, и чем ближе они подходили к Клюзо, тем тревожнее билось ее сердце.

* * *

Они спустились вниз очень быстро, не обменявшись ни словом. К шести часам они были уже среди виноградников, дающих такое же кисловатое вино, как в Гранж-о-Ване. Было еще очень жарко. Рабочие, которым рано утром предстояло идти на фабрику, возились на своих крохотных виноградниках. Почти каждый рабочий имел клочок земли с несколькими лозами, доставшийся ему либо по наследству, либо с приданым жены. Вино обходилось ему недорого: он затрачивал деньги только на серу для окуривания лоз, на удобрения и тому подобное. А в кабачках местное вино тоже стоило дешево — двадцать-двадцать пять франков за литр, потому что торговцы скупали его у мелких виноделов, минуя уплату налога. Напиваться можно было хоть каждый день: это всем было по карману.

У дверей погребов, где в бочках хранится молодое вино, шумели пьяные.

— Проклятое вино, — вырвалось у Пьеретты.

— Вино идет впрок, когда легко на сердце, — отозвался Бомаск.

Они были уже на окраине города.

— Я устала, — сказала Пьеретта. — Отложим урок на четверг.

IV

В то самое время, когда Бомаск и Пьеретта шли в Клюзо виноградниками, Эмили Прива-Люба-Амполи подъезжала к городу по шоссе. В субботу утром она получила дерзкое послание Натали. В воскресенье Эмили прождала полдня, надеясь, что Бернарде удастся хитростью заманить Натали в Лион. В пять часов, видя, что ждать больше нечего, она приняла внезапное решение: ехать в Клюзо и посмотреть своими глазами, что там происходит. Доверенность Натали была ей необходима, чтобы добиться от административного совета ПТАО увеличения основного капитала; таким путем она рассчитывала захватить контрольный пакет для себя и Эстер Дюран де Шамбор.

Эстер торопила ее. Дюран де Шамбор мог раздумать; он и так весь-

ма неохотно согласился вложить деньги во французское предприятие. Какое может быть надежнее помещение капитала в стране, где так много «красных»? Она забрасывала Эмили телеграммами, то и дело звонила ей по телефону из-за океана.

Весь городок немедленно узнал о приезде Эмили, потому что ни у кого не было такой машины, как у нее. Во Франции, как и в Америке, она разъезжала в роллс-ройсовском лимузине старого образца на высоких колесах. Десять лет тому назад она вычитала в каком-то американском журнале, что английских аристократов узнают по дорогому, забрызганному грязью дорожному пальто и по роллс-ройсу устаревшего типа. Такие вещи Эмили понимала с налета и сразу же усваивала. Она придавала особенное значение тому, чтобы в Америке ее не принимали за разбогатевшую выскочку, и по следующим причинам:

Во-первых, потому, что все ее планы основывались на свойстве с Дюран де Шамборами, потомками французских эмигрантов эпохи войны за независимость, которые строго надзирали за ней. Особенно придирчиво приглядывались к ней женщины, подстерегая малейшую оплошность.

Во-вторых, потому, что она входила в семью через золовку-еврейку, а это уже заранее бросало на нее тень.

В-третьих, чтобы сразу занять то же общественное положение, что и у Дюран де Шамборов, в глазах других знакомых американцев, которые большей частью были разбогатевшими выскочками.

Итак, чтобы прослыть в Америке французской аристократкой, Эмили усвоила повадки, которые американцы приписывают английской знати. Это увенчалось успехом, чему отчасти способствовала и двойная фамилия Прива-Люба, присвоенная деду и бабке Эмили и возникшая в результате закрепленного родством союза между двумя ардешскими сучильщиками шелка. В светских хрониках она именовалась Прива-Люба-Амполи. Со временем Эмили надеялась избавиться от фамилии Амполи, хотя только посвященные знали, что эта фамилия, происходившая от названия маленького тосканского городка, была чисто еврейской.

Эмили поехала прямо к Нобле. Она никогда ничего не затевала, не разведав позиции и силы противника. Как истая дочь предпринимателя, она считала вполне естественным, чтобы начальник отдела кадров исполнял при ней обязанности шпика.

Отчет Нобле подтвердил ее предположения: Филипп увлекся рабочим движением, как когда-то увлекался театром, издательским делом, йогами; через месяц-другой это пройдет. Эмили заставила Нобле описать во всех подробностях коммунистический бал. Ясно, коммунистка отказалась танцевать с Филиппом; он не захотел отступиться, она не сразу сдавалась; он стал ухаживать за ней. Все это очень просто и не имеет значения. В каждой затее Филиппа была замешана женщина: сначала студентка, мечтавшая о сцене, потом лионская поэтесса, стихи которой никто не печатал, и, наконец, танцовщица в отставке — проповедница учения йогов. Коммунистка удержит его не дольше остальных. Эмили Прива-Люба подозревала, что все любовные увлечения ее сына были платоническими. Она с гордостью думала: он так же холоден, как и я.

Единственно, что беспокоило Эмили, — это необходимость немедленно получить подпись Натали, а Натали упорно отказывалась дать ее, пока не будут выполнены требования Филиппа, потому что Натали свойственна «злобная хитрость». Один врач как-то говорил Эмили, что такого рода злобная хитрость есть не что иное, как форма психоза. Когда эта черта характера переходит известные границы, человека сажают в сумасшедший дом. Врач рассказал ей о некоем Дюпене, инспекторе средних школ, который в течение двенадцати лет терроризировал своим злобным озорством преподавателей физики и химии двенадцати департаментов.

На одном банкете, когда произносились тосты, он помочился под столом в бокал ректора. После этого скандального случая Дюпена, наконец, удалось посадить за решетку. Эмили презирала свою падчерицу за то, что она пьянствует, ходит до обеда в халате и подвержена «припадкам злобной хитрости». Она находила, что в Натали слишком много американского, и с нетерпением ждала той минуты, когда ее психоз перейдет описанную психиатром грань и Натали можно будет признать помешанной.

В отношении Валерио Ампули к Эмили подчас проскальзывали те же черты. Она предполагала, что злобная хитрость—наследственный порок в семье Ампюли, еврейский порок. Она ликовала при мысли, что психиатр дал ей такое оружие против семьи второго мужа, разбогатевшей еще в эпоху Возрождения и редко упускавшей случай кольнуть Эмили ее мещанством, необразованностью и отсутствием чувства юмора.

Она ненавидела Натали, а Филиппу все прощала, хотя и считала его бесхарактерным. Эмили полагала, что ее характера хватит на двоих. Она по своей природе не была способна к нежности, поэтому держалась с сыном так же холодно, как со всеми, но в ее мыслях он занимал огромное место: она готовила ему блестящее будущее, мечтала сделать его могущественным королем. Подлинными королями современности в ее глазах были не те развенчанные марионетки, которых она видела во дворцах.

Эмили узнала подлинных королей, когда ее допустили в круг Дюран де Шамборов. Таким будет и ее сын; она сама возведет его на престол. А пока пусть приобретает различные знания и развлекается как умеет.

Эмили не сомневалась, что, если бы ей удалось побыть с сыном наедине, она легко заставила бы его согласиться на реорганизацию фабрики в Клюзо.

Вот почему Натали, не хуже своей мачехи знавшая бесхарактерность Филиппа, обосновалась в Клюзо. Нобле сообщил Эмили, как проводит время Филипп со своими гостьями, о чем ему почти каждый час доносили его «осведомители».

В пятницу Филипп вернулся из Лиона только к вечеру и застал уже расположившихся у него Натали и Бернарду. Они сразу же отправились обедать в загородный трактир, а закончили вечер в Эксе; на утро Натали похвасталась перед служанкой, что выиграла в баккара несколько сот тысяч франков. «Еще одно следствие злобной хитрости», — подумала Эмили, которая всегда проигрывала в карты. Вернулись они на рассвете и проспали полдня; на службу Филипп не пошел. Около семи часов вечера «Альфа-Ромео» видели на дороге в Гренобль. Куда они ездили, осталось тайной; вернулись они рано, но свет в комнате Филиппа был виден сквозь щели жалюзи далеко за полночь. «Она ездила в Гренобль пополнить запас виски»,— подумала Эмили. Сегодня с полудня они обходят кабачки Клюзо, Натали пьет аперитив. «Виски было выпито ночью. Филиппа она не отпускает ни на минуту», — заметила про себя Эмили.

Она решила немедленно атаковать «коммунистку»; по ее мнению, тут-то и крылось уязвимое место противника. Нужно подкупить профсоюзную делегатку и затем представить Филиппу доказательства ее продажности. Когда его эгерия лишится своего ореола, Филипп перестанет интересоваться реорганизацией фабрики.

Нобле в беседе с Эмили называл Пьеретту «мадам Амабль». Когда же он говорил о ней в конторе с секретаршами, то называл ее Пьереттой, не из презрения, а потому что она, как и он, была местной жительницей.

Эмили справилась об анкетных данных мадам Амабль. Она ждала, что Нобле подскажет ей способ оказать давление на профсоюзную делегатку; для этого в конце концов и держат Нобле.

Но из этого ничего не вышло. Тогда она стала расспрашивать о ребенке Пьеретты. Оказывать давление на одинокую женщину через ее ребенка — прием испытанный. Эмили Прива-Люба, по первому мужу Летурно, легко и не без удовольствия прибегла бы к проделкам, бывшим в ходу у мелких хозяйчиков двадцать лет тому назад. Но оказалось, что ребенку Пьеретты только пять лет и живет он у ее дяди-землевладельца.

— Хорошая работница?

— Отличная.

— А вам не приходило в голову сделать ее мастером?

Это тоже был излюбленный прием мелких предпринимателей.

— Мадам Амабль женщина незаурядная, — сказал Нобле.

И добавил:

— Кажется, из нее выйдет второй Кювро.

Эмили тут же подумала о том, что Кювро, который целых двадцать лет был пугалом для всех Летурно и в конце концов довел их до разорения, лично ей оказал услугу, о чем, конечно, и не подозревал. Кювро руководил крупной стачкой в 1924 году, закончившейся победой рабочих после тринадцати недель борьбы. Между тем Эмили подстрекала свекра не идти на уступки и для этого уговорила своего отца одолжить Летурно денег, чтобы тот не просрочил платежи. Именно эта ссуда, которую Франсуа Летурно так никогда и не вернул, в конечном счете дала возможность Прива-Люба прибрать к рукам фабрику.

Эмили умела из всего извлекать выгоду: из честности и бесчестности, из мужества и малодушия. Она называла это быть «реалисткой». Эмили так глубоко презирала людей, так откровенно выказывала это, что иной раз удивляла самого Валерио Амполи. Он тоже презирал людей, но ему от этого становилось грустно.

Первым побуждением Эмили — хотя Нобле обрисовал Пьеретту Амабль как безукоризненно честную женщину — было все-таки попытаться подкупить ее. Эмили всегда считала, что Франсуа Летурно просто не сумел как следует взяться за Кювро. Если не удастся совратить «коммунистку Филиппа», то, наверное, найдется способ сыграть на ее честности. Но прежде всего нужно ее повидать. Эмили верила только себе. Ей нужно было своими глазами увидеть противника, с которым она намеревалась скрестить оружие.

— Я хочу поговорить с этой женщиной, пошлите за ней, — сказала она Нобле.

— Я могу вызвать ее в контору только завтра,— ответил Нобле.— Она не согласится прийти ко мне домой.

Помолчав, он добавил:

— Ни в коем случае не согласится.

«Ни в коем случае» означало «даже если ее попросит прийти вдова Летурно, мадам Прива-Люба-Амполи».

— Тогда я сама пойду к ней, — сказала Эмили.

— Весь город об этом узнает, вам нельзя идти на квартиру к работнице.

— Мой приход гораздо больше скомпрометирует ее, чем меня, — ответила Эмили.

— Это верно, — согласился Нобле после минутного размышления.

Он с восхищением смотрел на свою хозяйку, так быстро и верно оценившую положение: что бы ни говорила потом Пьеретта, посещение матери Филиппа, несомненно, будет истолковано не в пользу Пьеретты. Люди подумают, что она беременна и что мать Филиппа пытается заключить с ней полюбовную сделку.

Спросив у Нобле адрес Пьеретты, Эмили одна, пешком, отправилась в поселок.

По дороге она сказала себе: «Если эта девочка и в самом деле толковая, я возьму ее с собой в Америку».

Страх и ненависть, когда-то внушенные всем Летурно руководителем стачки Кювро, поднимали Пьеретту в глазах Эмили, которая уважала в людях только сильный характер. Ее политические убеждения сводились к тому, что нужно найти способ сделать коммунистов управляющими предприятий. По мнению Эмили, социалисты провалились в этой роли оттого, что оказались «тряпками». Эта девушка, повидимому, с характером. Можно устроить ее на одном из американских предприятий ПТАО, а тем временем Филипп сменит эту прихоть на какую-нибудь другую. Если Пьеретта покажет себя с хорошей стороны, неплохо бы сделать ее своим личным секретарем. Эмили всегда мечтала иметь при себе француженку, умную, уравновешенную, ограниченную и черствую, как она сама. Это был один из тех редких случаев, когда Эмили, постоянно занятая каким-нибудь неотложным делом, позволяла себе помечтать. Но к этому располагало ее пребывание в Клюзо, где она получила свое боевое крещение.

Эмили отнюдь не осуждала Пьеретту за то, что она использует в своих целях Филиппа, — Эмили была уверена, что это именно так. Напротив, она чувствовала к ней даже известное расположение; девушка, видимо, решила «выйти в люди» и для начала действовала неплохо.

Всю дорогу Эмили упивалась своим планом. Уже много лет она не мечтала так страстно. Увидев ключ в двери Пьеретты, она постучалась и тут же вошла.

— Эмили Прива-Люба, — отрекомендовалась она.

Пьеретта только что вернулась из Гранж-о-Вана и опустилась на стул у стола, заваленного папками с профсоюзными делами. Когда в дверь постучали, она была занята восстанавливанием в памяти событий дня, пытаясь внести порядок в свои смятенные чувства. Названное гостьей имя ничего ей не говорило. Она вопросительно подняла брови. Это показалось Эмили величайшей дерзостью, но и понравилось. «Будь я на ее месте, — подумала она,— я бы посмотрела точно так же».

— Мосье Нобле только что говорил мне о вас в самых лестных выражениях, — начала Эмили.

— Да? — рассеянно сказала Пьеретта.

Она старалась понять, кто эта женщина. Не надо забывать, что Пьеретта не виделась с Филиппом после его поездки в Лион, что она разговаривала с ним только один раз в дирекции ПТАО и ничего не знала о той странной сделке, которую предлагала Натали своей мачехе.

Эмили осмотрела комнату и осталась довольна. Буфет, превращенный в хранилище для бумаг, папки на столе, голые стены, не считая календаря — приложение к «Альманаху рабочего и крестьянина», ни намека на то, что здесь живет женщина,— все это напоминало Эмили кабинеты самых солидных лионских учреждений.

«Прива-Люба, кто же это такая?» — спрашивала себя Пьеретта. И вдруг она поняла, что это та самая вдова Жоржа Летурно, вышедшая замуж за лионского финансиста, о которой Миньо ей рассказывал, после того как провел вечер у Филиппа.

— В чем дело? — холодно спросила она.

«Притворяется, будто не знает о затее Филиппа и Натали», — с восхищением подумала Эмили.

Тут только Пьеретта, вспомнив рассказы Миньо, сообразила, что перед нею мать Филиппа. «Ну конечно, она ведь вдова Жоржа Летурно! Я совсем отупела от усталости!»

Между тем Эмили разглядывала Пьеретту. Ситцевое платье более чем скромнее, но сшито со вкусом. Волосы не без изящества зачесаны

назад и низко уложены узлом. Это окончательно укрепило Эмили в принятом решении. Она любила принимать решения быстро, «по-генеральски», как она выражалась. Любопытно, что эта ардешская мещанка, окончившая только монастырскую школу и не имевшая представления ни о классической, ни о современной литературе, прочла все написанные генералами мемуары о войне 1914—1918 годов. Будь у нее досуг, Эмили посвятила бы его изучению военного искусства.

И она спросила Пьеретту:

— Хотите поехать со мной в Америку?

* * *

Бомаск не пошел домой. Он бродил по набережной Желины. Ему хотелось быть у Пьеретты, быть с Пьереттой. Ни о чем другом он думать не мог. Впервые в жизни им владело такое чувство; оно было совершенно несопоставимо со столько раз уже испытанным влечением к женщине. На сердце у него было тяжело, и он удивлялся, что это так долго не проходит; видимо, причина тут только в Пьеретте, иного объяснения нет.

Бродя по набережной, Бомаск наткнулся на «Альфа-Ромео»; это несколько развлекло его. Он любил красивые машины и гордился тем, что, как ему казалось, самые красивые в мире автомобили сделаны итальянцами.

В Клюзо редко останавливаются такие роскошные автомобили. Бомаск не знал, кому принадлежала эта машина. Он обошел ее кругом и, если бы у него хватило смелости, приподнял бы капот, чтобы снова увидеть тот мотор, который он долго рассматривал на автомобильной выставке в Милане.

Из кафе, напротив которого стояла «Альфа-Ромео», вышла молодая женщина. Она пересекла набережную и, улыбаясь Бомаску, взялась за дверцу машины.

Глаза ее блестели, взгляд блуждал, Бомаск сразу же предположил, что она пьяна, но и не подумал осуждать ее за это. Он никогда не бывал строг с женщинами, разве только во времена Сопротивления, когда приходилось иметь дело с предательницами.

— Водить такую штуковину дело опасное, — сказал он, осторожно поглаживая светлозеленую покрышку автомобиля.

— Здравствуйте, Бомаск,— сказала девушка.

Он посмотрел на нее с удивлением.

— Не узнаете? — спросила она. — Я ведь вам хлопала тогда на балу, когда вы вздули капитана регбистов. «Регбисты, ко мне! Ко мне, регбисты Клюзо!»

Она залилась смехом и еще раз передразнила зовущего на помощь избитого сына лесоторговца.

Бомаск подумал, что она, видимо, гораздо пьянее, чем ему показалось.

— Вы механик? — спросила она.

— Немножко, — ответил Бомаск.

— Мне нужен ваш совет.

— Пожалуйста, — ответил Бомаск.

Он ждал. Она шагнула к нему, открыла было рот, но ничего не сказала. При этом она покачнулась, сделала еще шаг и оперлась о капот.

Бомаск подумал, что она до того пьяна, что, пожалуй, ему придется доставить ее на место, в замок. Он вспомнил, что на балу она была с сыном Летурно. Бомаск радовался, что поведет «Альфа-Ромео», пусть даже совсем недалеко.

— Это там, внутри, — сказала девушка, похлопав по капоту.

Она немного отодвинулась, уступая ему место. Бомаск поднял капот и нежно погладил рукой никелированные части мотора. Механизм был чист и сверкал, как драгоценные камни в витрине ювелирного магазина. Девушка глядела на Бомаска, рассматривавшего чудесный мотор.

— В чем же дело? — спросил он.

— Ни в чем, все в порядке, — ответила она, улыбаясь ему глазами.

Это нисколько его не удивило. На родине с ним уже бывали такие приключения. Иностранки в Италии довольно часто без всякого стыда заигрывают с красивыми мужчинами. Пристань у набережной Пиккола Марина, где берут лодки для катания вокруг острова Капри, настоящий рынок, где покупают лодочников; сделка завершается в окрестных бухтах среди скал. Когда Бомаску было восемнадцать лет, ему льстило внимание богатых иностранок. Но он давно уже пресекал такого рода попытки; его глубоко оскорбляло, что женщины из стран с высокой валютой по дешевке покупают себе на его родине такие развлечения.

Бомаск отвернулся и плотно закрыл капот. В ту же минуту из кафе вышли Бернарда и Филипп и направились к машине. Теперь он сможет уйти, не обидев девчонку. Бомаск терпеть не мог унижать женщину, даже если она была senza vergogna — бесстыжая.

Но не успел он выпустить ручку капота, как ему на ум пришла ужасная мысль: для Пьеретты он тоже был только забавой. Иностранки, с которыми он сходился в шестнадцать лет, тоже притворялись, как Пьеретта, что обо всем сразу позабыли. Он повернулся к Натали и в бешенстве сказал:

— Non me lo insudiciarci per lei!

Это наихудшее оскорбление, которое итальянец может бросить в лицо проститутке. Натали Амполи отлично понимала итальянский язык. Черты ее исказились, словно в нее бросили камнем.

В ту же секунду Бомаску стало стыдно. Он ушел большими шагами, в ярости на самого себя, на Натали, на Пьеретту.

Филипп и Бернарда втолкнули неподвижную и безмолвную Натали в машину. Бернарда села за руль. Каждый раз, когда машину встряхивало, голова Натали, сидевшей с полуоткрытым ртом, падала на грудь.

Между тем Бомаск размашисто шагал, перебирая в памяти все нанесенные ему обиды: в Клюзо итальянцев использовали только на черной работе, от которой французы отказывались, — на работе землекопов, лесорубов, батраков. Пусть он макаронщик, но он не желает мириться с мыслью, что и для Пьеретты он был только чернорабочим любви.

* * *

На предложение Эмили Пьеретта ответила первыми словами, пришедшими ей на ум:

— Условия труда в Америке отличаются от здешних.

Она хотела только выиграть время, заставить противника выдать себя; точно так же поступил бы и ее дядя, старик Амабль. Она никак не могла разгадать причину, побудившую Эмили Прива-Люба сделать столь необыкновенное предложение. Но Эмили осталась при убеждении, что Пьеретта использует свое стратегическое преимущество. Сначала она одобрила это, но когда Пьеретта так холодно ответила на блестящее предложение поехать в Америку, Эмили решила, что Пьеретта переигрывает. Она думала: «У крестьянок нет чувства меры. Сколько времени придется потратить, чтобы воспитать ее?» Эмили считала, что предложение поехать с нею в США должно было сразить Пьеретту. Она презирала американцев, кроме Дюран де Шамборов, но была убеждена в их конечной победе. Предсказание Валерио Амполи о неизбежности

краха Западного блока казалось ей проявлением все той же еврейской хитрости. Она перешла в наступление.

— Вы упрямы. Но подумали ли вы, к чему все это приведет?

Пьеретта не сводила с нее внимательного взгляда.

— Вы хотите сделать политическую карьеру? — продолжала Эмили.—Но вы не хуже меня знаете, что после войны в вашей партии никто из молодых не выдвинулся. У вас выдвигают только стариков... Уж не надеетесь ли вы стать депутатом? Но в Национальном собрании всегда выступают одни и те же ораторы, старая гвардия. Вам, конечно, известно, что ваша партия конфискует три четверти вашего депутатского жалованья; они не оставят вам и тридцать пять тысяч франков в месяц. А сколько времени вам придется ждать, чтобы добиться таких грошей? Но довольно. Я не грожу вам увольнением с фабрики, мне кажется, вас этим не испугаешь. Наоборот, вы могли бы даже извлечь из этого выгоду. Но вы мне мешаете здесь в данную минуту. Пользуйтесь. Чего вы хотите?

— Не понимаю,— вполне искренне ответила Пьеретта.

— Шантаж моих детей — дело временное, — продолжала Эмили. — Не злоупотребляйте создавшимся положением. Тот, кто в баккара прикупает слишком часто к пятерке, непременно проиграется.

Пьеретта не знала правил игры в баккара и не сразу поняла, что слова «мои дети» относятся к Филиппу и Натали. Она поняла только одно: приход Эмили и ее странные речи — плод какого-то недоразумения. И так как Пьеретта была честным человеком и считала, что вопросы, касающиеся положения рабочих, не могут быть решены путем личных соглашений, она сказала самым непринужденным тоном:

— Я уверена, мадам, что произошло недоразумение.

Теперь уже Эмили не знала, восхищаться ли твердостью, с какой Пьеретта вела торг, или презирать ее за то, что она медлит воспользоваться случаем. Она закурила, чтобы дать себе время подумать, и, откинувшись на спинку кресла, устроилась поудобнее. «Это надолго», — с отчаянием подумала Пьеретта.

— Да кто вас уполномочил вести такие переговоры? — воскликнула она. — Я с вами лично не знакома и не имею желания знакомиться. Как делегатка рабочих фабрики, я не желаю ни с кем иметь дела, кроме дирекции акционерного общества.

«Да она просто глупа, — подумала Эмили. — Нобле стареет, он переоценивает противника».

— Вы делаете ошибку, рассчитывая на Филиппа больше, чем на меня, — сказала Эмили.— Он неспособен долго интересоваться одной и той же женщиной...

Вдруг Пьеретту осенило: она поняла источник недоразумения и громко расхохоталась.

Но тут послышались чьи-то торопливые шаги. Дверь распахнулась, и в комнату без стука вошел Бомаск.

— Я должен поговорить с тобой all'istante stesso — сию же минуту, — сказал он, хватая Пьеретту за плечо.

Он заметил, что в комнате находится еще одна женщина, но, не глядя на нее, решил, что эта одна из товарок Пьеретты.

— Mi scusi — простите,— сказал он гостье,— мне нужно объясниться с Пьереттой.

Галстук у него съехал на бок, волосы были всклокочены, потное лицо раскраснелось. Он крепко сжимал плечо Пьеретты.

Она мягко высвободилась. Ее бледность, медлительное движение остановили Бомаска. Пьеретта пристально посмотрела на женщину и сказала, указывая на Бомаска:

— Мой любовник.

Эмили встала.

— Я вижу, что для любовных утех вы предпочитаете сицилианцев!— И Эмили быстро направилась к выходу.

Пьеретта удержала Бомаска, который бросился было вдогонку.

С порога Эмили крикнула.

— Я должна была предвидеть, что попаду в разбойничий притон...

Она хлопнула дверью, и в коридоре послышались ее торопливые удаляющиеся шаги.

Пьеретта повернулась к Бомаску. Она смеялась.

— Если бы ты знал, — сказала она, продолжая смеяться, — если бы ты знал, зачем эта женщина...

Она прижалась к нему, как ей хотелось еще тогда, у елового перелеска. Ее глаза наполнились слезами, и на этот раз Пьеретта не удерживала своих слез. Бомаск обнял ее.

Они уснули рядом на широкой, похожей на ладью, кровати с красной пуховой периной, которую подарил Пьеретте дядюшка Амабль.

(Продолжение следует)

Виктор Ворошильский

О Тадеуше Боровском

3 июля 1951 года умер польский писатель Тадеуш Боровский.

Он прожил неполных тридцать лет, а из них более двух лет отняли фашистские тюрьмы и концлагери — варшавский Павяк, Освенцим, Дахау и другие. Год продолжались горькие скитания по Западной Германии, включая сюда и пребывание за колючей проволокой — на этот раз в американском лагере. По сути дела, мы общались с живым Боровским-писателем всего пять лет. Однако это был период столь интенсивного созревания, столь богатого творчества, что его хватило бы на значительно более долгую жизнь. Полторы тысячи страниц собрания сочинений Боровского остались в литературе народной Польши как прочный и весомый вклад.

Очень трудно говорить о писателе, не имея возможности отослать читателя к произведениям, которые сразу свидетельствовали бы о правильности высказанного мнения, подкрепляли бы каждую оценку своей непосредственной выразительностью, более живой и убедительной, чем какие бы то ни было комментарии. Поэтому мне придется ограничиться самым общим упоминанием о фактах, определяющих роль Тадеуша Боровского в современной польской литературе.

Следует выделить три момента.

Боровский-писатель родился по соседству с газовой камерой, под палками «капо» и нацеленными в грудь пистолетами эсэсовцев. Его первая книга «Мы были в Освенциме», написанная совместно с двумя товарищами по концлагерю, появилась в 1946 году в Мюнхене, а в 1947 году в Варшаве был издан сборник рассказов Боровского «Прощание с Марией». В тот период в Польше на подобные темы писалось немало книг. Во многих из них, однако, картина гитлеровских преступлений заслонялась предвзятыми концепциями, вытекавшими из религиозного, националистического или мещанско-сентиментального мировоззрения авторов. Боровский же, несмотря на то, что он в то время еще не пришел к марксизму, к партии, — не поддался распространенным тенденциям и создал одну из немногих — ибо наряду с ней я сумею назвать, пожалуй, только «Медальоны» Налковской и «Ночь» Анджеевского — картин фашизма, столь же подлинных, сколь и потрясающих. Его гуманизм был лишен либеральных иллюзий; разоблачая фашизм, он одновременно разоблачал изолгавшуюся мещанскую мораль, неспособную противостоять фашизму. Во всем этом не было еще сложившегося политического сознания — был просто талант. Однако не идет ли многое в таланте от характера, от морального облика? Сила и долговечность произведений, вызванных к жизни талантом Боровского, это прежде всего чрез-

вычайный накал заключенных в них любви и ненависти, это беспощадная чуткость совести, непримиримая искренность, стремление сказать всю правду и только правду. Это стремление и стало литературным кредо автора «Прощания с Марией».

Вторым моментом, определившим выдающуюся роль Тадеуша Боровского в польской литературе, была та полемика, в которую он вступил с политикой, моралью, философией, искусством современного капитализма. Мир, с которым он страстно боролся, был хорошо известен ему: Боровский расстался с ним в 1946 году, но не перестал следить за различными проявлениями его жизни и особенно культуры. Спустя некоторое время он провел год в столице ГДР, в двух шагах от европейского предполья империализма — западного Берлина. Полемика, начатая Боровским в его публицистике, была далека от абстракции: наиболее характерная черта ее — насыщенность конкретными фактами, человеческими характерами. Писатель овладел целым арсеналом форм и средств: сарказмом памфлета, точностью философской диссертации, свидетельством голой цитаты, фабулой и метким диалогом прозы. Все вместе это создало гибкий и вместительный литературный жанр — эссе, доведенный Боровским до виртуозности. Первый сборник его антиимпериалистических эссе — «Рассказы из книг и газет» — был удостоен государственной премии. Два последующих — «Малая хроника больших дел» и «На предполье» — вышли уже после смерти автора. Незаурядная познавательная и художественная ценность всех названных книг не снизилась и доныне.

И, наконец, наряду с отражением в прозе мира фашизма и великой публицистической полемикой с современным капитализмом, третье значительное достижение Тадеуша Боровского — его рассказы на современные польские и немецкие темы. Они возникли в последние три года жизни писателя, в период, когда наша партия развертывала наступление в области искусства. Тадеуш Боровский был одним из самых смелых разведчиков и саперов в этом наступлении, одним из тех, кто наиболее полно и радостно вступил в бой за литературу осознанно партийную, литературу социалистического реализма. Почему ему удалось творчески применить принципы, за которые он боролся, в большей степени, нежели его товарищам? Мне кажется, потому, что он не изменил своему таланту, своему характеру. Его не соблазнила поверхностная иллюстративность, конъюнктурная лакировка, бесконфликтная беспечность, — а не следует скрывать, что так извращенно представляли себе путь к социалистическому реализму некоторые наши писатели и критики. Он вторгался в действительность глубоко и смело, не полагаясь лишь на то, что писателю партийному легче познавать ее и судить о ней. Он не ослабил в своих произведениях накала любви и ненависти, беспощадной чуткости совести, не отказался от непримиримой искренности, не исключил из своей программы постоянного стремления говорить всю правду. Но только все названные черты таланта Тадеуша Боровского обогатились новым знанием об обществе, которое дает марксизм-ленинизм, обрели перспективы социализма.

* * *

В этом номере «Иностранной литературы» советский читатель впервые познакомится с творчеством Тадеуша Боровского. Рассказ «Наставления его преподобия» — незаконченный, оборванный буквально на полуслове — увидел свет после смерти автора.

Центром внимания автора здесь служит не то новое, что нарождается: это новое отражено в ряде эпизодов и образов, но не выдвинуто

на первый план. Главная тема — это старый мир, недобитый, живучий, маскирующийся на разный манер, не раз переходящий еще в атаку. Разоблачая его, показывая всю его гнусность, агитируя непосредственно п р о т и в этого старого мира, писатель косвенно, но не менее убедительно агитирует з а новый мир, выступает как его гордый представитель. Рассказ Боровского, основанный на подлинных событиях, которые в свое время всколыхнули общественное мнение Польши, учит бдительности и ненависти к старому миру, который писатель видит именно с позиции нового, с позиции строящего свою свободную жизнь народа.

Здесь, как и в других сатирических рассказах, автор не облегчает своей задачи: противники, с которыми он расправляется, отнюдь не напоминают кожаной боксерской груши, хотя в перспективе дело их класса обречено на поражение. Возьмем героя из рассказа «Наставления его преподобия». Ведь его поведение не есть следствие личной глупости. Оно следствие исторически мотивированных реакционных позиций, которые ставят на службу целям преступной борьбы изощренную теологическую мысль, тщательно отшлифованные способности деятеля церкви, широко простирающийся авторитет организации, которая претендует быть опорой человеческой веры и морали. Победа писателя состоит в том, что, не преуменьшая ни одного из факторов, действующих в рассказе в пользу врагов, он сумел убедительно показать — не риторическим порицанием, а действием — их полное поражение.

В заключение хочется выразить надежду, что первая встреча советского читателя с творчеством одного из наиболее талантливых польских писателей не будет встречей последней. Этого заслуживают и его творчество и советский читатель.

Тадеуш Боровский

НАСТАВЛЕНИЯ ПРЕПОДОБИЯ

Перевод с польского М. Абкиной

Уже умолк церковный хор, и ксендз-викарий, неутомимый дирижер, простившись с певчими, медленно побрел в свой дом, стоявший в саду при костеле. Уже клонился к вечеру погожий золотой осенний день, и над прудами за местечком пылало алое закатное солнце, уже отгремело в костеле глубокое, торжественное эхо органа, и певчие, поцеловав ксендза-викария в рукав сутаны, разошлись, — когда Облупек, благочестивый юноша с черными кудрями и румяными, брызжущими здоровьем щеками, в кургузом зеленом пиджачке и узорчатом галстуке, повязанном по последней провинциальной моде, сбежал вниз с хоров, благоговейно шаркая башмаками и вполголоса напевая последние строфы набожной песни о чудотворном образе, много лет тому назад пропавшем из костела. Выбежав во двор, укрытый тенью тополя, и перемахнув через калитку, которая вела в сад ксендза-декана, он очутился в малиннике, среди раскидистых яблонь, усыпанных крупными красными яблоками. С минуту он вслушивался в жужжание пчел и с наслаждением впивал чудесные ароматы «божьего сада», потом, обогнув пасеку, прошел дорожкой к беседке, где уже сидел ксендз-декан — немолодой, но исполненный мудрости и энергии пастырь, в черном свитере с закатанными рукавами, несмотря на теплый день натянутом поверх сутаны, и читал требник. Облупек подошел к ксендзу, чмокнул его в рукав сутаны и, представив ему своего приятеля, высокого блондина со слезящимися сонными, рыбьими глазами и чувственным ртом, с жаром заговорил:

— Еще несколько репетиций, и наш вертеп * будет готов. Только мне думается, ваше преподобие, надо бы добавить песен, славящих наш пропавший чудотворный образ. Разве годится, чтобы у нас в костеле на главном алтаре стояла какая-то копия, а сам образ обретался где-то в Румынии? Почему не похлопотать перед властями, чтобы его вернули нам? То-то был бы праздник!

Ксендз-декан, у которого лицо было сонное и немного отечное — вероятно, от ночных бдений, — задумчиво пожевал губами:

— Видишь ли, милый Облупек, ведь и я и ты, оба мы знаем, что нынешнее наше правительство не слишком озабочено возвращением чудотворных образов. К тому же наш епископ считает, что не следует и хлопотать об этом. Нередко мечта души человеческой более угодна богу, нежели самое ее осуществление. Господь бог знает, что делает,

* Рождественское представление на евангельский сюжет о рождении Христа.

когда испытывает наше терпение. Будем молиться, милый Облупек, и увидишь, мы еще доживем до великих и радостных дней.

Разговор на время прервался. Они сидели на лавочке в беседке, с трех сторон укрытой живой изгородью и плющом. Вдоль стен вились уже отцветавшие розы, на немецкий манер образуя гирлянды над беседкой; дальше тянулись гряды картофеля, среди которых важно вздымались яблони и груши, а еще дальше виднелась окаймлявшая угодья плебании высокая живая изгородь, искусно переплетенная колючей проволокой, чтобы озорные мальчишки местечка не лазили в сад, не собирали украдкой даров божьих и не умаляли благодати, ниспосланной господом слугам своим. Костел стоял на холме, над местечком, которое играло в долине отблесками жестяных крыш почты, районной управы, городского совета и школы — красных внушительных зданий, возвышавшихся над бедными, ветхими гонтовыми крышами домиков, спрятанных в глубине дворов, под тенью высоких тополей и орехов. В садиках там цвели пионы. Слышалось мычание коров. По рыночной площади протарахтели крестьянские двуколки и свернули в одну из главных улиц — ту, что в память о приезде Костюшки во времена восстания в Шпотаву была названа Костюшковской. Задумавшись, собеседники поглядывали на местечко, над которым на склоне соседнего холма расположился крупный железнодорожный узел, строившийся для связи с Новой Гутой. На глазах вырастало новое паровозное депо, в сумраке двигались землечерпалки.

— Извините, ваше преподобие, я хотел бы задать один вопрос, — робко заговорил Облупек и поцеловал ксендза в манжету.

— Слушаю тебя, Облупек, — отвечал ксендз и с удовольствием посмотрел на открытое, прямодушное, милое лицо юноши, который, подумал ксендз, вот ведь и студент, а совсем не самонадеян, как нынешняя молодежь, предан делу божию, усердно возносит хвалу господу богу в костельном хоре, скромен, доверчив и охотно идет к исповеди.

— Скажите, пожалуйста, ваше преподобие, как вы смотрите на конспирацию? — неожиданно спросил Облупек.

— Применительно к практике?

— Сперва, если можно, в теории, ваше преподобие. Как считать: противоречит ли конспирация католической этике, или согласуется с нею? Допустим, что человек вступил в подпольную организацию, он хочет остаться добрым католиком, но обязан выполнять приказы. Не думаете ли вы, ваше преподобие, что это может послужить причиной морального разлада?

Ксендз-декан с минуту молчал. Облупек смотрел на него во все глаза, как ребенок смотрит на мать, когда та наливает ему в кружку теплое сладкое молоко, только что надоенное от коровы, которую он пригнал с пастбища. Приятель Облупека молча чертил палкой на песке извилистые линии. Правую руку он по привычке держал в кармане и хмуро поглядывал из-под светлых кустистых бровей на яблони, на безоблачное небо, на маленький красный костел и группу мальчишек, остановившихся на минутку у ворот и занятых оживленным разговором. Снизу, с дороги, которая петлями поднималась в гору и вела мимо костела, доносился скрип колес. По другую сторону долины, где раскинулся столетний дубовый парк, среди деревьев белел бывший графский замок; сейчас там устроили клуб госхоза: владелец бежал за границу сразу после январского наступления. Рядом с замком виднелись хозяйственные постройки госхоза, обширные дворы перед амбарами, конюшнями, хлевами. Госхоз был образцовый; здесь разводили мелкий скот, выращивали высокосортную пшеницу, хотя управлял этим крупным хозяйством человек без специального образования, крестьянин из-под Белостока,

командированный сюда партией. Молодой товарищ Облупека, прислушиваясь к ученой беседе, думал про себя: «А не проще ли кокнуть его без долгих слов, и дело с концом».

— Мой милый Облупек, — торжественным тоном начал ксендз-декан, — видите ли, дорогие мои, существует пятая заповедь: «Не убий!»

— Но врага-то убивать можно, ваше преподобие, — откликнулся молчаливый приятель Облупека, бросив на ксендза испытующий взгляд. Ворот у него был расстегнут, можно было заметить, что он усиленно загорал летом.

— Бывает враг активный и враг потенциальный. Не всякий враг, учит католическая религия, опасен нам. Акула, например, тоже враг человека, но она живет в дальних морях и нам не страшна. Должны ли мы в этом случае желать гибели акуле? Очевидно, нет. Другое дело, когда враг близко, когда он угрожает нашей жизни и нашей безопасности, когда он, как гласит католическое учение, является преследователем, будь то активным или потенциальным. Все это, милый Облупек, вопросы очень сложные и не нашим малым умам их разрешать. Но в двух словах суть нашего учения можно выразить так: враг людям тот, кто враг богу. И первый враг — это дьявол. Это он соблазнил человека на смертный грех и навлек на него гнев божий — и человек был изгнан из рая, и уделом его стали порок и смерть. У католической церкви, наместницы Христа на земле, также есть враги. Это все те, кто не верует в бога, не признает земной и небесной миссии костела, не почитает служителей божьих и мнит, что даст человеку счастье без помощи костела.

— Коммунисты?

— Коммунисты.

— Ага! Так с коммунистами вести борьбу можно? А вот, к примеру, секретарь партийной организации здешнего депо. Женатый человек, жена скоро родит. Но он непримиримый враг костела. Как же его? Убить, ваше преподобие?

— Каждый поступает сообразно велениям совести, и нельзя от него требовать, чтобы он поступал иначе. Мать наша, святая церковь, хранит сынов своих, награждает воителей за дело христово на земле, но она никому не приказывает: иди и борись. Оружие церкви — слово божье и заповеди божьи, дорогой мой Облупек.

— Ваше преподобие, мы сделали налет на кооперативную лавку в Ежувке — откликнулся вместо Облупека его приятель.

Ксендз-декан встрепенулся.

— И взяли там полмиллиона злотых?

Тот молча кивнул головой, потом не спеша пояснил:

— Они там подкапывались под частника, обложили его налогами, а нам как раз нужны были деньги на организацию. У нас налажен контакт с центральными воеводствами и с западными, надо на оружие, надо на жалованье людям, и жить ведь тоже на что-то надо. Денежки кооперативные, коммунистические. Жалко, что ли? Да и люди пусть знают, что мы действуем.

— Нам грозит опасность, ваше преподобие,— вмешался Облупек.— До нас добираются. А среди наших начались разговоры: стоит ли, дескать, оставаться в организации? С тех пор как тут это строительство, кое-кто стал поговаривать об устройстве на работу, увиливать от выполнения приказов. В наших рядах начинается разложение.

Ксендз-декан порывисто вскочил со своей плетеной скамейки и в бешенстве затопал ногами.

— Разложение! Я вам покажу разложение! Банда молокососов!

Или беритесь за дело, или больше на глаза мне не показывайтесь. С сопляками я возиться не буду. Вон отсюда!

— Вы меня выслушайте, ваше преподобие. Нам ведь и вправду грозит опасность, — с упреком сказал Облупек. — Мальчишка что-то слишком уж подружился со студентами.

— Вальдусь? — быстро спросил ксендз, искоса глянув на Облупека.

— Вальдусь, — радостно подтвердил Облупек.

Наступило молчание.

— А капрал Есенек? — снова спросил ксендз. — Что-то он стал вертеться возле плебании, а мои прихожане жалуются, что он изводит их угрозами, житья не дает. Не нравится ему, что они кожей промышляют, он уже и весь домашний скот хотел бы передать государству. Не по душе ему, что добрые католики колбасу едят.

— Он и около нас шныряет, — со вздохом сказал Облупек.

Ксендз встал с плетеной скамейки и устало потянулся. Сквозь открытую дверь солнце светило прямо в беседку; на стены ложились большие сочные пятна от виноградных лоз, краснели яблоки на яблоньках, а замирающее жужжание насекомых и птичий щебет говорили, что в прекрасном мире уже пахнет осенью.

— Ну, пора вам уходить, дорогие мои, — мягко сказал ксендз-декан. — Не следует слишком долго задерживаться здесь. Помолились, потолковали со своим пастырем о чудотворном образе, потом, наверно, устроите сбор на этот образ, будете ходить по домам — так не надо, чтобы люди слишком много знали о вашей преданности делу божию.

Белой пухлой рукой он перекрестил воздух над склоненными головами молодых людей, с улыбкой, которая так не шла к его угрюмому, недоброму лицу, отпустил их и снова сел на скамью, взявшись за требник. Друзья прошли по дорожке к костелу, взяли свои велосипеды, стоявшие у ограды, и выехали на проселок, ведущий к местечку. По пути обогнали грузовик, битком набитый студентами, которые с песнями возвращались с работы на полях госхоза, помахали им рукой и свернули к местечку. На развилке они обогнали капрала Есенека, который шел пешком по тропинке и посвистывал. Костел и плебания быстро скрывались за пышной зеленью тополей, кленов и груш, только нет-нет да просвечивали красным кирпичные стены и золотая крыша блистала вдали, как башня феодального замка.

* * *

Они вкатили велосипеды в сени, темные, низкие, провонявшие курами, которые неслись в курятнике по соседству и целыми днями бродили по двору и крыльцу, поклевывая рассыпанное зерно. Постучали, вошли. На кровати лежал Барчак и читал книгу. Заперев за собой дверь, они спросили:

— Где Подсядло? Давай его сюда!

Барчак встал, отодвинул половицу, полез в подвал и через минуту вывел оттуда хлопающего глазами Подсядло, бледного, еще не проспавшегося с перепоя. Вчера, после налета в Ежувке, он прошел двадцать километров в ночной темноте, под дождем; выпили дай боже.

— Ну, что Вальдусь? — спросил Облупек.

— Нет его, — отвечал Подсядло. — Мать беспокоится.

— Должно быть, опять ушел к студентам, — проворчал Барчак. — Я ему все зубы повышибу.

— Ничего ты ему вышибать не будешь, с мальцом надо поделикат-

нее. Надо запирать его дома, чтобы никуда один не ходил, не то как раз накличет беду.

Они озабоченно помолчали. Барчак достал из шкафчика хлеб, нарезал колбасу, все принялись за еду.

— Ну, хлопцы, валяй рассказывай, — скомандовал Подсядло, набивая рот хлебом.

Выслушав отчет о беседе с ксендзом, Подсядло сказал:

— Пора активизироваться. Все, что сделано до сих пор, — ничего не стоит. Гайдос считает, что мы спим, и правильно считает. Обучение вы прошли, связь мы установили, люди на местах есть, видят, что делается, а боятся пальцем пошевелить. До каких это пор мы будем кивать друг на друга? Пока у нас под носом не поразводят кооперативы и не позагоняют туда всех мужиков? Ну, пишем мы там на стенах, листовки, бывает, получаем. Ну и что? Ерунда! Мышиная возня все это! Здесь в уезде мы хозяева, и это надо показать. Наши тройки проявляют слишком мало инициативы. Ты, Облупек, мне не перечь; распевать в хоре ты умеешь, о чудотворном образе хлопочешь... все это хорошо, но пора и за дело браться. На какие шиши жить будем? Что-то много этих активистов развелось в районе, братец ты мой. Я сегодня решил: налет на госхоз, налет на «Хлебороб», налет на «Крестьянскую самопомощь»— а там видно будет. Зима на носу; как только уберут урожай, опять пойдет агитация за кооперативы, а мужик, сами знаете, когда земли у него мало, он и думает: «Отчего не попробовать?» Задницы у них давно не чесались!

Он замолчал, когда вошла хозяйка. Она поставила на стол жирную селянку и сказала, громко всхлипнув:

— Не могу я больше! Этот мальчишка меня доканает.

Подсядло вскочил, усадил ее на лавку, задернул занавески на окне и мигнул дружкам:

— Эй, хлопцы, позырить, что там на улице!

— Он меня в гроб вгонит! Шубу выкрал, что покойный муж достал при оккупации! Золотые вещи вынес из дому! Целыми днями где-то пропадает! Ой, боюсь я, боюсь! Ой, за всех нас боюсь! Есенек похваляется, что как только нас поймает, так всех и прикончит! Своими ушами в лавке слышала!

— Успокойтесь, пани Грабиньская,— мягко и вкрадчиво сказал Подсядло.

Это был блондин с гладко зачесанными волосами, с мужиковатым хитрым лицом. Его быстрые голубые глазки вечно шарили по сторонам, он всегда ходил в бриджах и до глянца начищенных сапогах. Был он бледен, так как целыми днями сидел в подвале: его разыскивала милиция. Его опознали во время одного из налетов, и теперь он выходил на «работу» только по ночам, и то недалеко. Местные жители знали его и боялись: чуть что, он хватался за револьвер, а носил он их с собой целых два, как и положено опытному диверсанту.

— Мальчишкой мы займемся, а остальные от нас не уйдут.

— Ну, хорошо, обедайте, — сказала уже спокойнее Грабиньская. Она разложила селянку по тарелкам, достала из шкафчика водку, разлила по рюмкам.

— Гоп! Первый тост за здоровье дам! Чтобы радовали нас и веселили!

Началась попойка. Было воскресенье. С утра богу помолились, после обеда надо и отдохнуть,— так уж заведено у добрых людей.

— Эх! Двинуть бы сейчас в местечко! — вздохнул захмелевший Подсядло.

* * *

Местечко раскинулось вдоль долины, которую с юга окружала железная дорога. От стройки, начатой немного поодаль, вело шоссе, разветвлявшееся у самого местечка. На перекрестке дорог стояла статуя божьей матери, воздвигнутая жителями в память избавления от оккупации. Статуй святых было в местечке великое множество, и самой внушительной и ярко раскрашенной была статуя святого Флориана — покровителя и хранителя пожарников. До войны Шпотава была самым обыкновенным убогим галицийским местечком: населяли его шорники, седельщики, сапожники. Было здесь несколько похоронных контор, акушерок, подозрительных трактиров, а на грязных дворах за деревенскими плетнями, среди кур и собак, играли замурзанные, рахитичные дети со вздутыми животами. Каждую неделю в местечке бывал большой базар, и в эти дни на рыночной площади на холстах или прямо на земле, вымощенной булыжником, раскладывалось все, что привезено на продажу: картофель, морковь, зерно, сапоги, образки и молитвенники — все, что только требуется крестьянину и ремесленнику. Из окрестных деревень тянулись тогда нескончаемые вереницы телег. Распрягали лошадей на площади или подъезжали к домам жителей побогаче — доктора, учителя, старосты, полицейских, — и после жаркого торгового дня разъезжались по деревням, нагруженные уже городскими товарами.

Здесь перед войной бывали выступления фашистов, здесь в уезде существовал знаменитый народный университет, где преподаватели отыскивали в сынках зажиточных крестьян «самобытную сущность» и стремились создать из них сверхчеловеков, не мешая им попутно увлекаться абстрактным «социализмом», который со временем делал их яростными защитниками кулачества, учил ненавидеть революцию и приводил в отнюдь не абстрактные, а вполне реальные банды, объединяя их с кулацкими группировками — с «Севом», «Рацлавицами». Эти люди добывали оружие и, снюхавшись с иностранными разведками, раскидывали шпионскую сеть, занимались в деревнях вредительством, закалывали вилами государственных уполномоченных или, выдавая себя за специалистов, поступали на работу в госхозы для того, чтобы парализовать выращивание хлебов и овощей, животноводство и лесное хозяйство и таким путем срывать снабжение страны. Словом, как и во всех городах и деревнях, как на каждом заводе и на каждом наделе польской земли, здесь, в Шпотаве, маленьком местечке под Краковом, шла жестокая классовая борьба.

Шпотава пережила три недолгих периода ослепительного расцвета. В сентябре 1939 года, когда через местечко отступала польская кавалерия, преследуемая немецкими танками, когда евреи бежали, покинув свои лавки, и тысячи людей двинулись с насиженных мест, увлекаемые волной сентябрьского бегства, в Шпотаве начался грабеж кожи, седел, товаров в лавках и бешенная оголтелая торговля с предприимчивыми немцами, которые, награбив мануфактуры или цемента, обуви или мебели на одной улице, тут же устраивали распродажу на другой. Это кончилось вместе с последними днями сентября. В городке появилась немецкая администрация; приступил к исполнению служебных обязанностей маленький, но энергичный отдел гестапо; были отправлены первые партии людей в тюрьмы и лагери, неподалеку от Кракова начал действовать Освенцим. Тогда в Шпотаве на смену грабежам, разбою, погромам появился другой, более надежный промысел, который приносил огромные доходы нарождавшейся в городе общественной прослойке: люмпен-буржуазии. Появились особые виды промышленности военного времени: курение самогона, тайная выделка кож, незаконный

убой свиней. Шпотавские сапожники славились на всю округу, скотобойцы ценились на вес свиного сала, самогонщики ездили по окрестным селам в качестве инструкторов. Они возили за собой котельщиков и лудильщиков, которые ставили котлы, проводили трубы, словом, закладывали целые фабрики самогона, а заодно с передачей нового опыта передавали и подпольные газетки, иногда и оружие, служили связистами, переправляли парней в лес. В округе стали орудовать кулацкие банды, которые заботливо опекали деревни, притесняя бедноту, разоряя крестьян поборами, помогая угонять людей в Германию и показывая пепеэровцам * или тем, кого они хотели считать таковыми, что значит «истинное» правосудие. Шпотава стала центром этих банд. Она также изготовляла гробы, окрашенные в меланхолический голубой цвет, рисовала на крышках большие белые кресты и подбирала для этих гробов кандидатов, выносила смертные приговоры, кумилась с немцами, жила и поживала в своих зловонных дворах. То-то жизнь забила ключом, когда евреев выселили из местечка в краковское гетто, когда покинутые мастерские достались польским кустарям и в Шпотаву валом повалили рыцари наживы, которые торговали барахлом из разграбленных еврейских жилищ, разбирали на топливо опустевшие покосившиеся домики, продавали перины, мебель, долбили стены и полы, ища, не замуровано ли там золото, американские акции и доллары, бриллианты и фамильное серебро, а находили обычно лишь семейные фотографии, альбомы и пожелтевшие любовные письма ремесленников к их будущим женам. В тот год хозяин бара на рыночной площади расширил свое предприятие, на базар съезжались бокастые крестьянские подводы и, несмотря на все облавы и реквизиции, возвращались в деревню, доверху нагруженные всяким добром. Мужики недаром говорили потом: «Страшное было, но раздольное время». Да и тайным кустарям-кожевникам жаловаться на оккупацию не приходилось... Дай бог Подсядло столько лет в тюрьме просидеть, сколько хромовых офицерских сапог изготовили они из трофейной кожи для гестаповцев, эсэсовцев, господ офицеров вермахта и сколько получили за свою работу французского коньяка и духов, греческих фиников и черепах; сколько итальянских апельсинов и добротных русских полушубков попадало на шпотавский черный рынок, сколько военных транспортов консервов, одеял, матрацев, всякого добра, не исключая и оружия, прошло через руки запасливых шпотавских купцов. Словом, местечко, позабыв о гневе божием, молилось, чтобы времена легкой наживы не кончались, а только бы вернулась еще добрая довоенная Польша, оккупанты убрались и черного петуха со свастикой сменил орел с лихо надвинутой на хохолок короной. Впрочем, трудно в точности сказать, о чем мечтала Шпотава. Вернее всего — о вольной Польше, которой правил бы какой-нибудь король, желательно английский. Ни один из шорников, седельщиков, самогонщиков и слова бы не сказал, если бы принцу Глостерскому или Виндзорскому пришла охота стать королем польским. Они встретили бы его хлебом-солью, как встречали некогда в Польше Людовика Анжуйского, и литовца Ягайло, и Генриха Валуа. К несчастью, ни один английский принц не изъявлял желания возложить на себя польскую корону, так что на всякий случай кое-где еще сохранялись портреты Франца-Иосифа.

Вот так-то за годы войны расцвела в Шпотаве торговля; одновременно возросло и влияние костела. И местный ксендз, ученый декан Обора, сын крестьянина — его отец, родом из соседней деревни, хозяйничал на сорока гектарах, словно какой-нибудь удельный князек, сыновей своих воспитывал в страхе божьем и дал им хорошее образова-

* Члены Польской рабочей партии (Польска партъя роботнича).

ние, — ученый ксендз-декан Обора пользовался большим уважением в городе и был для своих прихожан как бы символом Польши, расхаживавшим в сутане по улицам городка и для каждого находившим милостивое слово. Надо сказать, что этакий привычный символ удивительно благотворно действовал на души верующих. До войны и в течение первого года после сентябрьской катастрофы ксендз-декан Обора жил в Кельцах и готовил молодых воспитанников духовной семинарии к их будущей деятельности. Но когда был арестован и расстрелян шпотавский ксендз, Обора получил назначение в Шпотаву и за несколько месяцев поставил на ноги порядком запущенное хозяйство прихода, строго следя за сбором пожертвований и неустанно взывая к благочестию наиболее состоятельных прихожан. В плебанию стали поступать обильные приношения, заказы на заупокойные службы по погибшим воинам, щедрая мзда за венчания и похороны, и в скором времени ксендз-декан смог подумать о новой крыше для костела. Он нанял кровельщиков, слесарей и пригласил из Кракова живописца — одного из двух тысяч краковских художников, которые неутомимо размалевывали полотна беспредметными композициями, из нужды подряжаясь к богатым крестьянам писать портреты с главы семейства и всех его членов, а по возвращении в Краков расписывали кафе и бары стилизованными идиллическими картинками на сюжеты греческой мифологии, которая, неизвестно почему, снова стала входить в моду. Итак, ксендз-декан пригласил из Кракова живописца, молодого и крепкого, который сделал ему преотличную копию пропавшего образа скорбящей божьей матери, разукрасил стены костела затейливыми орнаментами и сценами, написал большую картину на плафоне и, проведя в плебании все лето, уехал с пачкой «гуралей» * обратно в Краков к своим любимым подрамникам и композициям. К тому времени стараниями ксендза было обнесено бетонной оградой старое кладбище, тянувшееся далеко вниз по склону холма, где под редкими тополями и березами покоились все графы, владевшие шпотавскими землями, были отремонтированы плебания и квартира для ксендза-викария, которого ксендз-декан привез из Кельцской духовной семинарии — они хорошо понимали друг друга, и каждое слово, сказанное между ними, как в воду падало. Были изготовлены новые хоругви, новые образа для процессий, новые скамьи для костела, стулья в исповедальне были обиты добротным красным бархатом, был вымощен тесанным камнем двор, что исполнило прихожан безграничным почтением к могуществу костела. Ксендза-декана уважали не только свои, но и чужие, и в плебанию частенько захаживал капеллан стоявшей в окрестностях немецкой воинской части — то был полк баварцев-католиков. В уезде ксендза-декана знали как энергичного пастыря, но в высших католических кругах еще больше ценили его написанные по латыни сочинения, где доказывалось, что учение Фомы Аквинского вполне соответствует духу нового времени.

Так жили городок и плебания в добром мире и согласии, питая и поддерживая друг друга. И лишь когда над Шпотавой стали пролетать советские самолеты и вдали раздались залпы январского наступления, когда на снегу замелькали фигурки удиравших немцев, когда появились первые отряды советских разведчиков,— лишь тогда в городке захлопнулись ставни и в плебании замерла жизнь, впрочем, всего на один день. Наутро после освобождения Шпотавы ксендз-декан отслужил благодарственный молебен, благословил наполнявшую костел толпу молодых людей в коротких полушубках, прочел проповедь о христиан-

* Денежные знаки с изображением горца, выпущенные в Польше немецкими оккупантами.

ском долге польской молодежи перед католической культурой, назвал Польшу форпостом христианства, напомнил о временах, когда Шпотава была во власти татар, которые пугали женщин своими раскосыми глазами и торчащими скулами, стреляли из луков в невинных младенцев и насиловали девушек, поговорил о рыцарстве и гусарах, о пути Собесского, о любви к родине, о радости по случаю освобождения Польши, еще раз благословил смиренно преклонивших колена молодых людей в полушубках и, наспех позавтракав, уехал в Кельцы посоветоваться с епископом, как действовать дальше.

А Шпотава, пережив еще одну блистательную вспышку спекуляций, — было-таки чем поживиться, когда немцы побросали свое имущество, а парни в полушубках перестреляли и ту малую толику евреев, которые, вернувшись из лагерей, надеялись поселиться в своих старых жилищах, — Шпотава зажила прежней довоенной (вернее, военной) жизнью. Увы! Уже появились в местечке первые пепеэровцы, взялся за работу Отдел государственной безопасности, и идиллия, вожделенная идиллия военных времен, разлетелась прахом, и даже у орла свалилась с головы корона, зато хохолок был зачесан так лихо, как у молоденького паренька из ОГБ, который глаз не сомкнет, а убережет Польшу от беды.

* * *

Миновав костел, капрал Есенек спустился по извилистой дорожке парка, мельком оглядел пасшихся под дубами госхозовских коров и прошел к службам. Полюбовавшись на новую, еще не достроенную льносушильню, он направился в контору. Пожал руку директору, который сидел под большим портретом Сталина, против доски с указаниями норм полевых работ и что-то писал, и спросил:

— Ну как, пойдем?

Пройдя между сушильней и недавно выстроенным свинарником, они вышли в поле. Директор госхоза, плотный, приземистый мужчина, приехал на Краковщину из-под Белостока. Малоземельный крестьянин, он всю войну партизанил, из партизан пошел на организационную работу в уездном комитете партии СЛ *, но, не выдержав, как он говорил, «бумагомарания», попросился в госхоз; на самом деле под его опекой находилась вся деревня. У этого толстяка голова была полным полна новых проектов. В то время как граф, бывший владелец имения, бежавший с немцами на запад, жил, если верить молве, в Париже (люди все узнают!) и ездил в Монте-Карло, чтобы за игорным столом спускать капиталы, помещенные перед войной в швейцарских банках, толстяк приводил в порядок имение и превратил его в госхоз. В первое время директору не разрешали экспериментировать, из центра шли инструкции и распоряжения, от которых у мужиков волосы становились дыбом. Инструкции эти диктовали сроки сева и уборки, распределяли участки под уже посеянные хлеба и посаженные овощи. Инструкции доходили, а искусственное удобрение не доходило: его получали богатые единоличники, кулаки; повсюду вели агитацию правые; словом, нелегко было управлять госхозом. Со временем, однако, директору удалось навести порядок, а Отдел государственной безопасности выловил из областного управления бюрократов, которые знали, сколько лошадей работает в госхозе и сколько их можно отобрать у него и отправить в другое место, но нуждами госхоза не интересовались. Толстяк стал выращивать высокосортную семенную сахарную свеклу, кормовые травы, отечественные сорта льна, затеял эксперименты с коноплей, утверждая, что ее можно

* Стронництво людове — левое крыло крестьянской партии.

привить и на краковских холмах, раздобыл для своего хозяйства образцы высокосортного картофеля, а узнав из советских газет о широкой кампании посевов проса в пострадавших от засухи степях Украины, организовал у себя опытную станцию, где выращивал просо, и добился хороших урожаев — по двенадцать центнеров с гектара. Наконец, когда семена госхоза прославились во всем уезде и даже воеводстве, а бывшие графские батраки стали зарабатывать по шестьдесят тысяч злотых одними деньгами, толстяк приступил к осуществлению широко задуманного плана, постепенно развивая и животноводство. И вместе с сушильней для льна и конопли в госхозе появился благоустроенный скотный двор. Не переводя дыхания, толстяк, к великому удивлению крестьян, уже проектировал постройку помещения для детского сада, отведя для этого часть парка, а бывший графский дворец назначил под библиотеку, читальный зал, клуб и зал собраний. Всякий раз, когда в рыцарском зале, украшенном гербами, собирались мужики, он напоминал им, что теперь они хозяева этой земли и никакой пан в этот зал больше не вернется.

Итак, они вышли в поле, пересекли жнивье, которое распахивали под озимь, и подошли к высокому стогу сена. Ветер засыпал глаза пеплом и клочками обгорелой соломы. Стог вонял гарью, как опаленная свиная шкура. Хорошо еще, что ночью неожиданно полил дождь и потушил пожар — нижние снопы в скирде уцелели, только снаружи успели немного обгореть. «Пойдут скоту на подстилку»,— подумал капрал. Он обшарил стог, видимо, ища чего-то, — директор не сводил с него глаз, — и, наконец, нашел: в руках у него оказалась большая жестянка из-под консервированных огурцов, почерневшая от копоти, погнутая, без дна и крышки. Капрал поднес ее к глазам, с минуту внимательно осматривал, но ничего не обнаружил. Понюхал — никакого запаха. Огонь все выжег, и нельзя было определить, что было на этикетке, где куплена банка.

— Она вам нужна? — спросил директор.

— Нужна. А где был ночью ваш сторож?

— Его с утра ищут и не могут найти.

— Вы осматривали стог?

— Мы ничего не хотели трогать до вашего приезда.

Капрал взял вилы и начал осторожно ворошить верхний слой соломы. Вдруг он замер: вилы наткнулись на что-то мягкое. Он разбросал солому, и из-под кучи обгорелого, смятого тряпья, пахнущего дождем, землей и гарью, показался труп, смотревший на них страшными ямами выжженных глаз. Руки у трупа были связаны, огонь не успел пережечь веревку. Разверстый рот был заткнут соломой и тряпками.

Капрал выронил вилы из рук. Глянув на директора, он сказал:

— Все равно я их поймаю. Накажи меня бог, если не поймаю!

Он взял закопченную жестянку, надел ее на ручку руля, вскинул на плечо автомат, сел на велосипед и, наказав директору, чтобы до приезда сотрудников ОГБ здесь ничего не трогали, помчался в местечко, оставляя за собой тонкую струйку пыли. А директор долго еще стоял над обугленным телом сторожа. К стогу со всех сторон стали подходить люди.

* * *

Капрал Есенек прибыл в Отдел государственной безопасности. Поднявшись на второй этаж, он представил начальнику жестянку, найденную у стога. Начальник спрятал ее в шкаф, где уже стояло несколько точно таких же консервных жестянок, присланных из других районов. Он отмечал на карте уезда пункты, где за последние недели были по-

дожжены кооперативные и бедняцкие стога. Таких пунктов было несколько, и все они располагались вокруг Шпотавы.

— Вот видите! — с тяжелым вздохом сказал начальник. — Это не случайность, это работа банды, которая укрывается, должно быть, в нашем городке... Типично кулацкие штуки! У них, видимо, имеются велосипеды. Сели, поехали, подпалили сено — и назад.

Молодой блондин, который до этой минуты смотрел в окно и в разговор не вмешивался, бросил окурок в пепельницу и тоже подошел к карте.

— Скажите, капрал, вы вечерами ходите по городу?

— Хожу, товарищ.

— А не замечали вы велосипедистов, которые возвращаются из-за города, когда уже стемнеет?

— Да разве уследишь? — ответил Есенек. — Мало ли людей приезжает по вечерам за покупками в наш кооператив «Хлебороб».

— А молодежь?

— Ездят хлопцы, что живут у Грабиньской, ездят из дома Облупека. Может, и другие, кто их знает... Нет, я бы не там искал. Я бы искал среди самогонщиков и кожевников. Кое-кого уже засадили в лагерь, вот они и мстят, — сказал Есенек.

Блондин усмехнулся. Это был еще совсем молодой паренек с широким крестьянским лицом.

— Вы думаете? А знаете ли вы, что в вашем воеводстве спалили уже двести скирд? Посмотрите на карту, линия тянется до самых Кельц и приближается к Лодзи. Несколько случаев отмечено и во Вроцлавском воеводстве. И повсюду — пустые консервные банки. Я вам это сообщаю для того, чтобы вы не преуменьшали опасности и не думали, будто дело ограничивается одним уездом или одним вашим городком. Враг не унимается и находит все новые формы вредительства. Тут бюрократы, тут какой-нибудь директор, тут, смотришь, целое учреждение в руках у шпионов и диверсантов, а бывает, как вот в вашем городке, — не за что ухватиться, не знаешь, где укрывается враг, но он есть, понимаете? Он пишет на стенах антиправительственные лозунги, он жжет стога, убивает людей, терроризирует целые районы. Что говорят в городе?

Начальник уездного ОБ развел руками:

— Говорят, что это работа какой-то подпольной армии. И вот вам пример: в сорок пятом году из лагерей возвращались евреи, сколько их там уцелело. Изничтожили их. Кто жив остался, бежал в большие города или эмигрировал в Палестину. Их дома, которые им государство вернуло, достались за бесценок лавочникам да кожевникам.

Молодой паренек повернулся к Есенеку.

— Я слышал, вы поступаете в офицерскую школу?

— Так точно. С нового года получаю командировку.

— Вы, говорят, гроза здешних самогонщиков?

— Как же, троих он уже отправил в трудовой лагерь, — усмехнулся начальник.

— Смотрите, капрал, будьте осторожны, — посоветовал паренек. — Вы им костью поперек горла стоите.

— Я и остерегаюсь, — ответил Есенек, тряхнув висевшим через плечо автоматом.

— А теперь вот что,— сказал паренек, когда за Есенеком захлопнулась дверь. — Необходимо проследить, кто это скупает консервные банки, кто это так любит маринованные огурцы.

— Ксендз, — ответил начальник. — Он без памяти любит корнишоны. Я знаю, что он сделал порядочный запас.

Паренек молча слушал и, прикусив нижнюю губу, что-то записывал в замусоленную тетрадку. Наконец, он закрыл ее и встал.

— Я поехал. А вы будьте начеку. Вы головой отвечаете за спокойствие в городе. Нынешней осенью решено провести ряд широких политических мероприятий, и нельзя допустить, чтобы их сорвал классовый враг. Надеюсь, что до осени мы ликвидируем еще одну банду.

— Есть, товарищ капитан, — сказал начальник уездного ОБ.

Они распрощались, крепко пожав друг другу руки. Но паренек не сразу уехал из местечка. Он обошел все бары, на рынке внимательно присмотрелся к кооперативу «Хлебороб», обследовал его со двора, где в маленьком запущенном садике росли подсолнухи и пионы. В окнах соседнего домика висели большие гроздья винограда, их продавала садовница, счастливая обладательница южного участка. Выпив для храбрости две рюмки сливянки в баре на рыночной площади, паренек направился вглубь парка, обошел плебанию с тыла, вошел во двор и смело открыл дверь. Старая экономка, коловшая в сенях лучину на растопку, подняла голову и, отогнав любопытных кур, спросила:

— Вам кого?

— Ксендза-декана.

— А его дома нет.

— А я знаю, что дома.

— А вот и нет его.

— Кого это бог привел, Кондрася? — спросил сверху ксендз, неожиданно появившийся на лестнице.

— Я хотел бы поговорить с вами, ваше преподобие,—сказал посетитель и без дальнейших церемоний взошел наверх.

— По личному делу?

— По вопросу веры и совести.

Только теперь ксендз-декан посмотрел на него внимательно. У паренька были красные веки, как будто он не выспался, располагающая улыбка; одет он был в короткую куртку, дорожный пыльник, высокие глянцевитые офицерские сапоги и слишком щеголеватые бриджи, отдававшие деревенским шиком. От него как будто попахивало водкой. Приметил ксендз и руки, загрубелые, привычные к плугу, и ворот, по-крестьянски застегнутый по самую шею, без галстука.

— Пожалуйте наверх, — сказал ксендз-декан.

Паренек в свою очередь приглядывался к хозяину. Из-под беспорядочной черной шевелюры, в которой выделялась розоватая тонзура, на него смотрели зоркие и проницательные глаза. Энергичные брови срослись у переносицы, на младенчески розовых щеках проступал темный след тщательно выбритой растительности. На лестнице он казался высоким, но, когда оба стали рядом на площадке, обнаружилось, что он ниже своего гостя. Он ввел его в комнату, закрыл дверь и спросил:

— Чем могу служить?

Паренек ответил не сразу. Он с любопытством оглядывал кабинет, заставленный книжными полками, обратил внимание на письменный стол, очень изысканный, старинный. В открытое окно вливались запахи осени, внизу, в долине, видны были парк и постройки госхоза, дальше — широкие ровные поля, где сейчас распахивали жнивье, высокие груды свеклы, редкие ряды придорожных тополей и верб, зеркала прудов—будущих образцовых питомников карпов и осетров, а за ними — трубы шамотного завода, который изменит когда-нибудь весь облик городка, разгонит бандитов и самогонщиков, выкорчует мещанство и обывательщину. «Не будут тогда в избах ребятишки ползать по земляному полу», — подумал капитан и вздохнул. В свободные минуты он занимался увлекательной проблемой перестройки глухих польских местечек, таких, как Прасныш,

Вольбром, Серпц, Демблин — разоренных войной, одряхлевших за многовековое свое существование в роли сонных посредников между отсталой, темной деревней и грязными большими промышленными городами. Он посещал курсы архитекторов, жадно расспрашивал всех знакомых строителей о ходе реконструкции, увлекался каждым новым проектом, как другие увлекаются шахматами, женщинами, скачками, кошками, книгами, детьми. Разные бывают у людей вкусы и склонности.

«Однако вернемся к действительности», — сказал себе капитан и обратился к ксендзу:

— Ваше преподобие, я пришел к вам из «Подпольной армии».

— Слушаю вас, — сказал ксендз, как бы пропустив мимо ушей эти слова.

— Я хотел бы обвенчаться.

— Венчает наш викарий.

— Простите, но я хотел у вас узнать... Видите ли, ваше преподобие, мне и моей невесте пришлось бежать из одного уезда... это под Лодзью, — добавил он доверительным тоном. — Тамошнему ксендзу обо мне слишком многое известно. Теперь мне надолго придется расстаться с невестой, я направляюсь во Вроцлав к Филипповичу... Вы, конечно, знаете Филипповича?

— Продолжайте, — сказал ксендз-декан.

— Но у нас нет никаких документов, ваше преподобие, и мы не знаем, как бы это так сделать, чтобы жить по-божьему, по-честному.

— Вряд ли я чем-либо смогу вам помочь, — сказал ксендз-декан. — Вы должны обратиться к священнику своего прихода, получить от него письменное разрешение. Пусть удостоверит, что знает вас и вашу невесту, а с этой бумагой приходите ко мне, быть может, тогда обвенчаем вас без оглашения в костеле. Пока до свидания. Передайте от меня привет всем людям доброй воли.

Он протянул гостю холеную мягкую руку, проводил до двери и, закрыв ее за ним, долго еще смотрел в окно вслед уходившему. Паренек, заслоняя глаза от пыли, которая столбом крутилась на дороге, шел вниз к местечку. «Уж не дал ли я маху? — думал ксендз, прильнув разгоряченным лбом к холодному стеклу. — Ведь я его совсем не знаю...»

«Но видно, что это порядочный человек», — ободрил он себя и снова засел за свою книгу о воспитании молодежи.

* * *

Активист, секретарь партийного комитета — сколько дела у такого человека в глухом городишке! С какой жадностью читает он партийные газеты, которые много помогают ему в работе, учится по ночам, не досыпает и недоедает, за десятки километров отправляется на собрания в окрестные деревушки — пешком, или на попутной подводе, или в автобусе, если мимо городка проходит автобусная линия. Обветренный, загорелый, словно насквозь продубленный ветром и солнцем, охрипший от выступлений и разговоров, он не раз рискует жизнью в жестокой классовой борьбе. Приходится воевать с бюрократами, а нередко и с собственной женой, — и бывает, что силы ему изменяют, он делает ошибки, теряет почву под ногами и находит спасение в самокритике, и учится, учится: то на одних курсах, то на других, в беседах с товарищами, на совещаниях, с рабочими, чутко прислушиваясь к пульсу жизни, чтобы, не увлекаясь достижениями, на лету уловить сигнал о неполадках. Домой он возвращается не раньше ночи, съедает холодный ужин и, неохотно отвечая на расспросы жены, укладывается спать на общую кровать под образами, на которых какой-то бездарный богомаз изобразил скорбящую

богоматерь, или богоматерь с младенцем, или распятого Христа и которые жена ни за что не хочет снять со стены, потому что она к ним привыкла, потому что верует в бога и постоянно бегает к ксендзу исповедоваться. Иной раз дома бойся слово сказать, перед собственной женой не проговорись. Иначе она все разболтает — ведь она женщина несознательная. Ох, уж эта провинция! Сколько дела у партийного работника, который сражается с бюрократами, вразумляет директоров и начальников на мельнице, и в лесопильне, на почтамте, и в управе, тех, кто не всегда понимает пути партии, забывает о бдительности и в пьяной компании болтает лишнее, открывая врагам слабое место: кумовство да родство. Не разберешь, кто с кем связан; того и гляди из-за трудовой спины какого-нибудь мелкого служащего сверкнут глаза отца-кулака или брата, который раньше служил в полиции, а теперь пристроился в качестве писаря на мельнице, угощает молодых парней и ведет с ними беседы. В городишке под покровом обманчивой тишины кипит отчаянная борьба старого с новым. Секретарь партийного комитета всегда на переднем крае: он руководит наступлением штурмового отряда рабочего класса. Старенький телефон с ручкой на его столе — это огневая позиция; и горе партийному работнику, который во-время не узнает, что делается в самой отдаленной деревне, не держит в памяти всех событий в уезде! Вот к примеру в Козловском колхозе выстроили свинарник, и плохо настланную крышу сразу снесло ветром. Колхоз потерпел убытки на много тысяч злотых. Как тут докопаться, чья это вина? Одно ясно— партийная ячейка была недостаточно бдительна. И секретарь не может ограничиться тем, что выслушает по телефону донесение: надо съездить самому на место, проверить, поговорить с председателем, с партийцами, с молодежью, воодушевить их, чтобы своими силами принялись сызнова настилать крышу. Да и товарищам на производстве подсказать, чтобы в воскресные дни подсобили крестьянам и не допустили срыва бюджетного плана и победы кулачья.

Из этой-то поездки он как раз и вернулся, усталый и грязный, так как заодно он уже осмотрел все новые постройки в кооперативе и обошел участок, где на будущий год собирались строить большую птицеферму, тысяч на двадцать породистых кур. Партийный комитет провел трудную работу, стараясь согласовать планы кооператива и госхоза. Директор госхоза согласился часть урожая отдавать на подкормку кооперативного скота и птицы. Нужно было расшевелить тут и там зетемповские ячейки *, работавшие очень вяло. И, наконец, из рук вон плохо обстояло дело со спортивными обществами, роль которых недооценивалась местными общественными деятелями, допустившими, чтобы здесь задавали тон кулацкие сынки. Летом в окрестностях Шпотавы располагались лагерем студенты Краковского горного института, Варшавского университета, Гданьского медицинского института, которые организовали летучие санитарные отряды. В старом графском экипаже, запряженном парой гнедых, они разъезжали по деревням; и вот так-то — после нескольких посещений, во время которых предприимчивые студенты вели беседы с молодежью, приглашали ее на дискуссии о государстве, костеле и земледельческих кооперативах, устраивали сборы у костра над рекой, ездили в местечко помогать при исчислении земельного налога, выступали на партийных собраниях, разъясняя принципы народной демократии, — вот так-то возникали кружки Народного спорта. Готовились площадки, вкапывались столбы, покупались сетки. Привлекалась на помощь вся деревня и волость; и деревенская молодежь, вместо того чтобы по воскресным дням гулять на свадьбах, шататься по

* ЗМП (Звёнзек млодзежи польскей) — Союз польской молодежи.

базару или, сидя на завалинке, курить и чесать языки, устраивала футбольные матчи, принимала участие в состязаниях команд всего уезда, знакомились с молодежью госхоза, тоже без памяти увлекавшейся спортом, с рабочими кирпичного и сталелитейного заводов. Гости приезжали с песнями на грузовиках, убранных березовыми ветками, привозили свой спортивный инвентарь и даже иногда после матчей затевали вечера художественной самодеятельности или общие костры, у которых пели хором, рассказывали о работе на заводе, вспоминали о пережитом во время оккупации.

Плебания немедленно предприняла контрнаступление. Ксендз Обора поехал в Кельцы и в духовной семинарии, где как раз кончался учебный год и воспитанники разъезжались на каникулы, выбрал себе среди них десяток лучших спортсменов, привез в плебанию, отвел каждому отдельную комнату, соответствующим образом проинструктировал — и в одно прекрасное воскресное утро семинаристы разошлись по деревням. Они посещали спортплощадки, играли в футбол, в волейбол, в баскетбол, а после игры вместе со всеми отдыхали на траве, пили пиво в деревенском кооперативе, толковали о спорте, о костеле, словом, всеми способами старались войти в доверие, познать и возлюбить народ и мешать организации зетемповских ячеек. Заходили питомцы ксендза и в парк, где расположились лагерем студенты, заводили разговор о чем угодно — о своих занятиях, о вопросах философии, о законе причинности, о марксизме, затевали диспуты о духе и материи, о материализме и христианском реализме, о Фоме Аквинском и современном понимании гуманизма (в изложении ксендза Михальского), о национальном единстве, о литературе, изумляя слушателей своими передовыми взглядами; можно было подумать, что это не воспитанники духовной семинарии, а убежденные социал-демократы. Ходили они и на поля госхоза и помогая крестьянам работать, усердно вели свою агитацию

* * *

— Да, да, товарищ редактор, — говорил секретарь партийного комитета журналисту, который приехал со студентами и знакомился с жизнью района, чтобы написать очерк для одной из варшавских литературных газет. — Там у вас, в Варшаве, понятия не имеют о сложности нашей работы. Ведь вы как о нас думаете? «Глушь, где люди только-только просыпаются от спячки, куда газеты доходят на третий день, а кино приезжает раз в два месяца, где не всякую книгу найдешь, где люди живут в покосившихся домишках, таких ветхих, как будто стоят они со времен Адама... Словом, сонная провинция... Что там может быть интересного?» А между тем здесь идет неустанная борьба за новую Польшу, и в этой борьбе гибнут люди. Здесь можно увидеть, что такое классовая борьба.

Секретарь снял очки, протер их кусочком замши и, тяжело отдуваясь, так как день был не по-осеннему жаркий, продолжал:

— А какие формы эта классовая борьба принимает здесь, я вам сейчас попробую рассказать. Возьмите, например, деревню Осечу, она от нас в восемнадцати километрах. Был там, в Осече, сельский учитель, богач, хозяйствовал на восемнадцати гектарах.

— И вы его не уволили?

— А где взять другого? Вы думаете, товарищ, много у нас подходящих людей на такие ответственные посты в деревне? Учитель старый, опытный, учил он ребят по новым учебникам, добросовестно, но, помимо этого, никогда палец о палец не ударял. И вот обратились к нему с просьбой, чтобы он принял участие в общественной работе. Сами зна-

ете: учитель, если захочет, может быть хорошим лектором и агитатором и большую помощь оказать в деле ликвидации неграмотности. Конечно, такая нагрузка отнимает у него свободные часы, которые он хотел бы провести в семье, повозиться в своем саду или... ну, мало ли у кого какие потребности, например, одна учительница все мечтает съездить в город и причесаться у парикмахера, но никак не выкроит времени, и ее жених уже косо на нее смотрит...

Так вот наш учитель объявил, что возьмет на себя общественную работу только в том случае, если ему дадут несколько человек для обработки его восемнадцати гектаров! Что вы скажете? Это в то время, как мы агитируем батраков, чтобы они уходили от хозяев — кулаков и поступали на курсы трактористов или в какие-нибудь технические школы и становились квалифицированными специалистами!

— Ну, так выгнали вы его наконец?

— Ясное дело. А вот вам другой случай. Человек на свои деньги заказывает знамя для сельской партийной организации. На торжественное открытие ячейки съезжаются видные работники со всего уезда. И только потом, когда дело дошло до организации кооператива, мы разоблачили этого человека: он и не собирался вступать в кооператив: его дело сторона, он только рассчитывал торговать с ним и пользоваться кооперативными машинами. Сколько усилий нам стоило поставить его на свое место! Ведь его — можете себе представить! — избрали председателем сельской ячейки ЗСЛ *.

— Строительство в наших кооперативах,— продолжал секретарь,— мы поручали кооперативным артелям, по существу, почти частным предприятиям. В одной деревне были исчерпаны кредиты, отпущенные нам на строительство — восемнадцать миллионов злотых, — а крестьяне постановили вместо хозяйственных служб, которые за несколько лет амортизируются, построить жилые дома. Что ж, дома так дома, дело хозяйское. Никто к вам в карман не заглядывает, а кое-какие хозяйственные постройки тут есть. Я, правда, подумал, что надо бы заодно выстроить клуб и хоть какой-нибудь детский сад — я уже и воспитательницу нашел в городе, славную девушку, добрую и спокойную. Но, знаете, каково иметь дело с частными фирмами: строил наш подрядчик, пока деньги были, а когда их не хватило, вильнул хвостом и уехал в Краков. Теперь несколько домов стоят недостроенными, срам да и только! Правда, заготовка свеклы и овощей уже идет к концу, с долгами мы как-нибудь расплатимся, но нам что важно? Чтобы кооператив не стал посмешищем. И вот мобилизуем кого можно в городе, приезжают рабочие из других районов, помогают при обмолоте, электричество проводят, подсобляют каменщикам и плотникам, прокладывают новую дорогу мимо жилых домов, мебель делают — сосновую, пахучую. Но нашим мужикам этого мало. Они все еще недовольны.

А бывает, скажу вам, еще хуже. В Оструде подрядчики понастроили таких домишек, что уже сегодня людям в них тесно. Не комнаты, а клетушки. Опять же виноваты мы: если бы не полагались на панов архитекторов, а следили за ними, крестьяне сейчас не говорили бы: «Ляжешь в постель, ноги торчат в коридоре, а поставишь в комнате комод, уже горшок с пеларгонией не уместится». Опять миллионы пущены на ветер!

— Те, кто эти клетки строил, уже сами сидят в клетках.

— Это слабое утешение, товарищ! — сурово отрезал секретарь. — Не в том задача, чтобы вылавливать вредителей после того, как они свое дело сделали, а в том, чтобы во-время им помешать. Больше бдитель-

* ЗСЛ (Зъедночоне Стронництво Людове) — Объединенная крестьянская партия.

ности, товарищ! Сейчас на повестке дня новый вопрос: вредительские поджоги стогов и другие действия банды. Кто просит слова?

* * *

Секретарь отвез жену в больницу, поговорил с врачом, и когда для нее поставили кровать в единственном незанятом месте, в изоляторе, он со вздохом влез в автомобиль и сказал шоферу:

— Едем в Родзиву.

Автомобиль обогнул здание комитета. Они выехали из города.

Барчак, полдня уже слонявшийся по рынку, медленно зашагал к дому Грабиньской. По пути он встретил викария, который шел причащать больного. Впереди в белом стихаре шествовал Облупек, подняв глаза к небу и звоня в серебряный колокольчик. В школе около рынка в этот час должно было состояться собрание зетемповцев. Парни и девушки, пользуясь теплым осенним днем, грелись на солнышке и весело переговаривались. Ждали Стасюрека, который задержался на заводе на партийном собрании. Ксендз важно шел по дороге из костела, поднимая ногами мелкую пыль. В руках он держал прикрытую салфеткой чашу со святыми дарами и, осторожно ступая вслед за Облупеком, плавными кивками головы благословлял немногочисленных прохожих, которые при виде ксендза с дароносицей набожно опускались на колени и усердно крестились. Он пересек площадь и, все так же медленно волоча ноги, приблизился к группе расшалившейся молодежи. Стало тихо, только Облупек с ангельской миной все усерднее звонил в колокольчик. Неожиданно викарий остановился и, видя, что никто и не подумал стать на колени, крикнул:

— Безбожники! Господь проклянет вас за богохульство! Вас, родителей ваших и детей ваших до десятого колена! Будет по слову пророка: да погибнет тот, кто не чтит имени божия!

Он зашагал дальше и взошел на крыльцо Грабиньской.

— Кто там у нее болен? — спросил один из зетемповцев у Стасюрека, который в эту минуту подъехал на велосипеде.

— Насколько я знаю, никто, — ответил тот. — Ну, идемте, пора начинать!

Собрание зетемповского актива было посвящено вопросу о борьбе с вредительством, а также чистке рядов ЗМП, куда пробрались враги, чтобы компрометировать организацию.

В то время как в рекреационном зале школы началась бурная дискуссия о зетемповской бдительности, Барчак вслед за ксендзом проскользнул в дом Грабиньской. Вытерев руки о штаны, он вошел к Подсядло. Тот сидел у окна и чистил револьвер. Увидев Барчака, он спросил сквозь зубы:

— Ну?

— Поехал в машине на собрание.

— Да ведь он хотел в деревню сходить, к матери.

— Видно, сегодня прогулка не состоится.

— А когда же он отвезет ей харчи? Старуха еще подохнет с голоду.

— Не беспокойся, он нежный сын. Если не сегодня, так завтра уж непременно подкинет ей два-три кило мяса.

— А что если он на машине поедет?

— Не бойся, он к матери никогда в автомобиле не ездит. Малоземельная она, все хозяйство — полтора морга,— сказал Барчак, садясь на стол. — Он ее почитает, да и мужиков не хочет раздражать. Думает колхоз там наладить, все по избам таскается. На покой скоро пойдет, говорят наши. Поедет на велосипеде.

— Что-то у него, должно быть, случилось, — в раздумье сказал Подсядло. — Как на заводе?

— Было партийное собрание.

— Ну?

— Постановили усилить бдительность. Вести борьбу с лживыми слухами. Рабочие будут ездить по деревням. Говорю тебе: они переходят в наступление, воспитывают людей.

— Пусть, пусть воспитывают, мы тоже воспитываем. Посмотрим, чья возьмет. Будет и наша изба с пирогами. Что еще постановили?

— Подарок сделать Сталину.

Подсядло отложил револьвер и тряпку.

— Чего?

— Подарок Сталину. Скоро день его рождения. Хотят в его честь объявить соревнование на заводе и что-то такое мастерят для него из шамота. Смекаешь? В госхозе проведут электричество — тоже подарок Сталину; все сами рабочие, на свои денежки. Сами будут электричество проводить, чтобы хлева зимой не сгорели, дескать, надо опасаться пожаров, особенно теперь, когда стог сгорел.

— И о стоге говорили?

— Говорили.

— Знают?

— Не знают, но говорят, что, мол, больно часто стали стога эти гореть, а ОБ ничего не делает, чтобы найти поджигателей.

— Пускай болтают, — сказал Подсядло. — Поедешь с рапортом к Гайдосу. Все ему расскажешь и узнаешь, какие будут директивы насчет секретаря. Передай ему, что работа срочная: надо же и нам приготовить подарок Сталину. И пора сделать несколько налетов в деревнях, напомнить людям, что «Подпольная армия» существует и не дремлет, и чтобы не слишком спешили записываться в кооперативы. Пускай Гайдос укажет — какие деревни, а налеты мы сделаем. И доложи, что мы не знаем, как быть с Вальдеком. Мальчишка совсем от рук отбился: все ему не нравится, бегает в госхоз, целыми днями торчит у зетемповцев, играет в волейбол, к ксендзу учиться не ходит. Он слишком много знает: говорит, что видел у нас оружие, расспрашивает мать... Пускай Гайдос не крутит и внесет ясность. В городе обо мне не говорят?

— Нет, — с недоумением ответил Барчак.

— Эх! — Подсядло вздохнул. — Если бы я мог с женкой повидаться! Да разве та, — он кивнул на дверь, — позволит? Ревнива, как четыре ведьмы!

Оба засмеялись. Когда Барчак доставал из шкафа водку, Подсядло вдруг с удивлением заметил, что парень как будто подрос за последние недели. «Что ж, семнадцать лет, в этом возрасте я тоже быстро рос», — подумал он растроганно. Они выпили, и Барчак отправился с рапортом к главарю банды — Гайдосу, который для непосвященных был сапожником и в кадке под кроватью у него мокли кожи для выделки.

Между тем наш секретарь вместе с заведующим Госстрахом ехал в Родзиву.

— Понимаете, — говорил он, — мы сегодня созываем там собрание. До сих пор крестьяне сдавали молоко в кооператив, а теперь не хотят. Сколько я ни звонил туда по телефону, не сдают — и все. Понять не могу, что произошло. Заведующий кооперативом упоминал о какой-то павшей лошади. Но он, видно, пуганый, говорит: «Приезжайте и сами с ними потолкуйте, мне еще жизнь дорога». Знаете, не каждый может быть героем.

Шофер, молодой парень — он только недавно окончил курсы шоферов и хотел идти в армию, в танкисты, — обернулся и сказал:

— Разве вы не знаете, товарищи, как оно на селе? Каждый норовит от работы отлынивать. И этот заведующий, наверное, в душе доволен: «Не дают молока — мне же лучше; работы меньше и меньше писанины». Лежит себе, да потягивается, да бабу свою ублажает.

— Ты, Стефан, людей не высмеивай! — строго осадил его секретарь. — Расследуем дело, тогда и узнаем.

Приехали. Остановили автомобиль на краю деревни, у школы, и пешком дошли до избы, где помещалось правление. Собрание уже началось. Керосиновая лампочка освещала только лица. Мужики входили один за другим, молчаливые и хмурые.

Секретарь сел за стол, изложил дело и спросил, кто хочет высказаться. Все молчали. Подождав немного, он встал, уперся руками в стол, и, обведя глазами комнату, гневно заговорил:

— Значит, так, братья крестьяне? В молчанку решили играть? Кого же это вы так встречаете? Помещика, которого народная власть прогнала вместе с фашистами? Или, может быть, спекулянта, который семь шкур с вас драл? Или лавочника, который перед войной отмерял вам соль чайной ложечкой? А может, ксендза, который приходит к вам бога славить, и, хочешь не хочешь, клади ему в мешок индюшку, а в санки — мешок картошки? Или у меня ваши сыны батрачат? Или я из тех, кто перед новым урожаем ссужает вам зерно, а после жатвы отбирает вдвое? А может, я, братья крестьяне, на ваше добро позарился, ваши деньги приехал отбирать? Может, это я скирды ваши поджигаю и скот ваш в хлевах режу? Может, это я избил вашего солтыса и забрал у него общественные деньги?

В комнате стояла тишина. Крестьяне, тяжело вздыхая, смотрели на секретаря, на его огромную тень, плясавшую на стене. А секретарь стучал кулаком по столу и говорил:

— Вы это для графа, что ли, молоко сдаете, который сидит в Париже и щупает французских барышень? Или, может, его у вас для Ватикана берут, как бывало Петрову лепту *? Или немецкие фашисты забирают у вас молоко на корм свиньям? Нет! Это молоко вы сдаете для детей ваших братьев — заводских рабочих, для наших беременных жен, для кормящих матерей. У меня тоже жена ждет ребенка. Что же мне сказать вам, братья крестьяне? Спасибо, что поддались на уговоры кулаков, что вредите народной Польше и, вместо того чтобы давать молоко нашим детям, выливаете его свиньям.

— А вы нас не ругайте, гражданин! — подал голос старик в бараньем полушубке, поднимаясь с места. Он помолчал, теребя в руках шапку, затем сказал:

— Гражданин пепеэровец, все вы твердите, что добра мужикам желаете, а я вам прямо в глаза скажу, и вся община подтвердит: нет, не добра вы нам желаете!

— У вас сколько земли? — резко перебил его секретарь.

— Не твое дело, голь перекатная, мои гектары считать! — презрительно огрызнулся мужик.

— Батраков сколько держите? — допытывался секретарь. — Сколько людей из этой общины работает на вас и вытирает зады вашим свиньям? Ну, отвечайте здесь, при всех, а потом болтайте, что вздумается!

— У него пять батраков да две работницы, — крикнул из угла чей-то звучный голос. — А сколько он ребятишек летом на работе изводит?

— У нас, гражданин, тут такой случай вышел, — продолжал старик. — Вы сюда приезжаете раз в три месяца, недосуг вам наши дела

---

* Подать, которую в средние века католики платили папе римскому на содержание неугасимой лампады в храме св. Петра.

разбирать! А вот послушайте, что творится. Есть у нас малоземельный мужичок, Кноблевский его фамилия. Была у него одна лошадь, досталась ему по разверстке, и хорошо лошадка работала. Да вдруг пала. Что ж, у каждого мужика может такая беда случиться, верно?

Секретарь молчал, гадая, к чему клонит старый кулак.

— И надо вам знать, — старик вдруг неизвестно почему широко ухмыльнулся.— Лошадь-то застрахована была. Но вот уже три месяца прошло, а Госстрах никак не хочет выдать ему за лошадь страховку.

— Лошадь была застрахована?

— Была, — хором подтвердило несколько человек.

— А пала от болезни?

— От болезни. Все, как полагается. Кноблевский ходил к ветеринару — все равно ничего не помогло, страховку ему не хотят платить. Вот видите, гражданин, что получается: на тебе, мужик, народную Польшу, на тебе крестьянскую партию, а как падет лошаденка — поднимай руки к небу, неси ксендзу денежки, чтобы богу за тебя помолился, и все равно страховки не дождешься.

Секретарь прикусил губы. На лбу у него медленно вздувалась жила.

— Значит, это вы тут стали заступником за общину? — сказал он тихо. — Это вы и подбили всех не сдавать молока? Слушайте, граждане! — он повысил голос. — Ясно, что малоземельного Кноблевского обидели. И, конечно, мы немедленно дело уладим. Я уже слышал про эту лошадь и привез сегодня к вам заведующего Госстрахом. Говорите, товарищ, — обратился он к своему спутнику.

Заведующий поднялся.

— Видите ли, граждане, к нам поступило заявление, подписанное тремя жителями вашей деревни. Они сообщают, что малоземельный крестьянин Кноблевский лошадь свою загонял нарочно, чтобы получить за нее страховку, что он ее морил непосильной работой.

— Неправда! — Кноблевский вскочил, положил жилистую руку на стол и, вытянув вперед голову, с сердцем прокричал:

— Врете, товарищ! Чтобы я... свою лошадь... Да как вы можете!..

— Заявление подписали Ячик, Колодзейский, Бартоломейчик.

В комнате все словно замерло. Мужики ошеломленно переглядывались.

— У нас в деревне таких и нет. Это кулаки из соседней деревни.

В комнате поднялся шум, все повставали с места. Кто-то крикнул:

— Бить таких сукиных сынов!

Чья-то рука опрокинула лампу, пламя ярко вспыхнуло и погасло. В наступившей темноте послышалась возня, затем с треском распахнулась дверь, и из избы вышвырнули, как узлы, каких-то людей. Со двора повеяло теплым осенним ветром, блеснули звезды на небе. С минуту темные фигуры метались за порогом, потом, наконец, стало тихо. Секретарь электрическим фонариком осветил стол, поднял лампочку, которая, к счастью, не разбилась, и зажег ее.

— Собрание продолжается, граждане. Авось договоримся все же насчет сдачи молока.

— Не стоит об этом и толковать, — буркнул кто-то из мужиков.

— Так, может, стоит потолковать о классовой борьбе и о кулацких вылазках? Или о земледельческих кооперативах? Может, стоит поговорить о сдаче зерна и о спекуляции зерном? Или ваша деревня в стороне, ее ничто не касается? Так и будете жить на своих убогих хозяйствах?

— Давайте, поговорим. Времени у нас достаточно, — сказал кто-то.

Заведующий Госстрахом скоро уехал: он куда-то торопился. Секретарю тоже не терпелось вернуться в город, позвонить в больницу,

справиться о состоянии жены. Черт возьми, может, родился сын. Но уехать было нельзя.

Собрание кончилось поздно ночью. Звезды высоко стояли в небе. Бодрящий осенний воздух охлаждал лица, тихо шелестели березы перед школой, хрустел песок под сапогами. За калиткой простились, и секретарь зашагал по дороге. Четыре километра — это немного, сорок минут ходьбы быстрым шагом. Он поднял воротник куртки, так как ночь была холодная, и вошел в лес.

Когда он подходил к тому месту, где дорога разветвлялась на две — одна вела к городу, другая к кирпичному заводу,— ему навстречу из-за поворота вышли четверо мужчин. Они шагали быстро, как люди, которые спешат домой после работы. Когда они проходили мимо, секретарь внимательно посмотрел на них, однако не успел разглядеть лиц. Он сунул руку в карман и круто обернулся. Но было уже поздно: почти одновременно грянули два выстрела, и он упал.

Один из четверки — это был Подсядло — подошел к лежавшему и еще раз выстрелил ему в лицо. Презрительно пнув ногой мертвое тело, так что оно скатилось набок, он сказал:

— Разойтись! Приказ выполнен. Барчак, ты забери у него револьвер и обыщи. Живо!

* * *

Мать вошла в покои ксендза-декана. Его преподобие встал из-за письменного стола, за которым писал капитальный труд о лености и прилежании учащейся молодежи, и широким, радушным жестом пригласил посетительницу сесть. Улыбнулся ей мудрой пастырской улыбкой и спросил:

— Я слышал, пани, что вас огорчает ваш негодный сынок? Уже он и на уроки закона божия в плебанию перестал ходить, должно быть, шатается по городу? Да, да, так всегда бывает, когда ребенок заброшен, растет на улице; трудно воспитывать ребенка одинокой женщине без мужа.

Пани Грабиньская смотрела на ксендза широко открытыми глазами. Лицо у нее было еще молодое, но несколько помятое, складочки у губ говорили о чувственности, и смотрела она на ксендза немного хитро, а немного жалобно. Она дрожащей рукой поднесла платочек к глазам и сказала печально:

— Ох, ваше преподобие, я бы десять свечей из чистого воска пожертвовала на алтарь святого Антония Падуанского, только бы он вернул мне мальчика. Он ни меня, ни других ни в грош не ставит, целый день пропадает в городе, в госхозе. На завод тоже повадился ходить — кино смотреть; в школе со всеми ссорится, а бывает — и вещи из дому тащит. Верите ли, ваше преподобие, шубу унес и продал на базаре!

Она начала жалобно и беспомощно всхлипывать. А ксендз смотрел на нее все тем же мудрым и спокойным взглядом наставника, знающего душу человеческую. Он сказал:

— Такие уже времена наступили, пани Грабиньская. Теперь все мы сгибаемся под непосильным бременем. У вас один непослушный ребенок, а у меня их много, и они, как овцы, испугавшиеся волка, разбегаются от пастыря своего. Им грозит гибель, их ждет темный лес грехов земных, вечных мук и гнева господня. И не раз бывает, что одна ничтожная, паршивая овца все стадо увлекает в пропасть. Что тогда остается делать доброму пастырю, любящему свое стадо? Только одно: убрать негодную овцу из стада. Куколь — тоже растение, созданное богом, но он глушит пшеницу, и его выпалывают. Гусеницы съедают капусту, если заботливый огородник не оберет их с листьев, а вредители изгрызут яблоневые почки,

если не опрыскивать деревья ядовитым раствором. Так и в делах человеческих: бдительность и забота о многих должны порою заглушать жалость к одному.

— Сегодня Вальдека задержала милиция, — уныло сообщила пани Грабиньская.— Говорит, что его допрашивали насчет оружия...

— Он им сказал? — резко спросил ксендз.

— Нет.

— Нельзя выпускать его из дому. Милиция его не будет разыскивать. Они знают, что мальчишка вздорный. Ушлите его к родственникам.

— Прибежит обратно, ваше преподобие.

И пани Грабиньская вдруг расплакалась уже не на шутку, разлилась, как лужа, пригретая лучами весеннего солнца. Она припала горячими губами к мясистой волосатой руке ксендза и зашептала:

— Он нас всех выдаст! Всех! Подсядло, Барчака, Облупека и вас, и мать, и брата! Всех всех! Пропадем мы, погибнет наша «Подпольная армия», погибнет Польша, и они будут править. Я так боюсь!.. Наши уже вынесли Вальдеку приговор!

— Приходилось и мне, дорогая пани, выносить приговоры, и я знаю, что, когда они справедливы, они не тревожат христианской совести, — сказал ксендз тихо и ласково.

— А бог меня простит? Убить родного сына!

— Может быть, подождать, пока он что-нибудь украдет и милиция его упрячет в тюрьму? Это неплохой выход. Конечно, если вы уверены, что мальчишка не проговорится насчет организации.

— Все выболтает, ваше преподобие! Ох, я несчастная!

— Так, может, отправить его в другой город, к тетке там или в какой-нибудь интернат?

— Вернется, ваше преподобие, это сущий дьявол!

— Ну вот, видите! Он вернется, и из-за него погибнет вся моя паства. Нет, если беда грозит многим, лучше пусть погибнет один. Так всегда было, есть и будет. Паршивую овцу из стада вон!

Мать в отчаянии простонала:

— Но простит ли мне бог? Ох, ваше преподобие, простит ли?

— Спросите у своей совести, и она даст вам ответ. Неужели же господь простил бы вам гибель всей своей овчарни? Нет греха на том, кто убивает в целях защиты. Убиваем же мы комара, если он сосет нашу кровь, прогоняем муху с окна и тарелки и бьемся с разбойником, когда он нападет на нас в темноте! Мы боремся за свою свободу со всяким врагом, хотя бы и с невольным, и крыс морим в погребе, хоть они и не виноваты в том, что съедают наши запасы. Убиваем, защищаясь во имя жизни, для вящей славы божией, ибо уста, чтобы славить его, даны нам, а не комару, не мухе, не крысе и не безбожному, дурному и строптивому мальчишке. Подумайте об этом, дорогая пани! А теперь идите с богом.

Дул ветер. Грабиньская шла из плебании как в полусне, не слыша земли под ногами. Всю дорогу она молилась; перед глазами у нее стояло озорное, веселое и задорное лицо Вальдека, который, наверно, бегает сейчас по чужим дворам или гоняет с мальчишками тряпичный мяч на лугу за местечком, а то ушел на завод к зетемповцам или полез в сад ксендза за яблоками; и все-то он таскает из дому деньги на водку, пропадает на день и на два, чуть что—угрожает милицией, мать не почитает, Подсядло ненавидит. Раз он застал ее в постели с Подсядло и вспомнил про отца, замученного в Освенциме. Над учительницей смеется — не то что Вацек, старший сын, который учится в краковской гимназии, а прежде тоже ходил с хлопцами, грабил, кнутобойничал и все добытые деньги приносил домой. С Подсядло жил душа в душу, слепо выполнял его приказы, слушался его как отца, как начальника.

Так она шла, тешась мыслью о счастливом будущем старшего сына, который, может быть, станет адвокатом, а может — инженером, будет жить в большом городе, обзаведется собственными автомобилями, собственной фабрикой, а когда установят в Польше старый порядок, он — кто знает? — займет высокую должность, станет важным барином и защитит мать от злых языков. Но вдруг, проходя через парк госхоза, она остановилась под влиянием неожиданной мысли: «А что если и его заберут у меня?» Она ускорила шаг, почти бегом дошла до дому. Облупек уже ждал ее; не говоря ни слова, он подал ей карандаш и листок бумаги.

— Пишите.

Карандаш ее не слушался, мысли разбегались. Задыхаясь, вся в поту, растрепанная, она дрожащей рукой начала писать то, что диктовал Облупек:

«Даю согласие ради блага организации на устранение сына моего Вальдемара, который угрожает благу организации и Польши».

Она подписалась, поставила число и сказала тихо:

— Не мучьте меня больше.

Не успел Облупек сложить и спрятать бумажку, как дверь распахнулась и вошел Вальдек. Поглядел на мать, на Облупека и со смехом воскликнул:

— А у нас в доме всегда или плач, или скулеж, или водка на столе. Надоело, к чорту. Знаете, что сегодня на заводе было? Объявили соревнование. Молодцы, неплохо заработают к празднику. И подарок Сталину хороший готовят: пробег паровоза через всю Польшу без текущего ремонта. Знаете,— паровоз пробежит сто двадцать тысяч километров без ремонта и без чистки котла; на нем будет портрет Сталина! Хорошая это штука быть машинистом. Хлопцы сегодня получали свои паровозы. Два. Будут разъезжать по всей Польше, водить поезда! Вот бы мне так сесть на паровоз, свиснуть и — па-а-еха-ли!

Его удивило, что Облупек и мамуся стоят молча и смотрят на него как-то странно. Он пожал плечами и сказал:

— Мама, дай поесть.

— Сейчас, сыночек, — отозвалась мамуся. Подошла к печи, достала горшок и налила Вальдеку супу. Поставив тарелку на стол, она наклонилась к мальчику и пригладила ему волосы.

— Только руки сначала вымой, сыночек.

— Ладно, мамуся,— сказал Вальдек. Он вымыл руки в тазу и, сев за стол, принялся с аппетитом уплетать чудесный горячий, благоухающий рассольник, набивая рот ржаным хлебом.

Ах, рассольник! Лучший из супов! Заправленный сметаной, с мелконарезанными почками и потрохами, с огурцами, которые, как мед, тают во рту и наполняют желудок приятным теплом. Он совсем не таков, как все другие супы. Нет в нем тонкости пустого бульона, нет скучной сытости мучной болтушки, он не собран с грядки по корешку, как овощная окрошка, не однообразен, как постная картофельная похлебка. Ах, рассольник, вкуснейший из супов, вздох материнского сердца, которое захотело потешить родное дитя любимым блюдом. Когда на обед бывал рассольник, Вальдек всегда съедал три тарелки и уже не удостаивал вниманием второе блюдо. Подумать только, что есть люди, которые не любят рассольник! Бедняги! Они не знали никогда материнской любви и заботы, тепла родного дома, не то что Вальдек, который в эту минуту, не подозревая о чувствах, волновавших нежную мать, объедался своим поминным супом.

Пока этот непослушный мальчишка обедал, мать и Облупек спустились к Подсядло. Он сидел у столика и жевал колбасу. Глянул на вошедших.

— Ну?

— Подписала,— отозвалась расстроенная Грабиньская.

— Хорошо, — равнодушно сказал Подсядло. — Операцию проведет Барчак, в помощь ему дать двоих. Срок трехдневный. Эти три дня мальчишку из дома не выпускать. Скажете ему, что милиция его разыскивает. А если капрал будет о нем спрашивать, отвечать, что сбежал из дому. Все. Теперь ступайте, мне нужно тут написать рапорт.

— Стасек,—взмолилась пани Грабиньская.—Пожалей ты меня! Три дня — это страшно долго!

— Три дня — это страшно мало, — возразил Подсядло. — Если ты насильно выпроводишь мальчишку из дому, кто помешает ему сбежать по дороге? Может, с порога стрелять в него будешь? Или погонишься за ним по улице, если он побежит в милицию? Или из школы потащишь, чтобы он крик поднял? Надо ему объяснить, что его ищет милиция, что надо спрятаться, поэтому, мол, мы его на несколько дней отправим в одно место, пока про него забудут, а там вечером и поведем его.

Грабиньская ушла наверх в сильном смятении. Приняла два порошка, постелила сыночку постель, поцеловала его, когда он улегся (что Вальдек принял как должный знак сочувствия к человеку, которого преследует милиция), потом вышла на цыпочках — на этот раз не к Подсядло, а в свою комнату, где села на стул у окна, за которым качался на ветру фонарь, и стала тихонько попискивать, как мышь, тоскующая по спокойной жизни и притаившаяся под метлой, так как в ризницу вошел сторож.

Три дня — это немного. Дни прошли как один миг, словно кто-то быстро перевернул страницу. Днем Вальдек сидел в подвале, вечером укладывался на свою кровать. Он был полон уважения к себе: все в доме его ласкали и голубили, мать то и дело целовала в голову, пан Подсядло охотно с ним беседовал и даже обещал отправить к себе, в госхоз за Шпотавой, где Вальдеку позволят ходить за лошадьми и помогать во время осенней пахоты тракторами. Он увидит, как хорошо жить в таком богатом госхозе!

Три дня — это немного, это всего три обедни, отслуженные ксендзом-деканом, всего одна спевка костельного хора, одна репетиция рождественского представления да еще—один разговор ксендза с Облупеком, который пришел к нему и сказал прямо, без обиняков:

— Ваше преподобие, вы как-то говорили, что у вас есть оружие.

— Есть. Шестизарядный маузер.

— Вы тогда не хотели нам его одолжить...

— Не хотел, Облупек, так как думал, что ваша организация — детская. А я не мог принимать участие в детских затеях, сам понимаешь.

— А теперь вы нам его дадите?

— Разве у вас своих нет? Зачем вам понадобился мой? Это красивая вещь, оксидированная, просто игрушка!

— Ваше преподобие, дело идет о Вальдеке...

— Ну и что же, дитя мое?

— Хлопцы его хорошо знают, им будет... трудно.

— Без усилий тела и души и плевела из земли не вырвешь. Чтобы убрать камень с дороги, надо нагнуться, ибо «будешь трудиться в поте лица и угнетении духа», — сказал господь человеку. Все, что мы делаем, милый Облупек, причиняет душе нашей страдания, ибо так искупаем мы первородный грех прародителей наших.

— Знаю, ваше преподобие, но с вашим маузером в руках нам было бы легче взять на себя этот грех. Я скажу хлопцам, что это оружие вы им посылаете, и тогда дело пойдет легче.

Ксендз передвинул на полке какой-то толстый фолиант, извлек спрятанный за ним револьвер, обернутый в футляр, и протянул Облупеку.

— Ты потом достань мне к нему патроны. У меня их только пять. А славная штучка!

Облупек поцеловал у ксендза рукав и выбежал из плебании. Его преподобие глубоко вздохнул и беззвучно зашептал молитву за умерших и умирающих.

Тем временем Облупек, посовещавшись с парнями и Вальдеком относительно места, где Вальдеку лучше всего укрыться, выпроводил их с черного хода, через двор, и они исчезли в темноте. Вечер был пасмурный, по небу ползли большие волнистые облака, и месяц, то и дело выглядывавший из-за них, бросал печальный свет на деревья, от которых ложились на дорогу густые тени. Под ногами скрипел песок. Парни с Вальдеком, быстро пробираясь дворами, вышли за город. Барчик сказал:

— Расскажу вам славный анекдот, я его слышал от одного посетителя в баре. Шли проселком мать с дочерью. Тишина, хоть спать ложись, только собаки лают, да песок скрип-скрип под ногами. Дошли они до речки в долине у деревни, и через речушку ту перекинута кладка, уже подгнившая и шаткая. Мать ступила на нее, доска треснула, сломалась, и полетела баба в воду. Дочка кричит: «Мама, мама, что ты там делаешь? Отзовись!» А мать: «буль-буль-буль...» Захлебнулась, понятно?

Он один расхохотался, остальные молчали. Вальдек быстро шагал впереди. За ним — Кренжель, которому идти было трудно, потому что он нес под пальто короткую лопату со сломанным черенком. Он молчал и думал о заданных на завтра уроках, о предстоящих выпускных экзаменах— сдаст или не сдаст? Учительница — истеричка, взъелась на него за то, что он списал у товарища решение задачи. Поставила ему в четверти двойку, а это несправедливо, потому что он знает. В ячейке ЗМП тоже неприятности, его выругали за списывание, кричали, не давая ему защищаться, словом, сделали из человека посмешище. Кренжель был сердит на весь свет, и его не веселили никакие шутки, хотя время от времени, непонятно почему, он вдруг так и корчился от неслышного хохота.

Пришли. Здесь железная дорога поворачивала к Кракову. Вдали сверкали огни паровозного депо, видны были сигналы станции. Слева у дороги таинственно шумел темный бор, над бором ветер с шумом гнал низкие тучи. Свернув с дороги, парни несколько минут молча шагали по рыхлой земле. Барчак сказал:

— К чему идти дальше? Давай здесь кончим.

Кренжель достал револьвер и, приставив его к затылку Вальдека, нажал спуск. Щелкнул курок, но выстрела не последовало. Осечка.

—-Стреляй ты, Сташек, — нетерпеливо прошипел Кренжель.

Барчак любовно ощупывал в кармане маузер ксендза. Он вынул его, отвел предохранитель. В эту минуту Вальдек обернулся и вскрикнул тихо:

— Господи помилуй! Стасек, что ты делаешь!

Барчак нажал курок раз, потом другой. Глухо грянули два выстрела, и Вальдек упал на рыхлую землю. Барчак спрятал револьвер в карман и, немного задыхаясь, скомандовал:

— Кренжель, давай лопату!

Лопата, как на зло, попалась со сломанной ручкой, копать пришлось долго, старались, чтобы яма была поглубже. Через час, сменяя друг друга на сторожевом посту, они вырыли двухметровую могилу. Обыскав карманы убитого Вальдека, забрали деньги, которые мать дала ему на дорогу, стащили с него башмаки, осторожно опустили труп в яму, лицом вниз, чтобы не засыпать глаза, и принялись заваливать яму. Завалили, утоптали, сравняли с землей, замаскировали листьями. Шел дождь, земля размокла на могиле и вокруг. Наконец, Кренжель промолвил:

— Помолимся за его душу. Ведь он пошел на суд божий без исповеди.

Они стали на колени, выбрав местечко посуше, и Кренжель начал торжественным, дрожащим от волнения голосом:

— Упокой, господи, душу раба твоего...

— И да светит ему вечный свет, — подхватил Барчак. Потом они прочитали три раза «Богородице-дево, радуйся» и пошли в город, спрятав лопату под пальто. По дороге еще зарыли башмаки Вальдека и поделились его деньгами.

Барчак вошел в дом Грабиньской. Здесь ужинали. Ирки не было, она еще не вернулась с курсов, и Грабиньская сидела в подвале с Подсядло, который то и дело прикладывался к бутылке. У нее тряслись руки, а в глазах, обведенных синими кругами, было страшное, безумное выражение. «Расхлябалась баба, — с отвращением подумал Барчак. — Надо будет держать ее в ежовых рукавицах, а то она нам заварит кашу».

— Налейте мне водки, — сказала она и вопросительно взглянула на Барчака. Тот натянуто усмехнулся и сказал:

— Кренжель пошел с рапортом к Гайдосу.

— Сделано? — равнодушно осведомился Подсядло.

— Сделано.

— Водки дайте! — сказала Грабиньская.

Подсядло налил ей. Она выпила, утерла рот рукавом и закусила огурцом. Ужинали молча, слышно было, как на улице гудит ветер.

— Ну, я иду спать,— сказал наконец Барчак.

— Маузер отдашь Облупеку, пусть отнесет его ксендзу.

— Налей еще! — попросила Грабиньская.

Подсядло налил ей рюмку доверху. Она отхлебнула из рюмки, остальное выпила залпом и снова закусила огурцом.

— Ну, теперь мы возьмемся за дело! Теперь уже никто нас не засыпет. Развернем работу, будем готовить *нашу* Польшу.

— Простит ли мне бог? — бессмысленно пробормотала Грабиньская.

Подсядло с усмешкой хлопнул ее по плечу.

— А ксендз что сказал?

— Ксендз сказал, что никому не дано знать воли божьей, но лучше погубить одного, чем казнить многих.

— То-то и оно. Мудрый у нас ксендз, я это всегда говорил.

Когда Барчак ушел, Подсядло сказал:

— Ну, довольно болтать и пить. Постели мне постель.

Грабиньская встала, постлала ему, привернула фитиль, задернула занавески. Подсядло стал раздеваться, сказал и ей:

— Раздевайся.

* * *

Больничная палата была чистенькая и беленькая. Сквозь опущенные кисейные занавески проникало ласковое осеннее солнце и ложилось на красный линолеум узорами, похожими на огненные листья бука. На тумбочке тихонько тикали часы, ребенок спал, а Анна в полусне думала о муже, который где-то разъезжает и только шлет ей телеграммы, обещая навестить, как только удастся вырваться. Анна похудела и побледнела, была еще очень слаба, но горда тем, что перенесла тяжелые роды и что теперь у нее ребенок. Ее переполняла любовь. Лежа в полудреме, она строила планы на будущее, мечтала о зиме, которая уже близко, и о светлой весне, и о жарком лете, и о том, как она будет гулять со своим малышом по городу. Может быть, Павел поедет на курсы при воеводском комитете, будет расти на партийной работе, а в Шпотаве от-

кроются большие железнодорожные мастерские; и по вечерам уже не будет так страшно и темно, и люди станут другие: будут радоваться жизни; будет много сахару и много тканей, и земля будет давать много хлеба; и в госхозе организуют образцовую школу для крестьян, общеобразовательные курсы, мичуринские кружки, мы переймем советский опыт, вырастим на нашей земле новые, советские культуры; откроем в городке детский сад, хороший, чудный детский сад, куда будет ходить наш мальчик и другие дети; а там и улицы асфальтируем, — и станет Шпотава городом-садом, столицей уезда. По железной дороге понесутся громадные транспорты угля на Новую Гуту, потекут товары; побегут во все стороны новые дороги, и простые люди, мужицкие дети, пойдут в техникумы, в депо, на кирпичный завод, а там дороги открыты и в свет широкий — в Варшаву, Заглембье, в Силезию, Щецин. Вдруг Анна прервала свои размышления. В коридоре послышались шаги. Кто-то остановился у дверей.

— Павел! — тихонько прошептала Анна и, улыбаясь, взяла на руки сына. Он спал, накормленный и довольный.

Дверь отворилась, и широко открытые глаза Анны увидели не Павла, а его товарищей из уездного комитета. У всех были серьезные лица, на рукавах черные повязки, они принесли букет цветов. Одно мгновение они смотрели на нее молча. Анна поняла.

— Когда это случилось? — спросила она едва слышно.

— Когда мы отвезли вас в больницу, — сказал Адам.

— Да почему же вы...

— Вас нельзя было тревожить...

Анна заплакала. Плакала беззвучно, не утирая слез. Ребенок проснулся.

— Сын, — сказала Анна и расплакалась навзрыд, пряча лицо в подушку.

* * *

Его преподобие ехал в Кельцы, к епископу. В Шпотаве начались массовые аресты: вся банда засыпалась. Никто не чувствовал себя в безопасности — ведь неизвестно, кого схватят завтра. Костельный хор, этот замечательный, прекрасно обученный хор, украшение воскресной мессы, распался. Сидел в тюрьме Облупек, сидел Подсядло, арестовали пани Грабиньскую. Найден был склад оружия; и весь город говорил, что банда бандой, но смертные приговоры, по всей видимости, выносил какой-то ксендз — только неизвестно, какой именно. Словом, почтенный ксендз-декан решил ехать в Кельцы. В день отъезда он еще отслужил раннюю обедню и до сих пор морщился при воспоминании о ней. Костел был пуст, когда они с причетником вошли в алтарь. В конце обедни он обернулся с дароносицей в руках, чтобы благословить молящихся, и увидал у самых перил алтаря Ирку Грабиньскую: она в упор смотрела на него горящими ненавидящими глазами. Он опустил чашу и возгласил:

— Ite, missa est *.

Тогда Ирка повернулась к нему спиной, твердым, не девичьим шагом прошла через пустой костел, открыла тяжелую дверь и с грохотом, который гулко прокатился под сводами и заглушил слова пастыря, навсегда захлопнула ее за собой.

«Еще одна душенька отошла от лона святой матери-церкви»,— с грустью размышлял его преподобие по дороге в Кельцы. Он обдумы-

* «Идите, месса окончена» — возглас, которым католический священник кончает службу в костеле.

вал, что сказать епископу. Правда, они когда-то поссорились из-за дела о секте «свидетелей Иеговы», ибо епископ не хотел понять щекотливого положения его, декана, в Шпотаве, но сейчас он, конечно, не откажет ему в поддержке, как не отказал и тогда, когда он доложил ему о «Подпольной армии» и о своих пастырских беседах с ее представителями. Епископ, наверное, переведет его в другой приход. Опять придется придумывать что-нибудь вроде чудотворного образа, опять ремонтировать плебанию, восстанавливать благолепие костела, знакомиться с прихожанами, обносить оградой кладбище. Его преподобие уже соскучился по большой организаторской работе, такой, которая дала бы ему возможность развернуть крылья, подобно птице, когда она устремляется к солнцу и только тень от нее бежит по земле. Может быть, удастся получить профессорскую кафедру в Варшавском университете, давно ему обещанную?

Размышляя так и время от времени заглядывая в требник или в сумку, куда заботливая экономка уложила ему на дорогу булочки с маслом и медком, наш ксендз-декан прибыл в Кельцы и направился в епископскую курию. Он шел, задумавшись, и очнулся только тогда, когда какой-то молодой человек осторожно взял его за руку. Удивленный, декан остановился.

— Ксендз Обора, если не ошибаюсь? — спросил молодой человек.

— Совершенно верно.

— Будьте так любезны... — сказал молодой человек и указал на автомобиль, ожидавший неподалеку.

Ксендз осмотрелся по сторонам.

— Вы меня арестуете?

— Да,— решительно подтвердил молодой человек.

Они сели в автомобиль и поехали. Ксендз молчал, усиленно обдумывая положение. Но ему это мало помогло. Наутро, войдя в камеру следователя, он увидел знакомое лицо: этот молодой человек не так давно, интересуясь памятниками старины, срисовывал костел в Шпотаве.

— Может быть, вы объясните, ваше преподобие, какое отношение вы имели к банде АП * и к убийству Вальдемара Грабиньского?

— Давать объяснения? Вам? — изумился ксендз.

Молодой человек пошевелился на стуле и сказал:

— Не мне. Народу.

И так как его преподобие молчал, следователь добавил.

— Конечно, трудно посмотреть народу в глаза, когда руки у вас в крови детей. Придется вам помочь. Начнем с самого начала. Что вы сказали Облупеку, когда он пришел к вам?

* * *

Основой для этого рассказа послужили события в Вольброме, раскрытые на краковском процессе. Ирка показаний на суде давать не хотела. Она в ту пору уже кончала профессиональную школу...

---

* АП — террористическая организация, действовавшая в районе Вольброма (Краковское воеводство).

Эрскин Колдуэлл

Рассказы

ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ

Перевод с английского Н. Дарузес

Когда Уолдо Мердок, от скуки занимавшийся иногда фотографией, неожиданно получил наследство, то взволновался весь Брайтон; такого волнения город не знал уже лет десять, с тех пор как один из братьев Перкинс без всякого предупреждения взял да и увез среди бела дня жену местного священника.

Что касается горожан, то никому из них, даже тетке Сузи Шук, которая гадала на чайных листьях, а ежели понадобится, то и на кофейной гуще, и во сне не снилось, что супохарому Уолдо Мердоку могут свалиться на голову этакие шальные деньги, хотя шутники, конечно, тут же придумали, что если бы он не сидел сиднем, а бегал бы по делам, то и деньги не угодили бы ему на голову. И, разумеется, сам Уолдо даже в мечтах не заходил так далеко, хотя был охотник пофантазировать и мечтал решительно обо всем на свете.

Уолдо не знал даже, что у него имеется брат в Австралии, да хотя бы и знал, он все же не мог бы себе представить, что будет упомянут в завещании. Все Мердоки от Бангора до Берлингтона, особенно коренная ветвь семейства, славились во всей области к северу от Бостона тем, что не признавали родства друг с другом, и эта черта характера среди свойственников и других чужаков в семье именовалась норовом. И потому единственное, к чему Уолдо мог себя принудить, отбросив в сторону закоренелую гордость, это признать свое родство с другим Мердоком, хотя бы и австралийским,— на время, пока он съездит в Уотервильский банк и получит там деньги по чеку, выданному юристом из Портленда.

— Мало ли что говорят, а вы не обращайте внимания, — сказал он служащему в банке. — Может, найдутся в штате Мэн и еще люди с фамилией Мердок, только я-то с ними ни в каком родстве состоять не желаю. Да я скорее признаю родней свою черную корову, чем кого-нибудь из так называемых Мердоков.

Десси, жена Уолдо, сначала вела себя разумней всех. Хотя бы первое время голова у нее не закружилась, не то что у мужа и некоторых других горожан. Она даже не поехала с Уолдо в город получать по чеку деньги, а осталась дома и занялась уборкой, хотя после и жалела об этом. В одном только она отступила от обычного порядка в то утро — велела работнице Джустине проветрить гостиную и вытрясти половики.

Все это время соседки то и дело звонили ей по телефону и спрашивали, что она собирается делать с такой кучей денег. Но и это вначале не нарушало спокойного хода ее мыслей.

---

* Из книги Erskine Caldwell, The Complete Stories, New York — Boston, 1954.

— Вот когда заплатят по чеку, если он не фальшивый, что очень даже может быть, тогда можно будет бросить все дела и подумать об этом, — говорила она им. — Пока что это всего-навсего клочок бумаги, мало ли что на нем написано.

Каждый раз, окончив разговор по телефону, Десси бралась за уборку, поджав губы крепче прежнего. Не то чтоб она сердилась, говорила она Джустине, а просто это ее раздражало. Но после того, как Уолдо не явился в полдень к обеду, она и сама начала думать, что́ можно было бы сделать на эти деньги, не отставая от прочих жителей Брайтона, которых с ума сводило свалившееся на Уолдо наследство.

Под вечер приехал Уолдо на машине и бросил ее посреди двора, вместо того чтобы поставить в гараж, как полагается. Джустина побежала сказать об этом хозяйке.

У Десси к этому времени так разошлись нервы, что она даже подскочила на месте, когда Джустина вбежала к ней в комнату.

— Мистер Мердок вернулся! — крикнула Джустина, ломая пальцы.

— Еще бы ему не вернуться! — ответила Десси.— Если б он и сейчас не вернулся, то пусть себе и впредь разъезжает сколько хочет.

— Думается, мистер Мердок получил деньги, — сказала Джустина, оглядываясь через плечо. — Когда он вылезал из машины, вид у него был уж очень довольный.

Десси вскочила на ноги.

— Ступай занимайся своим делом, Джустина, — сказала она сердито.— Получил или не получил, твоих денег там нет, это уж во всяком случае.

Джустина отправилась на кухню и оттуда следила, как Уолдо идет по дорожке к боковой двери.

Он вошел и бросил шляпу на стол. Наклонив немножко голову набок, он посмотрел на Десси. Карман его пальто сильно оттопыривался.

И Десси и Уолдо некоторое время молчали. Потом Десси подошла к мужу и протянула руку.

— Возьму-ка я их к себе пока что, — сказала она сухо.— Давай сюда!

Уолдо сунул руку в карман, достал оттуда почти пустую бутылку и отдал ее жене. Она отступила назад, сурово глядя на бутылку, потом, не говоря ни слова, схватила бутылку за горлышко и изо всех сил швырнула ее через комнату. Бутылка ударилась об стену и разлетелась вдребезги.

— Могла бы я это знать, да и знала бы, будь у меня столько мозгов, сколько у других,— сказала она, повысив голос. — Некого и винить, кроме самой себя!

Уолдо плюхнулся на стул.

— Не из-за чего так расстраиваться, Десси, — сказал он.— Все шло отлично, как по маслу, с самого начала и до самого конца.

Он сунул руку в карман брюк и вынул толстую пачку долларов, туго перевязанную посредине крепким шпагатом. Десси забыла и сердиться, как только увидела деньги. Морщины у нее на лице совсем разгладились при виде того, как Уолдо покачивает на ладони толстую пачку долларов.

— Одно могу сказать,— начала она, — вот уж не думала дожить до такого дня, чтобы у какого-нибудь Мердока хватило совести поступить с деньгами, как полагается порядочному человеку; и то уж удивительно, как это он не забрал их с собой. Небось, и пробовал, да не вышло.

Уолдо откинулся на спинку стула и дал жене говорить, сколько ее душеньке угодно. Ему самому было так хорошо, что он и ей тоже хотел

дать порадоваться. Он позволил ей плести все, что в голову взбредет, не сказав худого слова.

— Нет ли у тебя еще близких родственников, о которых мы позабыли? — спросила она, наклоняясь к мужу.— Мне помнится, будто твой троюродный брат из Скаухегана говорил несколько лет тому назад, что один из Мердоков после испано-американской войны уехал в Калифорнию добывать золото. Может, он там напал на богатую жилу. Я читала, что многим там повезло, если только можно верить печатному. Будь мы повнимательнее к твоим родным, не пришлось бы нам теперь сидеть да ломать голову, припоминая их всех.

— У меня нет близких родственников по фамилии Мердок, — твердо ответил он.

Десси глубоко вздохнула и с тоской поглядела на толстую пачку долларов, качавшуюся вверх и вниз вместе с рукой мужа.

Вдруг она нагнулась вперед и судорожно вцепилась в пачку.

Уолдо вырвал у нее деньги.

— Надо бы нам подумать, что с ними делать, — сказала она

— Это деньги Мердоков, жена, — быстро нашелся он. — Мердок их наживал, Мердок и проживать будет.

Десси выпрямилась с решительным видом.

— Ну, во всяком случае, мы будем тратить с умом, — сказала она успокоившись. — Не станем швырять деньги на пустяки, как многие другие; я бы могла их назвать, если б захотела.

— У меня все это уже решено, Десси, — ответил он, улыбаясь в приливе добрых чувств. — Думаю, мы можем себе позволить пожить в свое удовольствие на старости лет. Может, мы и вообще долго не проживем, так смешно было бы экономить; надо тратить вовсю, пока мы живы. Никакого нет смысла копить деньги для того только, чтобы оставить кому-то другому после нашей смерти.

Десси одобрительно кивнула, снова воспрянув духом.

— Мне всегда хотелось меховую горжетку, Уолдо, — сказала она, просияв надеждой.

В ту ночь Десси не уснула ни на минутку. Целый час после того, как они легли спать, она лежала молча, напряженно прислушиваясь. Уолдо ни разу не пошевелился. Он тоже лежал молча, прислушиваясь к притворному сопению Десси.

Перед самой полуночью Десси поднялась как можно тише и на цыпочках направилась к стулу, где на спинке висели штаны Уолдо. В комнате было темно от закрытых ставен, и она пробиралась к стулу ощупью, очень осторожно. Ее бросило в дрожь, когда она наткнулась на стул, а дышать ей было так трудно, что делалось больно в груди. Не теряя даром времени, она сунула руку в карман штанов.

— Десси, нечего шарить по моим карманам, — сказал Уолдо, садясь в кровати. — Не трогай этих денег.

Десси выронила штаны, даже не прикоснувшись к деньгам, и, не говоря ни слова, пошла к кровати. Ни тот, ни другая не промолвили ни слова, пока она укладывалась, стараясь устроиться поудобнее на весь остаток ночи. После этого оба они лежали молча, глядя в темноту.

Как только появились первые проблески рассвета, Десси осторожно слезла с кровати и на четвереньках поползла к стулу. Но только она поднялась было, чтобы схватить штаны, как Уолдо сел в кровати и выпрямился.

— Неужели надо повторять, чтобы ты не шарила по моим карманам,— сказал он. — Не трогай этих денег, Десси.

Десси выпустила штаны из рук и подошла к окну. Она постояла там, глядя, как разгорается красная заря на востоке, потом начала одеваться

и, выходя из комнаты, услышала, что Джустина растапливает на кухне плиту.

Пока они с Джустиной готовили завтрак, Десси начала понимать, что богатство не даст ей покоя. Она всю ночь не спала из-за этих денег, а теперь боялась, что ни единого пенни ей не придется истратить на себя.

— Миссис Мердок, — сказала Джустина, подходя и становясь рядом с ней, — мы с Карлом могли бы хоть сию минуту пожениться, если б у нас были деньги на обстановку.

— Пускай Карл Френд сам наживает себе деньги, — резко сказала Десси, повернувшись к девушке. — Мы с мужем всю жизнь работали ради того, что имеем. Ничего Карлу не сделается, пускай поработает для тебя, если хочет иметь семью.

— Мне плохо спалось ночью, я все думала, неужто вы с мистером Мердоком не захотите мне помочь, — упорствовала Джустина. — Главное потому, что я шесть лет на вас работала и ничего не просила. Вот я и подумала, может, вам не жалко будет уделить мне немножко из этого большого австралийского наследства.

— Занимайся своим делом, Джустина! — прикрикнула Десси. — А кроме того, Карл Френд может взять деньги у своих родных, если хочет покупать тебе мебель. Эти Френды в былые времена много нажили на кровельных работах.

— Они нам не помогут, миссис Мердок, — угрюмо сказала Джустина. — А нам с Карлом неохота все ждать да ждать без конца.

— Но тебе ведь незачем торопиться со свадьбой, правда? — подозрительно спросила Десси.

Джустина молча смотрела на хозяйку; голова у нее пошла кругом.

— Не так чтобы очень, — созналась она под конец.

— Ну ладно, — сказала Десси, отвернувшись. — В таком случае можешь и подождать.

Круто повернувшись, она чуть не наскочила на Уолдо, который вошел в кухню и направился к кладовой. Десси уступила ему дорогу и молча наблюдала, как он шарил в кладовке, снимая с полки пустые жестянки. Он отыскал жестянку из-под кофе, опять прошел через кухню и вышел из дома. Все это не говоря ни слова. Десси глядела ему вслед, не понимая, что такое он собирается делать. Подойдя к окну, она увидела, что Уолдо зашел под навес и сейчас же вышел оттуда, неся лопату. С жестянкой в руке и с лопатой на плече он скрылся за сараем.

Прошло минут десять, не меньше, пока Десси сообразила, что́ именно он делает за сараем.

Только она собралась открыть дверь и выбежать во двор последить за ним из-за угла сарая, как появился Уолдо. Он шел к дому, держа лопату на плече, но жестянки с ним уже не было. Сердце у Десси упало. Он зарыл жестянку — и деньги вместе с ней, а Десси так и не успела выбежать во-время и подсмотреть, где спрятано сокровище. Она вернулась в кухню и подала завтрак на стол.

Через несколько минут вернулся Уолдо, вымыл руки над раковиной и сел на свое место. Он принялся за еду так, будто за сараем не произошло ничего особенного. Все двадцать минут, пока они сидели за столом, ни она, ни Уолдо не нашли о чем поговорить друг с другом. Покончив с едой, он встал и надел шляпу.

— У меня кое-какие дела в городе, — сказал он кратко. — Пробуду там до обеда, раньше не вернусь.

Десси кивнула. Чтобы скрыть свое нетерпение, она крепко сжала руки. Дождавшись, пока Уолдо скроется из вида, она схватила Джустину за плечо и протолкнула ее в дверь.

Толкая Джустину перед собой, она побежала под навес, выхватила оттуда две лопаты и со всех ног бросилась за сарай.

Она велела Джустине копать, не медля ни минуты, а сама стала внимательно разглядывать землю в надежде найти следы свежезарытой ямы. Она искала почти полчаса, но не могла найти никаких признаков ямы, которую, как она была уверена, вырыл Уолдо, а потом и сама, взявшись за лопату, стала усердно перекапывать землю.

Через несколько часов Джустина повалилась на землю, совершенно выбившись из сил. Десси тоже устала, а от волдырей на ладонях копать было так больно, что она едва могла держать лопату. Но все-таки она заставила себя продолжать работу, позволив Джустине отдохнуть несколько минут.

— Надо копать, Джустина, вставай, — выговорила она, запыхавшись, не в силах больше глядеть, как та лодырничает.

Джустина через силу поднялась на ноги и вонзила лопату в твердую, как камень, землю. Она хотела было попросить у Десси, чтобы та позволила ей отдохнуть еще немножко, но, увидев поджатые губы Десси, поняла, что просить не стоит.

Десси выпрямилась на минуту, чтобы дать отдых спине. Подняв глаза, она увидела Фреда Пакстона, который стоял, облокотившись на каменную стенку у дороги, шагов за сто от нее.

— На рыбную ловлю собрались, Десси? — спросил он. — Вижу, червей копаете.

Десси уперлась рукой в ноющую поясницу и осторожно выпрямилась еще немного.

— Отчего ж не собраться, — ответила она не сразу. — Не помню уж, когда я была на рыбной ловле.

— Теперь, когда у вас с Уолдо такая уйма денег на всякую роскошь, — сказал он, — вам с ним и делать больше нечего, как только рыбу ловить, коли есть охота.

— Может быть, — сказала она, поджав губы.

От одного упоминания о деньгах ее бросило в жар, так что все мысли у нее спутались. Нагнувшись, она изо всех сил вонзила лопату в каменистую землю и упорно копала, пока Фред, по ее расчету, не успел скрыться из виду за холмом.

Позже Десси послала Джустину на кухню за хлебом и картофелем, оставшимся от завтрака, а когда Джустина вернулась, села на землю в тени сарая и наскоро перекусила.

— Пока я была в доме, звонил мистер Мердок и сказал, что к обеду он не вернется, — сообщила Джустина. — Он велел вам сказать, что и после обеда не вернется, до самого вечера.

Десси вскочила на ноги.

— Чего же ты мне сразу как пришла не сказала? — сердито спросила она.

Джустина уставилась глазами в каменистую землю.

— Миссис Мердок, мы же не будем копать тут до самого вечера, ведь нет? — спросила она жалобно. — Руки у меня все в волдырях, да и...

— Не велика беда, — отрезала Десси. — Будем копать весь день, до самого вечера.

— Да ведь, миссис Мердок...

— Замолчи, Джустина, делай, что тебе говорят!

Десси еще никогда в жизни не чувствовала себя такой несчастной, как этим вечером, в сумерки, после того как добралась до кровати. Она целый день копала за сараем твердую, как камень, землю, а жестянки

из-под кофе не нашла. И поясница у нее так болела, будто совсем отнялась.

Упав на кровать, она осторожно вытянулась, укладываясь поудобнее. Джустина еще раньше ушла из дому с Карлом Френдом. А Уолдо все еще не возвращался. Десси так устала и чувствовала себя такой одинокой, что ей захотелось плакать. Слезы уже навертывались у нее на глаза, как вдруг зазвонил телефон. Она не двигалась, слушая, как он звонит несколько минут подряд, и все ждала, что он перестанет и ей можно будет поплакать.

Телефон все звонил, и казалось, что он никогда не перестанет. Она слезла с кровати, зажав уши, чтобы не слышать звонков, и, еле ковыляя, добрела до прихожей. Там она села на стул возле аппарата и взяла трубку.

— Слушаю, — сказала она слабым голосом.

— Это говорит жена Уолдо Мердок? — загудел чей-то бас.

— Да, — ответила Десси, соображая, кто бы это мог быть.

— Так вы бы лучше побеспокоились, забрали бы Уолдо скорее домой, пока не поздно. Это говорит Чарлз Мейсон. Уолдо сейчас у меня. Никому в доме от него покоя нет, и, будь он демократ, я бы сам его застрелил, не стал бы заставлять его собственную жену с ним возиться. В жизни не видывал, чтобы человек вытворял такое. Ведь теперь это уж всему городу известно, а то бы я и повторять не стал, что шальные деньги ему в голову бросились. И все-таки это не резон так себя вести.

— А как же он себя ведет?— волнуясь крикнула Десси в телефон.

— Да сманивает мисс Уилсон, учительницу, что живет у меня, бежать с ним. Говорит, будто собирается уехать морем не то в Астралию, не то еще куда-то.

— Но как же он смеет!— возмутилась Десси.

— Вот это самое всякий трезвый человек скажет, ежели он в здравом уме, но только не знаю, что его остановит, если вы сию минуту не приедете и его не заберете. Ведь он уж уговорил мисс Уилсон бежать с ним в Бостон нынче ночью, а оттуда и дальше завтра утром, чуть свет. Он до того довел мисс Уилсон, что она всему верит, что бы он ни соврал. Кажется, должна бы остерегаться, ведь знает, что разбогател он без году неделя, так нет же, никаких резонов не слушает, до того дошла. Он то и дело вытаскивает толстую пачку долларов и размахивает у нее перед носом, а она, видя такое богатство, дуреет словно под хлороформом. И как я ни старался...

Десси крепко сжала трубку.

— Вы говорите, у него толстая пачка денег?— кричала она.— Пачка долларов, перевязанная посередине веревочкой?

— Ну да, миссис Мердок. Такой толстой пачки денег я ни у кого не видел с тех пор, как демократы пришли к власти.

Десси, которая успела встать со стула и стояла почти выпрямившись, решительно села обратно.

— Ну и пусть его!— холодно сказала она.— Больше я и знать его не хочу. Он меня заставил целый день копать твердую землю, искать кофейную жестянку с деньгами, а их, оказывается, там вовсе и не было. Пускай эта учительница берет его себе. Я уж с ним натерпелась, хватит с меня. Интересно посмотреть, сколько другая вытерпит. Шальные деньги всегда покажут, каков человек на самом деле; я очень рада, что узнала, наконец, Уолдо Мердока, поняла, что он за человек такой, и больше ни одним днем своей жизни для него жертвовать не намерена.

— Вы что же, не хотите ему мешать, пускай себе бежит на край света с мисс Уилсон?

— Да — торжественно сказала Десси.— Полная ему воля во всем с этих пор.

Она повесила трубку. И тут же бессильно рухнула на стул. Она несколько раз подряд кликала Джустину, потом вспомнила, что Джустина ушла из дому с Карлом Френдом.

После этого она поскорее оделась и опять взялась за телефон. Она позвонила своему адвокату Торнтону Бланшару и велела ему приехать немедленно. Он жил всего за несколько миль от Мердоков и обещал быть минут через пятнадцать.

Дожидаясь Торнтона Бланшара, Десси ходила взад и вперед по прихожей с суровым и твердым выражением лица. Она уже решила, как поступить, и знала, что чем скорее начнет действовать, тем ей будет легче.

Через несколько минут Торнтон Бланшар въехал во двор и остановил машину перед домом. Десси вышла на крыльцо и распахнула двери настежь. Торнтон Бланшар быстро вошел в дом и направился прямо к столу посреди комнаты.

— Что-нибудь не в порядке, миссис Мердок? — тревожно спросил он.

— Сейчас да, только это ненадолго,— отвечала Десси, садясь к столу.— Надо только покончить с делом, которое я двадцать лет откладывала.

Бланшар тоже сел и, раскрыв портфель, достал блокнот из линованой желтой бумаги и карандаш. Глядя в лицо Десси, он приготовился слушать.

— Вы готовы?— спросила она.

— Да, миссис Мердок,— ответил он и поправил блокнот на столе.

— Я хочу развестись,— сказала она,— и канителиться не намерена. Скоро ли можно это сделать, или мне придется искать другого адвоката, получше?

Бланшар даже подскочил.

— Шутки в сторону, миссис Мердок, неужели вы хотите разводиться после того, как вы с мужем получили такое наследство?— недоверчиво спросил он.

— Да. Я ж вам сказала.

— Но почему?

— Мало ли почему,— ответила она.— Когда я иду в лавку и спрашиваю фунт сахару, я не обязана говорить продавцу, почему мне понадобился сахар, верно?

— Да, но...

— Ну, так и валяйте, разводите меня!

Бланшар нервно теребил свой блокнот. Потом он встряхнулся и взглянул на Десси.

— А имеются ли у вас основания, миссис Мердок?— осторожно спросил он.

— Конечно, основания имеются. Основания у меня такие, какие надо, да и сверх того наберется сколько угодно.

— На каких же основаниях мы начнем дело о разводе, миссис Мердок?— спросил он, нагибаясь над блокнотом и хватая карандаш.

— Норов,— ответила она, откидываясь на спинку стула.

Бланшар поднял глаза.

— То, что я сказала,— кивнула Десси.— Норов!

— Судье, который будет слушать дело, может не...

— Мне все равно, что там судья подумает,— возразила она.— Я сама развожусь, сама и основания для этого выбираю, нравятся они судье или нет.

Бланшар, глубоко задумавшись, постукивал карандашом по столу.

— Миссис Мердок,— сказал он наконец,— не сообщите ли вы мне

по секрету как вашему доверенному, какие же у вас все-таки причины для ссоры?

— Уолдо Мердок меня обманул,— сердито начала Десси, обрадовавшись случаю поговорить о своих несчастьях.— Взял да и прикинулся, будто хочет закопать кофейную жестянку с наследством за сараем, а сам не закопал, а потом уехал и пропадал целый день, пока я тут ломала себе спину, да и Джустина тоже, копая жесткую землю из-за этих денег.

Бланшар медленно провел по лицу ладонью. После этого он откинулся на спинку стула и по профессиональной привычке уставился в потолок. Он изо всех сил сдерживался, чтобы сгоряча не сказать что-нибудь необдуманное.

— Я и алименты хочу получить,— настаивала Десси. — Все, сколько есть.

Бланшар выпрямился.

— То есть как это — «все, сколько есть»?

— Все наследство, само собой,— ответила она.

Бланшар некоторое время молчал и пристально разглядывал блокнот, словно изучая фактуру бумаги. Потом, сделав несколько глубоких вздохов для укрепления сил, он взглянул на Десси.

— Это будет трудно, если не совсем невозможно,— сказал он внушительно. — Прямо вам говорю, трудно, миссис Мердок.

— Это уж ваше дело,— сказала Десси.— Мне тоже хлеб не даром достается.

Бланшар выпустил воздух из легких и начал сызнова.

— Во-первых, миссис Мердок, у нас в штате нет закона насчет общности имущества.— Он откинулся на спинку стула, катая карандаш между ладонями.— Естественно, таким образом, совершенно исключается всякая возможность раздела имущества по закону, каких бы размеров ни достигал капитал Уолдо. Но позвольте мне подойти к делу с другой стороны. Я кратко изложу основу всего дела. Жена более или менее зависит от воли мужа, при прочих равных условиях, конечно. Однако брачный договор подчиняет и мужа воле жены, так сказать, надевает правый башмак на левую ногу. Так вот, мы приходим к выводу, что каждый из партнеров в браке, взятый по отдельности, подчиняется воле другого. Но если вы позволите мне говорить откровенно, в современном обществе от жены зависит придумать, ввести и употребить такие методы, способы и средства обольщения, чтобы ее супруг, состоя с ней в браке, по собственной воле и желанию передал бы ей, скажем, некую сумму в дар единовременно или же передал бы ей эти суммы разновременно, частями. Таким образом, как вы, без сомнения, уяснили себе, миссис Мердок, нормальная жена, если говорить прямо, воздействуя на супруга лаской, в большинстве случаев получает значительную часть его движимости, недвижимости и доходов, иногда, если судить по существующим нормам, намного превышающую по своей ценности те услуги...

— Нет!— упрямо ответила Десси.

Бланшар откашлялся и прикусил нижнюю губу.

— В конце концов, может быть, лучше всего, чтобы судья сам назначил сумму, которую вы могли бы получить с вашего мужа,— устало сказал он.— Боюсь, что в этом отношении я почти ничем не смогу вам помочь. Тем не менее я могу подать прошение о разводе, а дело об алиментах можно будеть начать своим порядком.

— А когда же мне поговорить с судьей насчет получения денег? — спросила Десси.— Завтра утром, что ли?

— Боюсь, что не так скоро,— ответил Бланшар, качая головой.— Ваше дело вряд ли будет назначено к слушанию до ближайшей судебной сессии, будущей осенью.

— Будущей осенью!— воскликнула Десси.

Бланшар кивнул.

— Неужто ждать столько времени!— возмутилась Десси.— Да ведь Мердок задолго до того спустит все наследство до последнего пенни. Ничего не останется, мне и судиться-то будет не из-за чего!

— Ну тогда я, право, не знаю, что тут можно сделать. Срок судебной сессии устанавливается законом.

Вдруг боковая дверь распахнулась, и, обернувшись, они увидели, что на пороге стоит Уолдо, щурясь от яркого света. Дав глазам привыкнуть, он ввалился в комнату и подошел к свободному стулу между Десси и Бланшаром.

— Как поживаете, Торнтон?— сказал Уолдо, крепко пожимая руку Бланшара. Он долго тряс ее.

— Прекрасно,— с запинкой ответил Бланшар и взглянул на Десси. Она уставилась на Уолдо.— Прекрасно,— повторил он.

Уолдо уселся.

— Я было хотел нынче повидать вас насчет одного дельца, а потом передумал. Теперь уж не надо.

— Ну что ж, я очень рад, что вы уладили дело без посторонней помощи,— сказал Бланшар, спотыкаясь на каждом слове.

— Решил, что не стоит с этим возиться, взял да и бросил,— сказал Уолдо.

— Вот и отлично,— отвечал Бланшар, недоумевая в чем дело.

Уолдо развалился на стуле.

— Хотел сообразить, как бы это так сделать, чтобы и время весело провести и чтобы деньги были целы. А потом сообразил, что ничего не выйдет. Так что я решил развязаться с этим делом.

Десси была готова сорваться со стула, когда Уолдо сунул руку в карман и швырнул ей через стол толстую пачку долларов. Туго перевязанная пачка упала ей на колени.

С минуту Десси смотрела так, словно не могла понять, что такое случилось. Потом глаза у нее стали таращиться все больше и больше, и, переведя взгляд на свои колени, она изумленно уставилась на деньги.

— Уолдо,— начала она и всхлипнула.

Слезы потекли у нее по щекам, а Уолдо беспокойно заворочался на стуле. Он понурил голову и то и дело поглядывал на Десси исподлобья.

— Уолдо,— опять начала она, но не могла продолжать.

Уолдо вытер губы тыльной стороной ладони.

— Я подумал, что человеку вроде меня, у которого в голове винтиков нехватает, нельзя давать в руки такие большие деньги,— сказал он, все не поднимая головы.— Вот я и решил, что ничего другого не остается, как совсем развязаться с этими деньгами.— Он перевел взгляд с Десси на Бланшара.

— Мне легче будет, когда я с ними совсем развяжусь, отдам все триста пятьдесят долларов.

Десси вскочила на ноги, опрокинув стул, и подбежала к Уолдо. Она опустилась перед ним на колени и обняла его.

— Уолдо... эта учительница...

— Я и знал, что нельзя, да не мог устоять,— сказал он, покосившись на Бланшара.— И не устоял бы, если бы она не попросила, чтоб я дал ей эти деньги хоть понести.

Он ласково посмотрел на Десси.

— Уолдо,— сказала она, еле дыша,— мне полезно было копать землю за сараем.— Она подняла на него глаза.— Мне это очень помогло.

Бланшар потихоньку отодвинул свой стул, схватил блокнот с карандашом и выбрался из-за стола. Он успел дойти почти до двери, как вдруг

на кухне кто-то запел. Он остановился, прислушиваясь, и в эту минуту Десси тоже услыхала пение. Она подняла голову и насторожилась. Это Джустина запела во весь голос. До сих пор она никогда так не пела, даже днем.

Десси встала и подошла к кухонной двери. Распахнув ее настежь, она отступила назад.

— Поди сюда, Джустина,— позвала она.

Джустина медленно прошла мимо Десси и остановилась возле стола. Она вся дрожала, боясь, что ее будут бранить за то, что она так громко поет в такое позднее время. Десси тоже подошла за ней к столу.

— Ты что мне говорила нынче утром, Джустина, будто тебе незачем торопиться со свадьбой?

Джустина крепко сжала руки.

— Да, нынче утром я вам так сказала, миссис Мердок,— ответила Джустина после некоторого колебания. Она быстро оглянулась на Уолдо и Бланшара.— Но только...

Десси кивнула.

— Тебе меня не провести, Джустина, раз я слышу такое пение, как минуту назад,— сказала она.— Я думаю, самое лучшее вам с Карлом Френдом, не откладывая дольше, поехать и купить эту мебель, о которой ты мне рассказывала нынче утром.

Она передала Джустине пачку долларов и, обойдя кругом стола, подошла к стулу, на котором сидел Уолдо. Джустина, зажав доллары в руке, глядела на них, все еще не веря, что они настоящие.

— Спасибо вам, миссис Мердок!— сказала она, и слезы потекли у нее по щекам.— А почему вы узнали?

— Не твое дело, Джустина,— отрезала Десси.

Джустина попятилась к дверям кухни.

— Прежде всего эти деньги не для нас были предназначены,— сказал Уолдо.— Мы бы с ними все равно не сумели управиться, даже если б нам помогал самый ловкий адвокат.

Десси упала на колени перед Уолдо и опять обхватила его руками. Оба они оглянулись на дверь, возле которой стоял Бланшар.

Не говоря ни слова, тот повернулся, быстро открыл дверь и вышел в ночную темноту.

В ГУЩЕ ЛЮДСКОЙ

Перевод с английского Н. Волжиной

Мне очень тяжело, что этот рассказ увидит свет. Но я не мог не написать его.

Джек Миллер работал в Компании городского трамвая. У Джека был серебряный значок, золотой значок, маленький бронзовый трамвай на цепочке карманных часов и оловянный жетон с цифрой 7, почти стершейся. Он работал по ремонту путей двадцать шесть лет, и однажды ему сказали в Компании, что когда он уйдет на покой, пенсия у него будет приличная.

После стольких лет работы Джек все еще надеялся преуспеть в жизни. Он все еще рассчитывал, что когда-нибудь его назначат десятником. Однако из этого так ничего и не вышло. Он попрежнему оставался на ремонте путей: ставил новые крестовины у стрелок, поднимал рельсы, заменял старые шпалы новыми.

Другие получали повышение, когда освобождались вакантные места, а Джек почему-то так и оставался простым рабочим, из года в год ремонтировал пути и все надеялся, что его назначат десятником до того, как он состарится и не сможет работать.

— Я еще получу это место,— говорил он сам себе.— Как пить дать, получу. Повысят же меня когда-нибудь. Сколько лет работаю, кажется, заслужил. Нет, я, как пить дать, получу это место.

Свадьбу с Корой Джек откладывал до повышения в должности. Кора соглашалась подождать еще немного, потому что она сама служила продавщицей в магазине и зарабатывала столько же, сколько Джек. Но когда с их помолвки пошел тринадцатый год, Джек решил, что если уж жениться, так без отлагательств. Он старел, а Кора, хоть все такая же моложавая на вид, как была двенадцать лет тому назад, начинала жаловаться на долгие часы, которые ей приходилось выстаивать за прилавком галантерейного магазина.

— Давай поженимся,— сказал ей Джек однажды субботним вечером, когда они ехали домой по его служебному билету.— Какой смысл откладывать? Если ты согласна, давай на будущей неделе и поженимся. Я уже давно об этом думаю. Какой смысл ждать, пока меня повысят в должности?

— Я с удовольствием, Джек,— сказала она, сжимая ему руку в переполненном трамвае.— По-моему, тоже глупо откладывать. Я уж не знаю, сколько лет на это надеюсь. Нечего нам ждать, когда тебе дадут повышение. Мы поженимся, а тебя повысят в должности; так даже лучше будет.

Они вышли из трамвая на остановке у бульвара и медленно пошли по улице. Они жили по соседству, в меблированных комнатах, и торопиться в субботний вечер им было некуда.

С той субботы все и началось. Они медленно шли по темной улице, обсуждали, как все будет на следующей неделе, и Джек бормотал себе под нос, что первая же вакансия в Компании будет за ним. Он не сомневался в этом. И так и говорил Коре. Она верила ему.

Когда они поженились, Джек снял пятикомнатный домик неподалеку от трамвайного парка. Домик стоял в переулке, в двух шагах от обсаженной деревьями улицы, по которой весь день и почти всю ночь ходили трамваи. Квартира была хорошая, принимая во внимание плату, и удобная. То, что дверь выходила в переулок, в конце концов, не так уж портило дело. Им это не мешало. Дом стоял почти на самом углу, и окна верхнего этажа смотрели на улицу, всю обсаженную деревьями. Выйдешь из дому, несколько шагов — и улица. Место было неплохое, и Коре там понравилось.

Первый ребенок была девочка; ее назвали Перл. Потом родился мальчик — Джон; еще через год родилась вторая девочка, и ее назвали Руби.

Джек все еще надеялся, что Компания городского трамвая назначит его десятником, но после рождения Руби он больше об этом не думал. Он как-то отвык об этом думать. Кора уволилась из галантерейного магазина, сидела теперь дома, занималась хозяйством и ходила за детьми. Она собиралась что-то сделать, чтобы кожа у нее не так темнела, а пока что прятала лицо, когда приходилось открывать людям дверь. Это не болезнь, думала она, просто кожа у нее почему-то с каждым днем стано-

вится все темнее и темнее. Но все-таки надо бы знать, что в таких случаях делают. В волосах у нее уже заметно проглядывала седина.

С Джеком Кора никогда об этом не говорила, тем более, что Джек почти перестал разговаривать дома. Возвращаясь с работы, он ужинал и ложился спать. Она просто не находила удобной минуты, чтобы поговорить с ним о чем-нибудь таком. Он приходил до того усталый, где уж тут слушать ее.

Когда старшей девочке, Перл, пошел десятый год, Джека сшибла машина в ту минуту, как он поднимал прогнившую шпалу на путях: сшибла, переехала — и насмерть. Компания доставила тело домой к вечеру, когда рабочие освободились после пяти часов, и Кора не знала, как ей быть. Уложив детей, она вышла из дому и шла по улице до тех пор, пока не увидела полисмена. Она рассказала ему, что случилось с Джеком, и он пообещал рано утром прислать за телом. Она вернулась домой, посмотрела на Джека и не заметила в нем никакой перемены. Дома Джек всегда спал.

Кора знала, что Компания должна выдать ей небольшое пособие. Она была уверена, что сколько-нибудь обязательно дадут, но сомневалась, хватит ли им этих денег, пока она не подыщет себе какую-нибудь работу. А потом ее взяло сомнение, а хватит ли хотя бы на похороны и на могилу Джеку?

На следующее утро полисмен прислал за телом, и его где-то похоронили. Где именно, Кора не знала; она знала только то, что иначе поступить не могла. Детей надо кормить и надо хоть немного протапливать печку, чтобы они не мерзли дома.

Она ждала месяц, когда Компания городского трамвая пришлет ей пособие, но пособия все не присылали. Тогда она сама пошла за ним в контору. Но там никто ничего не знал. В большом кирпичном здании и понятия не имели, какой такой Джек Миллер; справились по ведомости и тоже не разобрались, о каком Джеке Миллере идет речь. Кора просидела там весь день, но когда стемнело и служащие стали расходиться по домам, ей тоже пришлось уйти домой.

Больше она уже не беспокоила служащих Компании городского трамвая. Некогда было ходить туда, когда дома столько забот. Трое детей требовали присмотра, и, кроме того, ей приходилось добывать для них еду, чтобы они не голодали. Иногда на эти поиски тратился целый день, а хватало только на одну кормежку, и то не досыта; бывало и так, что она возвращалась домой с пустыми руками, но выходить все равно было надо, потому что дети просили есть.

Перл скоро должно было исполниться десять лет. Она была старшая, а Руби — еще совсем маленькая. Но Перл уже подрастала. У нее были длинные белокурые волосы и голубое ситцевое платье, и она старалась помочь матери чем могла. Она присматривала за братом и сестрой, пока мать ходила на поиски еды, а по вечерам вместе с ней укладывала их спать. Когда они засыпали, Кора рассказывала Перл об ее отце Джеке.

— Твой отец работал в Компании городского трамвая,— говорила она.— Компания, конечно, помогла бы нам, но у них столько всяких дел, что им сейчас некогда этим заниматься. Они помогли бы нам, если бы разобрались во всех Джеках Миллерах, которые там работают. Твоего отца тоже звали Джек Миллер, и Компании трудно отличить его от других.

— Я могу работать,— говорила ей Перл.— Я уже большая. Может, мне найдется какая-нибудь работа? Возьми меня с собой, мама, я тоже пойду искать. Джон и Руби сами друг за другом присмотрят. Мы уйдем, а их запрем в комнате.

— Очень уж ты мала для своих лет,— сказала Кора.— Никто не поверит, что тебе скоро десять.

— Но я могу работать. Пусть только наймут, тогда увидят, сколько я всего умею.

— Джек работал в трамвайной компании, Перл. Он был твой отец. Все-таки, я думаю, Компания когда-нибудь поможет нам. Сейчас они очень заняты. Неприятно беспокоить людей, когда у них такой занятой вид.

Укладываясь спать, Перл все говорила матери, что она уже большая и может работать. Кора больше не спорила с ней, но никак не могла придумать, куда бы пристроить Перл.

На следующее утро Джон и Руби рано вышли из дому за топливом для печки. Башмаков у них не было, пальтишки не грели. Была зима, но снег еще не выпал. Когда они вернулись к середине дня, пальцы у них на ногах кровоточили, кожа на пятках потрескалась.

— Джон, а чем будем топить?— спросила Кора.

— Мы ничего не нашли.

Кора накинула пальто на голову и вышла в переулок. Никаких дров там не было, но ближе к углу стоял угольный ящик, который иногда насыпали верхом, так что куски угля падали из него на землю. Кора набрала полный фартук и побежала домой. Дети, дрожа и хныча, жались к печке, пока она растапливала ее.

— Мама, я голодная,— сказала Руби.

— Подожди, достану чего-нибудь,— пообещала ей Кора.

— Когда мы опять будем есть?— спросил Джон.

— Вот схожу и чего-нибудь принесу вам.

Кора надела пальто и вышла из дому. Она добежала до угла и минуту постояла там в нерешительности, соображая, куда пойти. И на этот раз повернула налево, а не к центру.

Она то бежала бегом, то замедляла шаг и через пять-шесть кварталов вышла к одноэтажным пригородным лавкам. Перед ними, у края тротуара, стояло трое мужчин. Они поджидали трамвай из центра. Услышав быстрые шаги Коры, все трое оглянулись и посмотрели на нее.

— Мистер, дайте мне полдоллара. Я на детей прошу,— умоляюще проговорила она.

Мужчины повернулись к ней и оглядели ее с головы до ног. Один из них рассмеялся.

— Эх, девочка!— сказал он.— Я и цента не дам за дюжину таких, как ты, не то что за тебя одну.

Другие двое встретили его слова смехом. Из центра, громко позванивая, бежал трамвай. Мужчины сошли с тротуара к трамвайной остановке. Кора не отставала от них.

— Мистер,— обратилась она к тому, который ответил ей.— Мистер, что вы хотите за...

— Какой я тебе мистер,— сердито сказал он.— Моя фамилия Джонсон.

Его приятели опять засмеялись. Джонсон шагнул вперед и под дружный смех тех двоих окинул Кору взглядом.

— Мистер Джонсон,—сказала Кора.— Что вы хотите за полдоллара?

— Что я хочу за полдоллара?— переспросил он.

— Да, мистер Джонсон. Что вы хотите за полдоллара?

Прежде чем ответить, он оглянулся и подмигнул своим приятелям. Они подзадоривали его.

— Дочка у тебя есть?— спросил Джонсон.

— Есть, сэр. У меня дома Перл и еще Руби.

— Что ж, полдоллара многовато, а двадцать пять центов, пожалуй, дам.

Трамвай подошел к остановке; дверцы его распахнулись. На куртке у вожатого был оловянный жетон — точно такой, как у Джека.

Приятели Джонсона вскочили на площадку; они торопили его. Взявшись за поручень, он оглянулся на Кору и тоже вскочил на площадку, потому что Кора смотрела на него, не в силах выговорить ни слова.

Кора осталась одна. Когда вагон тронулся, она привстала на цыпочки, чтобы не потерять из виду мужчину, который разговаривал с ней. Она крикнула ему что-то отчаянным голосом и замахала руками, стараясь привлечь его внимание. Мужчины, все трое, столпились в заднем конце вагона и прижались лицом к стеклу, чтобы рассмотреть ее получше. Кора бежала между трамвайными рельсами, кричала, пытаясь задержать мужчин, но трамвай вскоре скрылся за поворотом, и она остановилась посреди улицы. Потом вышла на тротуар и пошла назад, к лавкам, где ей повстречались те мужчины. Дойдя до угла, она села на край тротуара и стала ждать.

Кора не знала, сколько прошло времени в этом ожидании; ведь она обещала детям принести чего-нибудь поесть, и теперь надо было ждать, сколько бы ни потребовалось. Но наконец Джонсон вернулся. Он спрыгнул с трамвая и пошел к тротуару, где она сидела. Он не ожидал увидеть ее здесь и, остановившись перед ней, удивленно поднял брови. Кора обрадовалась, что тех двоих с ним не было.

Она побежала, оглядываясь на него, торопя его. Джонсон шел за ней беспрекословно, но Коре казалось, что он идет медленно, и она все просила его поторопиться. На углу он остановился и, чиркнув спичкой о чугунный фонарь, закурил сигарету. Кора подбежала к нему и потянула его за рукав, умоляя не отставать от нее.

Когда они вошли в дом, Кора сейчас же разбудила Перл. Джонсон остановился у двери, видимо колеблясь: остаться и посмотреть, что из всего этого выйдет, или уйти — как бы чего на самом деле не вышло. Кора стала сзади него и взялась за ручку двери, чтобы он не ушел.

— Сколько ей лет?— спросил Джонсон.

— Скоро десять.

— Холодище какой. Ты хоть бы затопила. Ведь печка-то есть.

— Дайте мне двадцать пять центов, я сбегаю, может, достану угля,— сказала Кора.

— Вели ей встать.

— Встань, Перл,— сказала Кора.

Перл прижалась к спинке кровати; она ничего не понимала, ей было страшно. Ей хотелось броситься к матери, но между ними был этот чужой. Она боялась, что он схватит ее, не дав добежать до двери, где стояла Кора.

— Вранье,— сказал Джонсон.— Какие там десять!

— Вот-вот исполнится, мистер Джонсон. Богом вам клянусь,— сказала Кора.— Мистер Джонсон, не уходите, прошу вас.

— Почем я знаю, может, это ловушка,— сказал он, дрожа и поеживаясь.

— Мистер Джонсон, богом вам клянусь.

Джонсон огляделся по сторонам и увидел Джона и Руби, спавших на кровати под стеганым одеялом.

— А той сколько?

— Скоро восемь.

— Мать честная!— сказал он.

— Мистер Джонсон, да что вы?

— Я тебе не верю. Ты врешь. Им лет по семи, от силы восемь.

— Перл скоро десять, мистер Джонсон. Богом вам клянусь. Пожалуйста, дайте мне денег.

Он пошел туда, где стояла Перл. Она метнулась в сторону, но Кора схватила ее и удержала на месте, а сама стала позади Джонсона.

— Вели ей повернуться,— сказал он.

— Повернись, Перл,— сказала Кора.

— Мать честная!— сказал Джонсон, обеими руками потирая себе лицо и шею.

— Что вы?— спросила его Кора.

— Ну и холодно здесь!— сказал он; руки у него дрожали.— У меня ноги замерзли. Почему ты печку не затопишь?

— Если вы дадите мне денег, я пойду достану где-нибудь угля.

— А почем я знаю, что у тебя на уме?— сказал он.— Вдруг это ловушка? Я что-то начинаю побаиваться. Уж больно вид у тебя подозрительный. Может, ты за полисменом побежишь, почем я знаю?

— Не побегу. Дайте мне денег.

— Хорош я буду, если меня здесь поймают. За это двадцать лет каторжных работ дают. Тогда поминай как звали.

— Я никому не скажу, мистер Джонсон. Богом вам клянусь. Только дайте мне денег.

Джонсон сунул руки в карманы и снова посмотрел на Перл. Руки у него были холодные, ноги тоже, дыхание, точно дым, вырывалось изо рта в нетопленой комнате.

— Вели ей показаться мне.

— Покажись ему, Перл,— сказала Кора.

Джонсон ждал, глядя на Перл и на Кору. Что, в самом деле, замерзать ему здесь, пока она послушается матери?

— Скорей, Перл, покажись ему,— торопила Кора.

Перл заплакала.

— За это на всю жизнь упекут,— сказал Джонсон, пятясь к двери.— Я и ног не успею унести, как ты напустишь на меня полисмена. Уж очень вид у тебя подозрительный. Почему не затопишь? Ведь печка-то есть.

— Мистер Джонсон, вот как перед богом, я на вас не донесу,— умоляюще проговорила Кора.— Положитесь на мое слово, дайте мне денег.

— Ты сначала протопи здесь,— сказал он.— У меня ноги совсем зашлись.

— Как же я достану угля без денег?

— Укради где-нибудь.

— Мистер Джонсон, дайте мне денег.

— Почем я знаю, что у тебя на уме? Ты какая-то подозрительная. Почем я знаю, а вдруг это ловушка?

— Мистер Джонсон, я не донесу. Богом вам клянусь.

Джонсон закурил сигарету и затянулся глубоко, будто ловя воздух всей грудью. Наполнив дымом легкие, рот и ноздри, он бросил окурок в печку и снова сунул руки в карманы.

— Вели ей подойти поближе.

— Подойди к нему, Перл, — сказала Кора.

Джонсон нагнулся, приглядываясь в полутьме к Перл. Потом быстро выпрямился, нагнулся опять и осмотрел ее еще внимательнее.

— Меня повесят, если застигнут здесь, завтра же к вечеру повесят,— сказал он срывающимся голосом.

— Мистер Джонсон, дайте денег. Я не донесу на вас, богом клянусь.

— Вели ей, чтобы стояла смирно.

— Стой смирно, Перл.

— Чорт тебя возьми! Да затопи ты печку.

— Дайте сначала денег, мистер Джонсон,— молила Кора.

— Дам, а ты побежишь за полисменом?— визгливо крикнул он.

— Да вы только дайте мне денег.

— Рехнулась ты, что ли?— закричал он.— Подозрительная какая-то. Почем я знаю, что ты задумала. Чего доброго побежишь звать полисмена.

— Дайте мне денег, я принесу угля.

— И приведешь полисмена?

— Не приведу, мистер Джонсон, клянусь вам. Дайте мне денег, я схожу за углем.

Джонсон повернулся к Коре спиной и подошел к Перл еще ближе. Он вынул руки из карманов и стал дышать на них.

— Вели ей, чтобы перестала плакать.

— Перестань плакать, Перл.

Джонсон нагнулся и запустил обе руки под густые белокурые волосы Перл, но как только он дотронулся до нее, она извернулась всем телом и бросилась к Коре.

— За это в два счета голову с плеч снимут.

— Мистер Джонсон, дайте мне денег, богом вам клянусь, я на вас не донесу.

Он все еще колебался, глядя на Перл, потом сунул руку в карман брюк и достал оттуда двадцать пять центов. Кора вырвала у него монету и метнулась к двери.

— Стой!— крикнул он, бросаясь за ней вдогонку и хватая ее за плечо.— Вернись и вели ей, чтобы слушалась.

— Слушайся его, Перл,— сказала ей мать.

— Теперь беги и принеси угля, пока я тут окончательно не замерз. А если скажешь полисмену, я вас всех на тот свет отправлю, прежде чем меня схватят. Зря я тебя отпускаю, надо бы мне первому уйти. Подозрительная ты какая-то.

Не дослушав его, Кора распахнула дверь, захлопнула ее за собой и со всех ног побежала по переулку. На углу она не задержалась ни минуты и свернула на улицу, туда, где были бакалейные лавки.

Пробежав один квартал, она остановилась, сунула монету в рот и плотно сжала губы, чтобы не выронить ее и не потерять в темноте.

Одна лавка была все еще открыта. Показав пальцем левой руки на хлеб и банку мясных консервов, Кора вынула деньги изо рта и сунула их продавцу в ладонь. Он уронил мокрую серебряную монету, точно это была раскаленная добела сталь, и вытер руку о передник.

— Что такое?— сказал он.— Что вы с ней сделали?

— Ничего,— ответила Кора.— Быстрее!

Когда Кора вернулась домой, дети спали: Джон и Руби, плотно закутавшись в одеяло, Перл на другой кровати, накрывшись своим пальтишком. Ее ситцевое платье валялось на полу, все в бурых следах от башмаков. Она плакала засыпая — на щеках еще не высохли слезы. Веки у нее были воспаленные, на переносице вздулся кровоподтек.

Кора подошла к кровати, откинула с дочери пальтишко и посмотрела на нее. Перл лежала скрюченная, обхватив руками колени, уткнувшись подбородком в грудь. Кора все смотрела на нее, а потом заботливо укрыла пальтишком.

Развязав сверток с хлебом и консервной банкой, она затолкала в топку оберточную бумагу и подожгла ее. Потом придвинула стул поближе, наклонилась и протянула руки по обе стороны печки, чтобы вобрать в себя все тепло, пока бумага не сгорит.

Печка тут же остыла. Кора положила хлеб и консервную банку рядом на стул и, закутавшись в одеяло, стала ждать, когда настанет день. Дети проснутся и сразу увидят, что еда в доме есть.

ДЖО КРЭДДОК И ЕГО СТАРУХА

Перевод с английского М. Лорие

Джулия Крэддок прожила тридцать пять лет и никогда не была хороша собой и женственна. Тридцать пять лет прошло — молодость и зрелость, но ни красоты, ни женственности в ней не прибавилось. С каждым годом она все больше дурнела. После пятнадцати лет, проведенных у плиты и над корытом, тело у нее стало сухое, мускулистое. Волосы были прямые, жесткие, сальные. Лицо избороздили уродливые морщины тяжелого труда, плоские груди отвисли. Мужчины никогда не видели в Джулии ничего, кроме рабочей скотины. Даже Джо, ее муж. Для Джо она всегда была «старухой».

И вот она умерла.

Смерть была ей наградой. Наградой за уродство ее лица и тела, за всю ее жизнь. В жизни она не знала счастья — одиннадцать человек детей, четырнадцать коров, куры. И восемь вонючих свиней. Ни разу за последние десять лет Джулия не уезжала с фермы. Работа, работа, работа с четырех утра до девяти вечера; ни праздников, ни поездок в город, ни времени, чтобы вымыться с головы до ног. Джо тоже все время работал. Но никакого проку от его работы не было — только боль в спине, горе и бедность. Чем больше он работал, тем беднее становился. Если осенью у него набиралось двадцать тюков хлопка, цены падали так низко, что денег едва хватало на удобрения, и то не всегда. А если цена поднималась до тридцати центов за фунт, хлопок погибал либо от проливных дождей, либо от засухи, и продавать было нечего. Да, такой жизнью, какая выпала на долю Джо и Джулии, не стоило жить особенно долго.

И вот Джулия умерла. И никогда она не была красавицей, никогда даже не чувствовала себя красивой. Ни разу ей не довелось надеть шелковое белье, напудрить нос, подрумянить щеки или вычистить всю грязь из-под ногтей.

Пришел похоронных дел мастер и увез покойницу. На следующее утро он привез ее обратно на ферму, чтобы к вечеру похоронить на кладбище возле методистской молельни.

Но какое чудо он привез на ферму!

Джо долго не мог поверить, что это Джулия. Потом он разыскал фотографию, которую она подарила ему за несколько недель до свадьбы, и тогда убедился, что это все-таки его жена. Она точно снова стала молодой девушкой.

Джулию вымыли с ног до головы, волосы промыли шампунем. Руки у нее были белые, на ногтях маникюр; лицо чистое и гладкое под румянами и пудрой, а ввалившиеся щеки подложены ватой. Теперь-то Джулия была настоящая красавица. Джо просто глаз не мог от нее отвести. Весь день он просидел у гроба, тихо плакал и любовался ее красотой. На ней были шелковые чулки и рубашка, а поверх рубашки — платье цвета морской волны, шелковое, без рукавов и с глубоким вырезом. Благодаря искусству похоронных дел мастера она стала похожа на прекрасную молодую девушку.

К вечеру ее схоронили с ее красотой на кладбище возле молельни. В последнюю минуту Джо попросил было отложить похороны до завтра,

по похоронных дел мастер и слушать его не стал. Он просто не понял этой странной просьбы.

Дети Джулии, кроме двух старших, не знали толком, что сталось с их матерью. Прошло несколько лет, прежде чем они поверили, что покойница, которую тогда привезли к ним в дом, и была их мать Джулия.

— Но ведь та женщина в гробу была красивая леди,— говорили они.

— Да,— отвечал им Джо.— Джулия — ваша мать — была красивая леди.

И он шел к комоду, доставал из ящика фотографию и показывал им.

ВЕЧЕР В НУЭВО-ЛЕОНЕ

Перевод с английского Ивана Кашкина

Было десять часов и в ясном небе пустыни уже показались звезды, когда мы добрались до Нуэво-Леона. Вдоволь поколесив по его огороженным глиняными заборами улицам, мы отыскали, наконец, гостиницу и остановились у ее подъезда. Народу кругом было мало, и слышалось только бульканье фонтана посреди площади по ту сторону улицы, и ветерок из пустыни шуршал листьями высоких пальм, словно тафтой.

Мы еще не успели вытащить из машины все, что могло понадобиться на ночлег, как навстречу, кланяясь и улыбаясь, выбежал сам владелец гостиницы. Он помог нам управиться с поклажей и повел через вестибюль.

— Вы оказали мне честь посещением моего отеля,— сказал он, остановившись посредине холла и снова раскланиваясь. — Я весьма польщен видеть вас у себя. Вы оказали честь отелю «Реформа».

Мы улыбнулись в ответ. Нам приятно было, что нас так радушно встречают.

Хозяин зашел за конторку. Потом он разложил передо мной книгу для приезжающих и вручил перо, предварительно обмакнув его в чернила.

— Мой дом в полном вашем распоряжении, сеньор,— учтиво сказал он.— Давно ли вы в Мексике?

Усталые и пропыленные, мы не были расположены к разговорам. Мы проделали трудный путь от моря через пустыню и горы. Хотя расстояние было не более трехсот миль, но ехали мы с пяти часов утра.

Я нацарапал в книге свою фамилию и прибавил «с супругой». На следующей строчке я полностью написал девичью фамилию моей жены.

Хозяин наклонился над книгой и стал пристально рассматривать обе записи.

— А сеньорита?— спросил он, поглядывая на нас.

— Нас только двое,— сказал я, указывая на себя и жену.

Он снова склонился над книгой, на этот раз предварительно вытащив очки и водрузив их на нос. Немного погодя он выпрямился, снял очки и поглядел на нас с недоумением.

— Как же это, сеньор? — спросил он уже без улыбки.

Жена толкнула меня локтем.

— А вот как, сеньор, — сказал я, — я подписался своей фамилией и прибавил «с супругой», имея в виду жену, а потом, на следующей строч-

ке я написал полное имя жены, ее литературное имя. Для полной ясности.

— Но где же сеньорита?— спросил он непоколебимо.— Я не видел, чтобы она приехала с вами в мой отель,— он посмотрел на меня и жену, загнув на каждого из нас по пальцу.— Где же сеньорита?

— Нет никакой сеньориты,— поспешно сказал я.— Моя жена и сеньорита — это одно и то же лицо.

Хозяин весь расплылся в широкой улыбке.

— Как это чудесно!— сказал он, низко кланяясь моей жене.

— Что чудесно?— спросил я.

— Вы и сеньорита собираетесь обвенчаться! Это чудесно!

Мы с женой устало прислонились к конторке. К тому времени было уже около одиннадцати, а мы поднялись в четыре утра. Мы остро завидовали другим постояльцам «Реформы», которые уже давно отправились на покой.

— Позвольте объяснить вам, сеньор,— начал я.— Таков обычай у нас, сумасшедших янки. Когда у жены есть свое профессиональное имя, мы иногда пишем вот так, обе фамилии — и по мужу и по профессии. Тогда она может, например, получать телеграммы на любое из этих имен.

— Нет, сеньор,— возразил он.— Это невозможно!

— Что невозможно?— спросил я.

— Телеграф уже закрыт.

— Ну что ж,— сказал я, взглянув на жену. Она устало склонила голову на конторку.— До завтра мы и не рассчитываем на телеграмму. Вы только отведите нам комнату, мы очень хотим спать.

Хозяин важно кивнул головой.

— Теперь все ясно,— сказал он.— Я вас не понял. Простите. И очень сожалею! Я сейчас же отведу вам две комнаты, и вы немедленно сможете отдохнуть.

Жена подняла голову с конторки.

— Одну комнату,— сказала она сонным голосом.

— Это невозможно,— сурово возразил он.

Голова жены снова упала на сложенные руки.

— А почему же невозможно?— спросил я.

— Я не могу отвести вам одну комнату, потому что вы не можете спать вместе с сеньоритой в стенах отеля «Реформа»! Это невозможно. Я отведу вам две отдельные комнаты, сеньор и сеньорита!

Жена подняла руку, показывая, что у нее на пальце обручальное кольцо. Он недоверчиво посмотрел на нее.

— Уже семь долгих, долгих лет, как мы повенчаны, сеньор,— устало сказала она.

— Тысячу извинений, сеньора,— сказал он важно.— Я глубоко стыжусь своего поведения. Я еще раз прошу простить меня.

Мы с женой вздохнули с облегчением. Уже пройдя полпути к лестнице, мы оглянулись и обнаружили, что хозяин все еще стоит за своей конторкой. Снова взгромоздив очки на нос, он склонился над книгой, перечитывая мою запись.

— Произошла прискорбная ошибка,— сказал хозяин, словно обвиняя нас в чем-то позорном.— Сеньора! Супруг ваш еще не прибыл в отель. Когда вы ожидаете его?

Мы с женой в замешательстве поглядели друг на друга.

— О чем это вы говорите?— спросила жена, возвращаясь к конторке.— Вот он, мой муж, сеньор!

Он еще раз поглядел на фамилии, записанные в книгу. Потом выпрямился, сурово качая головой.

— Это невозможно!— сказал он.

— Почему?— спросила она.

— Ваш супруг еще не зарегистрирован в отеле «Реформа». Когда он прибудет, он должен вписать свою фамилию в эту книгу, и тогда я смогу отвести вам комнату на двоих, сеньора.

Он глядел на нас все более сурово.

— Но что же нам делать?— растерянно спросила меня жена.

— Не знаю,— ответил я ей.— Не знаю, что нам делать.

Пока мы стояли в полном недоумении, хозяин снял с доски, висевшей за конторкой, два ключа и повел нас к лестнице. Молча мы последовали за ним, не решаясь сказать ни слова хотя бы шопотом.

Поднявшись в холл второго этажа, хозяин отпер одну из дверей и с поклоном пропустил в нее жену. Но прежде чем я успел пройти за ней следом, он стал на пороге, загораживая мне проход.

— Нет, сеньор!— сказал он, качая головой.— Это невозможно!

Я видел, как жена, поднявшись на цыпочки, выглядывает через его плечо. Она не могла вымолвить ни слова.

Уронив чемоданы, я двинулся на него.

— Позвольте мне еще раз объяснить вам, сеньор,— начал я, изо всех сил стараясь подавить раздражение.— Мы обвенчаны. Моя жена носит обручальное кольцо. Мы хотим занять нашу комнату и наконец отдохнуть. Мы очень устали. Мы весь день ехали сегодня от побережья через пустыню.

Он повернулся к жене и посмотрел на нее. Она умоляюще посмотрела на него.

Немного поколебавшись, он пожал плечами и отступил с глубоким поклоном.

— Я приношу извинения за свою ошибку,— сказал он.— Временами я никак не могу понять обычаев янки. Прошу вас, примите мои извинения!

С новыми поклонами он задом попятился до самой лестницы. Я вбежал в комнату, захлопнул дверь и крепко запер ее, не дожидаясь дальнейших осложнений.

Мы постояли у двери, прислушиваясь, как он спускается с лестницы, и успокоились, только когда он сошел вниз.

Однако вскоре нас разбудил внезапный стук в дверь. Затаив дыхание, мы прислушались. Через минуту стук повторился еще громче. Не отозваться было нельзя.

— Кто там? — крикнул я в темноте.

— Это я, хозяин, сеньор,— ответил он.— Пожалуйста, сейчас же отоприте дверь!

— И не думай!— прошептала жена.— Если он опять начнет спорить, нам не уснуть до утра.

— Но он может выломать дверь,— сказал я.

— Пусть ломает, —сказала она устало. — Это его дверь.

Мы притаились и притихли.

Новый стук потряс все здание и больше не прекращался.

— Лучше выяснить, что ему надо,— сказал я.— Все равно нам не уснуть.

— Только не давай ему опять затевать спор, — шепнула жена. — Скажи ему, что теперь поздно спорить, но что мы поговорим с ним утром, после завтрака.

Я зажег свет.

— Что вам угодно, сеньор?— спросил я его.

— Дверь должна быть открыта немедленно!— сказал он во весь голос, заглушая собственный стук.

Я встал и повернул ключ. Хозяин стоял в дверях. Он не переступал порога.

— Это невозможно!— в крайнем возбуждении сказал он.

— Что невозможно?— спросил я.

— Вы не можете спать с сеньоритой,— громко сказал он.

— Он опять за свое,— вздохнула жена.— Опять все сначала!

Я слышал, как открывались двери номеров, выходивших в холл. Все в гостинице были взбудоражены его криком.

— Послушайте!— сказал я сердито.— Здесь нет никакой сеньориты! Это моя жена!

— Это невозможно!— старался он перекричать меня.

— Что невозможно?— взревел я.

— Вы должны занять отдельную комнату, сеньор!— безапелляционно заявил он.— Завтра, если того пожелает сеньорита, вы сможете с ней обвенчаться, и тогда завтра вечером вам можно будет не занимать отдельных комнат. Но сегодня это необходимо.

Я беспомощно оглянулся на жену.

— Что нам делать?— спросил я.

— Боже мой!— сказала она.— Неужели его нельзя вразумить?

Я повернулся к хозяину и открыл было рот, чтобы его вразумлять. Но не успел я сказать и слова, как заговорил он.

— Это невозможно, сеньор! — повторял он, протискиваясь мимо меня в комнату.

Не успел я опомниться, как он уже вел меня через холл, мимо сонных постояльцев, выглядывавших из своих комнат. Он отпер какую-то дверь и зажег свет.

— Примите мои извинения, сеньор.— Он склонился в поклоне.— Я весьма сожалею, но это невозможно!

Он запер дверь и поспешно повернул ключ снаружи. Я услышал, как он вынул ключ, быстро прошел к лестнице и спустился вниз.

ТЕПЛАЯ РЕКА

Пересод с английского Е. Калашниковой

Шофер затормозил у висячего моста и указал мне дом на другом берегу реки. Вручив ему двадцать пять центов — положенную плату за проезд от станции, находившейся в двух милях отсюда,— я вышел из машины. Он развернулся и уехал, а я остался наедине с прохладным вечером, звездной россыпью мерцавших в долине огней и широкой зеленой рекой, катившей внизу свои теплые воды. Кругом, точно черные тучи, громоздились уже окутанные ночным сумраком горы, и только высоко в небе бледнели последние отсветы заката.

Мост со скрипом закачался у меня под ногами, заставляя соразмерять шаг с его колыханьем. Чтобы не отстать от движений этого маятника, широкой дугой перекинувшегося с берега на берег, мне приходилось идти все быстрее и быстрее. И когда наконец впереди, совсем близко, зачернел склон горы, круто обрывавшийся в теплую воду, я крепче сжал ручку своего саквояжа и пустился бежать со всех ног.

Даже когда мост остался позади, когда под моими подошвами захрустел уже гравий дорожки, я не мог отделаться от охватившего меня страха. Вероятно, днем я прошел бы по этому мосту совершенно спокой-

но, но сейчас, поздним вечером, в незнакомом месте, где со всех сторон надвигались на меня темные горы и широкая зеленая река текла внизу, у меня невольно дрожали руки и тревожно колотилось сердце.

Я без труда нашел дом, который мне указали, и посмеялся над своим паническим бегством. Дом стоял сразу же за мостом, но даже если б я невзначай прошел мимо, Гретхен окликнула бы меня. Она сидела на ступеньках крыльца и ждала. При звуке знакомого голоса, назвавшего меня по имени, мне стало стыдно, что я так испугался гор и широкой реки, которая катила внизу свои воды.

Гретхен сбежала мне навстречу по усыпанной гравием дорожке.

— Страшно было переходить мост, Ричард?— спросила она взволнованно, обеими руками ухватясь за мою руку и ведя меня к дому.

— Признаться, да, Гретхен,— сказал я.— Но я постарался пробежать его поскорее.

— Все так делают в первый раз, но потом это уже все равно, что ходить по натянутому канату. Я ходила по канату, когда была маленькая, а ты, Ричард? Мы протягивали веревку по полу амбара и на ней упражнялись.

— Я тоже ходил, но это было так давно, что я успел разучиться.

Мы дошли до крыльца и поднялись по ступенькам. Гретхен повела меня прямо к двери. Кто-то шел с лампой по коридору, и в осветившемся дверном проеме я увидел двух младших сестер Гретхен, стоявших у порога.

— Моя сестренка Энн,— сказала Гретхен.— А это Мэри.

Я поздоровался с ними в полутьме, и мы все вместе вошли в переднюю. В передней у стола стоял отец Гретхен. В руке он держал лампу, отведя ее немного вбок, чтобы она не мешала ему разглядеть мое лицо. Мы с ним никогда раньше не видались.

— Мой папа,— сказала Гретхен.— Он все беспокоился, что в темноте ты не найдешь нашего дома.

— Я хотел взять фонарь и пойти вам навстречу, но Гретхен сказала, что вы и сами найдете дорогу. Вам не пришлось плутать? Мне бы никакого труда не стоило встретить вас с фонарем у моста.

Я пожал ему руку и заверил его, что добраться было совсем просто.

— Шофер, который вез меня от станции, указал мне с того берега ваш дом, и я все время старался не терять из виду его огни. Если бы мне это не удалось, я бы, наверно, бродил где-нибудь в темноте, пока не свалился бы в воду.

Мой страх перед рекой заставил его улыбнуться.

— Ничего страшного, если бы и свалились. Наша река теплая. Даже зимой, когда кругом снег и лед, в воде тепло, как дома. Мы все тут очень любим свою реку.

— Нет, нет, Ричард, никуда бы ты не свалился,— сказала Гретхен, вкладывая свою руку в мою.— Я следила за тобой с той минуты, как ты вышел из машины, и если б ты хоть шаг сделал не туда, куда нужно, я тотчас побежала бы к тебе.

Я хотел было поблагодарить Гретхен за эти слова, но она уже шла к лестнице, ведущей во второй этаж, и звала меня. Я стал подниматься за нею следом, держа саквояж на весу. В коридоре верхнего этажа стояла на столе лампа, заправленная и зажженная, но с привернутым фитилем. Гретхен взяла ее, и мы вошли в одну из комнат, расположенных по фасаду дома.

С минуту мы молча стояли и смотрели друг на друга.

— В кувшине свежая вода, Ричард. Если тебе еще что-нибудь нужно, ты скажи мне. Я старалась ничего не забыть.

— Не беспокойся, Гретхен,— сказал я.— Ничего мне больше не нуж-

но. С меня довольно и того, что я здесь, с тобой. Чего мне еще желать?

Она вскинула на меня быстрый взгляд и тотчас же потупилась. Мы еще несколько минут постояли молча, не зная, о чем говорить дальше. Мне хотелось сказать ей, как я рад, что мы вместе, хотя бы на одну только ночь, но я решил, что это я успею сказать после. Гретхен знала, зачем я приехал.

— Я тебя буду ждать внизу, на крыльце, Ричард. Лампу я тебе оставлю. Выходи, как только приведешь себя в порядок.

Я спохватился было, что нужно посветить ей, пока она будет спускаться с лестницы, но опоздал. Когда я выскочил с лампой на площадку, она уже исчезла внизу.

Я вернулся в комнату, затворил дверь и стал умываться, щеткой и мылом оттирая с лица и рук дорожную пыль. На вешалке висело с полдюжины вышитых полотенец. Я взял одно и вытер им лицо и руки. После этого я причесался и достал из саквояжа чистый носовой платок. Затем отворил дверь и пошел вниз искать Гретхен.

Она сидела на крыльце, и с ней был отец. Увидя меня, он встал и пересел на другой стул, оставив мне место между ними. Гретхен подвинула свой стул поближе к моему и положила руку мне на локоть.

— Вы в первый раз у нас в горах, Ричард? — спросил отец Гретхен, повернувшись ко мне лицом.

— Да, сэр, мне совсем не приходилось бывать в этой стороне. Природа здесь очень своеобразная. Впрочем, вероятно, вы сказали бы то же самое, если б вам довелось попасть на побережье.

— Да ведь папа жил в Норфолке,— сказала Гретхен.— Верно, папа?

— Да, я там прожил почти три года.

Он явно не договорил, и мы ждали, что он еще скажет.

— Папа — мастер-механик,— шепнула мне Гретхен.— Он работает в железнодорожных мастерских.

— Да,— продолжал он после небольшого раздумья.— Я побывал во многих местах, но теперь хотел бы навсегда остаться здесь.

У меня уже был готов вопрос: чем именно ему так пришлись по сердцу горы, но тут до моего сознания дошло, что оба они—и он и Гретхен— вдруг как-то странно замолчали. Молчал и я, недоуменно глядя на обоих.

Спустя немного он заговорил снова, обращаясь не ко мне и не к Гретхен, а словно к кому-то четвертому, кого я не мог разглядеть в темноте крыльца. С непонятным волнением я ждал его слов.

Гретхен мягким, бесшумным движением придвинула свой стул еще чуть поближе к моему. Снизу от реки поднимались теплые испарения и окутывали нас, словно защищая от прохлады ночи.

— Когда Гретхен и мои младшие девочки остались без матери,— говорил он едва слышно, наклонясь вперед и глядя куда-то вдаль, за широкую зеленую реку,— когда мы остались одни, я вернулся сюда, в горы. Я не мог оставаться в Норфолке, я не мог жить в Балтиморе. Здесь было единственное место на земле, где мне удалось обрести покой. Гретхен тоскует по своей матери, но никому из вас не понять, что все это значит для меня. Ее мать и я, мы оба родились здесь, в горах, и прожили здесь почти двадцать лет. Потом, когда она покинула нас, я стал переезжать с места на место в безрассудной надежде, что смогу позабыть. Но я ошибался. Да, конечно, я ошибался. Не может человек позабыть мать своих детей, даже если он знает, что никогда больше ее не увидит.

Гретхен тесней прижалась ко мне, и я не мог отвести глаз от ее профиля в четком обрамлении темноты. Река неслышно притаилась внизу, но теплый воздух, поднимавшийся оттуда, все время напоминал мне о ней.

Отец Гретхен еще больше наклонился вперед, руками упершись в колени и словно высматривал кого-то на дальнем берегу реки, на вершине горы, вздымавшейся над нею. Луч света из приоткрытой двери лег поперек его лица, и немигающие глаза заблестели. Две слезы, точно осколки звезд, скатились по щекам, обожгли задрожавшие руки и исчезли.

Но вот он встал, попрежнему не говоря ни слова, и направился к двери. Его огромная тень накрыла нас с Гретхен, когда он на мгновенье задержался на пороге. Я оглянулся на него, но мой взгляд скользнул мимо, а в следующее мгновение он уже скрылся в доме.

Гретхен еще тесней прижалась ко мне, стискивая пальцами мою руку, и стала водить щекой по моему плечу, словно хотела стереть с нее что-то. Шаги отца постепенно затихали в доме и скоро затихли совсем.

Где-то внизу, в долине, промчался над рекой скорый поезд, лязгом и свистом прорезав ночную тишь. Замелькали в темноте освещенные окна, заплясали, точно огни северного сияния, отсветы на широкой зеленой реке, и звенящее эхо стального грохота раскатилось по громадам гор.

Гретхен дрожащими руками стиснула мою руку.

— Ричард, зачем ты приехал сюда, ко мне?

Голос ее потерялся в последних отголосках звенящего металлического эхо.

Я обернулся к ней, думая встретить ее взгляд, но она смотрела не на меня, а куда-то вниз, в долину, где катила свои теплые воды река. Она знала, зачем я приехал, но хотела услышать это от меня.

А я теперь уже не знал, зачем я приехал. Мне нравилась Гретхен, и я желал ее, как никогда не желал ни одной женщины. Но я уже не мог сказать, что я люблю ее, теперь, когда я услышал, как говорил о любви ее отец. Услышав, как он говорил о матери Гретхен, я пожалел, что приехал. Я знал, что Гретхен готова отдаться мне, потому что она меня любит, но мне нечего было дать ей взамен. Она была красива, очень красива, и я желал ее. Так было раньше. Но теперь я знал, что никогда больше не смогу подойти к ней с теми мыслями, с которыми я сюда ехал.

— Зачем ты приехал, Ричард?

— Зачем?

— Да, Ричард. Зачем?

Я закрыл глаза, но все так же мерцала передо мной звездная россыпь огней в долине, и все так же веяло теплом с реки, струившейся внизу, и так же ласково было прикосновение пальцев Гретхен к моей руке.

— Скажи мне, Ричард, скажи, зачем ты приехал.

— Не знаю, зачем, Гретхен.

— Если бы ты любил меня так, как я тебя люблю, Ричард, ты бы знал.

Пальцы ее дрожали в моей руке. Я знал, что она меня любит. Я в этом не сомневался с самого начала. Гретхен любила меня.

— Может быть, я напрасно приехал,— сказал я.— Да, это была ошибка, Гретхен. Не надо было мне приезжать.

— Но ведь это только на один вечер, Ричард. Завтра рано утром ты уедешь. Неужели ты в самом деле жалеешь, что приехал даже на такое короткое время?

— Я не жалею о том, что я здесь, Гретхен. Но мне не надо было приезжать. Я сделал это не подумав. Я не имел права приезжать сюда. Только когда любишь друг друга...

— Но хоть немножко ты ведь меня любишь, Ричард? Ты не можешь любить меня и вполовину так, как я тебя люблю, но почему ты не хочешь сказать, что все-таки ты меня немножко любишь? Мне тогда легче будет после твоего отъезда, Ричард.

— Не знаю,— сказал я, чувствуя, как меня охватывает дрожь.

— Ну, пожалуйста, Ричард...

Все еще держа в своих руках ее руки, я привлек ее ближе. И вдруг словно что-то нашло на меня, пронзив меня болью мгновенного озарения. Как будто то, о чем говорил отец Гретхен, открылось мне в своем истинном смысле. Я никогда раньше не думал, что существует такая любовь; мужчина, казалось мне, не может любить женщину так, как женщина любит мужчину. Но теперь я понял, что это неверно.

Мы долго сидели молча, держась за руки. Судя по тому, что огни в долине гасли один за другим, было уже далеко за полночь; но нам не было дела до времени.

Гретхен льнула ко мне, то заглядывая мне в глаза, то кладя мне голову на плечо. Она была моей во всей полноте значения этого слова, но я уже не мог злоупотребить ее чувством и потом уехать, зная, что я не люблю ее так, как она любит меня. Ничего подобного у меня и в мыслях не было, когда я сюда ехал. Я проделал весь этот дальний путь для того, чтобы несколько часов держать Гретхен в своих объятиях, а затем уехать и забыть, может быть навсегда.

Пора было идти в дом. Я встал и обнял Гретхен. Она задрожала от моего прикосновения, но тут же крепко приникла ко мне сама, и сердце ее забилось совсем близко, с каждым ударом словно вгоняя в меня острия ее маленьких грудей.

— Поцелуй меня на прощанье, Ричард,— сказала она.

Потом она побежала к двери и распахнула ее передо мной. Захватив со стола лампу, она стала первая подниматься по лестнице, ведущей наверх.

У двери моей комнаты она подождала, пока я зажгу вторую лампу, и взяла одну себе.

— Спокойной ночи, Гретхен,— сказал я.

— Спокойной ночи, Ричард.

Я привернул фитиль ее лампы, чтобы не закоптело стекло, и она пошла через коридор в свою комнату.

— Я тебя разбужу утром, Ричард, чтобы ты поспел к поезду.

— Спасибо, Гретхен. Только разбуди пораньше, потому что поезд в семь тридцать.

— Я разбужу тебя во-время,— сказала она.

Дверь ее комнаты затворилась за ней. Я повернулся и вошел к себе. Закрыв свою дверь, я медленно начал раздеваться. Потом я погасил лампу и лег в постель, но сон не шел ко мне. Поняв, что заснуть не удастся, я сел на постели и закурил. Я курил папиросу за папиросой, пуская дым поверх ширмы, отгораживавшей мою кровать от окна. В доме было тихо. Минутами мне казалось, что какие-то приглушенные шорохи доносятся из комнаты Гретхен по ту сторону коридора, но, может быть, это только казалось.

Не знаю, сколько времени я просидел так, неподвижно и напряженно, на краю постели, думая о Гретхен, но только вдруг я вскочил на ноги. Отворив дверь, я выбежал в коридор и очутился у двери в комнату Гретхен. Дверь была закрыта, но не заперта — я в этом был уверен, и я бесшумно повернул ручку. Тонкая полоска света протянулась из образовавшейся щели. Незачем было открывать дверь шире, потому что я сразу же увидел Гретхен — совсем близко, в двух шагах от меня. Я зажмурился на мгновение, стараясь подумать о ней так, как думал целый день, сидя в поезде, мчавшем меня с побережья сюда.

Гретхен не слышала, как повернулась ручка двери, и не подозревала, что я стою у порога. В комнате на столе в полный свет горела лампа.

Я был убежден, что увижу Гретхен в постели, и не сомневался, что

она уже спит. Но она не спала. Она стояла на коленях на коврике у постели, уткнув голову в скрещенные руки, и вся тряслась от рыданий. Ее волосы, перехваченные голубой лентой, рассыпались по плечам. Она была в ночной сорочке из белого шелка, отороченной тонким кружевом у выреза, открывавшего шею.

Я всегда знал, что она хороша, но когда я увидел ее в приоткрытую дверь, она показалась мне особенно красивой. Я никогда не встречал девушки красивее ее.

Она все еще не слышала меня и не догадывалась, что я здесь, у нее под дверью. Она стояла на коленях у постели, прижав руки к груди, и плакала.

Приотворяя дверь ее комнаты, я сам не знал, что будет дальше; но теперь, когда я увидел, как она стоит на коленях у постели, не подозревая, что я смотрю на нее и слышу ее рыдания и ее молитвы, мне вдруг стало ясно, что нет для меня никого дороже ее на свете. И я понял то, чего не понимал до этой минуты, — что я люблю ее.

Я потихоньку затворил дверь и вернулся в свою комнату. В темноте я разыскал кресло, придвинул его к окну и сел ожидать рассвета. Долго сидел я так, вглядываясь в темневшую за окном долину, на дне которой катила свои воды теплая река. И по мере того как глаза мои привыкали к темноте, река придвигалась все ближе и ближе, и, казалось, стоит только протянуть руку — и мои пальцы погрузятся в ее теплую воду.

Под утро мне то и дело чудился какой-то шорох в комнате Гретхен, словно кто-то, мягко ступая, переходил от окна к окну. Раз я даже явственно слышал чьи-то шаги в коридоре, у моей двери.

Когда над вершиной горы взошло солнце, я встал и оделся. Вскоре после того я услышал, как Гретхен вышла из своей комнаты и побежала по лестнице вниз. Я догадался, что она спешит приготовить мне завтрак, чтобы я не ушел на станцию голодным. Спустя четверть часа я снова услышал ее шаги на лестнице. Потом раздался осторожный стук в дверь, и знакомый голос несколько раз окликнул меня по имени.

Я распахнул дверь и очутился перед Гретхен. Мое появление так ее удивило — она ведь думала, что я еще сплю крепким сном,— что она сразу даже не нашлась, что сказать.

— Гретхен,— сказал я, схватив ее за руки.— Не торопись выпроваживать меня, я никуда сегодня не уеду; я сам не знаю, что это со мной было вчера вечером, я знаю одно — я люблю тебя.

— Но, Ричард, ведь вчера ты говорил...

— Да, вчера я сказал, что уеду сегодня рано утром, но я сам не знал, что говорю, Гретхен. Без тебя я отсюда никуда не уеду. Я тебе все объясню после завтрака. Но прежде всего я хочу, чтобы ты показала мне дорогу к реке. Я должен сейчас же спуститься к ней и погрузить руки в ее воду.

Поэзия Танской эпохи

Эпоха Танской династии (618—907) явилась в истории китайского государства периодом наивысшего развития феодального общества. Экономический подъем, расширение внешних связей, небывалый расцвет культуры способствовали значительному развитию художественного творчества. Эти три столетия обогатили китайскую поэзию неумирающими, вечно живыми творениями.

Творчество одного из величайших поэтов Китая Ду Фу (712—770) связано с периодом начавшегося политического упадка танской империи. Ду Фу являлся продолжателем лучших традиций прошлого и основоположником новых традиций в китайской поэзии.

Движимый стремлением служить народу, поэт был полон глубокого участия к интересам простых людей, великой тревоги за судьбу своей родины.

Искреннее сочувствие к обездоленному человеку, лишенному крова, гонимому нуждой и бесправному, — эта высокая гуманистическая цель характерна для всего творчества великого Ду Фу.

В его поэтических творениях, в его песнях получила свое выражение борьба народа против господства мрачных сил, против тирании власть имущих, против неравенства.

Ду Фу, происходивший из помещичьей среды, поднялся над представителями своего класса, возвысил против него свой гневный голос, объявил ему войну. И здесь, разумеется, сказались качества характера самого поэта, черты его гения. Главное же — суровая правда жизни неотвратимо влияла на формирование мировоззрения поэта.

Ду Фу, чья муза была музой ненависти к богатым и негасимой любви к беднякам, тонко воспринимал все истинно прекрасное. Он оставил точные и живые зарисовки народной жизни. Он глубоко чувствовал живопись и музыку. В своих произведениях Ду Фу выступает также непревзойденным мастером пейзажа.

Со своеобразием творческой манеры Ду Фу связаны и особенности его лексики, фразеологии, стиля. Его язык, изящный и выразительный, глубоко и точно раскрывает идею художника.

Ду Фу развил лучшие литературные традиции, необычайно много сделал для обработки народного языка и развития различных поэтических жанров. Поэзия Ду Фу, отображающая целую эпоху, часто именуемая «поэтической историей», оказала огромное влияние на многих крупных поэтов Китая последующих столетий.

Ду Фу особенно близок нашим современникам своим глубоким пониманием борьбы народа за свободу, за лучшую жизнь, за право самому распоряжаться своей судьбой.

Ду Фу

Стихи

СТИХИ О ТОМ, КАК ОСЕННИЙ ВЕТЕР РАЗЛОМАЛ КАМЫШОВУЮ КРЫШУ МОЕЙ ХИЖИНЫ

Перевод с китайского Александра Гитовича

Осенний ветер
Дует все сильней,

Дела свои
Разбойничьи верша:

Он с тростниковой
Хижины моей

Сорвал
Четыре слоя камыша.

Часть крыши
Оказалась за рекой,

Рассыпавшись
От тяжести своей.

Часть,
Поднятая ветром высоко,

Застряла на деревьях
Средь ветвей.

Остатки — в пруд слетели
За плетень,

И крыша — вся —
Исчезла, словно дым.

Мальчишки
Из окрестных деревень

Глумятся
Над бессилием моим.

Они, как воры,
Среди бела дня

Охапки камыша
Уволокли

Куда-то в лес,
Подальше от меня,

Чем завершили
Подвиги свои.

Рот пересох мой,
Губы запеклись,

Я перестал
На сорванцов кричать.

На стариковский посох
Опершись,

У своего окна
Стою опять.

Стих ветер
Над просторами земли,

И тучи стали,
Словно тушь, черны.

Весь небосклон
Заволокли они,

Но в сумерках —
Почти что не видны.

Ложусь под одеяло
В тишине,

Да не согреет
Старика оно:

Сынишка мой,
Ворочаясь во сне,

Поистрепал его
Давным-давно.

А дождь
Не то чтобы шумит вдали —

Он просто
Заливает мне кровать,

И струйки,
Как волокна конопли,

Он тянет
И не хочет перестать.

И так уж
Обессилен я войной,

Бессонница
Замучила меня,

Но эту ночь,
Промокший и больной,

Как проведу
До завтрашнего дня?

О, если бы
Такой построить дом,

Под крышею
Громадною одной,

Чтоб миллионы комнат
Были в нем

Для бедняков,
Обиженных судьбой.

Чтоб не боялся
Ветра и дождя

И, как гора,
Был прочен и высок.

И если бы,
По жизни проходя,

Его я наяву
Увидеть мог,

Тогда
Пусть мой развалится очаг,

Пусть я замерзну —
Лишь бы было так.

ПЕСНЯ
О ХЛЕБЕ И ШЕЛКОВИЧНЫХ ЧЕРВЯХ

Наверно, городов
У нас в стране

Теперь не меньше
Тысяч десяти.

Но разве есть такой —
Скажите мне, —

Где б воинов
В доспехах не найти?

О, если б
Переплавить мы могли

Доспехи
На орудия труда,

Чтоб каждый дюйм
Заброшенной земли

Перепахать.
И было б так всегда.

Чтобы крестьянин
Сеял в добрый час

И шелководством
Занялся опять;

Чтоб мирным людям,
Как теперь у нас,

Не надо было
Слезы проливать;

Мужчины в поле
Выполняли б долг,

И пели женщины,
Мотая шелк.

ЗАСОХШИЕ ПАЛЬМЫ

Бесчисленные пальмы
В Сычуани

Высоко подняли
Свои вершины,

Но им, кору сдирая,
Тело ранят —

Не будет скоро их
И половины.

Они напрасно
Листья расстилали.

Зеленые
И летом и зимою,

Но — раненные —
Выдержат едва ли

И скоро
Попрощаются с листвою.

Мне бедствия народа
Сердце ранят,

Чиновники забыли
Слово «жалость».

Вы, жители долин
Янцзы и Ханя,

Скажите — что у вас
Еще осталось?

Вы, как и пальмы,
Выдержать не в силах,

И я о вас
Вздыхаю не впервые.

Те, кто мертвы,
Покоятся в могилах,

Но чем — спрошу —
Прокормятся живые?

Посвистывает иволга
Печально,

Вокруг нее
Зеленый луг раскинут,

И я в печали
Думаю о пальмах,

Что в сорных травах
Пропадут и сгинут.

СТИХИ В 500 СЛОВ О ТОМ, ЧТО У МЕНЯ БЫЛО НА ДУШЕ, КОГДА Я ИЗ СТОЛИЦЫ НАПРАВЛЯЛСЯ В ФЫНСЯНЬ

В Дулине
Человек в пеньковом платье *

Хоть постарел —
А недалек умом:

Как мог такую глупость
Совершать я,

Чтоб с Цзи и Се *
Равнять себя тайком?

А просто
Во дворце я непригоден,

И надо мне
Безропотно уйти.

Умру — поймут,
Что о простом народе

Всегда я думал,
До конца пути.

И сердца жар,
Бредя тропой земною,

Я отдавал народу
Всей душой.

Пусть господа
Смеются надо мною,

Но в громких песнях
Слышен голос мой.

Не то, чтоб не хотел
Уйти от шума

И жить, не зная
Горя и тревог, —

Но с государем,
Что подобен Шуню,

Расстаться добровольно
Я не мог.

Не смею утверждать,
Что ныне нету

Людей, способных
Управлять страной,

Но как подсолнечник
Стремится к свету,

Так я стремился
Верным быть слугой.

Я думаю
О стае муравьиной,

Что прячется
В тиши спокойных нор.

А я хотел,
Как истинный мужчина,

На океанский
Вырваться простор.

Для этого
И жить на свете стоит,

А не искать вниманья
У вельмож.

Пусть пыль забвения
Меня покроет,

Но на льстецов
Не буду я похож.

Сюй Ю и Чао Фу *
Не так страдали,

Стыжусь —
А измениться не могу.

Вином пытаюсь
Разогнать печали

И песнями —
Гнетущую тоску.

Теперь зима,
И листья облетели,

От ветра
Треснут, кажется, холмы.

Ночные небеса
Грозят метелью,

И я бреду
Среди угрюмой тьмы.

Окоченели пальцы —
Силы нету,

А пояс развязался,
Как на грех.

Но до Лишани *
Доберусь к рассвету,

Где государь
Пирует без помех.

Колышутся знамена,
Как в столице,

В дозоре гвардия —
На склонах гор.

Над Яочи *.
Горячий пар клубится,

И блеск оружья
Ослепляет взор.

Здесь государь
Проводит дни с гостями,

Я слышу —
Музыка звучит опять.

Те, кто в халатах
С длинными кистями, *

Купаться могут здесь
И пировать.

Но шелк, сияющий
В дворцовом зале, —

Плод женского
Бессонного труда.

Потом мужчин
Кнутами избивали —

И подати
Доставили сюда

И если
Государь наш милостивый,

Тот дивный шелк
Сановникам даря, *

Хотел, чтоб власти
Были справедливы,

То не бросал ли он
Подарки зря?

Да, здесь чиновников
Полно повсюду,

А патриотам —
Не открыть сердца.

К тому ж, я слышал,
Золотые блюда

Увезены
Из алого дворца.

И три небесных феи *
В тронном зале,

Окутав плечи
Нежной кисеей,

Под звуки флейт,
Исполненных печали,

С гостями веселятся
День-деньской.

И супом
Из верблюжьего копыта

Здесь потчуют
Сановных стариков,

Вина и мяса
Слышен запах сытый,

А на дороге —
Кости мертвецов.

От роскоши
До горя и бесправья —

Лишь шаг.
И нет упрека тяжелей.

Я колесницу
К северу направил,

Чтобы добраться
К рекам Цин и Вэй. *

Тяжелый лед
На реках громоздится

Везде,
Куда ни взглянешь на пути.

Уже не с горы ль Кунтун *
Он вдаль стремится,

Как бы грозя
Небесный Столб * снести?

Понтонный мост
Еще не сломан, к счастью,

Лишь балки
Неуверенно скрипят,

И путники,
Сквозь ветер и ненастье,

Скорее перейти его
Спешат.

Моей семьи
Давно уж нет со мною,

И снег, и ветер
Разделяли нас.

Я должен снова
Встретиться с семьею,

И вот ее
Увижу я сейчас.

Вхожу во двор —
Там стоны и рыданья:

От голода
Погиб сынишка мой.

И мне ль — отцу —
Скрывать свое страданье,

Когда соседи
Плачут за стеной.

И мне ль — отцу —
Не зарыдать от боли,

Что голод
Сына моего убил,

Когда все злаки
Созревали в поле,

А этот дом
Пустым и нищим был.

Всю жизнь
Я был свободен от налогов, *

Меня не слали
В воинский поход,

И если так горька
Моя дорога,

То как же бедствовал
Простой народ?

Когда о нем
Помыслю поневоле

И о солдатах,
Павших на войне, —

Предела нет
Моей жестокой боли,

Ее вовеки
Не измерить мне!

ПРИМЕЧАНИЯ

СТИХИ В 500 СЛОВ...

Дулин — местность в окрестностях Чанъани, танской столицы, где проживал в то время автор, семья которого находилась в Фынсяни, в провинции Шэньси. В пеньковом платье — то есть не состоящий на службе.

Цзи и Се — мудрые министры легендарного императора Шуня, проявлявшие заботу о простом народе.

Сюй Ю и Чао Фу — два знаменитых отшельника времен легендарного императора Яо; когда Яо предложил свой престол Сюй Ю и тот, хотя и отказавшись, рассказал об этом предложении Чао Фу, то последний почел свой слух осквернением таким предложением и немедленно вымыл уши.

Лишань — гора к востоку от Чанъани, где находился Хуацингун, летний дворец танского императора Сюаньцзуна.

Яочи — место пребывания богини Сиванму. Здесь подразумевается теплый источник на горе Лишань.

В халатах с длинными кистями — то есть высшие чиновники.

Тот дивный шелк чиновникам дарят — то есть для того, чтобы чиновники, одаренные императором, не обижали народ.

И три небесных феи — Ян Гуй-фэй, любимая наложница императора, и ее две сестры.

Цин и Вэй — реки на север от Чанъани по дороге в Фынсянь.

Кунтун — гора в провинции Ганьсу.

Небесный столб — по китайской мифологии медный столб, который поддерживал небеса. Этот мифический столб находился якобы у горы Бучжоу, в западной части хребта Куньлунь.

Я был свободен от налогов... Принадлежа к сословию чиновников, Ду Фу был освобожден от налогов и не подлежал призыву на военную службу.

Корейские стихи

ИЗ КЛАССИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ XV—XVI ВЕКОВ.*

Перевод Анны Ахматовой

Проснулась, взглянула и вижу:
От милого это письмо.
Сто раз я его прочитала,
Потом положила на грудь.
Оно не казалось тяжелым,
Что ж на́ сердце так тяжело?

2

О, ветер! Я молю тебя, не дуй
Сквозь лунный свет в мой дворик заснеженный,
А то твой шум готова я принять
За звук шагов того, что не приходит,
Хоть знаю я, что это только бред,
В беспамятстве шаги его я слышу.

* Авторы неизвестны.

Е. Трущенко

АНРИ БАРБЮС — БОРЕЦ ЗА МИР И ДРУЖБУ МЕЖДУ НАРОДАМИ

30 августа исполняется 20 лет со дня смерти Анри Барбюса. Его творчество и общественная деятельность составляют памятную страницу в истории французской литературы и общественной мысли, в истории борьбы за мир во всем мире, за демократию и социальный прогресс.

Добрая память об Анри Барбюсе у миллионов простых людей многих стран связана с его антивоенными романами и повестями, с той неутомимой деятельностью, которую он вел на протяжении двух десятилетий, обличая силы войны, империалистической реакции и фашизма.

Передовое человечество чтит в Барбюсе неутомимого собирателя миролюбивых демократических сил, глашатая дружбы между народами. Неумирающий голос Барбюса — писателя и трибуна сливается сегодня с голосом всех людей доброй воли, осуждающих военный разбой, защищающих принципы мирного сотрудничества государств и наций.

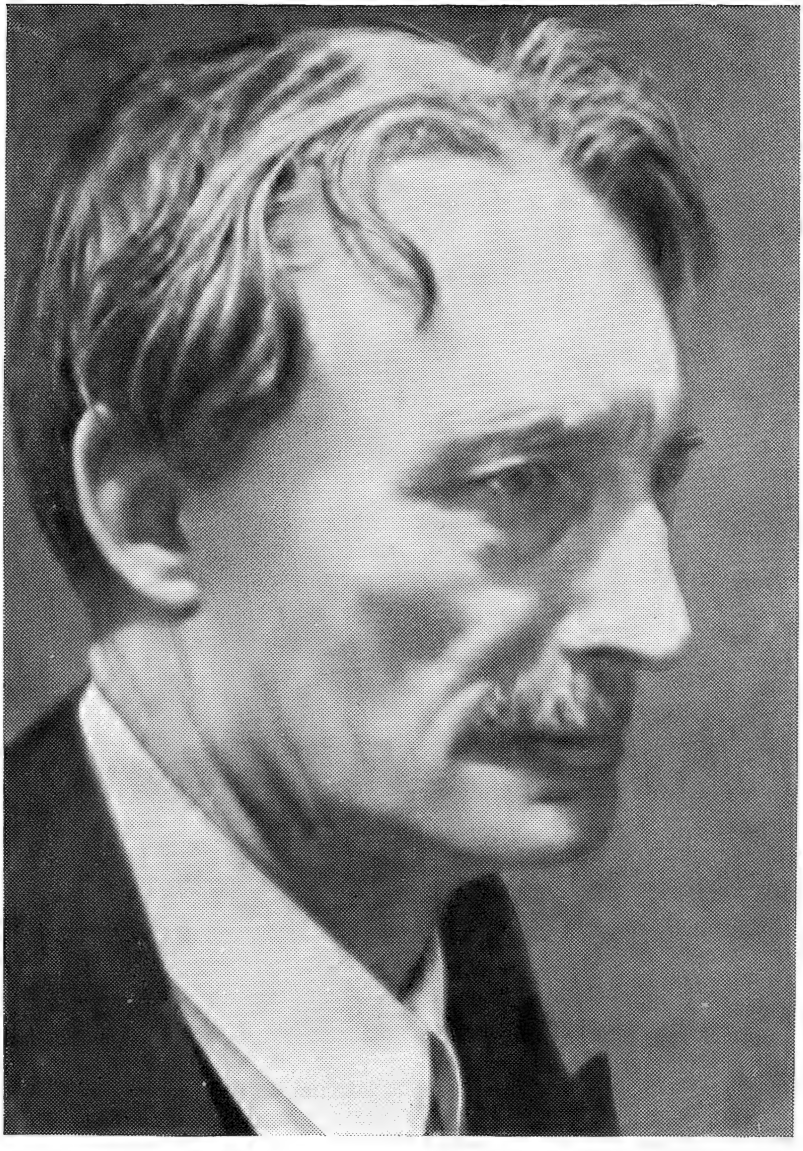
Жизненный и творческий путь Анри Барбюса, сложный и полный внутренней борьбы, был подвигом человека, который преодолел ограниченность буржуазного мировоззрения, поборол власть идеологии и морали буржуазного мира.

Барбюс начинал писательскую деятельность в последние годы прошлого века, находясь под влиянием господствовавшей тогда во Франции литературной моды. Он отдал дань настроениям пессимизма, безнадежности. «Плакальщицы», «Умоляющие», «Ад» — так назывались первые книги его стихов и прозы. Но ищущая и страстная натура писателя влекла его в гущу социальной борьбы. Творческие поиски Барбюса привели его к созданию произведений непреходящей идейно-художественной ценности.

Политическая и художественная зрелость пришла к Анри Барбюсу в период, когда он связал свою судьбу с борьбой и надеждами народных масс. В огне империалистической войны и следовавших за ней событий складывалось и закалялось новое, революционное мировоззрение Барбюса-писателя, которое воплотилось в романах «Огонь» и «Ясность», книгах боевой публицистики — «Слова борца» и «Свет среди бездны», сборнике «Правдивые повести» и книге «Сталин».

Барбюс увидел и глубоко понял враждебный человеческому прогрессу характер социальных отношений, законов, идеологии и морали в мире империализма. И он выступил беспощадным обличителем этого кровавого строя, порождающего войны, бесчисленные страдания и гибель миллионов людей во имя господства эксплуататорских классов.

Жизненный и творческий опыт, накопленный Барбюсом, породил в нем страстное желание служить всей силой таланта делу свободы и счастья простых людей на земле, делу мира и социального прогресса. Все его лучшие произведения последнего двадцатилетия жизни проникнуты этими высокими и благородными идеями. Служение миру и прогрессу Барбюс связал с обличением империалистической реакции, милитаризма и фашизма, с борьбой за социалистическое преобразование общества. В социалистической демократии и интернациональной дружбе Барбюс видел выход человечества из тех бедствий, которые принес буржуазный строй.



Анри Барбюсс

фото А. Н. Рубакина

Первым и решительным шагом Барбюса на этом пути был роман «Огонь» (1916 г.), созданный на фронте, в окопах, где Барбюс-солдат вместе с миллионами других французов, брошенных в горнило империалистической войны 1914—1918 гг., испытал все ее тяготы, прозревал под влиянием революционных настроений солдатских масс, постигал истинный смысл жизни. Писатель отразил в романе «Огонь» настроения и взгляды миллионов простых людей, которые осуждают войну, ищут из нее выхода, стремятся навсегда избавить человечество от войн.

Со всей силой своего таланта Барбюс показал истинное, неприкрашенное лицо империалистической войны, изобразив ее как «бесконечное однообразие бед» для тех, кто выносит на своих плечах всю ее тяжесть. Барбюс сорвал ореол романтики, которым окружали захватнические войны буржуазные писатели, вроде Барреса, Киплинга, Д'Аннунцио. Он разоблачил всю «сволочную шайку» поджигателей и идеологов первой мировой войны, «королей золота», которые направляют события, предвкушая от войн крупный барыш, «сословие военных», которые разжигают вражду между народами и твердят о неизбежности войны, «черных клерикалов», одурманивающих народ в угоду империалистам и повторяющих: «Опустите голову и верьте в бога».

«Каждая страница его книги,— писал М. Горький о романе Барбюса «Огонь»,— удар железного молота правды по всей той массе лжи, лицемерия, жестокости, грязи и крови, которые в общем зовутся войной».

В этом подлинно большом произведении сказалась глубокая прозорливость Барбюса-мыслителя, смелость революционного борца, пытливость художника-новатора. Прозорливость и смелость Барбюса проявились в том, что он глубоко понял и раскрыл антинародный характер империалистической войны, обнажил ее истинные причины и вместе с этим показал революционный путь выхода из войны — тот путь, к которому подводила миллионные солдатские и народные массы сама действительность. В народных массах Барбюс видел силу, которая способна обуздать поджигателей войн и которая должна определять судьбы мира.

«Народы ничто, а они должны стать всем»,— говорит писатель устами солдат первой мировой войны в романе «Огонь». «Народы должны столковаться через головы тех, кто так или иначе их угнетает».

В следующем за «Огнем» романе «Ясность» (1918) Барбюс развивал этот главный вывод. «Спасение только в тех, кого мир обрекает на каторжный труд и кого война обрекает на смерть»,— говорит он устами героя романа Симона Полена.

В этой книге Барбюс с тем же пафосом и силой логики раскрывает преступность империалистов, развязавших братоубийственную войну, призывает народы взять судьбу мира в свои руки. Своего героя, заводского служащего Симона Полена, прошедшего через лабиринт иллюзий и заблуждений, через унижения и страдания, через огонь войны, писатель подвел к осознанию необходимости бороться за социализм. В этой борьбе Симон Полен видит единственный выход для простых людей, подобных ему самому, — для тех людей, которых торговцы судьбами народов обрекают на страдания и гибель.

Герой Барбюса верит в победу сил мира над силами войны, верит в торжество истины, которая означает в его представлении интернациональное содружество народов, их мирное процветание. «Я верю, не взирая ни на что, в победу истины»,— говорит Полен.

В образе Симона Полена, его жизненной судьбе, эволюции взглядов, его размышлениях и действиях мы видим черты самого писателя Барбюса, который, «будучи самым мирным, скромным, законопослушным мелким буржуа» *, уходит на фронт, разделяет горькую участь солдата и становится борцом-революционером.

Барбюс связал борьбу за прекращение империалистической войны и за предотвращение новых войн с борьбой против империализма; он отобразил в своих произведениях нарастание революционного сознания и революционного движения масс в период первой мировой войны, отразил проникновение социалистической идеологии в умы миллионов простых людей. Путь Барбюса был поучителен для многих других литераторов, как его современников, так и писателей последующих поколений.

---

* В. И. Ленин, Сочинения, т. 29, стр. 479.

Идейное новаторство Барбюса неразрывно сочетается с его художественным новаторством. Глубокие реалистические принципы творчества Барбюса основаны на стремлении выразить ту социальную правду, которую осознают угнетенные и эксплуатируемые. Новаторские черты реализма Барбюса в том, что в изображенных писателем социальных картинах сверкают, как сказал Горький, «огоньки нового сознания».

Романист и критик Жан Фревиль, рассматривая творческие принципы Барбюса в статье «Реалист XX века», справедливо делает выводы о нем, как о художнике, который взял в свои руки инструмент, завещанный по наследству предшественниками — крупнейшими французскими писателями-реалистами, — и поставил его на службу восходящему классу: «Помогая массам осознать условия их бытия, их будущее, участвуя в их битвах, Барбюс проложил путь к социалистическому реализму, который прогрессивные писатели провозглашают сегодня».

Смелый художник и неутомимый политический боец, Барбюс собирал людей доброй воли под знаменами борьбы против войны, разгула реакции и милитаризма.

Эти цели писатель преследовал, создавая вместе с другими литераторами и общественными деятелями Ассоциацию бывших участников войны, а затем группу «Кларте», активно участвуя в созыве международных конгрессов в защиту мира и культуры.

Манифест группы «Кларте» — «Свет среди бездны» (1920) — ярчайший публицистический документ своего времени, воплотивший тревоги передовой интеллигенции и ее думы о будущем человечества. Неослабевающая сила и актуальная значимость книги «Свет среди бездны» — в разоблачении современного буржуазного общества, которое, как писал Барбюс, «показало себя в зловещем свете, противоречиях, затем руинах войны», законы которого направлены «против народного блага» и для которого война — «такое же нормальное и естественное явление, как всеобщая нищета и порок». Активная роль книги Барбюса также в том, что она указывает путь предотвращения войн, призывает всех людей доброй воли объединиться, чтобы преградить дорогу милитаризму, обуздать врагов миролюбивого человечества, врагов прогресса.

И сейчас со всей остротой и гневом звучат в манифесте «Свет среди бездны» слова Барбюса, направленные против империалистических кругов, вскармливающих германский милитаризм и фашизм. Барбюс предупреждал в свое время соотечественников и западных соседей о страшной угрозе для народов всего земного шара, таящейся в действиях империалистов, которые «из политических и классовых соображений» поощряли немецких реваншистов, перевооружали Германию. Политике вскармливания милитаризма и реваншизма Барбюс противопоставлял требование разоружения.

Барбюс созывал под знамена борьбы против фашизма и войны всех людей доброй воли. «От него берет начало все движение за единый фронт, за международную антифашистскую солидарность»,— говорил о Барбюсе Ромен Роллан.

Революционный протест Барбюса был направлен против всех форм социального, национального и расового угнетения. В известной книге «Палачи» он гневно обличал фашистских временщиков балканских стран, которые разнузданным белым террором стремились подавить социальный протест, антифашистское, демократическое движение. В публицистических выступлениях и рассказах 20—30-х годов Барбюс заклеймил позором колонизаторов и расистов («Под натиском цивилизации», «Орден почетного легиона», «Кровавый источник»).

Анри Барбюс был писателем нового типа, который формировался в практике антиимпериалистической, антивоенной борьбы. Он завещал последующим поколениям литераторов быть на высоте их гражданской миссии, не замыкаться в скорлупе индивидуализма, в башне «чистого искусства», а участвовать всей силой своего творчества в битвах за социальный прогресс. «Романист, создающий книгу,— писал он,— должен быть участником того великого общественного дела, которое необходимо для грядущего человечества».

Прогрессивные литераторы современной Франции в новых условиях развивают традиции борьбы за мир, опираясь на опыт своих предшественников.

Многими нитями связана с заветами Барбюса борьба против подготовки войны, против возрождения германского милитаризма, которую ведут сегодня патриотиче-

ские силы Франции. В этой борьбе, как бы перекликаясь с Барбюсом и его современниками, объединяются представители различных партий и социальных групп, художники различных эстетических и философских направлений.

Показательны в этом плане, например, совместные выступления представителей широких кругов французской интеллигенции против перевооружения Западной Германии и подготовки атомной войны. В апреле нынешнего года во Франции проходил сбор подписей под Обращением Всемирного совета мира за объявление вне закона атомной войны. Среди французских писателей, присоединившихся к этому обращению, были Луи Арагон, Пьер Гаскар, Жан-Поль Сартр, Симона де Бовуар и многие другие.

Новым свидетельством сплочения демократических и национально-патриотических сил в стране явилась национальная ассамблея миролюбивых сил Франции, состоявшаяся нынешней весной в пригороде Парижа Дранси. В ее работе приняли участие многие литераторы. Председательствовавший на заседаниях ассамблеи Веркор приветствовал ее участников, «которые символизируют пересекающую все границы волю народов противостоять силам войны».

Участники ассамблеи — писатели — вместе с другими представителями народа возвысили свой голос против поощрения милитаризма и фашизма. С трибуны ассамблеи звучали речи о большом общественном и гуманистическом долге писателя — бороться против черных сил войны, служить всей силой своего искусства благородным целям миролюбивого человечества. Выступившая от имени Национального комитета писателей Франции Марсель Оклер призывала коллег-соотечественников служить своим пером делу укрепления всеобщего мира и счастья людей: «Сегодня писатель не может эгоистически склоняться над своим произведением, в котором он видит самоцель. Оно будет мертворожденным, если не звучит в унисон с великими надеждами всех народов». Говоря о требованиях к писателю создавать большие произведения, которые выражали бы идеи сотрудничества и согласия людей доброй воли, служили делу укрепления мира, Марсель Оклер напомнила уроки великих писателей прошлого, и среди них — Анри Барбюса.

Продолжение и развитие идейных и художественных принципов, за которые боролся Анри Барбюс, можно видеть во многих произведениях современной французской литературы и прежде всего в тех, которые разоблачают войны, развязываемые империалистами, разоблачают колониальный разбой, фашистское мракобесие, расовую дискриминацию. Таких произведений — очень разнообразных по своим идейным и художественным качествам — вышло немало во Франции в последнее десятилетие.

Советскому читателю хорошо известен роман «Коммунисты» Арагона, который был одним из сподвижников Барбюса в рядах Народного фронта и Ассоциации революционных писателей в тридцатых годах. Подобно тому как Барбюс в романах «Огонь», «Ясность» и публицистике послевоенных лет разоблачил виновников первой мировой войны, показал ее неприкрашенное лицо, Арагон разоблачает в своем романе виновников второй мировой войны — немецких, английских, французских империалистов.

Прощаясь с покойным Анри Барбюсом, Арагон говорил: «Мы не забудем урока, почерпнутого нами из книги Барбюса «Огонь». И, быть может, эти уроки помогли Арагону в создании выдающегося произведения о больших народных силах современной Франции, ведущих борьбу против империализма и войны. Арагон в наши дни показывает путь к прочному миру. Этот путь — в активных действиях народных масс, в их борьбе против фашизма и сил империалистической реакции. Арагон рисует борьбу народных масс, которую возглавляют коммунисты, ведущие герои романа. Арагон воплотил в своем крупнейшем произведении опыт борьбы прогрессивных патриотических сил, которая нарастает, приобретает новые формы. Естественно поэтому, что и эстетические принципы, которые во многом роднят творчество Барбюса и Арагона — принципы социалистического реализма, — получают дальнейшее развитие у Арагона.

С Барбюсом перекликаются голоса наших современников, которые разоблачили грязную войну французских колонизаторов в Индокитае, преступления империалистов, развязавших войну в Корее.

Одно из таких произведений — роман Пьера Куртада «Черная река». Куртад отобразил процесс прозрения многих солдат и офицеров, одурманенных ранее империалистической пропагандой и брошенных

в огонь кровавой схватки. Его книга передает нарастание протеста простых людей против происков империалистических заговорщиков.

Сам ход исторических событий, те колоссальные изменения, которые происходят в сознании и судьбах народов в результате их освободительной и антивоенной борьбы, подводят все более широкие круги писателей к осознанному творческому служению силам мира и социального прогресса.

Во Франции растет число книг, авторы которых отстаивают идеи мира и гуманизма, осуждают расизм, идеи господства одних наций над другими, снимают ореол с военных «подвигов», совершенных во имя этого господства, выражают сочувствие народам, выходящим на путь свободного развития, берущим судьбы мира в свои руки.

Идейное и художественное наследие Барбюса, которое бережно хранят и творчески используют прогрессивные писатели современной Франции, помогает им в борьбе за мир и передовую культуру, участвует в этой борьбе.

Мао Дунь

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО И ВСЕСТОРОННЕ РАЗОБЛАЧАТЬ ВЗГЛЯДЫ ХУ ФЫНА НА ЛИТЕРАТУРУ И ИСКУССТВО

В последнее время на страницах китайской печати развернулась критика взглядов философа-прагматиста Ху Ши, который в течение тридцати с лишним лет был признанным главарем реакционной буржуазной идеологии в Китае. Антинаучные, антинародные воззрения Ху Ши, который своими трудами в области классической литературы преследовал цели борьбы с революцией, в свое время оказали значительное влияние на деятелей литературы и искусства Китая. Влияние этих воззрений на некоторых представителей интеллигенции еще не изжито и в настоящее время. Об этом свидетельствуют антимарксистские, совпадающие с воззрениями Ху Ши концепции китайского литературоведа и критика Юй Пин-бо, получившие выражение в его исследовании величайшего произведения классической китайской литературы «Хунлоумын» *, а также буржуазно-идеалистические, близкие к воззрениям Ху Ши и во многом совпадающие с ним глубоко враждебные народу взгляды Ху Фына на литературу и искусство. В широкой дискуссии, которая развернулась одновременно с критикой воззрений Ху Ши и в ходе которой были разоблачены антимарксистские взгляды Ху Фына, приняли участие многие видные деятели науки, литературы и искусства. 8 декабря 1954 года критике буржуазно-идеалистических взглядов Ху Фына было посвящено специальное расширенное заседание президиумов Всекитайской ассоциации работников литературы и искусства и Союза китайских писателей. Эта критика, как писала газета «Жэньминьжибао», «ставит своей целью искоренить влияние буржуазно-идеалистических взглядов и широко распространить среди интеллигенции и народных масс идеи диалектического и исторического материализма» (передовая статья «Развернуть критику буржуазно-идеалистических взглядов» в номере от 11 апреля 1955 года).

В мае 1955 года в печати были опубликованы личные письма Ху Фына к одному из его единомышленников Шу У, из которых стало ясно, что буржуазно-идеалистические взгляды Ху Фына на литературу и искусство — не просто заблуждение ученого-литературоведа, подпавшего под влияние буржуазной идеологии; эти письма свидетельствуют о том, что уже в течение многих лет Ху Фын занимался тайной антипартийной, антигосударственной деятельностью. Письма Ху Фына исполнены ненависти к коммунистической партии и народно-демократическому строю.

---

* «Хунлоумын» («Сон в красном тереме») — широко известный в Китае роман Цао Сюэ-циня (XVIII век), изобличающий нравы и быт господствующего класса феодального общества. Буржуазное литературоведение отрицало социальное значение романа.

Установлено, что Ху Фын был тесно связан с империалистической и гоминдановской разведками. В дальнейшем Ху Фын и его группа были полностью разоблачены как злейшие враги китайского народа.

На состоявшемся 25 мая 1955 года совместном расширенном заседании президиумов Всекитайской ассоциации работников литературы и искусства и Союза китайских писателей с докладом об антипартийных и антинародных действиях Ху Фына и его группы выступил Го Мо-жо. Заседание приняло решение об исключении Ху Фына из Союза писателей, а также внесло предложение о лишении его полномочий депутата Всекитайского собрания народных представителей.

Ниже мы помещаем статью известного китайского писателя Мао Дуня, опубликованную в пятом номере журнала *«Вэньибао»* («Литература и искусство») от 15 марта 1955 года.

Разоблачение антинародной деятельности и вражеских взглядов Ху Фына в китайской печати продолжается. Высказывания ряда видных деятелей культуры приводятся в этом номере нашего журнала в разделе «Из месяца в месяц».

Борьба против буржуазного идеализма, проводимая сейчас у нас по всей стране, имеет крайне важное значение для идеологического воспитания работников литературы и искусства. Начав с критики буржуазных взглядов в области изучения романа «Хунлоумын» и распространив, далее, эту критику на систему взглядов Ху Ши, наши литературные круги начали разоблачение антимарксистских, антиленинских взглядов Ху Фына в области литературы, которых он придерживался в течение многих лет. Необходимо последовательно и всесторонне развертывать эту критику, с тем, чтобы повысить уровень марксистского воспитания деятелей литературы и искусства, усилить сплоченность их рядов и быть на высоте основных государственных задач. Решение по этому вопросу, принятое на расширенном заседании президиума Союза китайских писателей 5 февраля 1955 года, было правильным и своевременным.

Духовными отцами Ху Фына являются Джемс и Дьюи; его философией является прагматизм — разновидность буржуазного идеализма. Свои от начала до конца буржуазно-идеалистические взгляды на литературу и искусство Ху Фын искусно маскирует под марксизм при помощи извращенных, вырванных из контекста высказываний классиков марксизма-ленинизма. Вследствие этого взгляды Ху Фына на литературу и искусство тем более опасны, тем более способны вводить в заблуждение. Об этом свидетельствуют и факты.

Первоосновой взглядов Ху Фына на литературу и искусство является так называемый «субъективный боевой дух». Какие бы Ху Фын ни давал фразеологически отличающиеся одно от другого объяснения, что такое его «субъективный боевой дух» (а это он делал со дня выдвижения своей теории до самого последнего времени, вплоть до опубликования брошюры «Взгляды Ху Фына на литературу и искусство» в качестве приложения к «Вэньибао»), как бы он ни маскировал эти формулировки цитатами из классиков марксизма-ленинизма, все его ухищрения сводились лишь к тому, чтобы скрыть сущность своей теории. А сущность ее заключается в том, что, по Ху Фыну, решающим моментом для писателя и его творчества является не знание писателем объективного мира, не отражение объективной реальной жизни, а «субъективный боевой дух». Ху Фын создал следующую «формулу творчества»: литературное творчество является «соединением» (или «сплавом») «субъективного духа» с «объективной истиной»; процесс же литературного творчества состоит в том, что писатель «объемлет» мир своим «субъективным духом», в результате чего происходит «автоэкспансия» писателя. По его собственному утверждению, это и есть реализм. Однако это реализм, вымышленный Ху Фыном, реализм, не имеющий ничего общего с реализмом в нашем понимании.

Что же такое так называемый «субъективный дух» писателя? В широком смысле слова, говоря о субъективном моменте в творчестве писателя, мы имеем в виду систему взглядов и умонастроение писателя, его платформу; вопрос же о платформе писателя является основным, принципиальным вопросом.

Классовая позиция писателя, на основе которой он пишет свои произведения, определяет и то, кому служат его произведения. Однако так называемый «субъективный дух» Ху Фына как раз смазывает вопрос о платформе писателя. Используя хитроумные софизмы, Ху Фын к тому же силится доказать, что поскольку писатели — выходцы из мелкой буржуазии также связаны с народом, то их платформа, по существу, совпадает с платформой рабочего класса. Это утверждение Ху Фына полностью противоречит указаниям Мао Цзэдуна, данным им в «Выступлениях на совещании по вопросам литературы и искусства в Яньани». Упорно цепляясь за свою теорию надклассового «субъективного духа» и отрицая, что писателю необходимо приобретать коммунистическое мировоззрение, окунаться в гущу рабочих, крестьян и солдат, Ху Фын выступает против идеологического перевоспитания писателей, против того, чтобы они овладевали коммунистическим мировоззрением.

Ху Фын не согласен с тем, что писателям необходимо владеть коммунистическим мировоззрением. Дико извращая и искажая высказывания Сталина о социалистическом реализме, он использует их для оправдания своей собственной вздорной теории, направленной против марксизма-ленинизма. (Я не останавливаюсь здесь на этом вопросе, так как он уже был освещен в статье Цай И «Критика буржуазно-идеалистических взглядов Ху Фына на литературу и искусство», опубликованной в третьем номере «Вэньибао» за 1955 год.) Помимо того, он голословно заявляет, что за последние несколько лет «все писатели» якобы были «до потери дара речи запуганы», словно ножом, «теорией», по которой писатель, «не обладающий совершенным, безупречным коммунистическим мировоззрением, не может заниматься практической творческой работой». Это просто-напросто наглая ложь. Позвольте спросить Ху Фына: кто же утверждал, будто нельзя писать, не обладая прежде всего «совершенным, безупречным коммунистическим мировоззрением»? Обратимся к фактам. Когда и кто запугивал китайских писателей «до потери дара речи»? Мы действительно стоим за то, чтобы писатели овладевали коммунистическим мировоззрением, так как, овладев этим мировоззрением, мы сможем получить более правильное представление об объективном мире, сможем воспитывать народ в подлинно социалистическом духе. Никто, кроме клеветника Ху Фына, не утверждал, будто коммунистическое мировоззрение можно приобрести между утренней и вечерней зарей, прочитав несколько книжек. Наоборот, мы постоянно предостерегали от такого одностороннего, ошибочного взгляда и подчеркивали важность сочетания теоретической учебы с жизненной практикой (включая и творческую практику). Решая вопросы жизненной практики, осуществляя идеологическое перевоспитание, разрешая вопрос о переходе мелкобуржуазных писателей на позиции рабочего класса, мы исходим из указаний Мао Цзэ-дуна о том, что наши работники литературы и искусства «обязаны, глубоко войдя в массы рабочих, крестьян и солдат и с головой окунувшись в практическую борьбу, в процессе изучения марксизма, изучения общества, постепенно перейти на сторону рабочих, крестьян и солдат, на сторону пролетариата»*. Ломясь в открытую дверь, клевеща направо и налево, Ху Фын разоблачил себя как противника линии Мао Цзэ-дуна в области литературы и искусства, противника изучения марксизма-ленинизма и идеологического перевоспитания.

Ху Фын весьма любит ссылаться на Бальзака как на пример, свидетельствующий о том, что даже писатель — носитель реакционной идеологии может создавать произведения, в которых глубоко анализируются и вскрываются социальные противоречия, лишь бы он, этот писатель, был верен искусству, был верен действительности. Совершенно ясно, что Ху Фын хочет подчеркнуть этим все тот же свой тезис, будто бы не существенно, является писатель носителем передовой идеологии или нет. Приводя в пример Бальзака, Ху Фын пытался выступить против партии, призывающей изучать марксизм-ленинизм.

Однако никто не согласится с тем, что из этого примера следует, будто писатели нового Китая, в котором основной руководящей силой является коммунистическая партия, а теоретической основой идеологии является марксизм-ленинизм, должны следовать тем путем, которым шел Бальзак, умерший столетие назад. И равным образом никто не согласится с тем, что из примера с Бальзаком следует сделать

* Мао Цзэ-дун, Избранные произведения, М., 1953, т. 4, стр. 137.

вывод: если у писателей современного Китая, верных искусству, верных действительности, выработается мировоззрение рабочего класса, то это может помешать им писать хорошие произведения и даже «отбить у них охоту к творчеству»; нет, не об этом говорят факты! Факты говорят о том, что в настоящее время писатели, искренне желающие служить народу, остро почувствовали, что именно из-за своей более чем недостаточной подготовленности в области марксизма-ленинизма они не могут ясно разглядеть главные и второстепенные противоречия острой и сложной классовой борьбы переходного периода, а вследствие этого и не могут повысить идейность своих произведений.

Заявляя, что «жизнь есть повсюду», Ху Фын, в сущности, выступает против того, чтобы писатели «глубоко вошли в массы рабочих, крестьян и солдат и с головой окунулись в практическую борьбу». Чтобы отстоять свою ошибочную формулировку и скрыть, что он против того, чтобы писатели глубоко вошли в массы рабочих, крестьян и солдат, с головой окунулись в практическую борьбу, он в самое последнее время подверг нападкам сущность нашей установки на отражение социальных противоречий, назвав ее «теорией различия тем» («Взгляды Ху Фына на литературу и искусство»). «Теория различия тем» является злостной выдумкой Ху Фына, рассчитанной на то, чтобы взвалить вину на плечи других. На самом же деле мы считаем, что если литература и искусство хотят быть высокоидейными, они должны показывать основные силы, двигающие общество вперед; если литература и искусство стремятся правильно отразить облик эпохи, они должны показывать борьбу и основные противоречия реальной жизни, должны изображать передового человека-героя, то есть создавать героев положительных. Основываясь на этом, писатель должен искать темы в сложной, многоликой жизни. Однако, не считаясь с фактами, Ху Фын голословно заявляет, что таким образом устанавливается «различие в достоинствах тем», а это ведет к удушению желания творить. Нет тем больших и маленьких, однако по смыслу самого этого понятия есть темы важные и незначительные. Например, загнивание буржуазии — это социальная действительность, однако существует большая разница в том, будем ли мы лишь описывать загнивание буржуазии как таковое, или же покажем, как гнилая жизнь буржуазии развращает наши партийные и государственные кадры. И дело не только в различном подходе к теме, но и в различии результатов, которые могут получиться в том и другом случае. В случае, если мы лишь описали загнивание буржуазии, мы, самое большее, будем преследовать этим лишь цели обличения, не говоря уже о том, что весьма возможен и побочный результат — развращение читателя. В случае же, если мы опишем, как буржуазия своим загниванием развращает кадровых работников партийного и государственного аппарата, то тем самым осветим уголок острой и сложной классовой борьбы современности, и наше описание будет иметь действительно воспитательное значение. Вот как мы понимаем вопрос о том, как должен писатель выбирать тему. Ну, а Ху Фын? С одной стороны, сфабриковал «теорию различия тем», чтобы ввести людей в заблуждение, с другой стороны, при помощи абстрактного тезиса о том, что нет тем больших и маленьких, попытался скрыть, что он против того, чтобы литература служила политике.

В вопросе о теме Ху Фын пытается опереться в качестве примеров на Золя и Синклера, утверждая, что, выбрав «большую тему», писатель не обязательно правильно отразит действительность, что иногда и в этом случае (как у Золя и Синклера) действительность бывает отражена неверно. Однако и на этот раз Ху Фын ломится в открытую дверь. Я не помню, чтобы кто-либо утверждал, что выбор «большой темы» непременно обусловливает правильное отражение действительности. Своим примером Ху Фын бьет лишь самого себя. Ху Фын считает, что передовое мировоззрение не важно для писателя, однако Золя и Синклер, описывая жизнь рабочих, классовую борьбу, потому и не смогли передать действительность без искажений, что в их мировоззрении были слабые стороны. Если Ху Фын считает мировоззрение рабочего класса ножом, занесенным над головой писателя, если он, опять-таки, и «большую тему» считает ножом, занесенным над головой писателя, то его теория «соединения» (или «сплава») «субъективного духа» и «объективной истины», о которой он столь упорно трубит, фактически отрицает роль революционного мировоззре-

ния для писателя и является «соединением» (или «сплавом») некоей надклассовой духовной силы с жизнью той социальной среды, к которой данного писателя влечет больше всего. Поэма Ху Фына «Время началось», безусловно, является проявлением этой «теории» на практике.

В вопросе об идеологическом перевоспитании Ху Фын выступает против точки зрения Линь Мо-ханя и Хэ Ци-фана, заключающейся в том, что идеологическое перевоспитание неминуемо осуществляется в двояком плане: через изучение революционной теории марксизма-ленинизма и через участие в практической борьбе масс; противопоставляет ей свое «авторитетное мнение»: идеологическое перевоспитание осуществляется лишь через творческую практику. Ху Фын считает творческую практику коренным вопросом, ключом к идеологическому перевоспитанию и, где только возможно, издевается над всеми теми, кто хочет осуществить идеологическое перевоспитание в процессе изучения марксизма-ленинизма и участия в практической борьбе масс. Здесь нам лучше всего будет обратиться к фактам. Союз писателей, руководя идеологическим перевоспитанием писателей, осуществляет это триединым способом: через изучение марксизма-ленинизма, через участие в практической борьбе масс и через творческую практику.

Что касается творческой практики, то писатели отправляются в деревни, на заводы, шахты и воинские части с определенными творческими планами и, участвуя в процессе жизненной практики, постоянно работают над своими произведениями. Поэтому утверждение Ху Фына относительно того, что «творческая практика как раз и изъята», является совершеннейшей ложью! Зато в формулировке Ху Фына, согласно которой идеологическое перевоспитание осуществляется через творческую практику, как раз и изъят ключ к творческому перевоспитанию: овладение марксизмом-ленинизмом и участие в практической борьбе масс. Таким образом, становится как нельзя более ясным, что, используя импонирующий писателям лозунг защиты творческой практики, Ху Фын сводит на нет задачу идеологического перевоспитания.

Не касаясь пока целей и намерений Ху Фына, постараемся докопаться до сути его «теории», по которой выходит, что писатели завершают идеологическое перевоспитание через творческую практику. Ху Фын утверждает: «У писателя, верного действительности, — у писателя-реалиста — опытный материал, почерпнутый им в жизни (фактический материал, положенный в основу произведения), вступает в процессе творчества в непримиримую борьбу с осмыслением этого материала (с его идеологией), с его симпатиями и антипатиями. В процессе этой борьбы благодаря мучительным поискам со стороны писателя опытный материал раскрывает свою скрытую внутреннюю логику, которая, в свою очередь, вносит изменения в осмысление писателем материала и в его симпатии и антипатии (в его субъективный мир), и тут только достигается единство субъективного и объективного, рождается произведение» («Взгляды Ху Фына на литературу и искусство»).

Вышеприведенная формулировка является новейшим, 1954 года, исправленным вариантом теории Ху Фына, согласно которой литературное творчество является «соединением» (или «сплавом») «субъективного духа» с «объективной истиной», а процесс литературно-художественного творчества состоит в том, что писатель «объемлет» мир своим «субъективным духом» и достигает «автоэкспансии». Ху Фын предпринял здесь еще одну попытку доказать, что ключом идеологического перевоспитания является творческая практика. Однако он доказал здесь не что иное, как свои собственные идеалистические взгляды на искусство.

Приведенные выше слова несут на себе печать свойственного Ху Фыну стиля: мудрословия и смысловой расплывчатости. Но за витиеватой словесной шелухой мы легко обнаружим истинные взгляды Ху Фына; писатель (субъективное начало) через противоречия и непримиримую борьбу с действительным миром (объективное начало) в конце концов достигает «автоэкспансии», которая приводит к «единству субъективного и объективного, рождению произведения». Ху Фын полагает здесь, что ключевой вопрос — каким образом писатель познает объективный мир и постигает закономерности его развития — заключается всего лишь в том, совпадает или не совпадает субъективное с объективным, и в том, как объективное исправляется и даже опровергается субъективным. Мы считаем, что подобное утверждение ставит вещи с ног на голову. Прежде всего, участвуя в практи-

ческой борьбе масс, писатель постепенно приобретает знание объективного мира и постепенно постигает закономерности его развития. И было бы удивительно, если бы писатель, приняв участие в практической борьбе, не сумел постепенно получить правильное знание объективного мира и, оставшись в неведении относительно закономерностей его развития, сразу бы все понял в процессе творческой практики. Ху Фын считает, что участие в практической борьбе не дает писателю идеологического перевоспитания, что писатель перевоспитывается идеологически лишь в процессе творческой практики, а это совершенно не согласуется с опытом наших современных писателей. Однако это полностью согласуется со всей системой идеалистических взглядов Ху Фына на литературу и искусство.

Что же представляет собой творческий процесс писателя? Согласно Ху Фыну, писатель, задумав свое произведение, еще не имеет ни ясного представления о сюжете, ни уверенности в том, что он достаточно правильно понимает действительность; но у него хоть отбавляй «субъективного боевого духа», опираясь на который писатель осуществляет «духовную авантюру» и затем, «взаимопорождая и взаимоисключая», «протискиваясь», «объемля», вступает в «борьбу не на жизнь, а на смерть» и достигает «единства субъективного и объективного, рождает произведение». Если же кто-либо представит себе творческий процесс иначе, Ху Фын тотчас выступит со словами о «сочинительстве на заданную тему», «выполнении заказа», «удушении искусства, удушении писателя». В своем творчестве Ху Фын, конечно, осуществлял на практике свою «теорию»; доказательством тому его поэма «Время началось». Каков характер, за исключением нескольких стихотворных строк призывно лозунгового характера, лирической части поэмы, являющейся ее основой? Нашла ли в ней отражение объективная истина? К сожалению, мы находим там лишь отражение буржуазно-индивидуалистических настроений, то есть всего лишь «взлет» «субъективного духа» автора. В поэме «Время началось» мы на конкретном примере познакомились с открытием, которым так гордится Ху Фын: его «теорией автоэкспансии».

Позволительно спросить, считает ли сам Ху Фын, что его идеологическое перевоспитание продвинулось вперед в процессе творческой практики, каковой явилось написание поэмы «Время началось»?

Посмотрим теперь, что представляют собой столь восхваляемый Ху Фыном писатель Лу Лин и его произведения. Пожалуй, не приходится особо доказывать, что во взглядах на литературу и искусство Лу Лин с Ху Фыном — одного поля ягода. По мнению Ху Фына, произведения Лу Лина вполне согласуются с его «теорией». Как же проявилась в них столь любезная сердцу Ху Фына «первобытная мощь народа, открывшая широкое поле для сюжета новой литературы», «стихийная борьба, которая с каждым шагом отодвигает точку приложения силы в завтрашний день отчизны», как же отразилась в них объективная истина? А истеричные рабочие из книг Лу Лина, которые так любит Ху Фын и которые он называет произведениями писателя, «уходящего от поверхностных покровов общественного строя вглубь на раскопки ростков человеческих характеров»,— настоящие ли это рабочие, или только перевоплощения самого автора в одежде рабочих? Как уяснить себе хуфыновское «единство субъективного и объективного» из произведений Лу Лина? Откуда видно, что Лу Лин продвинулся вперед в деле идеологического перевоспитания в процессе творческой практики?

Говорить, как это делает в своих работах Ху Фын, что идеологическое перевоспитание осуществляется через творческую практику, по сути дела, все равно, что отрицать идеологическое перевоспитание.

Таким образом, извращение реализма Ху Фыном, его издевательское отношение к изучению марксизма и участию в практической борьбе, его злобные нападки на идеологическое перевоспитание писателей — все это тесно связано одно с другим, сплетено в один клубок, образует единую систему взглядов, возникших и сформировавшихся на основе буржуазно-идеалистической идеологии. Хушистский идеализм (прагматизм) в некоторых областях нашей исследовательской работы сходит еще за подлинно научный метод. В области литературы и искусства еще до сих пор имеет хождение идеализм Ху Фына. Ху Фын обманывает молодежь, обманывает читателя...

Во взглядах на литературу и искусство Ху Ши и Ху Фына роднит нигилистическое отношение к национальному наследию. Поистине Ху Фын даже превзошел Ху Ши

в презрении к классической литературе и клевете на национальное культурное наследие. И здесь Ху Фын прибегает к своему обычному трюку, извращая и выдергивая из контекста цитаты из произведений Ленина и Сталина, чтобы замаскировать свои бредни. (Я не буду особо останавливаться здесь на этом вопросе, так как уже опубликовано достаточно статей с критикой нигилистической позиции Ху Фына по отношению к национальному культурному наследию.) Наиболее возмутительно то, что он считает наше культурное наследие «остывшим трупом». Он против того, чтобы учиться у нашей классической литературы, заявляя, что это все равно, что заставлять «китайцев наших дней задыхаться в трупном смраде». Он не только категорически утверждает, что в нашем культурном наследии больше отбросов, чем подлинных ценностей (следует заметить, что, говоря о «подлинных ценностях» нашего культурного наследия, он не признает за ними их демократического характера), но и без каких-либо к тому оснований утверждает, что «даже эти «подлинные ценности» мы можем рассматривать лишь как достижения древних эпох». В силу этого Ху Фын решительно отрицает необходимость освоения и развития прекрасных традиций нашей национальной культуры. Он клевещет на проводимые в настоящее время мероприятия по освоению и развитию прекрасных традиций национальной культуры, являющиеся составной частью нашего курса в области литературы и искусства, говоря, что «реставрация старого духа в национальной литературе и искусстве является исторической ошибкой». Полностью игнорируя факты, болтая, что взбредет на ум, он утверждает, что за несколько лет, прошедших со времени освобождения, «эта теория реставрации старого духа в национальной литературе и искусстве привела к тому, что старая литература и искусство стали господствовать в сознании людей». Он полностью игнорирует такие неоспоримые факты, как неоднократные призывы к деятелям литературы и искусства со стороны партии, правительства и общественных организаций (Всекитайской ассоциации работников литературы и искусства, Союза китайских писателей и других) проводить линию Мао Цзэ-дуна: «устранять старое, давать новое»,— игнорирует призыв изучать передовой опыт Советского Союза и стран народной демократии в области теории и практики литературы и искусства, а также изучать классическую и революционную литературу капиталистических стран. Игнорируя эти факты, он злостно клевещет и подвергает нападкам проводимую ныне политику в области литературы и искусства.

«Теория» Ху Фына — это буржуазный идеализм в обличье марксизма; его линия направлена против линии Мао Цзэ-дуна в области литературы и искусства, его деятельность — сектантская деятельность по сколачиванию группировки.

Свою сектантскую деятельность Ху Фын проводил планово и последовательно. Группа Ху Фына яростно пропагандировала идеалистические бредни о «субъективном боевом духе», враждебно относилась к революционным и прогрессивным писателям, стоявшим вне ее, до хрипоты превозносила писателей, входивших в ее состав. Выступление Ху Фына на объединенном расширенном заседании президиумов Китайской ассоциации работников литературы и искусства и Союза китайских писателей в декабре 1954 года явилось, можно сказать, классическим проявлением его сектантства: критику в адрес А Луна и Лу Лина он неизменно характеризовал как «нападки», заявляя, что это «может погубить двух представителей молодых сил». Глядя на мир сквозь мутные очки сектантства, он пытался уверить всех, что существует какая-то литературная группировка, которая якобы имеет своего полновластного руководителя и вездесущих представителей по всей стране. Ху Фын начал злостные нападки на Линь Мо-ханя и Хэ Ци-фана, опубликовавших статьи с критикой в его адрес, выставив их как представителей этой «сектантской группировки» (эти нападки и являются основным содержанием брошюры «Взгляды Ху Фына на литературу и искусство»). Прикрываясь борьбой против им же самим вымышленной сектантской группировки, к которой он относил Линь Мо-ханя и Хэ Ци-фана, Ху Фын пытался проводить свою собственную, от начала до конца сектантскую деятельность. В своей работе «Предложения справочного характера» он предлагал прекратить издание печатного органа Союза писателей и местных литературно-художественных журналов, а вместо этого издавать несколько журналов от имени группировок, то есть пытался подменить единое партийное руко-

водство в области литературы и искусства руководством со стороны своей собственной сектантской группировки (см. статью Ли Лун-му «Хуфыновский «метод» работы в области литературы и искусства»).

Буржуазно-идеалистические взгляды Ху Фына, проводившаяся им линия, направленная против линии Мао Цзэ-дуна в литературе и искусстве, а также его продолжительная, от начала до конца сектантская деятельность по сколачиванию группировки — все это явилось серьезной опасностью для развития нашей литературы и искусства. Его идеалистические воззрения на литературу и искусство, которыми он торговал, нарядившись в тогу марксизма, вводили — да и сейчас еще способны ввести в заблуждение — некоторых молодых работников литературы и искусства. Его так называемые «субъективный боевой дух», «автоэкспансия» и так далее способны вызвать путаницу и даже найти отклик в сознании тех представителей мелкобуржуазной интеллигенции, которые еще не утвердились в материалистическом мировоззрении. Его бредни о том, будто «передовое мировоззрение может отбить охоту к творчеству», что «мелкобуржуазные писатели по сути дела связаны с народом» и т. д. и т. п.— все это может способствовать росту индивидуалистических настроений среди мелкобуржуазной интеллигенции, отталкивать ее от дела идеологического перевоспитания.

Всесторонняя и последовательная критика взглядов Ху Фына на литературу и искусство является отражением на идеологическом фронте острой и сложной борьбы переходного периода, является одним из этапов рассчитанной на долгий срок работы по внедрению материалистической идеологии рабочего класса среди широких кругов интеллигенции и изживанию остатков буржуазно-идеалистической идеологии. Вместе с критикой «Исследования о Хунлоумынс» Юй Пин-бо и критикой хушистской идеологии она явится хорошим уроком нашим работникам литературы и искусства. В каждой конкретной области нашей текущей работы мы должны, придерживаясь линии Мао Цзэ-дуна в области литературы и искусства, руководствуясь марксизмом-ленинизмом, разоблачать буржуазно-идеалистические взгляды Ху Фына на литературу и искусство, подвергать проверке свое мировоззрение и стиль работы, прививать вкус к дискуссиям для определения верности методов исследования, заложить основу для окончательного искоренения буржуазной идеологии и создания марксистско-ленинских кадров теоретиков литературы и искусства.

Б. Бялик

ЭСТЕТИКА В НАСТУПЛЕНИИ

По поводу книги А. Лефевра «Contribution á l'esthétique».

В последнее время в нашей печати все чаще публикуются выступления передовых зарубежных писателей и критиков по вопросам социалистического реализма. Интерес к этим выступлениям вполне оправдан, и можно лишь пожалеть, что они еще не получают у нас столь широкого и столь своевременного отражения, какого заслуживают. Сейчас уже не вызывает сомнений,— это стало особенно ясно после Второго съезда советских писателей,— что разработка проблем социалистического реализма приобрела международный характер.

Нельзя в наши дни считать себя стоящим на уровне современной литературной теории, не зная того, что делают в этой области Арагон, Го Мо-жо, Говард Фаст, Тодор Павлов, Жоржи Амаду, Анна Зегерс и многие другие литераторы Европы и Америки, Азии и Австралии. Такое расширение фронта передовой теории литературы не может не радовать и само по себе и как свидетельство несомненных успехов метода социалистического реализма в творчестве зарубежных писателей.

Характерно, что передовые зарубежные литераторы дискутируют уже не столько о возможности социалистического реализма в их странах, сколько о его возможностях. Характерно, что они говорят уже не о том, как врастает социалистический реализм в их национальные традиции, а о том, как он вырастает из этих национальных традиций. Соотношение социалистического и критического реализма интересует их уже не как отвлеченная проблема, а как вопрос творческой практики, как одна из конкретных задач руководства литературным процессом. И все эти вопросы ставятся ими в непрерывной, приобретающей все большую силу и целенаправленность борьбе с различными реакционными взглядами и принципами, со всем современным эстетическим вооружением империалистического лагеря. Мы должны повседневно и внимательно следить за этой борьбой, чтобы принимать в ней активное и действенное участие; нас обязывает к этому полувековой опыт развития социалистического реализма в нашей стране. Но мы можем и многому поучиться у наших зарубежных друзей. Они не просто повторяют пройденное нами, а решают сходные задачи в совершенно иных условиях, требующих постановки новых вопросов и нового подхода к некоторым старым проблемам.

К тем трудам, в которых смело и талантливо ставятся теоретические проблемы социалистического реализма, относится и книга французского философа-марксиста А. Лефевра «Contribution á l'esthétique», вышедшая в 1953 году во Франции и изданная в 1954 году под названием «Введение в эстетику» у нас. Укажем сразу же на неточность перевода заглавия. Лефевр рассматривает свою книгу (она составлена из полемических статей, которые были опубликованы в 1948—1949 году в журнале «Arts de France») не как эстетический «трактат» (такой «трактат» он надеется создать в дальнейшем), а именно как скромный «взнос» или «вклад» (contribution) в теорию, связанный с решением боевых задач современного французского искусства. Сознательно оставляя за пределами своего исследования ряд важных вопросов (напри-

мер, вопрос о типическом), Лефевр стремится положить своей книгой «начало теоретическому исследованию вопросов социалистического реализма, взятого как факт, как тенденция, действующая и пробивающая себе дорогу во всемирно-историческом масштабе» (стр. 12).

Эту мысль Лефевр развивает следующим образом. Наши научные представления должны, как известно, меняться с каждым новым, составляющим эпоху, открытием в области познания. В области художественного творчества таким открытием явился социалистический реализм, получивший развитие уже не только в советском искусстве, но и в передовом искусстве капиталистических стран, где им одержаны, особенно во Франции, серьезные победы. Отсюда следует вывод, что необходимо поднять на новую высоту и эстетическую теорию, обогатить ее основные понятия и осветить новым светом предшествующее художественное развитие человечества. «Разве формирование и развитие социалистического реализма, — спрашивает Лефевр, — не освещают историю искусства по-новому?» (стр. 29). Но решить все эти задачи можно лишь в том случае, если прочно опираться на указания классиков марксизма-ленинизма по вопросам эстетики и если пользоваться этими указаниями не как догмой, а как руководством к действию, к действию в новых исторических условиях, при современном состоянии искусства. Так подходит Лефевр к задачам эстетической теории, и такой подход, совершенно чуждый начетничеству и проникнутый духом новаторства, заслуживает горячего одобрения.

Изучая взгляды Маркса и Энгельса на искусство, чтобы с их помощью решать задачи, выдвигаемые литературой и живописью сегодняшней Франции, Лефевр посвящает главное внимание одному вопросу — вопросу о связи художественного творчества с трудом и общественной практикой. Как справедливо отмечает Лефевр, гениальные догадки о существовании такой связи содержались уже в гегелевской эстетике, но были погребены в ней под тяжестью спекулятивных построений. Только марксизм решил эту проблему, раскрыв истинное значение труда и общественной практики как процесса, в котором люди изменяют внешний мир и изменяют свою собственную природу, придавая своему сознанию и всем своим чувствам общественный и, значит, подлинно человеческий характер. На определенной ступени труда и общественной практики как прямое их порождение возникает способность к художественному творчеству и к эстетической оценке явлений. «Эстетическое чувство (или смысл) вырастает, таким образом, в ходе истории из естественного чувства,— пишет Лефевр.— Когда чувствующий орган обогащается, становясь как бы естественной опорой, проявлением и органом культуры, достигнутой на данном этапе, когда он становится «культурным органом» (благодаря всей общественной жизни и практике, а не только в смысле обычно понимаемой культуры), тогда рождается искусство» (стр. 38). Лефевр исходит из того положения Маркса, что человек утверждается в предметном мире не только через посредство мышления, а и через посредство всех чувств, что только таким путем он может выразить все богатство своих потребностей и что именно для выражения этого богатства служит художественное творчество. Произведение искусства концентрирует, сгущает в себе огромный труд людей, результаты долгих трудовых усилий человеческих масс; оно сгущает в себе вместе с тем результаты всего процесса познания мира и само активно участвует в этом процессе, постигая «существенные, глубокие тенденции действительности» и выдвигая «высшие идеалы человечества — типы, примеры для подражания» (стр. 45).

Рассматривая искусство в связи с общественной практикой и подчеркивая его специфику, Лефевр поднимает ряд сложных эстетических проблем. Интересно и по-своему подходит он к вопросу о том, почему искусство, являясь частью идеологической надстройки, не все умирает вместе с нею и с породившим ее базисом, а сохраняет иногда на века значение нормы и образца. Лефевр наносит при этом удары тем идеалистически мыслящим теоретикам, которые видят в непреходящей ценности великих художественных произведений доказательство независимости искусства от социальных условий, от классовой борьбы. В неразрывной связи с общественной практикой, все время корректирующей ошибки познания, Лефевр видит не препятствие, а необходимое условие и разгадку бессмертия великих художественных творений.

Можно согласиться с Марселем Корню, упрекающим Лефевра (в декабрьской книжке журнала «Pensée» за 1953 год) в недостаточном внимании к такому элементу

«беспрерывности» развития искусства, как национальные художественные традиции. Это, действительно, существенный пробел в общей постановке вопроса, которая в целом интересна и плодотворна. Заслуживают большого внимания и суждения Лефевра о содержательности формы, об идейной наполненности самого процесса «делания» произведения. Лефевр воюет в данном случае и против формалистов, говорящих только о форме и разрушающих форму, и против вульгаризаторов и упрощенцев, говорящих только о содержании и, по сути дела, обедняющих его. Отрадно видеть, как пафос высокой идейности сливается у Лефевра — и это находит опору именно в марксистском понимании сущности художественного творчества — с пафосом высокого мастерства.

Поучительно указать на тот факт, что в своих рассуждениях о сущности искусства и в ряде связанных с этим выводов Лефевр очень близко подходит к мыслям А. М. Горького, повидимому, непосредственно опираясь на его эстетическое наследие.

В своем докладе на Первом съезде советских писателей Горький развернул стройную систему взглядов на искусство, указав, что художественные произведения возникли первоначально из стремления «древних рабочих людей облегчить свой труд, усилить его продуктивность, вооружиться против четвероногих и двуногих врагов». Иной взгляд на искусство был, по мысли Горького, выдвинут идеалистами, впервые Платоном — «основоположником миропонимания, отвлеченного от процессов труда...» * (то же, в сущности, обвинение выдвигает против Платона и Лефевр). Отметив далее те пагубные последствия, которые имел и имеет для искусства буржуазного общества все более углубляющийся разрыв между трудом и мышлением, Горький указал на преодоление этого разрыва в условиях социалистического общества, создающее почву для нового художественного расцвета. Горький призывал советских писателей понимать труд как творчество, а творчество как труд, призывал не объявлять искусство «какой-то особенной сверхработой» **. Рассматривая художественное творчество не только как одну из форм познания, но и как одну из форм труда, Горький писал: «Всякий знает, что превратить слово в дело гораздо труднее, чем дело в слово. Литератор, работая, одновременно превращает и дело в слово и слово — в дело...» ***. Понятия «литературная техника», «литературное ремесло», художественное мастерство — звучали у Горького поистине гордо; он решительно протестовал против смешения «техники» и «формы», видя во второй результат первой, а в первой — глубоко познавательный процесс, подчиненный задаче раскрытия и воплощения типического. Стоит напомнить, что в статье «По поводу одной полемики», открывшей собой замечательный цикл выступлений Горького по вопросам языка художественной литературы, речь шла не только о полемике вокруг одной советской книги, но и о полемике, разгоревшейся в начале 30-х годов в среде французских литераторов. Возражая против эстетских выступлений некоторых французских писателей, не понимающих революционного смысла и культурной цели пролетарской литературы, Горький отвергал одновременно и те взгляды, которые сводились «в основном и скрытом своем смысле, к защите права работать плохо» ****.

Лефевр имеет особые причины делать упор на вопросах мастерства и отстаивать важное значение чувственно-практической стороны искусства. Он ведет борьбу против различных форм буржуазного «абстрактного» искусства и одновременно против продолжающихся выступлений вульгаризаторов в защиту «права работать плохо». Впрочем, здесь следует сделать одну оговорку. Обосновывая свои в целом верные выводы, Лефевр иногда в пылу полемики впадает в известные преувеличения. В его книге встречаются формулировки, которые могут создать впечатление, что он рассматривает искусство и познание как две различные, существующие отдельно друг от друга области человеческой деятельности. Маркс отличал художественное освоение мира от теоретического, от освоения его при помощи логических понятий, но это ни в малейшей степени не исключает того вывода, что художественное творчество является одной из форм познания действительности и притом одной из самых важных и самых действенных форм. Лефевр, разумеется, понимает это и пишет

* М. Горький, Собрание сочинений, т. 27, стр. 300, 301.
** Там же, т. 26, стр. 392.
*** Там же, т. 26, стр. 410.
**** Там же, т. 26, стр. 291.

об этом, но не всегда достаточно последовательно и точно. Неясность в изложении этой стороны проблемы усугубляется тем обстоятельством, что Лефевр несколько преувеличивает заслуги Канта в области эстетики, говоря, что Кант «нашел отличие искусства от познания» (стр. 23). Здесь следовало бы отметить, что Кант сам же затемнил и, в сущности, свел на нет свои догадки на этот счет, увидев в «эстетической способности суждения» ров, отделяющий «практический разум» от «теоретического», а не соединение их.

Указанную неясность в книге Лефевра усугубляет еще и то, что в главе, посвященной прежней эстетике, автор слишком быстро проходит мимо материалистических учений, которые раскрыли как раз познавательное значение искусства. В частности, очень много могло дать в этом отношении наследие Белинского, Чернышевского, Добролюбова, к которым Лефевр не обращается в своей книге.

Полемическим заострением, связанным с борьбой против «абстрактного» искусства, можно объяснить и то, что Лефевр употребляет иногда понятие «идеология» лишь в смысле системы отвлеченных представлений, и некоторые суждения Лефевра о различных моментах содержания искусства, особенно о «биологическом содержании». Лефевр оговаривается, что биологический момент приобретает в искусстве «высшее (не биологическое) значение» (стр. 66), и справедливо называет бессмыслицей «психоаналитическую» эстетику. При всем том он считает, что богатое идеологическое содержание не является обязательным признаком «великих произведений», что, например, «картина Тициана, изображающая обнаженное тело, вероятно, не отличается особенно сложным идеологическим содержанием» (стр. 88). Дело здесь именно в неточности употребления понятия «идеология», ибо Лефевр, разумеется, прекрасно понимает, что в творениях Тициана и других великих мастеров эпохи Возрождения самые принципы изображения человеческого тела означали решительную борьбу против мировоззрения средневековья и уже по одному этому имели глубочайшее идеологическое значение.

Как пишет Лефевр в предисловии к своей книге, он надеется, что она станет предметом обсуждения, результаты которого помогут автору создать трактат по эстетике. Тем более необходимо указать на те неясные и неточные места его работы, которые, противореча ее основам, мешают им иногда раскрываться с необходимой определенностью и полнотой. В основе же воззрения Лефевра, находящие свою опору в марксизме-ленинизме и питающиеся живым опытом прогрессивного французского искусства, заслуживают только поддержки.

Лефевр последовательно подводит читателя к тем своим главным выводам, которые получают наиболее полное выражение в последней главе книги, носящей название «Область свободы». Исходя из того, что капитализм враждебен искусству, ибо разрушает богатство человеческих потребностей, сводя все чувства к одному чувству обладания или к одному чувству нужды, Лефевр показывает, что сама природа искусства толкает художника в передовой идейный лагерь. Лефевр призывает реабилитировать понятие красоты, понятие прекрасного, приобретающее в настоящее время все более воинственный антикапиталистический смысл. Только борьба против капитализма и буржуазной идеологии приносит искусству свободу. Она приносит ее потому, что позволяет художнику видеть мир таким, каков он есть на самом деле — без всяких посредствующих звеньев, без всяких мифов, без всяких иллюзий и фикций,— во всей его сложности и во всей его красоте. Те, кто, подобно неофашисту Андре Мальро, кричат о «свободе духа» и воюют против партийности искусства, на самом деле создают между художником и действительностью новые обесчеловечивающие человека системы, которые лишают искусство свободы. Для передовых художников наступает «конец эстетической бессознательности» (стр. 115). Ушел в прошлое тот период истории, когда элемент «бессознательности» мог приносить пользу искусству, корректируя политические взгляды писателя. Оценивать теперь «бальзаковскую позицию» как «благоприятную для художественного творчества» (Лефевр резко критикует в этой связи работы Г. Лукача) значит тянуть искусство назад и обезоруживать его идейно и эстетически. В наши дни, в эпоху социалистического реализма, такая позиция «или немыслима, или губительна для художника» (стр. 115).

Лефевр отмечает, что осуществление художественного творчества «в плане сознания» не следует смешивать со схематиз-

мом — «основной опасностью для новых форм искусства». То, что пишет об этом Лефевр, достойно особого внимания: «Авторы — создатель и теоретик — могут соблазниться легкостью. Они начнут выводить из принципов и достигнутых результатов некоторые схемы. Они подвергаются опасности остаться в пределах уже добытого сознания, вместо того чтобы проникать в живое содержание. Они станут исходить из приобретенного, из фактически уже обработанного и, следовательно, не из содержания, а из формы. Таким образом, они подвергаются опасности принять за исходный пункт абстракцию, понятие, вместо того чтобы исходить от жизни и возвращаться к жизни» (стр. 117). Так борется Лефевр против схематизма, против иллюстративности искусства, во имя его познавательной мощи и во имя его способности вторгаться в жизнь и изменять ее.

Заслуживает похвалы инициатива Издательства иностранной литературы, начавшего выпускать труды прогрессивных зарубежных писателей и философов по вопросам литературы и искусства. Необходимо, чтобы эта инициатива получила продолжение и развитие и чтобы при этом не повторялись недостатки, присущие изданию книги А. Лефевра.

Не вполне удовлетворяет читателя вступительная статья З. Смирновой. В этой статье есть ряд верных замечаний о ценных сторонах работы Лефевра и о ее недостатках, но есть и такие утверждения, которые никак не могут содействовать прояснению затрагиваемых вопросов. Верно, что Лефевр недостаточно полно и четко раскрывает познавательную роль искусства, но это все же не дает основания для вывода, что в его книге специальный «анализ гносеологических основ марксистской эстетики... по существу, отсутствует» (стр. 8). Такое заключение, почти сводящее на нет теоретическое значение книги Лефевра, можно объяснить лишь тем, что в его суждениях, посвященных связи искусства с трудом и общественной практикой, З. Смирнова видит лишь объяснение происхождения искусства и не видит объяснения его специфической природы, то есть не видит самого интересного и ценного в книге Лефевра. С другой стороны, нельзя согласиться с тем безоговорочным одобрением, с каким З. Смирнова принимает суждения Лефевра о биологическом, эмоциональном и других моментах содержания искусства.

Главное же, с чем нельзя согласиться,— это докторальный тон автора вступительной статьи, сопровождающего свои замечания, далеко не всегда бесспорные, категорическими утверждениями: «марксистское понимание искусства требует...», «марксистская эстетика считает...» и т. п. Этот тон особенно неуместен в тех критических замечаниях, которые редакция еще зачем-то разместила за пределами вступительной статьи в виде специальных сносок (см. стр. 20, 97). Спорьте, критикуйте, если находите это полезным, но не прерывайте оратора, не одергивайте его! Редактору следовало обратить свою энергию в другую сторону: необходимо было дать хотя бы краткий фактический комментарий к некоторым местам книги Лефевра, где упоминаются или имеются в виду дискуссии французских писателей и художников, статьи, появившиеся во французской прессе, и т. п. В частности, следовало раскрыть смысл горячих споров, вызванных картинами Фужерона, одна из которых упоминается в книге Лефевра. Тогда прояснились бы отдельные намеки Лефевра, не совсем понятные сейчас советскому читателю, и стал бы более ясен боевой характер этого теоретического труда, неразрывно связанного с живой жизнью французского искусства.

Присущая книге Лефевра манера лаконичного, концентрированного изложения больших и сложных вопросов требовала от переводчика особенно тщательной работы. Между тем, перевод книги далеко не безупречен: здесь встречаются такие неточности, которые существенно меняют смысл сказанного. Например, первая глава книги, носящая у Лефевра название «Echecs de l'estétique» (Неудачи эстетики), получила в переводе громкое и весьма категорически звучащее заглавие: «Несостоятельность прежней эстетики». В переводе встречается такая фраза: «В истории искусства больше «неправильностей» и «странностей», чем в истории познания» (стр. 42), а у Лефевра ни о каких «странностях» не говорится и вообще нет каких-либо слов, взятых в кавычки; он просто указывает, что история искусства имеет гораздо более неровный характер, чем история научного познания. Создается впечатление (особенно если принять во внимание некоторые пропуски, допущенные при издании книги Лефевра), что

переводчик М. Грецкий и редактор издания З. Смирнова стремились кое в чем «подправить» автора. Ничего хорошего из этого получиться не могло и не получилось.

В одной из своих последних статей, посвященных итогам Второго съезда советских писателей, Арагон говорит о той исключительной важности, которую приобрела сейчас задача теоретической разработки проблем социалистического реализма. Арагон пишет, что жизнь требует нового Белинского, который сделал бы для нашего времени то, что сделал Белинский для своего: обобщил бы все, достигнутое передовым искусством, и подготовил почву для его нового движения вперед. Действительно, бывают такие моменты в развитии литературы и искусства, когда тщательная «разборка» достигнутого становится одной из главных задач. Можно с удовлетворением отметить, что такая «разборка» уже начата и ведется более широко, чем это кажется на первый взгляд. Надо издать сборники теоретических статей Арагона, Го Мо-жо и других выдающихся писателей Запада и Востока. Назрела необходимость в создании большого сборника высказываний передовых зарубежных писателей о социалистическом реализме. Такие издания будут содействовать не только ознакомлению советского читателя с работами наших зарубежных друзей, но и объединению всех усилий, направленных на разработку самых важных и самых боевых вопросов современного мирового литературного движения.

А. Клышко

ЗНАТЬ, ДЛЯ ЧЕГО ЖИВЕШЬ

В переломные моменты истории человек, как и целые народы, проходит суровое «испытание на прочность» своих физических и духовных сил. В жизни китайского народа таким испытаниям была освободительная война против клики Чан Кай-ши. В тяжелой борьбе, в горести утрат и в радости побед росли силы великого китайского народа. В боях и в труде рождался и рос новый человек — свободный, стойкий, сильный и красивый человек, завоевавший свое право на счастье.

Таким он и встает перед нами — человек-воин сражающегося Китая — со страниц романа молодого китайского писателя Ду Пын-чэна «Оборона Яньани».

Стремясь воплотить в художественной форме величественный пафос освободительной борьбы шестисот миллионов людей, автор задумал свое первое произведение как роман-эпопею. Эта форма позволила писателю соединить документальность и историческую конкретность повествования с художественным вымыслом, воссоздать страницу истории Китая в художественных образах своих современников.

В основу книги Ду Пын-чэн положил реальные исторические события — бои на Северо-Западном фронте в 1947 году, когда Народно-освободительная армия, остановив наступление чанкайшистских войск, перешла в контрнаступление. Ду Пын-чэн, будучи корреспондентом агентства Синьхуа, вместе с отрядами Народно-освободительной армии совершил тяжелые переходы через пески Северо-Запада, где «глоток воды равноценен жизни», вместе с бойцами защищал Яньань. В то время город Яньань — центр освобожденных районов Китая, где находился ЦК Китайской коммунистической партии, — был «сердцем Китая, штабом китайской революции, колыбелью победы».

Здесь начался разгром гоминдановских полчищ Народно-освободительной армией, сумевшей благодаря правильному стратегическому руководству Китайской коммунистической партии сохранить ударную силу революции — свои людские резервы, измотать противника и перейти в наступление в масштабах всей страны.

Генерал Лю Бо-чэн, один из полководцев Народно-освободительной армии, так сформулировал основы стратегии китайских коммунистов в тот период освободительной войны:

> Кто войска бережет — отойдет сегодня,
> Чтобы завтра вернуться — врага прогнать.
> Кто землю жалеет, а людей не щадит,
> Тот все потеряет — и будет разбит.

Чан Кай-ши вступил в Яньань после четырехмесячных боев. Но это была пиррова победа, начало его поражения, начало конца двадцатилетнего господства этого врага китайского народа и более чем столетнего господства иностранных империалистов в Китае.

Один из главных героев романа — Чжоу Да-юн, молодой командир Народно-освободительной армии. Этот образ задуман и написан автором как образ типичного представителя своего поколения. Любовь к родине и ненависть к ее врагам, самоотверженность и святое чувство воинского товарищества — все это качества народного воина, а не прирожденные черты характера Чжоу Да-юна; они вырабатывались им в жестокой борьбе.

Ду Пын-чэн, Оборона Яньани, роман. Издательство «Народная литература», Пекин, 1954.

Когда 7 июля 1937 года японские империалисты напали на Китай и «артиллерийская канонада у моста Лугоуцяо пронеслась по Китаю кровавым и огненным смерчем», когда «тысячи людей потоком устремились в Яньань искать пути спасения родины», Чжоу Да-юну было 12 лет. В боях с японскими захватчиками погиб его старший брат, погиб отец-партизан. И Чжоу Да-юн, как и тысячи других, пошел искать пути спасения и возмездия — пошел искать Красную армию Китая. Эта армия стала его семьей: в ней он вырос, она его воспитала. Народная армия способствовала пробуждению у Чжоу Да-юна замечательных человеческих качеств. Мы видим его по-юношески отважным, горячим в первой главе книги, когда он переправляется со своей ротой через Хуанхэ на защиту Яньани. В тяжелых боях крепнут его мужество и стойкость, тверже и глубже становится характер: отвага перерастает в самоотверженность, а сознание принадлежности к боевому авангарду китайского народа — коммунистической партии — делает жизнь осмысленной, целеустремленной.

«Надо только знать, для чего живешь», — говорит Чжоу Да-юн. Автор нашел то определяющее слово, которое объясняет жизненную стойкость Чжоу Да-юна, его способность пройти ради правого дела через все суровые испытания. Чжоу Да-юн знает, для чего живет, и потому целеустремленность его мыслей органически сливается с поступками. В нем нет и не может быть раздвоенности и колебаний. Это один из тех бойцов, о которых командир Чэнь Синюнь говорит: «Наши бойцы отдали делу народа все — свою судьбу, свою молодость, свой пот и свою кровь. И если отдают жизнь, то отдают самозабвенно, без ропота. Смотрит на них человек — и забывает, что такое трудности; сравнивает себя с ними — и чувствует, как мало сделал он сам...»

Формирование этого характера, воплощающего ум и чувства молодого поколения строителей светлого будущего Китая, неразрывно связано в романе с образом комиссара полка Ли Чэна.

Китайские коммунисты, подлинные организаторы народных побед, впитали в себя лучшие качества беззаветных борцов за дело народа. «Нахмурив брови, с холодным презреньем взираю на осуждающий перст вельможи. Но, склонив голову, готов, как буйвол, служить ребенку», — писал Лу Синь, в иносказательной форме выражая отношение патриота к врагам своей родины и к своему народу. Никогда не склонять голову перед врагом, но все силы, всю свою жизнь до последнего вздоха отдавать служению народу — вот девиз коммуниста Ли Чэна. Это человек горячего сердца и сурового целомудрия. Неустанный агитатор и организатор — он носитель драгоценных качеств политработника, командира и руководителя. Автор сознательно вводит его в повествование в самое тяжелое время — в период подготовки наступления (3-я глава книги), как бы подчеркивая, что теперь впереди других должен быть человек, не знающий пути назад. Чжоу Да-юн, всей своей жизнью подготовленный к испытаниям и борьбе за народное дело, учится быть настоящим человеком у комиссара Ли Чэна. Под влиянием Ли Чэна и складывается его характер, приобретая те черты сознательного «героизма на всю жизнь», которыми отличается Чжоу Да-юн, ставший в конце книги командиром батальона Народно-освободительной армии Китая.

В романе есть много запоминающихся, жизненно убедительных образов и эпизодов. Старый крестьянин Ли Чжэнь-дэ в самую трагическую минуту жизни, когда гоминдановцы, разъяренные его мужеством, хотят на его глазах растерзать внука, остается верен народу и отказывается указать расположение отряда 8-й армии. Автор посвящает ему немного страниц, но перед читателем складывается образ старого, мудрого человека, знающего цену правде и счастью.

Отец молодого бойца Ню Цзы-цая пишет сыну в армию: «Сынок, ждал днем и ночью, целых полгода ждал, да так и не дождался от тебя ни слова. Не пишешь ты домой, так я хочу написать вашему комиссару, покритиковать его. Ему что поручено? Как он направляет моего сына...» Эта сцена хорошо передает то чувство доверия и надежды, с которым китайский народ относится к своей армии.

Гражданская война в Китае 1946—1949 годов, узловым моментом которой была оборона Яньани, — это не изолированный конфликт чисто военного характера, а вооруженная борьба двух лагерей — китайского народа и предателей Китая, — борьба, в которой побеждают те, на чьей стороне правда, кто одушевлен великой целью освобождения своей страны. Такова основная мысль автора, показывающего в своей книге органическую связь народа, коммунистической партии, Народно-освободительной армии.

«В старом обществе нам опереться не на что было, — говорит отец Чжоу Да-юна, — обопрешься на гору — она отодвинется, прислонишься к стене — она падает. Красная армия — вот тебе семья. Другие без революции обойдутся, а нам, если нет революции — то и жизни нет!»

Автор посвящает много страниц романа Председателю Мао Цзэ-дуну — непосредственному организатору народных побед и генералу Пын Дэ-хуаю — полководцу народной армии. Эти страницы, точно воссоздавая историческую действительность, показывают неукротимую волю и глубину полководческого таланта руководителей народных масс — людей, указывающих массам, где враг и как надо его сразить.

В начале народно-освободительной войны в армии Чан Кай-ши было свыше четырех миллионов человек, а к концу третьего

года войны — лишь около полутора миллионов. Китайская Народная армия не только уничтожала живую силу противника, но и привлекала на свою сторону сотни тысяч солдат, насильно загнанных в армию Чан Кай-ши, возрождала душу этих одурманенных, запуганных людей, приносила революцию в самые глубины их сердец и ставила их в общий строй сражающегося народа.

«Дерево, источенное термитами, годится лишь на дрова, ленивый сын годится лишь в солдаты»,— говорили в старом Китае. Бывший гоминдановский солдат Нин Цзинь-шань вообще не хотел воевать. Он хотел, чтобы его оставили мирно жить в своей деревне... Но пришла война с Японией, и Нин Цзинь-шаня забрали в армию. Он мог бы многое рассказать о том, сколько горя принесла ему эта война. Он попал в плен и работал на угольных шахтах Северо-Востока. Когда японцы капитулировали, он, «выскочив живым из огня», отправился домой, но, еще не перебравшись через Хуанхэ, снова угодил в гоминдановские солдаты, и его снова заставили воевать, на этот раз против своих соотечественников. Он сдался в плен Народно-освободительной армии и остался в ее рядах.

Но Нин Цзинь-шань еще слишком многого не понимает. Среди бойцов Народно-освободительной армии он чувствует себя чужим, цели, за которые она воюет, ему еще не ясны.

«Бросить винтовку и скрыться»,— не раз мечтал он об этом и в роте Чжоу Да-юна, где ему дали оружие и возможность самому завоевывать свободную жизнь. Бежать — самый легкий способ спастись. И он пытается дезертировать.

Медленно учится Нин Цзинь-шань мыслить и действовать, не сразу осознает, что его враги — гоминдановцы. Но важно то, что он уже размышляет; к нему возвращается эта человеческая способность мышления, убитая скотским обращением с солдатом в гоминдановской армии. Очень много тяжелого испытал он, прежде чем понял: свободным можно стать лишь тогда, когда вместе с другими завоюешь освобождение всего народа. «Дома землю делят — это хорошо, но нам она достанется только в том случае, если этим делом руководит коммунистическая партия». Писатель передает сложный процесс духовного обогащения этого человека, ставшего в конце концов по-настоящему свободным, показывает роль примера коммунистов в воспитании в бывшем гоминдановском солдате сознательного отношения к воинскому и гражданскому долгу.

Нин Цзинь-шань побежден не силою оружия, не угрозами, не запугиванием, а разумом, силою правды, силою примера беззаветных бойцов-коммунистов.

Нин Цзинь-шань — один из наиболее удачных образов в романе.

Писатель стремится вскрыть то основное, что привело гоминдановскую армию к поражению: несправедливость войны, развязанной кликой Чан Кай-ши, ее антинародный, антинациональный характер. Он показывает непреодолимые противоречия внутри гоминдановской клики. Жаль, что все это делается автором на скорую руку. Писатель много и подробно говорит о действиях противника; он подробно рассказывает о моральном разложении в его рядах, о полном упадке духа, пришедшем на смену наглой самоуверенности, когда первые же поражения доказали, что ничто уже не может помочь Чан Кай-ши. Но все это рассказано, а не показано. Писатель для характеристики чанкайшистских вояк пользуется набором стандартных, общих для них качеств. Изображение их примитивными, недалекими может лишь преуменьшить всемирно-историческое значение победы Народно-освободительной армии над сильным и опасным врагом. Чан Кайши только под Яньанью сосредоточил 600-тысячную армию, обученную, оснащенную и поддерживаемую иностранными империалистами. И хотя гоминдановцы потеряли к концу войны эти преходящие преимущества — Народно-освободительной армии пришлось вести войну в исключительно тяжелых условиях.

Прекрасное знание той среды, о которой он пишет, позволило Ду Пын-чэню раскрыть в каждом событии, в каждом эпизоде глубокую идею и создать ряд ярких, убедительных образов: назовем, кроме Чжоу Да-юна, Ли Чэна, Нин Цзинь-шаня, Ли Чжэнь-дэ и бойцов роты Чжоу Да-юна — Ван Лао-ху и Ли Цзян-го. Однако стремление вместить в книгу все, что автор видел, подробно написать обо всем — привело к растянутости и одновременно заметной описательности произведения. Это мельчит характеры героев, несмотря на обилие деталей, их характеризующих.

Поэтому слишком бегло очерченными эпизодическими фигурами выглядят в книге заместитель командира полка Вэй Ган, инструктор Чжан Пэй, начальник штаба полка Вэй И. Хочется пожелать писателю совершенствовать свое художественное мастерство — умение наблюдать, находить главное и обобщать до типического.

Роман Ду Пын-чэна — это повествование о героизме простых людей, о суровых буднях освободительной борьбы китайского народа, о красоте и величии подвига во имя родины.

«Оборона Яньани» — хорошая и нужная книга, в которой правдивость и историческая конкретность художественного изображения сочетаются с большими мыслями и глубокими чувствами, вытекающими из самой сути изображаемых событий. Книга воспитывает читателя в духе любви к своей родине, к своему народу и ненависти к его врагам.

И. Бернштейн

РОМАН О СУДЬБЕ ПОКОЛЕНИЯ

Судьба поколения, к которому принадлежат герои романа «Год рождения двадцать первый» чешского писателя Карела Птачника, сложилась нелегко. Мюнхенское предательство, жертвой которого стала Чехословакия, застало их почти мальчиками. Они пережили патриотический подъем сентябрьских дней 1938 года, когда все граждане республики — от школьников до стариков — потянулись к оружию для защиты родины, и затем страшное разочарование, когда правительство, отменив мобилизацию и отвергнув помощь Советского Союза, выдало республику Гитлеру. Трагедией этого поколения было то, что ему не дали возможности с оружием в руках защищать родину.

Птачник в своем романе касается темы, еще не затронутой литературой Чехословакии: судьбы той значительной части чешской молодежи, которая была угнана оккупантами в Германию. Для них был закрыт доблестный путь героических бойцов подпольного сопротивления. Им не было дано счастье сражаться против общего врага в рядах чехословацких частей бок о бок с Советской Армией, как молодым героям романа Пуймановой «Жизнь против смерти». Их одели в военную форму, разбили на военные подразделения и под командой немецких офицеров отправили на работы в гитлеровскую Германию.

Эту сильную, мужественную книгу написал человек, сам прошедший трудный путь, который выпал на долю его героев. Имя Птачника было прежде неизвестно в литературе. Молодому писателю потребовалось десять лет, чтобы осмыслить и воплотить в художественных образах все увиденное и пережитое в годы войны.

В романе Птачника нет одного главного героя и мало из ряда вон выходящих событий. Его канву составляет будничная, повседневная жизнь пятого взвода рабочего батальона, состоящего из чешских юношей двадцать первого года рождения, мобилизованных оккупантами в 1942 году. Тут и рабочие, и студенты, и деревенские парни. Многие из них только начинают жить, не привыкли задумываться о смысле того, что их окружает, смотреть дальше своей деревни или своего квартала. На чужбине они проходят суровую школу. Писатель рассказывает об изнуряющем труде, о неутолимом голоде, о бесчисленных унижениях, о мучительной боли за угнетенную родину и тоске по оставшимся там близким. Он рассказывает, как менее устойчивые люди шли на воровство, наушничество и шпионство, насаждавшиеся фашистской стражей, становились предателями.

Но для большинства самым мучительным было гнетущее чувство бессилия, невозможность принять участие в борьбе народов против фашизма. Саботировать? Но будет ли польза от того, что задержится ремонт бараков, в которых живут семьи крупповских рабочих, дети, больные? Стараясь забыться, заглушить тоску, кое-кто из молодежи хочет одурманить себя «развлечениями» — пьянством и развратом; все это охотно допускается немецкими надсмотрщиками. Но для большинства это не выход. Они все яснее понимают, что «любовь нельзя купить в публичном доме за грязную монету в пять марок, а отчаяние не утопишь в дрянной водке».

В героях лучших произведений чехословацких писателей, воспроизводящих годы войны и оккупации, живет та же вера в торжество сил жизни над силами смерти и разрушения, которая превращает предсмертные записки Фучика в светлую книгу надежды.

Мария Пуйманова говорила о своем романе «Жизнь против смерти»: «Эта книга не ставит себе целью перечислить все пинки, тумаки и удары, которые омрачали жизнь, уродовали и убивали невинных людей. Цель этой книги заключается в ином: она изображает достойный удивления мир, который утверждает веру в человека и говорит о человечестве. Голодные узники, добывающие себе пропитание на свалках, несмотря на все унижения, несправедливость, стремление фашистов оглупить и оболванить людей, несмотря на все опасности и ужасы, сохраняли ясную голову, свет в душе, видели цель перед собой, сохраняли дружескую преданность и, как в эстафете, передавали друг другу жезл свободы».

Рассказ о повседневной жизни пятого взвода в романе Птачника — это история рождения человеческого коллектива, оказавшегося морально сильнее своих угнетателей, способного на сопротивление. Впервые подневольные рабочие пятого взвода почувствовали себя коллективом, когда, движимые единодушным порывом негодования, проучили фашистского зверя Бартлау, избивавшего военнопленных украинцев. Взвод отказывается здороваться фашистским приветствием, молчит в ответ на приказ маршировать с песней, несмотря на все угрозы, объявляет забастовку в ответ на особенно вопиющие несправедливости — и добивается своего. И у всего взвода крепнет уверенность, что в людях раскрывается великая сила, когда каждый перестает думать только о себе. Эта сила делает их сопротивление все более сознательным и целенаправленным. В апреле 1945 года взвод единодушно решает, не дожидаясь прихода американцев, которых ждут немецкие офицеры, пробиваться на восток, на родину.

К познанию новой истины герои романа идут разными и часто трудными путями.

Karel Ptáčnik, Ročnik jedina dvacet, Praha, Československý spisovatel, 1954.

Может быть, самое сильное в книге Птачника — это раскрытие сложного, многогранного внутреннего мира героев. Читатель не забудет мятущегося в поисках смысла жизни студента Пепоуша, его коллекции газетных вырезок, его дневника, полного мучительных размышлений о боге и о судьбах человечества, не забудет его нравственной требовательности и чистоты. Пепоуш с отчаянным упорством цепляется за свою веру в справедливость буржуазной демократии. Ему кажется, что с утратой этой веры он потеряет смысл жизни. Только накануне смерти под обломками разрушенного союзнической авиацией лазарета юноша начинает различать свет суровой, но радостной истины. Смерть оборвала путь Пепоуша, направление которого уже ясно.

Во время налета бомбардировщиков погибает и другой юноша — столяр Мирек. Этот сильный трудолюбивый паренек, никогда прежде не интересовавшийся политикой, вначале не думает ни о чем, кроме того, как утолить мучительный голод. Но здравый смысл, честность, благородство, мужественная готовность дать отпор несправедливости ведут этого простого труженика к многим истинам, понимание которых позволило бы ему найти свое место в новой Чехословакии.

И уж наверняка в первых рядах строителей новой жизни окажется папаша Кованда, самый «солидный» из мобилизованных чехов пятого взвода. Этот неунывающий человек своей острой шуткой, злой издевкой над эсэсовцами, над их «шальным Гитлером», которого он насмешливо величает «Дольфиком», поддерживает дух товарищей. Своими с виду невинными проделками, прикидываясь простачком, он бесит и выводит из себя немецкое начальство, по мере сил наносит ущерб немецкой военной машине. Чешская критика сравнивает этот образ с бессмертным бравым солдатом Швейком. С Кованд0й произошло то, что (как писал в одной из своих статей периода оккупации Фучик) должно было произойти со Швейком в его дальнейшем развитии: не теряя своего юмора, он стал серьезнее, стал борцом. Кованда похищает из-под носа у немецких офицеров оружие, которое его товарищ Гонза передает немецким подпольщикам.

В обаятельном образе музыканта Гонзы автору удается раскрыть не только сознательность коммуниста, умение сплачивать и направлять людей, но и богатство его душевного мира. Его поэтическое мироощущение, любовь к музыке, его преданность товарищам, его мужественное, упорное стремление участвовать в борьбе, заставляющее Гонзу взяться за распространение антифашистских листовок, — все это черты глубоко привлекательного человека, живущего на страницах романа своей полной и яркой жизнью. Можно только упрекнуть автора, что Гонза обретает завоеванное им глубокое понимание общественных вопросов за пределами романа и, в отличие от других героев, мало изменяется в ходе повествования.

Коммунисты пользуются все бо́льшим авторитетом у коллектива пятого взвода. К идеям коммунизма приходят многие простые люди, даже не подозревая, что это идеи коммунизма. Очень характерен в этом отношении разговор в конце войны Гонзы с Едой Конечным, «честным католиком», как он себя называет, верившим до тех пор лживой клевете на коммунистов. Юноши мечтают о том, что будет после войны. Еда собирается вернуться на военный завод, где он работал. А завод, по его мнению, должен перейти на мирное производство. Гонза спрашивает: «Что же, ты скажешь хозяину, чтобы он перевел фабрику на выработку детских колясочек?» — «Старика не будет, — отвечает Еда, — он — предатель, мы просто его выгоним». — «Но ведь добром никто не отдаст свою собственность». — «Так мы возьмем силой, без всяких церемоний!» — «Да ведь существуют законы — законы каждый должен уважать». — «Да? Как бы не так! Мы заведем новые законы против живодеров». — «Кто?» — «Мы же, дурень. А если иначе нельзя, сделаем и революцию». — «Что ты говоришь, революцию? Да, ведь ты коммунист, дружище!»

Для большинства героев романа, мучительно тоскующих по родине, домюнхенская республика представляется каким-то утраченным раем, и они не отдают себе отчета о характере ее политического устройства.

У многих даже мюнхенское предательство не уничтожило культивировавшееся чехословацкой буржуазией преклонение перед буржуазной демократией. Но вопрос о том, кто же виноват в войне, неотвратимо встает перед каждым, и простой ответ: немцы, — уже почти никого не удовлетворяют.

В ночных беседах все чаще возникает мысль, что вину за море крови несут не только гитлеровцы. В самом деле, если бы старому Круппу не позволили построить здесь, в Эссене, свои военные заводы, то нацисты не могли бы начать войну. Всё больше юношей начинает понимать, что война нужна «загребалам во всех странах», которые «братаются ради прибыли».

А вместе с тем все труднее и труднее уйти от решения вопроса, еще пугающего многих: о вине чехословацкой буржуазии, предавшей свой народ. В словах Кованды выражена мысль, которая овладевает умами большинства молодых героев книги: «Мы никогда больше не позволим, чтобы нас выдали на милость убийцам. И не дадим себя обманывать. А для этого нам надо держаться друг за друга и не позволить разделять нас».

На родину в последние дни войны пробирается спаянный коллектив людей, полных решимости бороться за новую республику, в которой станет невозможным все, что они пережили. Конец романа — когда измученные, усталые люди, бредущие по дорогам близ границы Чехословакии, от-

стреливаясь от немецких войск, встречают советские танки — является для них началом новой жизни.

В романе Птачника есть нечто, не встречавшееся до сих пор в чехословацкой литературе. Рисуя картины жизни фашистской Германии на протяжении последних трех лет войны, изображая ее «стальное сердце» — Рур, автор увидел и показал скрытые в ту пору, но не уничтоженные до конца террором силы антифашистского сопротивления в немецком народе. Знаменательна сцена, когда группа чешских рабочих во время отдыха, пользуясь отсутствием охраны, вполголоса запевает «Интернационал» и на него откликаются работающие тут же двое немцев: оба они до прихода к власти фашистов были членами коммунистической партии и сохранили свои коммунистические убеждения. С большой симпатией изображены в романе мужественные немецкие антифашисты: рабочий Крапке, организующий взрыв домны, девушка Кете, распространяющая листовки, коммунист Швабе. Путь к немецким антифашистам находит чешский коммунист Гонза.

В том многоязычном Вавилоне, в который фашисты превратили Германию, согнав в нее подневольных рабочих со всех концов Европы, рождается братская дружба людей разных национальностей, объединенных общей ненавистью к фашизму. Рядом с чехами мы видим не только немецких антифашистов. Автор с симпатией изображает французского врача, ведущего подпольную работу; молодого французского моряка Гастона; поляка Липинского, сохранившего под насильно надетым на него мундиром немецкого солдата сердце, полное ненависти к фашизму; старого голландца, полюбившего чешских юношей отеческой любовью; сербских военнопленных, которым чехи тайком передают хлеб, и многих других. Только издали они видят русских, работающих под усиленной охраной. Образ одного из них, который, стоя под направленным на него дулом автомата, крикнул: «Смерть фашизму!» — навеки врезался им в память.

Взоры порабощенных, оторванных от родины людей всех национальностей с надеждой устремляются к Советской Армии. Известие о Сталинградской победе было первым просветом в окружающем их мраке. И в дальнейшем спокойный голос диктора московского радио, передачи которого тайком слушают чешские юноши, вести о победах советских войск подкрепляют дух узников, вселяют веру в будущее.

Роман Карела Птачника, отмеченный Государственной премией за 1954 год, стоит в ряду значительных достижений чехословацкой прозы; он свидетельствует о все более успешном преодолении схематизма, который проявлялся в ряде произведений молодой литературы. Чехословацкая критика обращает большое внимание в этой связи на верную трактовку революционного оптимизма. Роман Карела Птачника проникнут фучиковской верой в неодолимость светлых сил жизни. Птачник показывает во всей сложности рождение нового сознания чешских юношей, появление в их характере тех черт, которые сделают их активными участниками построения новой жизни в Чехословакии.

И в изображении врагов — немецких офицеров, командующих угнанными в Германию чехами, озверелого громилы Хилла, фанатичного манекена Нитрибита, честолюбивого жестокого горбуна Кизеля и других — Птачник, так же как и Фучик в своих выведенных в «Репортаже» «фигурках» эсэсовцев, вскрывает их историческую обреченность. Все их, казалось бы, разные голоса сливаются в конце книги в общий вой ужаса перед неминуемой расплатой.

В основе романа Птачника лежат дневниковые записи. Может быть, именно это обстоятельство придает книге ту живую взволнованность, ту юношескую свежесть восприятия, которая так помогает раскрытию психологии его молодых героев. Наряду с меткими зарисовками, яркими, характерными диалогами, часто в нескольких словах создающими запоминающийся образ человека, в книге много острых публицистических обобщений, дающих широкую картину исторических событий. Дневниковый материал поднят в этом романе до большого реалистического обобщения.

Птачник умеет раскрыть в ходе будничных событий то, что является самым важным для его героев. Но иногда в потоке однообразно текущих дней, среди множества мельком зарисованных персонажей теряется основная нить повествования. Несомненно, что проявившийся в некоторых случаях недостаток строгого авторского отбора фактов мешает глубине реалистического воспроизведения жизни. Так, неким штампом, механически перенесенным из какого-то романа о «потерянном поколении», выглядит эпизод приезда одного из героев — Карела — в отпуск на родину. Отношения, кстати изображенные бегло, сына горняка Карела, сильно возмужавшего, выросшего идейно на чужбине, с его семьей и любимой девушкой не дают оснований для того чувства скованности и опустошенности, которое овладевает Карелом в дни побывки на родине.

Чешские критики, писавшие о книге Птачника, сравнивают ее с романом Эриха-Мария Ремарка «На западном фронте без перемен». Они справедливо замечают, что сравнение с Ремарком вскрывает с особенной наглядностью то большое новое содержание, которое заключено в произведении чешского писателя. Глубоко гуманистический смысл романа Птачника в изображении той огромной силы сопротивления, которую проявил коллектив активных борцов против фашизма, родившийся в суровой обстановке фашистской каторги. И это отличает роман Птачника от множества книг о судьбе «потерянного поколения», и в частности от романов Ремарка «На западном

фронте без перемен» и «Возвращение», с большой силой выразивших трагедии молодежи, которая потеряла всякое представление о моральных ценностях, не получив ничего взамен, кроме пустоты, отчаяния, отвращения к жизни. Перед поколением, пережившим первую империалистическую войну, был и другой путь — путь революционной борьбы. Этот путь с огромной силой указан в лучших произведениях прогрессивной литературы Европы тех лет, например «Огне» Барбюса, о традиции которого с полным правом вспоминают чешские критики, анализируя содержание романа Птачника.

Вторая мировая война, с еще большей ясностью обнаружившая античеловеческую сущность империализма, раскрыла глаза миллионам простых людей во всем мире, помогла их приходу в лагерь борцов за истинное благо человечества.

Если герои романов о «потерянном поколении», вернувшись домой с опустошенной душой, не смогли найти своего места в мирной жизни буржуазных государств послевоенной Европы, то герои романа Птачника нашли свое место в новой Чехословакии. Чешские юноши, мучительно пережившие трагедию своего народа — обманутого, обезоруженного, выданного врагу — в первых рядах борцов против тех, кто снова хочет развязать силы фашизма и уничтожения. В этой борьбе они солидарны с миллионами простых людей во всем мире, со многими из которых их связала крепкая дружба в годы фашистской каторги. В этой борьбе народ Чехословакии солидарен и с демократическими силами Германии.

Роман Птачника говорит о том, что поколение, которое пережило все ужасы войны и фашизма, не допустит их повторения и что в каждом народе есть силы, способные противостоять войне.

И. Львова

ПОЭТИЧЕСКОЕ БОГАТСТВО ЯПОНСКОГО НАРОДА

«Японская поэзия» — так озаглавлен сборник стихов японских поэтов, вышедший недавно в Государственном издательстве художественной литературы. Небольшого формата, скромно, но изящно изданная книга привлекает новизной своего содержания. Впервые на русском языке — и не только на русском, но и вообще на языке народов Европы — появляется книга, в которой так полно и разносторонне отражен богатый, красочный мир поэзии японского народа, созданной им на протяжении веков.

Япония — страна древней и богатой поэтической культуры. Ее поэзия исполнена национального своеобразия и неповторимой прелести.

Из огромного поэтического наследия Японии в сборник отобраны стихи с таким расчетом, чтобы читатель мог проследить долгий и сложный путь развития японской поэзии — от первых памятников далекого VIII века до произведений прогрессивной поэзии наших дней.

Сборник, составленный в хронологическом порядке, открывается разделами древней и ранней средневековой поэзии VIII—XIII веков. Стихи этого раздела подкупают своей непосредственностью, проникновенным лиризмом, яркой образностью. Это та поэзия, которая издавна считается в Японии классической. Лирика — главная стихия этой поэзии. Ки-но Цураюки, поэт X века (его творчество представлено в сборнике несколькими превосходными стихотворениями), писал о ней:

> «Песни Ямато! * Вы вырастаете из одного семени — сердца, и разрастаетесь в мириады лепестков речи — в мириады слов.
>
> ...Когда слышится голос соловья, поющего среди цветов свои песни, когда слышится голос лягушки, живущей в воде, хочется спросить: что же из всего живого, из всего сущего не поет своей собственной песни?
>
> Без всяких усилий движет она землею и небом; пленяет даже богов и демонов, незримых нашему глазу; утончает союз мужчин и женщин, смягчает сердце суровых воинов... Такова песня».

Перед переводчиком А. Глускиной стояла трудная задача — донести до читателя живое звучание этой поэзии, казалось бы, столь далекой и чуждой нашей современности. Эта задача успешно выполнена — в переводе сохранены безыскусственность, искренность классической японской поэзии, ее традиционные образы и своеобразная манера. Несмотря на ограниченные разме-

---

«Японская поэзия», сборник. Составители и переводчики А. Е. Глускина и В. Н. Маркова. Вступительная статья Н. И. Конрада. Редакторы А. Адалис и М. Виташевская. Государственное издательство художественной литературы, 1954.

* Ямато — древнее название Японии.

ры издания, читатель имеет возможность познакомиться с произведениями наиболее известных поэтов древности — с Акахито, певцом родной природы, Яманоэ Окура, в стихах которого с большой силой звучат мотивы социального протеста, Ки-но Цураюки, создателем замечательных лирических стихов. Творчество этих поэтов любимо японским народом, их знают как основоположников национальной японской поэзии, а такие произведения, как, например, «Ода горе Фудзи» Акахито или знаменитый «Диалог бедняков» Окура, широко известны в Японии.

И все же нельзя не пожалеть, что в разделы древней и средневековой поэзии не попали стихи Оно-но Комати и Идзуми Сикибу — поэтесс, создавших непревзойденные образцы любовной лирики. Правда, творчество Комати представлено в сборнике, но всего одним стихотворением, которое никак не может дать представление о своеобразном творческом облике этой поэтессы, чье имя народная молва издавна окружила множеством поэтических легенд. Точно так же в сборнике не представлено творчество замечательного поэта XIII века Сайгё, одного из наиболее самобытных и вместе с тем типических представителей классической японской поэзии.

Большой интерес представляет следующий раздел сборника — «Поэзия позднего средневековья». Сюда включены «хокку» стихи, долгое время считавшиеся вообще непереводимыми на другие языки. Переводы (осуществленные В. Марковой) опровергают это мнение, довольно распространенное среди востоковедов, изучающих язык и литературу Японии. Хокку — самая краткая поэтическая форма, какую знает мировая поэзия. Располагая для выражения поэтической мысли всего несколькими словами (хокку насчитывают всего семнадцать слогов), этот поэтический жанр отличается краткостью афоризма. Все кажется непривычным в этой поэзии; но когда преодолеешь непривычность формы, не можешь не оценить мастерство японских поэтов — Басё, Бусона, Иссы и многих других, писавших в этом жанре, не можешь не восхититься их умением вложить большую мысль, большое чувство в столь тесные формы, этим удивительным искусством миниатюры, воспроизводящим в маленьком стихе сложный мир человеческих переживаний, подобно тому как капля воды отражает в себе солнечный свет.

Художественной выразительности стихов хокку немало способствует их яркая образность. В. Маркова бережно сохранила богатство метафор, украшающих стихи «хокку», и нашла ритмическую структуру, хотя и не тождественную звучанию хокку в оригинале (это невозможно, учитывая разницу между фонетической системой русского и японского языков), но в достаточной мере передающую характер подлинника.

Как ни хороша и ни своеобразна поэзия средневековья, совершенно естественно, что наибольший интерес для нашего читателя представляет поэзия, создававшаяся в новое время. Социальные потрясения, пережитые народом Японии, знакомство с европейской культурой, ставшее возможным только после революции 1868 года, колоссально расширили рамки национальной литературы, открыли новую страницу в ее истории. Стихи, включенные в раздел, озаглавленный «Новая поэзия», — живая, образная летопись истории духовной жизни японского общества конца XIX — начала XX столетия. Раздел открывается знаменитой «Песней свободы» Комуро Куцудзана. Составители сборника поступили правильно, открыв «Песней свободы» раздел новой поэзии, тем самым нарушив обычную классификацию, согласно которой это произведение обычно рассматривается как некая «предистория» новой поэзии, не имеющая самостоятельного художественного значения. Это одно из первых произведений, написанных так называемым «стихом новой формы», то есть свободным стихом, не ограниченным каким-либо обязательным размером или традиционной тематикой. Этот жанр возник в Японии под непосредственным влиянием европейской поэзии. Интересно отметить, что в Японии многочисленные исследователи и историки литературы, неизменно отмечая значение «Песни свободы» как одного из первых произведений, написанные «стихом новой формы», не склонны, тем не менее, признавать за этим стихотворением художественную значимость. Это обычный прием буржуазного литературоведения, отрицающего за произведениями с отчетливо выраженным социальным, революционным звучанием право считаться подлинным искусством.

Замечательным украшением сборника является перевод цикла стихов классика новой поэзии поэта-романтика Симадзаки Тосона. Творчество этого поэта составило целую эпоху в новой японской поэзии. Многие его стихи, переложенные на музыку, стали популярными песнями. Переводчик В. Маркова хорошо передала задушевную лиричность, четкий, стройный ритм, романтическую окрашенность поэзии Тосона, в которой нашло свое выражение мироощущение человека новой эпохи. Тем более непонятно, почему в последнем стихотворении цикла «От сердца к сердцу» неожиданно оказались опущенными четыре последние строчки (стихотворение «О, буйный ветер»). Досадная небрежность!

Особенный интерес представляют для русского читателя стихи, созданные в период русско-японской войны. Читатель убеждается, что наиболее выдающиеся мастера новой японской поэзии — Есано Акико, Исикава Такубоку — осуждали эту войну как источник бедствий и горя для японского народа. Широкую популярность в Японии, вопреки цензурным запретам, получило сразу же после выхода в свет стихотворение Есано Акико «Не отдавай, любимый,

жизнь свою!» В подзаголовке его значилось: «Брату в войсках, ведущих осаду Порт-Артура». Далекое от того, чтобы быть революционным, это стихотворение в лирической форме отразило думы и чувства простых людей Японии, которым не было никакого дела до захватнической войны. Этого оказалось достаточно, чтобы стихотворение немедленно запретили, а журнал, где оно было напечатано, конфисковали.

С большим интересом познакомится читатель также и с полным романтического пафоса стихотворением «Памяти адмирала Макарова» Исикава Такубоку, творчество которого проникнуто симпатиями к революционным традициям России. Симпатии эти росли и крепли по мере того, как зрело и развивалось творчество самого поэта. Стихи Исикава Такубоку богато представлены в сборнике. И все-таки, на наш взгляд, следовало бы дать более подробный комментарий или подробнее рассказать о своеобразной творческой манере Такубоку в предисловии, с тем чтобы сделать его своеобразное творчество более понятным нашему читателю.

В начале раздела «Из демократической поэзии 20-х годов» помещены стихи поэтов Ватанабэ и Накано — ветеранов современной прогрессивной японской литературы, успешно продолжающих свою творческую деятельность до настоящего времени. Уже эти стихи вводят читателя в совершенно новый круг поэтических тем и образов, подчеркивая новаторскую тематику демократической поэзии двадцатых годов:

Перестань воспевать,
Перестань воспевать этот алый цветок,
эти крылья стрекоз,
Этот вздох ветерка, запах женских
волос,
Перестань воспевать!
...Только песни борьбы в полный
голос ты пой!
Песни — людям, с которыми
встретишься ты,

— Прямо в грудь, прямо в сердце неси!— пишет поэт Накано в своем знаменитом стихотворении «Песня», могущем считаться программным для демократической поэзии двадцатых годов.

В сборнике помещены и произведения современных прогрессивных поэтов Японии. Мы встречаем здесь стихи, написанные известными поэтами, и произведения авторов, впервые входящих в литературу, участников поэтических кружков, которые объединяют любителей поэзии и успешно работают по всей стране под руководством демократических поэтов. Многие стихи этого раздела взяты из антологий, появившихся в самые недавние годы, таких, как «Голоса мира», «Радуга над Токио-Иокогамой» и другие, некоторые — из современных прогрессивных литературных журналов. Помещенные в этом разделе стихотворения поистине разнообразны — здесь и проникнутые лиризмом «Две песни о руках», и полное гневного пафоса стихотворение «Фудзи, гневом гори!», и много других интересных, оригинальных произведений. Борьба японского народа за мир, за запрещение атомного оружия, любовь к родному краю — все эти темы получили отражение в стихах этого раздела. Это своеобразная поэтическая хроника политической жизни современной Японии.

Нельзя не отметить такие стихи, как «Слово машиниста», «Состязание», «Жевательная резинка» и другие. Все они убедительно свидетельствуют о том, что современная прогрессивная японская поэзия успешно развивается и по праву занимает достойное место среди поэзии народов всего мира, борющихся за свободу, независимость и мир. Обращаясь к советским поэтам во время Второго Всесоюзного съезда советских писателей, участники поэтического кружка города Фунабаси, префектура Тиба, писали:

«Мы, поэты Японии, считаем, что должны постоянно учиться на ваших произведениях, проникнутых стремлением к миру и к созиданию, учиться у поэтов вашей великой страны, победоносно осуществившей Великую Октябрьскую революцию и добившейся победы в Великой Отечественной войне. В особенности драгоценным наследием для нас является творчество вашего великого поэта Маяковского. Его творчество стало для нас образцом и школой мастерства».

Раздел «Современная демократическая поэзия» красноречиво свидетельствует об успехах прогрессивных японских поэтов наших дней. И все-таки хочется упрекнуть составителей сборника в том, что современной поэзии они уделили недостаточно внимания. В последнее время в Японии вышли в свет новые собрания стихов — «Смертоносный пепел», «Хиросима», «Стихи о деле Мацукава» и многие другие. Эти новейшие стихи по праву должны занять место в сборнике, представляющем поэзию Японии.

В чем кроется секрет удачи этого сборника? В значительной степени в том, что составители, хорошо ориентируясь в истории японской поэзии, сумели отобрать для перевода действительно интересные, значительные стихи; во-вторых, в том, что все переводы осуществлены непосредственно с оригинала, минуя так называемые «подстрочники», благодаря чему в переводах сохранено главное — поэтический дух подлинника, общее настроение. Силлабическая японская поэзия, не знающая, к тому же, рифмы, не может, разумеется, быть абсолютно точно воспроизведена средствами нашей поэзии, имеющей силлабо-тоническую структуру. Поэтому при переводе японских стихов вопрос о размере стиха, об использовании рифмы при переводе некоторых стихов или об отказе от нее при переводе других всецело зависит от художественного чутья переводчика, от его умения проникнуться духом подлинника. Если учесть, что переводчикам приходилось идти в полном смысле слова непроторенными путями, то заслуга их станет еще более очевидной.

Правда, не все бесспорно в сборнике в этом отношении. Так, нам представляется, что для перевода произведений классической поэзии и, в частности, для перевода коротких стихотворений, уместнее было бы использовать какую-либо из классических стихотворных форм. Размер, избранный переводчиком, невольно вызывает в памяти интонации поэзии русского символизма, что, естественно, не подходит для передачи духа классической японской поэзии.

Книге предпослано предисловие, написанное проф. Н. Конрадом — известным советским востоковедом, знатоком японской литературы. Предисловие представляет собой сжатый очерк истории японской поэзии, рассчитанный на то, чтобы облегчить читателю, впервые берущему в руки книгу японских стихов, понимание этой поэзии. Эту задачу предисловие, безусловно, выполняет. Жаль только, что ограниченные размеры издания не позволили дать более полный и подробный очерк японской поэзии, это помогло бы читателю лучше уяснить себе содержание сборника.

Государственное издательство художественной литературы выпустило интересную, нужную книгу — результат серьезного, вдумчивого труда. Успех талантливых переводчиков заслужен. И хотя 35 000 — немалый тираж для книги стихов, но, учитывая оригинальность и новизну сборника «Японская поэзия», он не может считаться достаточным. Книгу следует переиздать, значительно пополнив ее содержание, в первую очередь за счет произведений современной демократической поэзии.

В. Адмони, Т. Сильман

ЮБИЛЕЙНОЕ ИЗДАНИЕ СКАЗОК АНДЕРСЕНА

Вышел в свет сборник сказок Андерсена. Он приурочен к знаменательной дате, достойно отметить которую призвал Всемирный Совет Мира — к стопятидесятилетию со дня рождения Ганса Христиана Андерсена. И рассчитан он, в отличие от нескольких изданий последних лет, не только на детей, но и на взрослого читателя.

Этот сборник не лишен недочетов, о которых мы скажем ниже. Но он, несомненно, доставит радость миллионам читателей, давно вышедших из детского возраста; они не только вспомнят те хорошие, светлые чувства, которые некогда, в детстве, владели ими при чтении сказок Андерсена, но, заново прочитав эти сказки, найдут для себя в них и кое-что новое. Праздничность издания отмечена на редкость богатым комментарием: в сборнике две статьи об Андерсене, и обе они оказались вполне уместными. Они рисуют Андерсена как демократа и гуманиста, друга простых людей и врага угнетателей, как писателя, глубоко ненавидящего войну. В послесловии В. Неустроева вкратце прослеживается жизненный путь великого датского гуманиста и дается характеристика многообразной проблематики его сказок. Статья К. Паустовского, открывающая книгу, дает живой и обаятельный образ Андерсена — человека и писателя. Это как бы сказка о сказочнике.

К. Паустовский рассказывает о своем первом знакомстве с Андерсеном, о тех чувствах, которые охватили его в детстве при чтении толстой книги сказок, украшенной многочисленными картинками.

На первый взгляд Паустовский рисует облик Андерсена подчеркнуто поэтически и субъективно, но ему удается отчетливо и ярко показать существенные черты художественного метода и мировоззрения Андерсена: сочетание в андерсеновских сказках фантастики и реализма, мягкости и твердости, доброжелательности к людям и вместе с тем сурового, справедливого осуждения их моральных проступков, необыкновенное умение Андерсена искать и находить поэзию в самых простых и «низких» предметах обыденной жизни.

Некоторые очень верные наблюдения, относящиеся к самому существу творчества Андерсена, даны у Паустовского в качестве мимолетных, как бы случайных замечаний. Так, очень точно и тонко сказано о «двойном смысле» андерсеновских сказок: «Тогда я еще не знал, конечно, двойного смысла андерсеновских сказок. Я не знал, что в каждой детской сказке заключена вторая, которую в полной мере могут понять только взрослые».

Но этим К. Паустовский и ограничивается. А между тем чрезвычайно важны те средства, при помощи которых Андерсен достигает такого сложного, двояко направленного результата.

Что здесь особенно важно?

Особая, лукавая манера Андерсена, позволяющая ему говорить об одном и том же предмете, излагать один и тот же сюжет двум категориям читателей — взрослым и детям, — сказывается не только в трактовке отдельных эпизодов, в которых дети видят лишь приключенческую сторону, а взрослые — значительно больше; эта своеобразная

Ганс Христиан Андерсен, Сказки и истории, перевод с датского. Вступительная статья К. Паустовского. Послесловие В. Неустроева. Переплет, титул и иллюстрации художника В. Алфеевского. Редакторы А. Миронова и А. Кобецкая. Государственное издательство художественной литературы, 1955.

образная манера пронизывает собой весь ход изложения, все движение сюжета, самое раскрытие идей, она сказывается и в серьезном и в смешном.

Сама структура образов в его сказках не проста, по-разному видна и доступна детям и взрослым.

Андерсен часто пишет о животных, растениях, предметах, думающих и говорящих, как люди. И этому никто не удивляется, наоборот, об этом рассказывается как о чем-то само собой разумеющемся, и происходит это потому, что все персонажи одновременно существуют и как таковые и в то же время иносказательно изображают людей.

Андерсен делает это тонко и легко до виртуозности. При этом объектом его иносказания, то есть повествования о людях через неодушевленные предметы и животных, является большей частью комическая, мещанская, провинциальная среда, представителями которой и оказываются его герои — животные и вещи.

Под псевдонимом уток, аистов, полевых мышей, кротов и других животных изображены провинциальные мамы и тети, супружеские пары, женихи и невесты, кумушки и свахи. Переход от первого аспекта ко второму — от животных к людям — происходит путем мягкого, незаметного соскальзывания, так что, например, в «Гадком утенке» образ утки остается не до конца заслоненным образом провинциальной кумушки. Для маленького читателя это и есть утка, только похожая на болтливую тетю, для взрослого читателя — это скорее болтливая тетя, провинциальная кумушка, очень метко «усиленная», подчеркнутая образом утки.

Гений писателя делает то, что эти два разных «правдоподобия» сочетаются без натяжки — в едином реалистически убедительном рисунке.

Сказки Андерсена в восприятии юных читателей полны патетики, глубоких переживаний и значительно менее насыщены юмором, чем это получается в восприятии взрослых. Для взрослых многое из того, что ребенок принимает всерьез, оказывается остроумно придуманной шуткой.

Юмор, таким образом, является тем трамплином, при помощи которого совершается скачок к «взрослому» сознанию в сказках Андерсена. Но коль скоро этот скачок совершился, коль скоро юмористическая стихия мещанского быта в «Гадком утенке» закрепилась за птичьим царством, тогда уже и для взрослого читателя вступает в силу драматизм, даже трагизм изображенного конфликта. Уже не только утки-кумушки посещают друг друга, злословят по поводу деток-утят и т. п. Уже начинаются терзания гадкого утенка — идеального героя, по поводу которого плачут дети-читатели, но способны задуматься и взрослые. Уже скитания гадкого утенка, вся его патетическая и трагическая история перерастает в горький символ несправедливости буржуазного общества, дает пищу для широких обобщений. Сказка Андерсена вмещает большие идеи и большую правду жизни — для каждого читателя в меру его возраста и разумения.

Следует остановиться еще на одном моменте, очень важном для творчества Андерсена, который, однако, почти совсем не затронут в статьях сборника.

Как известно, Андерсена часто называли романтиком, ссылаясь на сочетание в его творчестве фантастики и реальности, на критику им буржуазного общества с наивных патриархальных позиций. Вместе с тем важно отметить, что творчество Андерсена характеризуется и совсем иными сторонами. Для мировоззрения Андерсена характерна просветительская вера в силу разума. Он восторженно относится к человеческому труду, к достижениям науки. Он прославляет телеграф и железную дорогу. В споре с реакционными романтиками, возвеличивавшими поэзию и принижающими науку, Андерсен заявляет: «...на мой взгляд то явление, что ныне люди, страны, города сближаются между собой, соединяются посредством пара и электромагнетизма, так грандиозно и великолепно, что одна мысль о нем возвышает мою душу не меньше любого вдохновенного поэтического произведения».

Андерсен верит в поступательное движение человечества и разоблачает попытки идеализировать прошлые этапы истории, в особенности средневековье. В сказках Андерсена явственно обнаруживается та великая, всезахватывающая сила, которая, по мысли Горького, живет в народной сказке. И если эта великая всепобеждающая сила чаще всего выступает у Андерсена как проявление прекрасных человеческих чувств, высоких моральных идеалов, то порой она воплощается и в достижениях человеческого гения — в технических изобретениях и в открытиях науки. Волшебство в сказках Андерсена — это не только волшебство сердца, но и волшебство науки.

Над могилами старого мира — мира феодализма и суеверия, дворянской спеси и алхимического безумства — промчится, сгорая их, движимый паром поезд, — таково символическое завершение сказки «Ветер рассказывает о Вальдемаре До и его дочерях».

А традиционную сказочную фантастику Андерсен трактует весьма иронически; иногда он заставляет ее действовать как бы вхолостую. Так, в «Калошах счастья» подарок доброй феи — чудесные калоши, позволяющие человеку по желанию переместиться в любое место и в любую эпоху — никому не приносит счастья, а только доставляет огорчения. И не случайно в конце сказки их берет себе дурная фея — забота. Поучительно сопоставить в этом отношении Андерсена и Гофмана; у Гофмана механизмы и автоматы, ухищрения научной и технической мысли человека выступают как черная магия, как сила опасная и враждебная человеку. У Андерсена это силы добрые и полезные.

Но вернемся к самому рецензируемому сборнику.

Бесспорно, сборник включает в себя все наиболее известные сказки Андерсена. Мы найдем в нем и «Дюймовочку» и «Новое платье короля», «Стойкого оловянного солдатика» и «Тень», «Девочку со спичками» и «Русалочку». Наряду со сказками, целиком принадлежащими фантазии Андерсена, даны и те, которые представляют собой переработку произведений народного творчества — «Огниво», «Маленький Клаус и Большой Клаус». Здесь есть и сказки, давно уже не появлявшиеся в русских переводах, например, сказка «Хольгер-Датчанин», пронизанная горячей любовью Андерсена к его родине и верой в ее будущее. При всем том в сборнике, думается, чего-то нехватает. Мы уже говорили о том, что наивный и мечтательный Андерсен был вместе с тем страстным другом научного и технического прогресса и что это отразилось и в его сказках, подчас в весьма своеобразной форме. Но в сборнике сказки такого рода вообще отсутствуют. Здесь нет ни «Великого морского змея», ни «Капли воды» и т. п. Поэтому у читателя все же не может составиться полного представления о всем тематическом многообразии сказок Андерсена. Следует пожалеть, что в сборнике нет ни одной из таких своеобразных по своей композиции сказок, как «Блуждающие огоньки в городе» или «Ветер рассказывает о Вальдемаре До и его дочерях».

В этой связи хочется сказать, что большой интерес представило бы издание собрания произведений Андерсена, в котором, кроме полного подбора сказок, содержались бы и отрывки из его автобиографии («Сказка моей жизни»), хотя бы один из романов («Импровизатор» или «Только скрипач»), пьеса «Мулат» и отрывки из таких произведений, как «Альбом без картин» и ранние «Путевые картины».

Следует приветствовать, что в новом сборнике богато представлены переводы А. Ганзен. Это переводы живые и яркие; в них отразилась та веселая улыбка писателя, о которой в применении к Андерсену говорил Горький. А. Ганзен очень хорошо передает интонацию Андерсена, его непосредственность и его лукавство. Но при этом, отражая вообще более ранний этап переводческой практики в России, она подчас несколько вольно обращается с оригиналом, выпуская то, что ей кажется лишним, неинтересным для детей и т. д.

Редактируя заново переводы А. Ганзен, сделанные десятилетия назад, следовало бы более тщательно проверить их соответствие подлиннику. И все же, пожалуй, мы не ошибемся, если скажем, что переводы А. Ганзен выделяются в сборнике своей полнокровностью и свежестью, своей близостью к поэтической манере Андерсена.

Конечно, в сборнике есть и ряд других удачных переводов. Но здесь можно обнаружить и довольно существенные неточности. Остановимся на случае, когда в результате переводческой ошибки (сознательной или бессознательной) смещается один из важных сюжетных моментов всей сказки. Речь идет о сказке «Ганс-чурбан» (перевод А. Старостина).

Эта сказка относится к числу тех сказок Андерсена, в которых явственно проступает связь с фольклорной традицией. Герой сказки напоминает Тиля Уленшпигеля: он так же ловок, находчив, хитер, умен, также борется с сильными мира сего (связь с Уленшпигелем правильно подмечена художником в заставке к сказке).

Принцесса, подыскивающая себе жениха, с самого начала изображена сатирически: условие, которое она ставит, выдает ее сумасбродство, она выйдет замуж за того, кто умеет говорить более красно, чем другие.

Между тем в переводе мы читаем, что принцесса выйдет замуж за того, кто окажется *умнее* всех. Это уже не такое глупое условие, его нельзя воспринять как черту, типичную именно для легкомыслия и сумасбродства принцессы.

Таким образом, условие, переведенное неправильно, изменяет смысл всей сказки. Не останавливаясь на ряде мелких несоответствий, проследим лишь ту основную линию сюжета, которая держится на этой существенной характеристике принцессы.

В согласии с первоначальным условием (условием оригинала), братья едут ко двору короля, at snakke til принцессу, что буквально означает «чтобы добыть (завоевать) ее болтовней». Это продолжение сатирической линии сказки. А в переводе братья едут «улещать» принцессу, то есть уговаривать ее, просить, умолять и т. п., а отнюдь не добиваться ее руки своей болтовней.

Наконец, совсем в другом свете предстает и финальная сцена. Поскольку условием успеха у королевской дочки было красноречие жениха (а не ум!), именно поэтому особенно смешно то беспомощное блеяние, которое один за другим издают «ученые» братья. И именно на фоне этого условия особенно «выигрывает» находчивость и даже дерзость Ганса-чурбана, который, услышав, что принцесса жарит цыплят, предлагает ей зажарить для него и его дохлую ворону. Принцесса неожиданно соглашается сделать это, иначе говоря, уже с этого момента ясно, что она целиком подчинилась Гансу. А в переводе оказывается, что Ганс только просит разрешения самому приготовить себе это блюдо, то есть опять-таки никакой дерзости и находчивости, никакой остроты сюжета не получилось. А конец сказки понят совсем уже неправильно. Автор заключает, что вычитал он эту историю в газете альдермана и что, следовательно, доверять ей нельзя (og den er ikke at stole paa), а в переводе читаем: «Это нам известно из газеты, которую издает муниципальный советник, а *на нее нельзя не положиться*».

Но чаще недочеты в переводах носят иной характер; они связаны с недостаточной внимательностью к отдельным мелочам и стилистическим тонкостям оригинала,

между тем нет такой мелочи, нет такой тонкости, которая не имела бы существеннейшего значения в языковой ткани сказок Андерсена.

Продемонстрируем это на примере сказки «Пятеро из одного стручка».

Начинается она словами (даем дословный перевод с юбилейного издания 1905 года): «Жили-были пять горошин в одном стручке; они были зеленые, и стручок был зеленый, следовательно, они считали, что весь мир зеленый, — и это было совершенно правильно! Стручок рос, и горошины тоже росли, они сообразовались с устройством своей квартиры и сидели прямехонько в один ряд».

Восклицательный знак автора в первой фразе играет важную роль. Это, во-первых, голос живого рассказчика, и что, пожалуй, еще важнее, это и иронический восклицательный знак: горошины, как и все мелкие предметы, животные, растения у Андерсена, символизируют собой мелкую провинциальную, филистерскую среду — квартира у них зеленая, сами они зеленые, да, конечно же, зелен и весь мир!!!

В переводе А. Кобецкой получается нечто совсем другое: «В стручке сидело пять горошинок; они были зеленые, и стручок зеленый,— вот они и решили, что весь мир тоже зеленый, и решили правильно. Стручок рос, росли и горошинки; все они сидели в один ряд — такая уж у них была квартира!»

Восклицание автора имеется, восклицательный знак сохранен, но в переводе он относится к другой фразе. Где теперь его внутренний смысл? Что стручок есть квартира? Это не совсем то, хотя на первый взгляд и звучит «по-андерсеновски». А там, где благодаря восклицательному знаку была ирония, она теперь исчезла. За восклицательным знаком в переводе сохранено его формальное значение — это знак «манеры» Андерсена. «Манера» осталась, но смысл ослаблен.

Мы намеренно остановились на таком «микроскопическом» случае потому, что андерсеновские по-своему большие масштабы мыслей и чувств чаще всего имеют такое вот «микроскопическое» воплощение.

Но вот еще один «микроскопический» случай в сказке «Пастушка и трубочист». Маленькая фарфоровая пастушка — грациозное жеманное существо. Она полюбила фарфорового трубочиста — не так, правда, самоотверженно, как бумажная балерина стойкого оловянного солдатика,— но все же полюбила и хочет с ним бежать. Боязливая, ничего не знающая о жизни и все-таки смелая барышня — как это все точно, жизненно верно и прелестно у Андерсена!

Трубочист пылает любовью, он сделает все ради нее: он будет работать и прокормит пастушку своим ремеслом. Первые шаги их бегства — они должны спуститься вниз с подзеркальника. Вот что сказано у Андерсена: «Хоть бы нам спуститься со стола!— сказала она.— Я не успокоюсь, пока мы не очутимся в большом мире!» И он утешил ее и показал, как ей ставить маленькую ножку на покрытый деревянной резьбой угол стола и как спускаться вниз по золоченым украшениям ножки стола».

Спору нет, положение у переводчика затруднительное: тут и ножка маленькой пастушки, и ножка стола — многозначность русского слова «ножка», которой нет в подлиннике, очень мешает. Значит, в русском переводе надо сделать выбор между двумя «ножками». Но которая из них важнее? Разумеется, ножка пастушки, потому что она, как многое у Андерсена, несет двойную нагрузку. Она и «по-детски» мала потому, что она принадлежит маленькой фарфоровой статуэтке, кукле, и мала «по-взрослому» потому, что это — «ножка» барышни. А переводчик (А. Кобецкая) выбрасывает все это и вставляет одну, третью «ножку»— ножку стола (подзеркальника). В таком случае оставил бы пастушке хотя бы башмачок!

И в переводе мы читаем:

«Трубочист утешил ее, потом показал ей, *как удобнее спуститься вниз по бордюру* и по золоченым резным ножкам подзеркальника...» — и мы уже ничего не находим от милой трогательной картины, от лукавой, тонкой и точной реалистической наблюдательности замечательного писателя.

В сказках Андерсена, в этих жемчужинах повествовательного искусства, на учете каждое слово. Поэтому так трудна задача переводчика сказок Андерсена и так ответственна и значительна роль редактора. Но, к сожалению, редакторская работа в рецензируемом сборнике не всегда была проделана наилучшим образом.

Много раз еще будет издавать Гослитиздат сказки и истории Андерсена. Пожелаем, чтобы в последующих изданиях в состав сборника вошли и другие произведения великого сказочника и чтобы были устранены имеющиеся в этом сборнике недочеты и неточности. Но и в таком виде сборник будет с радостью встречен сотнями тысяч читателей всех возрастов и профессий во всех уголках нашей необъятной страны.

Р. Самарин

НОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ О ВИКТОРЕ ГЮГО

В СССР написано немало научных и научно-популярных работ о Викторе Гюго. Книга М. Трескунова, вышедшая в конце 1954 года, подводит некоторые итоги изучению Гюго в СССР и в то же время намечает новые задачи, стоящие в этой области перед советскими литературоведами.

Книга представляет собой анализ творческого развития В. Гюго, которое рассматривается в хронологическом порядке. За

введением, где автор рассказывает об отношении к Гюго русской передовой критики, следуют основные главы книги, показывающие развитие писателя в период Реставрации, Июльской монархии, 1848—1851 годов, в годы изгнания и, наконец, в 1870—1885 годы. Жизнь и творчество Гюго даны в тесной связи с историей французского общества, с освободительной борьбой французского народа на разных ее этапах — от выступлений против монархии Бурбонов до Парижской Коммуны.

Сложный, полный противоречий путь Гюго показан исторично, без упрощений, без стремления «улучшить» писателя и уж, конечно, без попыток принизить его нелепыми вульгарно-социологическими придирками, каких немало можно найти в некоторых наших старых работах об этом писателе. «Внимательное и непредубежденное изучение творчества Гюго, — пишет М. Трескунов, — совершенно ясно показывает, что не существует никакого приписываемого ему беспринципного эклектизма убеждений, а наличествует определенный идейный рост великого поэта, непрерывное сближение с народом...» И далее: «Противоречивость в в облике Гюго как политического деятеля и мыслителя существует, но наряду с этим остается единство и последовательность основной идейно-политической линии его творческого развития: искренний и глубокий демократизм, постоянная самоотверженная борьба в защиту демократии и социальной справедливости».

Из книги явствует, что Гюго стал поэтом-демократом не сразу, что признание и горячая любовь миллионных читательских масс были завоеваны Гюго по мере развития его таланта, по мере углубления его искусства и приближения писателя к народу.

Подробно рассмотрено раннее творчество Гюго, сильные стороны которого нередко недооцениваются у нас; показано значение ранних романов Гюго в развитии французского исторического романа; должное внимание уделяется повести «Последний день приговоренного к казни». Автор справедливо отмечает, что в этой повести раскрыты не только душевные муки обреченного на смерть, в ней показано, что трагическая судьба его предопределена жестоким обществом.

Говоря о монархических заблуждениях и творческих неудачах молодого Гюго, М. Трескунов показывает, как молодой поэт постепенно отходил от своих прежних литературных взглядов и становился противником тех реакционных романтиков, которые еще недавно вызывали у него искреннее уважение.

Несколько беглой выглядит в книге характеристика сложного периода в развитии Гюго — конца 30-х и, далее, 40-х годов (до 1848). Но освещение эволюции Гюго и здесь не вызывает возражений.

В книге рассмотрено противоречивое отношение Гюго к Парижской Коммуне: «Да, он не понял исторического значения Парижской Коммуны. Об этом можно и нужно говорить прямо. Но с такой же прямотой и определенностью необходимо говорить и о том, что, даже осуждая некоторые действия восставшего народа, Гюго не имел ничего общего с лагерем каннибальствующей буржуазии и в течение десяти лет добивался амнистии коммунарам».

М. Трескунов стремится одновременно дать общее представление о писателе и выделить для более подробного анализа важнейшие его произведения; при этом автор не обошел ни одного важного жанра художественного творчества Гюго. В книге содержится анализ многих сборников стихов Гюго (в частности «Возмездия» и «Грозного года»), анализ всех романов и повестей Гюго. М. Трескунов дал интересное истолкование важнейших пьес Гюго, стремясь показать специфические черты Гюго-драматурга, выяснить своеобразие романтической драматургии. По-новому освещен роман «Бюг-Жаргаль»: подчеркнута гуманистическая тема романа и показаны черты романтической героики, присущие его основным персонажам.

Страницы книги, посвященные публицистике Гюго, представляют серьезный интерес. Некоторые наши литературоведы недооценивают значение художественного элемента в публицистике, игнорируют тесные, сложные и очень плодотворные связи между публицистическим и художественным творчеством. М. Трескунов успешно приступает к рассмотрению этой проблемы, важной и для современной передовой литературы. Вполне уместно напоминает он слова Г. В. Плеханова о том, что «есть эпохи, когда не только критика, но и само *художественное творчество* бывает полно публицистического духа... Если существуют действительно вечные законы искусства, то это те, в силу которых в известные исторические эпохи публицистика неудержимо врывается в область художественного творчества и распоряжается там, как у себя дома».

Опираясь на это наблюдение Плеханова, автор исследует публицистику Гюго и показывает ее значение в творческом пути писателя и, в частности (к сожалению, это сделано менее подробно), в развитии Гюго-художника.

В книге широко использован опыт передовой русской критики XIX века, опыт советского литературоведения. Вместе с тем привлечены и работы зарубежных авторов: работы Коньо, Альбуи, Ф. Бонта, статьи передовой французской прессы, высказывания Мориса Тореза, Р. Роллана, А. Барбюса.

Постоянное обращение к литературно-критическим источникам вообще характерно для книги М. Трескунова. Тем самым автор дает представление о жестокой борьбе во-

---

М. Трескунов, Виктор Гюго. Редактор К. С. Анисимова. Государственное издательство художественной литературы, Москва, 1954.

круг творчества Гюго, шедшей в течение всей его жизни и продолжающейся в наши дни.

Несомненно, читатель оценит насыщенность книги историко-литературным материалом, как оценит он и большую, со вкусом составленную библиографию, приложенную в конце книги. Это хорошее начинание следует всемерно поддержать: такая библиографическая справка существенно расширяет кругозор читателя.

Слабостью книги является то, что в ней уделено недостаточно внимания литературно-критическим работам Гюго. Эта сторона деятельности писателя должна была получить более полное освещение. В связи с этим хочется указать автору и на необходимость более глубокого и систематического рассмотрения эстетических взглядов Гюго. Здесь М. Трескунов повторил обычную традицию книг о Гюго и по существу ограничился рассмотрением предисловия к «Кромвелю».

Недостатком книги следует признать также слишком скупое и к тому же неравномерное освещение литературного процесса во Франции XIX века. Только в первых разделах книги более или менее подробно говорится о борьбе направлений во французской литературе. Здесь охарактеризованы в общих чертах некоторые писатели (Шатобриан, де Виньи), затрагиваются вопросы исторического романа, упомянуты имена Стендаля, Ж. Санд, Дюма. Об этих писателях М. Трескунов чаще всего именно упоминает — иногда даже в связи с явлениями политическими, а не литературными. Уделив достаточно внимания различным романтическим направлениям во французской литературе первой половины XIX века, автор явно мало говорит о развитии критического реализма до и после 1848 года. Между тем Гюго был современником не только де Виньи и Шатобриана, но и Бальзака, Стендаля, Мериме, Флобера, Золя, Мопассана. Весьма уместно введены в монографию некоторые материалы, касающиеся литературы Парижской Коммуны, но не менее уместно было бы показать значение Гюго во французской литературе 70—80-х годов в целом.

М. Трескунов рассматривает Гюго и Стендаля как союзников в борьбе против эпигонов классицизма в 20-е годы XIX века — и он прав; но очень важный тезис о близости Гюго к писателям-реалистам не обоснован с должной силой и последовательностью. Удивляет отсутствие сколько-нибудь серьезного упоминания о Беранже: для изучения Гюго творчество этого поэта имеет существенное значение. Недаром Белинский в своих высказываниях о французской литературе не раз рассматривал Гюго и Беранже вместе.

Вопрос о борьбе направлений во французской литературе после 1830 года по существу в работе не затронут. Иногда это приводит М. Трескунова к неверным положениям. Так, говоря о развитии исторического романа во французской литературе XIX века (и давая отрицательную оценку романам Сулье, Лакруа и т. п.), автор пишет: «такой порочный метод привел в дальнейшем к постепенному вырождению французского исторического романа, представленного в 20-х и начале 30-х годов выдающимися произведениями Мериме, Бальзака и Гюго» (стр. 124).

Едва ли эта характеристика может быть отнесена в целом ко всему «французскому историческому роману» после 30-х годов. Впереди была «Саламбо» Флобера, романы Эркмана-Шатриана, А. Франса и многие другие образцы французского исторического романа, которые свидетельствуют, что не А. Дюма, не Сулье и не Сю были подлинными продолжателями этого жанра.

Более систематическое освещение литературного процесса обязательно привело бы М. Трескунова к более глубокой постановке теоретических вопросов, которые в книге лишь намечены в самом общем виде. Это прежде всего вопрос о специфике творческого метода Гюго, о соотношении романтических и реалистических начал в его творчестве. Затем это вопрос о связях между прогрессивным романтизмом и критическим реализмом, которые существовали и развивались в 20—30-е годы XIX века, да и позже. Проблема соотношения реализма и романтизма в творческом методе Гюго имеет не отвлеченно академический интерес; она весьма актуальна.

В книге встречаются неудачные формулировки, кстати, тоже связанные с недостаточной разработкой вышеназванных теоретических и историко-литературных проблем. Едва ли можно согласиться с М. Трескуновым относительно того, что «творческий метод Гюго прогрессивнее, «левее», нежели его мировоззрение» (стр. 8). Недаром автор сам взял в кавычки выражение «левее»: конечно, оно никак не исчерпывает всего того, что подразумевается под объективной правдивостью художественного произведения, которая нередко приводит читателя того или иного художественного произведения к выводам гораздо более резким и решительным, чем хотел писатель, ограниченный в своих воззрениях теми или иными предрассудками и заблуждениями. Если бы М. Трескунов глубже остановился на проблеме романтизма и реализма во французской литературе середины XIX века, он, несомненно, избежал бы этой неудачной формулировки и дал бы более верное суждение о соотношении мировоззрения Гюго и его творческого метода.

В заключение хочется остановиться еще на одном вопросе, выходящем за пределы рассматриваемой книги.

Автор работы о Гюго уделяет немало внимания языку писателя. Он избегает обычных штампов, которые нередко появляются даже в серьезных наших работах, как только литературовед берется за анализ языка писателя. Правда, М. Трескунов

по преимуществу подводит здесь итог тому, что уже было выяснено в предыдущих работах о Гюго, но его обобщения и выводы верны и содержательны. Однако они сильно выиграли бы, если бы автор чаще обращался к французскому тексту, оперировал бы непосредственно языковым первоэлементом творчества Гюго. У нас о языке зарубежных писателей говорят несколько отвлеченно, опираясь на общие теоретические положения, не проиллюстрированные конкретными примерами. Это обедняет исследовательскую мысль, отдаляет материал исследования от читателя.

В целом же книга М. Трескунова полезна как для специалистов, так и для широких читательских кругов. Она представляет собой содержательный, богатый фактами рассказ о творческом пути великого французского писателя.

С. Мокульский

СБОРНИК СТАТЕЙ М. МОРОЗОВА

Прошло три года со дня смерти крупного советского ученого, педагога, критика и театрального деятеля Михаила Михайловича Морозова. М. Морозов был выдающимся знатоком Шекспира и английского театра. Его работы хорошо известны не только в нашей стране, но и за ее пределами. Книга М. Морозова «Шекспир на советской сцене», изданная в 1947 году на английском языке, хорошо известна передовым деятелям искусства Англии; она немало способствовала популяризации достижений нашего театра за рубежом.

Все советские артисты и режиссеры, работающие над Шекспиром, попрежнему обращаются главным образом к книгам, статьям, переводам и комментариям М. Морозова, потому что среди советских шекспироведов М. Морозов был наиболее близко связан с театральной практикой. Его многолетняя работа во Всероссийском театральном обществе, где он возглавлял с 1937 года Кабинет Шекспира и зарубежной классики, дала ему возможность окунуться в самую гущу нашей театральной жизни. М. Морозов развернул во Всероссийском театральном обществе обширную консультационную работу. Он просматривал все советские шекспировские спектакли во всех городах страны, принимал участие в их обсуждении, помогал актерам и режиссерам глубже проникать в творческую лабораторию великого английского драматурга. Он организовал и лично провел с 1939 года десять шекспировских конференций, на которых ученые-шекспироведы и театральные критики встречались с театральными практиками.

В совместном обмене мнений, в творческих спорах театральных практиков и теоретиков рождалось новое, советское понимание Шекспира, преодолевались многие старые, порочные взгляды на его творчество.

Во всей исследовательской, теоретической, критической, консультационной работе, проводимой Кабинетом Шекспира ВТО, М. Морозову принадлежала поистине основная, руководящая роль. Он был не только превосходным организатором изучения Шекспира в СССР; он был и одним из первых и лучших выразителей новых методологических принципов в изучении творчества великого английского драматурга. Ему принадлежит решающая роль в утверждении народности шекспировского творчества, доказательстве связи Шекспира с великими идеями гуманизма, с культурой эпохи «величайшего прогрессивного переворота, пережитого до того человечеством» (по известному выражению Ф. Энгельса). М. Морозов был не единственным ученым, видевшим в Шекспире выразителя великих прогрессивных идей Ренессанса. Такое отношение к Шекспиру присуще советскому шекспироведению в целом. Но М. Морозову принадлежит здесь, пожалуй, наибольшая роль.

М. Морозов стремился всячески конкретизировать изучение произведений Шекспира, ставя его в связь с изучением жизни английского общества того времени, его быта и нравов. Он живо ощущал ту социальную среду, которая питала шекспировское творчество. Не подлежит сомнению, что М. Морозов был лучшим советским комментатором и знатоком шекспировских реалий. И он же был лучшим знатоком шекспировского языка, сумевшим объединить филологический и чисто лингвистический подход к текстам с их театральным, сценическим осмыслением. В сущности, М. Морозов был первым шекспироведом-филологом, попытавшимся поставить всю свою филологическую и языковедческую эрудицию на службу театральной практике и блистательного преуспевшим в этом начинании.

М. Морозов умер в расцвете своих творческих сил, оставив неопубликованные работы, незавершенные начинания. Некоторые работы его были напечатаны в трудно

М. М. Морозов, Избранные статьи и переводы, редколлегия: С. Я. Маршак, Р. М. Самарин, Ю. В. Семенов, А. А. Смирнов, редактор Ф. Иванова, Государственное издательство художественной литературы, М., 1954.

доступных изданиях и потому мало знакомы сегодняшнему читателю. А между тем, все они представляют большой интерес. Опубликование хотя бы важнейших из этих работ является долгом нашей литературной и театральной общественности. Этот долг частично выполнен изданием книги избранных статей и переводов М. Морозова, в которую включено одиннадцать статей и два подстрочных комментированных перевода трагедий Шекспира.

Итак, к трехлетию со дня смерти М. Морозова советский читатель получил его новую книгу, составленную главным образом из новых или малоизвестных материалов. Большое значение имеет «Избранная библиография» помещенная в конце книги. К сожалению, она очень неполна; мы не находим в ней даже известной книги «Мастера театра в образах Шекспира», вышедшей в 1939 году под редакцией и со статьей М. Морозова.

Этот сборник — не только дань памяти крупного ученого, но и чрезвычайно нужная и полезная сегодня книга.

Цикл шекспироведческих работ М. Морозова открывается статьей «Вильям Шекспир», которая представляет собой предисловие к книге трагедий Шекспира, вышедшей в издании Детгиза в 1951 году. Редакторы данного сборника предпочли эту статью другим работам М. Морозова, посвященным творчеству Шекспира в целом, в том числе главе о Шекспире из «Истории английской литературы», издаваемой Академией наук СССР (т. 1, вып. 2, 1945), и книге «Шекспир» в серии «Жизнь замечательных людей» (1947).

Эта статья — одна из поздних работ автора — действительно очень удачна и дает ясное представление о системе взглядов М. Морозова на творчество Шекспира. Но будучи написана как предисловие к трагедиям, она и трактует главным образом только о трагедиях Шекспира; о пьесах же других жанров в ней сказано совсем кратко. Это большой недостаток для данного сборника, который тем самым оказывается лишенным статьи М. Морозова, дающей полный обзор шекспировского наследия.

Статья «Шекспир на советской сцене», публикуемая впервые по рукописи 1947 года, представляет большой интерес. Это единственная в своем роде попытка проследить историю сценического воплощения Шекспира на протяжении всей истории советского театра. К сожалению, она отличается некоторой недоработанностью. Очевидно, автор сам не считал этот вариант статьи окончательным. Слишком много места в ней отведено характеристике «порочных» шекспировских спектаклей двадцатых и тридцатых годов. Разговор об этих спектаклях почти всегда является анонимным (имена постановщиков не называются), что сильно уменьшает познавательное значение статьи. Редакторам сборника следовало бы в комментариях к статье раскрыть все то, что остается в ней неясным. Трудно понять, почему сначала автор говорит о постановках Н. П. Акимовым «Гамлета» (1932) и «Двенадцатой ночи» (1938), а затем возвращается к постановке «Ромео и Джульетты» в Камерном театре (1921), отмеченной, по правильному замечанию М. Морозова, «пережитками дореволюционного эстетизма», и к совершенно мистической постановке «Гамлета» в МХАТе Втором с М. А. Чеховым в заглавной роли (1924). Не все удачные шекспировские спектакли освещены одинаково полно. Слишком кратко и общё сказано о постановке «Короля Лира» с С. М. Михоэлсом: «Сила спектакля заключалась в умении передать дух шекспировской эпохи» (стр. 76). Следовало бы показать недочеты замечательного в целом исполнения Михоэлса, у которого не были достаточно подчеркнуты народно-героические черты образа Лира.

Весьма интересны и научно содержательны напечатанные далее три статьи, близкие по темам: «Язык и стиль Шекспира» (1941), «О динамике созданных Шекспиром образов» (1947), публикуемая впервые, и «Метафоры Шекспира как выражение характеров действующих лиц» (1947). В этих статьях Морозов — знаток английского языка подает руку Морозову — знатоку Шекспира. Совершенно правильно стремление М. Морозова разбить часто проявляющуюся у буржуазных шекспироведов тенденцию показывать богатство языка Шекспира путем чисто арифметического подсчета. Убедительно утверждение М. Морозова, что «богатство языка Шекспира заключается не столько в количестве слов, сколько в огромном количестве значений и оттенков, в которых Шекспир употребляет слово» (стр. 97). Недочетом статьи «Язык и стиль Шекспира» является разве только отсутствие ясного разграничения пословиц и поговорок от крылатых слов (стр. 121), а также английского эвфуизма от французской прециозности, о которой автор вспоминает в связи с пышностью некоторых эпитетов Шекспира (стр. 129).

Очень интересна также печатаемая впервые статья «Белинский о Шекспире», в которой М. Морозов убедительно доказывает, что «Белинский был своеобразным и разносторонним шекспироведом» (стр. 223). М. Морозов перечисляет все новые для того времени взгляды, которые Белинский высказал по поводу творчества Шекспира. Наиболее существенным из них является указание Белинского на реализм Шекспира, признание им Шекспира одним из основоположников «реальной поэзии», в противоположность старой точке зрения на него как на учителя романтиков.

Две статьи сборника посвящены проблемам перевода Шекспира на русский язык. Весьма интересна статья «Островский — переводчик Шекспира», перепечатанная из книги «А. Н. Островский — драматург» (1946). М. Морозов дает здесь образцовый по тонкости и тщательности анализ перевода Островским «Укрощения своенравной», вводя читателя, так сказать, в пере-

водческую лабораторию Островского и доказывая, что Островский, несмотря на то, что его текст «Укрощения своенравной» был вскоре забыт и вытеснен переводом П. Гнедича, по существу стоит в своем переводе на позициях, весьма близких к принципам советского художественного перевода. Вопрос о переводах Шекспира ставится также в статье «Сонеты Шекспира в переводах С. Маршака», в которой М. Морозов, давая тонкий анализ переводческого мастерства С. Маршака, вместе с тем высказывает интересные соображения по поводу самих сонетов Шекспира, не составляющих, по его мнению, единого сюжетного цикла и отражающих разнообразные факты малоизвестной нам биографии Шекспира.

Из трех статей, сборника, посвященных нешекспировским темам, наиболее талантливо написана работа о Роберте Бернсе, дающая очень яркую характеристику творчества знаменитого шотландского народного поэта, направленную против клеветнической фальсификации его буржуазными литературоведами. В этой статье М. Морозов снова говорит о деятельности С. Маршака, что дает ему возможность широко поставить проблему советского поэтического перевода в его связях с лучшими традициями русских поэтов прошлого, работавших в этой области.

Второй раздел книги М. Морозова состоит из двух подстрочных переводов, снабженных обширными историческими и литературоведческими комментариями. Сам М. Морозов очень серьезно относился к этим своим работам, справедливо считая, что они могут много помочь тем, кто работает над сценическим воплощением шекспировских пьес. М. Морозов избрал для подстрочного перевода две знаменитейшие трагедии Шекспира — «Гамлет» и «Отелло». Эти переводы, сделанные прозой, имеют немалое значение для актеров, режиссеров и театральных критиков, не знакомых с английским языком и в то же время нуждающихся в совершенно точном знании шекспировского текста, всех его смысловых оттенков. М. Морозов был большим мастером буквального прозаического перевода поэтических произведений. Познавательное значение этих его работ особенно велико и потому, что он снабдил их комментариями, содержащими большой реальный исторический материал и знакомящими читателей с вопросами шекспировской текстологии. Как переводы, так и сопровождающие их комментарии сделаны безупречно, лишний раз свидетельствуя об исключительно высоком уровне шекспироведческой эрудиции М. Морозова. Частные замечания, вызываемые ими, настолько немногочисленны, что только подчеркивают большие достоинства работы М. Морозова в целом.

Таким образом, несмотря на отмеченные отдельные недочеты, сборник статей и переводов М. Морозова составлен в целом удачно. Хочется выразить надежду, что этим сборником не ограничится публикация литературного наследия М. Морозова и что собирание его лучших журнальных и газетных статей, а также докладов, сделанных им во Всероссийском театральном обществе, будет продолжено.

В редакцию журнала „Иностранная литература"

Уважаемый товарищ редактор!

Только что я прочел первый номер журнала «Иностранная литература». Задачи, которые стоят перед журналом, представляются мне благодарными. Журнал призван помочь советским людям лучше узнать и понять литературу других народов.

В связи с выходом первого номера в свет мне хотелось бы поднять некоторые вопросы, которые кажутся мне насущными.

Речь идет о международных культурных связях и широком обмене творческим опытом между советскими и зарубежными писателями.

Каждая нация, большая или малая, имеет свои культурные ценности. Из этих ценностей складывается великое духовное достояние человека.

Наш народ внес свой большой вклад в сокровищницу мировой культуры. Народ наш был щедр и бескорыстен в своем стремлении сделать ценности своей национальной культуры достоянием человечества.

В то же время мы всегда с большим уважением относились к культурным достижениям других народов. Убедительным свидетельством этого являются, в частности, многочисленные поездки деятелей советской культуры за границу и то радушие, с которым мы всегда встречали своих иностранных гостей.

Я не хочу обращаться сейчас к фактам — они общеизвестны. Я лишь позволю себе напомнить читателю то обстоятельство, что только в 1954 году, насколько я знаю, нашу страну посетило около 10 тысяч иностранцев.

Вещественным выражением нашего высокого уважения к культуре других народов являются и многочисленные издания и переиздания зарубежных писателей, при этом не только классиков.

Наш народ стремился придать культурным связям с заграницей возможно больший размах. Именно это желание руководило советскими людьми, когда Верховный Совет СССР на своей второй сессии 9 февраля этого года принял известную декларацию, в которой подчеркивается необходимость укрепления международного общения, как важного фактора, содействующего нормализации международной обстановки.

Я был среди депутатов и с радостью голосовал за эту декларацию.

После того, как Женевское совещание стало историческим фактом, излишне говорить о том, что́ препятствовало стремлению советского народа значительно расширить культурный обмен с заграницей.

Нет необходимости повторять, что «холодная война» и открытое доброжелательное культурное сотрудничество несовместимы.

Было время, когда наши культурные связи с такой страной как США укреплялись и развивались. Боевое сотрудничество американского

и советского народов создало все предпосылки к тому, чтобы наши дружеские связи расширялись и в послевоенное время.

К сожалению, получилось не так.

Попытки нашей страны развивать культурные связи с США оставались тщетными или почти тщетными.

Правда, среди сотен и тысяч иностранных гостей, ежегодно приезжающих в Советский Союз и путешествующих по нашей стране, было немало и американцев. Однако до недавнего времени мы не встречали ответного гостеприимства.

Но, повторяю, сегодня я хочу говорить не о прошлом, а о будущем.

Я убежден, что если «дух Женевы» отныне проникнет во все области международной жизни, дело расширения культурных связей получит широкие перспективы.

У писателей всего мира должен быть свой круглый стол. У нас могут быть разные взгляды, но нас объединит одно: стремление быть полезным человеку.

И если говорить о нас, советских писателях, то нам искренне хотелось бы, чтобы наши дружественные связи со всеми писателями были бы столь же тесными и активными, как из года в год крепнущие отношения с нашими собратьями по перу из многих стран Запада и Востока.

Я был бы очень рад узнать, что́ думают на этот счет мои американские, английские, западногерманские и японские коллеги.

Я говорю о них, в первую, очередь, потому, что именно с этими странами наши культурные связи в послевоенные годы оставляли желать много лучшего.

Такова первая цель моего письма.

Во-вторых, я позволю себе внести некоторые предложения в связи с деятельностью нового журнала.

Я думаю, что журнал призван публиковать все истинно талантливое, что помогает людям жить достойной человека жизнью.

Я был бы рад, и думаю, что далеко не я один, если бы ваш журнал стал трибуной творческого общения для всех, кому дорого живое дело современной литературы. Мы были бы благодарны журналу, если бы на своих страницах он организовал переписку советских читателей (в том числе и литераторов) с авторами печатающихся у вас произведений.

Возможно, что при чтении этих произведений, раскрывающих духовный мир, борьбу и надежды разных народов, у советских читателей возникнут мысли, не безынтересные для зарубежных писателей. Нет писателя, которому было бы безразлично мнение читателей. Помню, с каким интересом я знакомился с откликами зарубежных читателей, в том числе американских, на издание «Тихого Дона». Эти отклики были разноречивы, далеко не все я в них принимал, но для меня как писателя они были поучительны.

Мне кажется, что такая переписка способствовала бы взаимному духовному обогащению и познанию.

Пишу это письмо с сознанием, что наступило время, когда при наличии доброй воли и взаимоуважения делу всемерного развития культурных связей может быть придан широкий размах, разумеется лишь в том случае, если усилия будут взаимны.

Все эти вопросы я ставлю, естественно, в самой общей форме, потому что убежден — при наличии единодушия в главном все остальное приложится.

Я был бы рад узнать мнение моих зарубежных коллег по этому вопросу.

Глубоко убежден, что мы найдем общий язык.

М. Шолохов

С. Ф. Пауэлл

Водородная бомба и будущее человечества

Мы публикуем доклад профессора С. Ф. Пауэлла, прочитанный им на собрании, созванном по инициативе Лондонского кооперативного общества совместно с Ассоциацией научных работников, и изданный в 1955 году в Лондоне в виде отдельной брошюры.

С. Ф. Пауэлл — выдающийся английский физик, вице-председатель Всемирной федерации научных работников.

Широко известно активное участие С. Ф. Пауэлла в движении сторонников мира, его благородная борьба против угрозы новой войны.

За крупные достижения в области науки профессор Пауэлл был удостоен Нобелевской премии.

В течение последних десяти лет школа Пауэлла в Бристоле приобрела мировую известность своими опытами с неуправляемыми аэростатами на больших высотах, а также сделанными ею открытиями различных типов новых элементарных частиц, названных мезонами. О том, какой интерес проявляет С. Ф. Пауэлл к вопросу о связи науки и общества, свидетельствует его высказывание: «Подлинная цель науки — облегчить бремя труда и обогатить человеческую жизнь».

Настоящий доклад, публикуемый с некоторыми сокращениями, представляет большой познавательный интерес; автор выступает как сторонник международного соглашения по вопросу о запрещении атомного и водородного оружия и убеждает в необходимости такого соглашения.

С. Ф. Пауэлл подробно останавливается на возможностях использования атомной энергии в мирных целях, показывая, какие неисчерпаемые блага сулит это великое открытие человечеству. Познание тайны атома — следствие высокого уровня человеческой культуры; с этим открытием тесно связаны дальнейшие перспективы развития человеческого общества.

При опубликовании доклада С. Ф. Пауэлла редакции представляется необходимым сделать некоторые замечания. Так, нам кажутся преувеличенными содержащиеся в докладе утверждения о последствиях применения водородного и атомного оружия.

В изложении тех разделов доклада, которые посвящены проблемам международного соглашения о запрещении атомного оружия, есть некоторые неточности; эти моменты поясняются в примечаниях.

У советского читателя вызовет сомнение и философско-исторический раздел доклада.

По указанным и некоторым другим вопросам мы придерживаемся разных взглядов, разных точек зрения. Но, как справедливо отмечает и сам профессор Пауэлл, это отнюдь не препятствует единству взглядов на главную проблему, занимающую сегодня умы всего человечества: проблему сохранения мира.

Наконец, следует отметить, что со времени чтения доклада прошел уже известный срок (доклад был сделан 26 февраля). За истекшее время произошли важные события, которые, естественно, не могли найти в нем отражения. Так, огромное международное значение имеют предложения Советского правительства по вопросам сокращения вооружений, запрещения атомного оружия и устранения угрозы новой войны, внесенные на рассмотрение подкомитета Комиссии ООН по разоружению 10 мая 1955 года, а также проект решения по вопросам сокращения вооружений и запрещения атомного оружия, внесенный делегацией СССР на Совещании глав правительств четырех держав в Женеве.

Этот проект предусматривает установление определенных уровней вооруженных сил США, СССР и Китая (в размере от 1 000 000 до 1 500 000 человек для каждой из этих держав), Англии и Франции (по 650000 человек), а также всех остальных государств (не более чем по 150 000—200 000 человек).

В проекте подчеркивается также, что вопрос об уровне вооруженных сил, предусматриваемом для Китая, как и связанные с этим вопросы, подлежат рассмотрению с участием правительства КНР.

Согласно проекту делегации СССР, полное запрещение атомного и водородного оружия вступит в силу по осуществлении сокращения вооружений обычного типа и вооруженных сил на 75 процентов согласованных размеров сокращений. Изъятие этого оружия из вооружений государств и его уничтожение будет закончено в ходе сокращения вооружений на последние 25 процентов согласованных размеров сокращений. Все атомные материалы будут тогда применяться исключительно для мирных целей.

Одновременно с началом проведения мероприятий по сокращению вооружений и вооруженных сил и до вступления в силу соглашения о полном запрещении атомного и водородного оружия четыре державы, согласно проекту, предложенному делегацией СССР, берут на себя торжественное обязательство не применять ядерного оружия, которое они считают для себя запрещенным. Исключение из этого правила может быть допущено для защиты от агрессии, когда будет принято соответствующее решение Совета Безопасности.

В качестве одной из первоочередных мер по осуществлению программы сокращения вооружений и запрещения атомного оружия государства, располагающие атомным и водородным оружием, обязуются, как предусмотрено в проекте, прекратить испытания этих видов оружия.

Проектом предусмотрено также установление эффективного международного контроля за проведением в жизнь мер по сокращению вооружений и запрещению атомного оружия.

Наконец, в том же проекте делегации СССР на Совещании в Женеве указывается, что впредь до заключения международной конвенции о сокращении вооружений и запрещении атомного оружия Советский Союз, США, Великобритания и Франция обязуются не применять первыми атомного и водородного оружия против какой-либо страны и призывают присоединиться к этому решению все остальные государства.

Предложения Советского Союза по вопросам разоружения ставят своей задачей избавить человечество от новой истребительной войны, ослабить напряженность в отношениях между государствами, освободить народы от тяжелого налогового бремени, которое они несут в связи с продолжающейся гонкой вооружений.

Следует указать и на такие важные факты, как предложение Советского правительства об оказании помощи КНР, Польше, Чехословакии, Румынии, ГДР, Венгрии, Болгарии, а также Индии в деле использования атомной энергии для мирных целей, как созыв международной конференции по мирному использованию атомной энергии в Женеве в августе этого года.

Мы переживаем ответственный момент в истории человечества. С одной стороны, возможность войны между великими державами с применением современных средств массового уничтожения; с другой стороны, широкое применение в мирных целях новых огромных сил, освобожденных наукой, открывающее перспективы небывалого повышения благосостояния человечества.

Цель данного собрания способствовать достижению всеобщего понимания этих великих проблем нашей эпохи. Основной темой моего выступления будет положение о том, что единственным выходом из наших нынешних затруднений является международное соглашение об атомной энергии, что такое соглашение возможно, что оно жизненно необходимо и что мы должны направить все свои усилия к тому, чтобы оно было достигнуто.

Я хочу, кроме того, рассказать вам о сущности атомной и водородной бомб и об их роли в период войны, а также об огромных возможностях, открывающихся перед человеком в связи с применением атомной энергии в мирных целях.

Если вам покажется, что я слишком хладнокровно и бесстрастно говорю о вещах, от которых зависит жизнь многих сотен миллионов людей, то, надеюсь, вы поймете, что я это делаю потому, что смогу наилучшим образом выполнить свою обязанность только в том случае, если буду говорить безо всякого пыла и избегая пристрастного подхода. Я попытаюсь дать вам без какой бы то ни было предвзятости определенную сумму известных мне фактов и обоснованных предположений по вопросам, по которым еще не опубликовано никакой авторитетной информации. Мы находимся в очень трудном и опасном положении, поэтому чрезвычайно важно создать хорошо осведомленное во всех этих проблемах мировое общественное мнение, которое поддерживало бы идею скорейшего и успешного проведения переговоров между державами. Чтобы добиться успеха, эту точку зрения должны разделять люди, придерживающиеся в других вопросах самых различных взглядов.

Там, где это будет необходимо для аргументации, я буду коротко останавливаться на некоторых технических вопросах. Может быть, нет нужды приносить за это извинения, так как, к счастью или к несчастью, атомная энергия изменит жизнь человека, а поэтому всем нам не мешает постараться хотя бы немного разобраться в ее природе.

ВЕК НАУКИ

Однако, прежде чем перейти к главной теме, разрешите мне сначала попытаться показать значение нашего века в развитии мировой истории: это поможет нам понять создавшееся положение и заключающиеся в нем трудности.

Грозящие нам опасности и открываемые перед нами возможности являются результатом великого научного открытия — освобождения энергии атома, открытия, к которому ученые пришли после 50 лет научных исследований и опытов. Энергетика сделала огромный шаг вперед. Но этот шаг не случаен. Он является закономерным следствием относительно нового в истории человечества подхода к проблеме познания природы и управления ею, сознательного стремления найти метод познания и управления. Развитие этого нового метода — научного метода — величайшая отличительная черта нашего времени.

Великие открытия и технические изобретения, приводившие к коренным изменениям в человеческом обществе, были и в прошлом, но до тех пор, пока не наступила, около пяти тысяч лет тому назад, эпоха цивилизации, этих открытий было немного, и между ними лежали века. Таким открытием был способ добывания огня и умение им пользоваться. Мы не знаем, когда было сделано это открытие, но некоторые исследователи относят его к периоду более чем стотысячелетней давности. Умение пользоваться огнем, безусловно, явилось для первобытного общества великим открытием. Огонь давал возможность приготовлять пищу, которую нельзя было есть в сыром виде, и, таким образом, увеличивал продовольственные ресурсы первобытных людей. Открытие огня с течением времени позволило плавить металл и тем самым способствовало появлению новых орудий, применение которых имело важные для человека последствия.

В определенном смысле всю историю человечества можно рассматривать как следствие овладения огнем; его огромное значение было признано очень давно и прославлено в легендах многих древних народов.

Великие открытия наших дней, последствия которых мы можем сейчас лишь очень смутно представить, являются продолжением открытий прошлого; но по тому значению, какое они имеют для жизни человека, современные открытия намного превосходят все сделанное до сих пор.

Медленные темпы технического прогресса до эпохи цивилизации иллюстрируются тем фактом, что между первым костром, зажженным человеком, и первым куском выплавленного металла прошли десятки тысячелетий; первые усовершенствованные орудия из железа начали применяться только четыре тысячи лет тому назад. Однако по мере того, как люди стали жить все более и более крупными и относительно постоянными общинами, начали быстро расти и развиваться разнообразные искусства и ремесла; накопленный опыт и мастерство стали передаваться из поколения в поколение. Но, несмотря на эти черты, присущие эпохе цивилизации, темпы прогресса были все еще очень медленными по сравнению с темпами развития нашего современного общества. Изобретения в большинстве своем были результатом случайных наблюдений и неожиданных стечений обстоятельств, а не глубокого изучения природы вещей. Но приближались великие перемены.

В Англии триста лет тому назад Фрэнсис Бэкон выступил с новой философией, смысл которой сводился к тому, что для разрешения насущных практических задач недостаточно изучать труды древних философов, таких, как Аристотель. Для дальнейшего прогресса человечества нельзя полагаться на авторитеты, а надо изучать сами вещи, экспериментировать — и, таким образом, открывать новое, опытным путем находить новые методы создания вещей. В течение последующих 50 лет эти взгляды Бэкона нашли горячих сторонников как в Англии, так и в других странах Европы; начали создаваться научные общества, которые на практике применяли новый метод исследования. Были достигнуты такие важные успехи, как открытие Ньютоном закона всемирного тяготения. Однако все достоинства нового экспериментального критического метода раскрылись только с промышленной революцией, которая в конце XVIII — начале XIX века превратила Англию из преимущественно сельскохозяйственной страны в огромную промышленную мастерскую.

С середины прошлого века мы наблюдаем, как во все возрастающей степени научный метод применяется в самых различных сферах человеческой деятельности. Однако этот процесс еще очень далек от своего завершения. Этот метод познания оказался настолько эффективнее всех старых методов, что научные открытия и технические изобретения стали следовать одно за другим все более быстрым и нескончаемым потоком. Перечислю лишь некоторые. На памяти многих из нас — открытие электрона и рентгеновских лучей, изобретение беспроволочного телеграфа и телевидения, двигателя внутреннего сгорания и газовой турбины, автомобиля и аэроплана, открытие радиоактивности и атомной энергии, создание водородной бомбы. Каждого из этих открытий в прошлые века хватило бы на то, чтобы прославить целое столетие.

Важнейший момент заключается в том, что мы вступили в совершенно новую эпоху истории человечества, характеризующуюся непрерывными техническими открытиями, со всеми возникающими в связи с этим затруднениями и возможностями. Всякий, кто попытается хотя бы в общих чертах предсказать дальнейший ход событий, должен допускать возможность новых открытий и изобретений. Всего лишь около шести лет прошло между открытием в 1939 году технического способа расщепле-

ния ядра и взрывом в 1945 году первой атомной бомбы, а менее чем через десять лет уже появилась водородная бомба, разрушительная сила которой почти в тысячу раз больше атомной.

АТОМНАЯ БОМБА

Несколько простых аналогий помогут вам ясно представить себе, какое огромное изменение внесло создание водородной бомбы по сравнению с обыкновенными атомными бомбами.

Сейчас энергию для промышленных предприятий и тепло для наших домов мы получаем главным образом благодаря сжиганию различных веществ. Сжигая уголь, мы получаем пар, который приводит в движение турбины электростанций, в домах мы зажигаем газ. В обоих случаях тепло выделяется в результате перемещения различных атомов, из которых состоят все вещества в мире, а не изменения этих атомов. Когда, например, горит уголь, атомы углерода соединяются с атомами кислорода воздуха и образуется углекислый газ, при этом выделяется тепло. Такое соединение атомов углерода и кислорода может произойти только при определенной температуре, которую мы создаем, разжигая уголь. Можно совершенно безбоязненно оставлять уголь в холодном подвале — он не загорится.

В настоящее время практически все химические процессы, осуществляемые в промышленном производстве, происходят благодаря перемещению атомов, подобно тому, как в нашем примере с горением угля. Иногда мы получаем энергию, соединяя атомы, иногда, наоборот, расщепляя вещество на составляющие его атомы. Вообще говоря, такие процессы всегда дают нам приблизительно одинаковое количество энергии от определенного количества горючего, независимо от формы этой энергии. Допустим, к примеру, мы зажигаем газ и кипятим воду: мы получаем определенное количество энергии от непрерывного сгорания некоторого количества газа. Если, однако, мы включим газ и к нему поднесем спичку не сразу, а через несколько секунд, произойдет небольшой взрыв. В этом случае сгорание произошло мгновенно, но количество произведенной энергии будет почти такое же, как если бы газ сгорел постепенно. То же самое относится и к другим горючим и взрывчатым веществам. Вы получите почти одинаковое количество энергии от сгорания тонны угля в печи и от взрыва такого же количества тринитротолуола.

ЭНЕРГИЯ АТОМА

Великий переворот, произошедший тогда, когда мы сумели получить энергию атома, заключался в том, что мы фактически открыли новое горючее — или новое взрывчатое вещество, — которое дает нам почти в миллион раз больше энергии, чем дает обычное горючее, например уголь. Это произошло потому, что мы сумели изменить атомы и, в частности, самую внутреннюю структуру их центральной части — атомных ядер. В то время как при обычных химических процессах, например при горении, атомы остаются неизмененными, происходит только их перемещение и образуются различные комбинации их, новые процессы приводят к коренному изменению отдельных атомов — к их распаду; при этом выделяется в миллион раз больше энергии при одинаковом весе горючего, чем в результате любых других известных нам ранее процессов.

Проиллюстрирую это следующими цифрами.

Предположим, что во время налета на Германию в прошлую войну вес фугасных бомб, сброшенных двумя тысячами бомбардировщиков, равнялся бы двадцати тысячам тонн. Вес заряда атомной бомбы той же взрывной силы равнялся бы сорока фунтам. Это — кусок урана, размером с грейпфрут, который я один, с трудом, но поднял бы. Считают, что первые две атомные бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки в 1945 году, обладали примерно такой же взрывной силой, что и двадцать тысяч тонн фугасных бомб.

В настоящее время обычная атомная бомба, хотя она и обладает такой огромной разрушительной силой, уже не выходит за пределы традиционных военных представлений. Ее эффект был в некоторых отношениях аналогичен эффекту очень большого налета с применением обычных бомб, но значительно увеличить размер таких бомб было очень трудно. Дело в том, что обычное взрывчатое вещество, применяемое в промышленных или военных целях, должно быть достаточно стойким, чтобы его можно было перевозить даже в трудных условиях, без опасности его преждевременного взрыва. В нужный момент основной заряд взрывается при помощи детонатора — небольшого количества соответствующего вещества, взрыв которого вызывает взрыв основного заряда. В принципе нет предела для размера основного заряда, который может таким образом воспламеняться.

Обычная же атомная бомба действует совершенно по-иному. Ее заряд состоит из блоков особого типа урана или плутония, которые способны самопроизвольно взрываться, если их масса превысит определенную, так называемую «критическую массу». Взрыв, в таком случае, происходит благодаря внезапному соприкосновению двух или более блоков, каждый из которых в отдельности имеет массу меньше критической, а вместе составляют массу, превышающую критическую. Размер заряда обычной атомной бомбы не может поэтому быть меньше размера блока, обладающего критической массой, и не может быть намного больше, так как по техническим причинам трудно добиться соприкосновения большого количества составных частей.

Таким образом, сила взрыва атомной бомбы, хотя она во много раз и превосходит силу взрыва обычной фугасной бомбы, имеет определенный предел.

ВОДОРОДНАЯ БОМБА

Теперь уже нет предела силе взрыва, существующего для обычных атомных бомб, благодаря созданию совершенно новой бомбы, называемой термоядерной или водородной бомбой. Рассмотрим ее действие.

Мы видели, что обычный взрыв зависит от детонатора, который в нужный момент производит резкий толчок, достаточный для того, чтобы вызвать взрыв основного заряда.

Уже лет двадцать тому назад было известно, что некоторые составные части легчайших атомов, встречающихся в природе, в особенности атомов водорода и лития, могут взрываться, если их нагреть до достаточно высокой температуры. Было установлено, что благодаря слиянию их атомных ядер может высвободиться огромное количество энергии. Известно, что такие процессы происходят в центральных частях раскаленных светил, таких, например, как Солнце, где температура достигает 20 000 000° С. Эти процессы известны под названием термоядерных реакций; «ядерных» потому, что, в противоположность обычным химическим изменениям, они связаны с атомными ядрами, а «термо» потому, что они происходят лишь при наличии больших температур. Именно такие термоядерные процессы и выделение энергии, образующейся при этом внутри Солнца, обеспечивают постоянное излучение тепла и света Солнцем, что делает возможной жизнь на Земле.

Когда была впервые осознана возможность термоядерного взрыва с использованием легких атомов, казалось маловероятным, что он будет осуществлен на практике, так как никто не видел способа создания необходимых высоких температур. Самая высокая температура, получаемая на земле обычными методами, — около 30 000° С, а для того, чтобы вызвать термоядерную реакцию, требовалась температура, по меньшей мере, в тысячу раз большая.

С созданием атомной бомбы было установлено, что в центре бомбы в течение очень короткого промежутка времени возникает гораздо более высокая температура, чем в центре Солнца. Тогда стало очевидным, что, если бы атомная бомба была окружена массой вещества, состоящего из соответствующих атомов водорода или водорода и лития, могла бы произойти термоядерная реакция. Обычный взрыв вызывается детонатором; обычная атомная бомба должна была стать детонатором водородной бомбы.

Как мы все уже знаем, эти предположения оправдались. Надежных сведений об истории исследований, приведших к производству водородной бомбы, или о том, что она собой представляет, пока не имеется. Однако, согласно весьма правдоподобным данным ответственных американских журналистов, первые попытки американцев создать водородную бомбу заключались в том, что они окружали атомную бомбу различными видами водорода. Эти попытки имели частичный успех, и в 1952 году на острове Эниветок в Тихом океане был произведен взрыв новой бомбы. Однако в 1953 году был произведен огромный взрыв в СССР. Американцы спустя девять месяцев после взрыва, произведенного русскими, взорвали аналогичную бомбу.

ТРИ ОСНОВНЫХ МОМЕНТА

Хотя некоторые детали этих данных можно ставить под вопрос, в отношении трех основных моментов теперь, кажется, нет никаких сомнений. Во-первых, возможно детонировать основной заряд, состоящий из легчайших атомов, имеющихся в природе. Во-вторых, хотя вещество основного заряда и не встречается в природе в том виде, в каком его можно было бы непосредственно использовать для взрыва,— так что возможность неконтролируемой термоядерной реакции, которая разрушила бы земной шар, исключена,— это вещество может быть приготовлено в значительных количествах при относительно небольших затратах по сравнению с затратами на специальные виды урана и плутония, необходимые для атомной бомбы. В-третьих, при таких термоядерных реакциях нет предела для силы взрыва, который в принципе можно произвести. Предел, существующий для обычной атомной бомбы, таким образом, уничтожен.

В греческой мифологии есть легенда о Прометее, похитившем у богов огонь, чтобы отдать его людям; за эту дерзость он был навеки прикован к скале, где хищная птица клевала его внутренности, и пытка эта длилась бесконечно. Наше поколение дерзнуло вырвать у природы тайну огня неизмеримо более мощного, огня, по сравнению с которым бледнеет сама молния. И только коллективные усилия, мудрость, разум всего человечества могут спасти всех нас от мучений неизмеримо более страшных, чем те, которые испытывал Прометей.

ПОСЛЕДСТВИЯ БОЛЬШОЙ ВОЙНЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ АТОМНОГО ОРУЖИЯ

Прежде чем попытаться представить себе вероятные последствия большой войны с применением атомного оружия, очень важно подчеркнуть две особенности современной обстановки.

Во-первых, любое государство, которое в состоянии изготовить обычную атомную бомбу, имеет практическую возможность перейти к производству более дешевой во-

дородной бомбы. В известном смысле обычная атомная бомба является уже устаревшей, так как ее взрывная сила может быть в огромной степени увеличена, если окружить атомную бомбу основным зарядом, состоящим из лития и водорода; производство такого заряда — дело относительно легкое. Следовательно, с военной точки зрения, использование обычных атомных бомб — расточительность; гораздо выгоднее использовать их в качестве детонатора для получения взрыва значительно большей силы, причем по сравнению с достигаемыми при этом результатами дополнительные затраты относительно невелики.

Я думаю, нет необходимости особо указывать, что страны с высокой плотностью населения, со сложной системой экономического и общественного устройства, такие, как наша страна или некоторые другие государства Западной Европы, особенно уязвимы для ударов водородных бомб.

Сейчас уже известно, что, кроме непосредственного удара по прицельной площади, водородная бомба может также, если взрыв будет произведен близко от земли, вызвать появление огромной массы радиоактивной пыли; и, будучи разнесенной ветром, эта пыль поражает значительные пространства.

Ввиду подобного действия водородной бомбы нет ничего удивительного в том, что последствие нападения на нашу страну с применением термоядерного оружия было охарактеризовано как «перелом хребта», как период «жесточайшей борьбы за то, чтобы выжить». Разумеется, очень трудно до конца представить себе последствия явления, которое не может сравниться ни с чем из того, что когда-либо знал мир.

Дело не только в непосредственном разрушительном действии бомб, в полном выходе из строя всех наших портов и всех путей сообщения. Все повышающаяся степень радиоактивности вызовет множество дополнительных явлений: ослабление здоровья населения из-за радиации, отсутствие пищи и жилья, увеличение числа болезней и много других печальных последствий, которые мы в настоящее время не в состоянии даже предвидеть.

НЕУСТОЙЧИВОСТЬ СОВРЕМЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ

В настоящее время водородным оружием обладают лишь две из великих держав, но нет сомнения, что любая страна, освоившая производство обычных атомных бомб, может очень скоро начать выпускать и водородные. Следовательно, количество государств, обладающих этим оружием, будет все возрастать, точно так же, как будут возрастать трудности общего урегулирования и опасности политических столкновений и просчетов. Неустойчивость во взаимоотношениях между государствами будет также усугубляться по мере усовершенствования методов производства атомного и водородного оружия.

В настоящее время, говоря о нападении с применением водородной бомбы, мы имеем в виду самолеты, пилотируемые человеком, которым можно противопоставить истребители, зенитную артиллерию и другие средства ПВО. Однако можно не сомневаться, что недалеко то время, когда начнется производство различного вида ракетных снарядов, пилотируемых автоматами и управляемых на расстоянии, с радиусом действия в тысячи миль.

Сейчас, повидимому, нет реальных возможностей противопоставить им какие-либо средства защиты, так как они будут летать на большой высоте — фактически за пределами атмосферы.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ В МИРНЫХ ЦЕЛЯХ

Прежде чем рассмотреть шаги, предпринятые для достижения соглашений между державами, бросим беглый взгляд на другую сторону вопроса. После попыток представить себе последствия атомной войны мы можем с чувством облегчения заняться рассмотрением великих преимуществ, которые могли бы быть результатом ослабления современного международного напряжения и применения достижений науки в мирных целях.

Даже теперь, когда наши основные усилия направлены на подготовку к войне и лишь незначительная их часть на мирные цели, за последние несколько лет достигнуты важные успехи в деле использования атомной энергии в таких областях, как медицина и энергетика. Если бы на мирные цели тратилось столько же, сколько на подготовку к войне, перед нами открылись бы почти неограниченные возможности.

В качестве примера мирного использования атомной энергии можно указать на начавшееся недавно применение в больницах и исследовательских институтах радиоактивных установок — прообразов энергетических станций будущего. Они могут использоваться в самых широких масштабах в диагностике и лечении болезней и начинают вытеснять рентгеновские аппараты. Возникает целая новая отрасль науки, использующая радиоактивные установки для того, чтобы проследить течение биологического процесса и получить подробную картину глубоко скрытых явлений, что было прежде недоступно.

Приобретенные таким образом знания, несомненно, будут иметь огромное значение для многих отраслей медицины. Подобного рода примеры могут быть умножены, но наиболее поразительные результаты в области производства энергии уже достигнуты.

Известно, что в Советском Союзе на атомной энергии уже работает небольшая станция мощностью 5 тысяч киловатт и что в нашей стране через год-два вступит

в строй и более крупная станция — на 50 тысяч киловатт *.

Вслед за этим в еще более короткие сроки возникнут новые станции, так что в ближайшее десятилетие будет построено с десяток атомных электростанций общей мощностью 2 миллиона киловатт, а менее чем через пятьдесят лет большую часть энергии будут давать станции, работающие на атомном топливе.

Достигнутые современной техникой успехи позволяют надеяться, что в будущем в качестве топлива смогут быть использованы все имеющиеся в природе запасы урана и тория, а не один процент этих запасов, как казалось одно время. Это очень сильно увеличит наши энергетические ресурсы, так как известных залежей урана и тория будет достаточно для того, чтобы удовлетворить возможные энергетические потребности всего мира более чем на тысячу лет, даже если не учитывать никаких технических нововведений.

Но этот перечень положительных сторон атомной энергетики показался бы слабой компенсацией за наши сегодняшние тревоги и угрожающую нам опасность, если бы они были единственными преимуществами, на которые мы можем рассчитывать. В этом смысле наша оценка совершенно не соответствует истинному положению вещей. Всегда нужно время для того, чтобы постичь всю суть великого открытия и применить его.

Управление огнем сделало возможным плавку металла, но прошли десятки тысяч лет, прежде чем бронза, а позднее железо были выделены из руды. Всякое новое открытие, в первую очередь, служит решению неотложных проблем; сразу используются только его явные результаты и лишь со временем реализуются его более глубокие возможности. Когда, например, впервые был сконструирован двигатель внутреннего сгорания, он был приспособлен к повозке вместо лошади, и лишь впоследствии поняли, что он сделал возможным длительный полет в воздухе на машинах тяжелее самого воздуха.

Точно так же сегодня мы строим атомные котлы, чтобы получить водяной или другой пар, приводящий в движение турбины электростанций. В будущем мы, безусловно, откроем новые возможности, лежащие сейчас совершенно вне поля нашего зрения. Примером огромных потенциальных возможностей, которых мы пока не знаем, являются процессы, связанные с производством водородной бомбы.

Тот же самый металл уран или плутоний, который образует заряд атомной бомбы, может заменить топливо и для наших атомных электростанций; мы можем применять его и для того и для другого. Но мы еще не умеем применять для мирных целей термоядерные реакции, которые вызывают взрыв водородной бомбы.

ПРИРУЧЕНИЕ „ЛЮТОГО ЗВЕРЯ"

Как сказал японский физик Юкава: «Мы должны приручить этого «лютого зверя». Если бы нам удалось это сделать, мы научились бы производить почти безграничное количество энергии, потому что разновидности лития и водорода, при помощи которых эта энергия производится, встречаются на земле в неизмеримо больших количествах, чем редкие уран и торий. Количество топлива для наших атомных энергетических станций было бы тогда фактически безграничным.

Это трудная проблема, потому что не легко сконструировать такую печь, в которой создавалась бы огромная температура, необходимая для термоядерных реакций. Несомненно, нам придется решить эту проблему новым способом. Для этого, вероятно, потребуются длительные объединенные усилия ученых всего мира. Но, имея в виду грядущую награду, мы непременно добьемся этого рано или поздно. А когда мы будем обладать этими безграничными энергетическими ресурсами, то огромный круг проблем, занимающий людей последние несколько лет, попросту исчезнет. Так, например, будет выглядеть совершенно в ином свете проблема снабжения продовольствием быстро растущего населения, когда неограниченные запасы энергии будут использованы для ирригации и для других целей. Достаточно только подвести воду к большим пространствам пустынных и бесплодных земель, чтобы сделать их плодородными. Тогда в пустыне смогут расцвести розы.

Однако все наши прогнозы неизбежно ограничены нынешним уровнем знаний, и даже самые дерзкие наши предположения окажутся бледными и смешными по сравнению с действительностью. Мы знаем, что на протяжении жизни одного поколения были оставлены далеко позади самые фантастические предвидения Жюля Верна или Уэллса. Так будет всегда, потому что природа бесконечно богаче по своему содержанию, чем самое блестящее воображение.

Когда мы научимся использовать некоторые из великих возможностей того, что я назвал бы «атомным огнем», мы, конечно, увидим, что и научно-фантастическая литература наших дней с ее путешествиями на межпланетных кораблях через солнечную систему и посещениями других планет тоже была только слабым отражением грядущей действительности.

Оценивая эти положительные стороны, я сосредоточил внимание на путях развития, связанных прежде всего с атомной энергией. Хотя значение ее и велико, но она представляет собой всего лишь одну

* Как известно, в Советском Союзе в настоящее время ведутся работы по созданию электростанций на атомной энергии мощностью 50—100 тысяч киловатт.— *Прим. ред.*

узкую область современной науки; от всей же науки в целом, а также от нашей мудрости и от мудрого использования ее зависит возможность человеческого прогресса. Наверно, я сказал достаточно для того, чтобы указать вам в общих чертах на те огромные возможности, которые открываются перед нами, если мы изберем путь, противоположный разрушению и войне. Мне остается только отметить некоторые трудности, которые до сих пор препятствовали заключению соглашения по вопросам атомной энергии между великими державами. Это соглашение — ключ к тому, чтобы избежать существующей опасности и использовать существующие преимущества.

ПЕРЕГОВОРЫ О ЗАКЛЮЧЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ МЕЖДУ ВЕЛИКИМИ ДЕРЖАВАМИ

Вскоре после взрыва первых атомных бомб начались переговоры между великими державами по вопросам международного контроля над атомным оружием и атомной энергией, которые в той или иной форме продолжаются до сих пор. В начале обсуждение проходило в Комиссии по атомной энергии ООН, а общие вопросы разоружения рассматривались в Комиссии по обычным вооружениям. В январе 1952 года обе комиссии слились, с тем чтобы эти две проблемы не отделялись больше одна от другой.

Чтобы понять подоплеку переговоров, важно обратить внимание на следующие три особенности в отношениях между державами:

во-первых, вначале США монопольно владели атомным оружием, а в 1949 году СССР положил конец этой монополии;

во-вторых, СССР и его союзники имеют преимущество в людской силе и в обычных видах оружия

и, в-третьих, США и их союзники имеют обеспеченное большинство в ООН и во всех ее комиссиях.

В результате переговоров в этих комиссиях ООН достигнута определенная степень договоренности, и теперь имеется почва для соглашения между державами. Сначала я остановлюсь на тех вопросах, по которым уже достигнута некоторая договоренность, а затем перейду к пунктам, вызывающим наиболее резкие разногласия.

КОНТРОЛЬ И ИНСПЕКЦИЯ

Существует широко распространенное неправильное понимание одного важного спорного вопроса — вопроса о контроле и инспекции. Элементарное право каждого государства, которое в результате международного соглашения ограничивает производство атомного оружия или прекращает его совсем,— это право на гарантию в том, что условия соглашения соблюдаются также его потенциальными врагами. В противном случае это государство оказывается в положении, благоприятном для нападения со стороны врага.

Все без исключения великие державы согласны, что любой орган ООН, ответственный за контроль над атомной энергией, должен иметь постоянные, широкие права на контроль и инспекцию на территории договаривающихся государств в целях обнаружения нарушений.

Эта проблема усложняется тем, что в настоящее время три державы уже обладают большими запасами атомных бомб. В связи с этим любой контрольный орган должен знать как норму производства атомного горючего в разных странах, так и существующие запасы. Он должен призвать к раскрытию существующих запасов, а также должен суметь проверить, соответствуют ли действительности сообщаемые государствами сведения.

Положение было также осложнено открытием водородной бомбы. Тем не менее, поскольку для детонации основной массы заряда водородной бомбы необходимо применение обычной атомной бомбы, главная проблема, вероятно, могла бы быть решена, даже если контроль будет касаться только обычных атомных бомб. Без детонаторов основной заряд безопасен.

Хотя перечисленные трудности, несомненно, серьезны, их можно было бы преодолеть путем договоренности между техническими экспертами великих держав, если бы каждая из них руководствовалась искренним стремлением к этому.

Помимо соглашения об инспекции и контроле, великие державы договорились также о том, что атомная энергия и оружие должны подлежать международному контролю (это вытекает из того, что одни и те же материалы употребляются для бомб и для производства энергии); что контроль должен осуществляться международным персоналом, имеющим беспрепятственный доступ на все рудники, заводы и в лаборатории, связанные с атомной энергией; что развитие атомной энергии в отдельных странах должно быть подчинено определенной системе пропорций, а международный орган будет координировать международную исследовательскую работу *.

ПЛАН РАЗОРУЖЕНИЯ

Были достигнуты также некоторые успехи в отношении согласованного плана разоружения, важным вкладом в который явились объединенные англо-французские предложения, внесенные на состоявшемся в Лондоне в мае 1954 года заседании подкомитета Комиссии по разоружению ООН В течение предшествовавших лет расхождения во мнениях, ясно отражавшие силь-

* Автор допускает здесь неточность. Как известно советским читателям, СССР выступает за то, чтобы все государства имели право без ограничений вести научно-исследовательскую работу в области мирного использования атомной энергии.— *Прим. ред.*

ные и слабые стороны различных государств, завели в тупик споры по этим вопросам. США, например, придерживаются того мнения, что любой план разоружения должен начаться с сокращения обычных видов вооружения до такого уровня, при котором будет достигнуто приблизительное равенство в размерах этого вооружения между двумя соперничающими группами держав, а контроль над атомным оружием должен быть введен в действие лишь впоследствии. Советская же точка зрения заключалась в том, что любой план должен начаться с запрещения производства и применения атомного оружия, а разоружение в области обычных видов оружия должно заключаться в пропорциональном сокращении (например, на одну треть) существующих вооруженных сил и вооружений всех государств.

В результате переговоров великие державы согласились на некоторый компромисс. Согласно англо-французским предложениям, общее сокращение вооружений и запрещение ядерного оружия будет осуществляться в несколько стадий, которые включат в себя запрещение ядерного оружия, «помимо необходимого для обороны», и учреждения контрольной организации, первой задачей которой будет сокращение вооруженных сил и военных расходов до уровня 1953 года. Далее, в последовательном порядке контрольная организация проведет первую половину предусмотренного сокращения вооружений, затем будет запрещено производство ядерного оружия, потом закончено предусмотренное сокращение вооружений и, наконец, будет полностью запрещено ядерное и другое предусмотренное соглашением оружие.

Несколькими месяцами позже СССР предложил на Генеральной Ассамблее ООН, чтобы англо-французские предложения были взяты за основу программы разоружения * и контроля над атомной энергией и выдвинул проект «Международной конвенции», которая, по существу, очень близка к англо-французским предложениям.

Это предложение СССР, в частности, предусматривает в качестве первого шага проведение различными государствами первой половины установленного сокращения вооружения и создание предварительной контрольной комиссии **, которая следила бы, осуществляется ли на самом деле такое сокращение.

Во-вторых, через шесть месяцев или через год государства должны завершить разоружение в предусмотренных размерах, в то же время должно быть запрещено производство ядерного оружия и все его запасы должны быть уничтожены.

Наконец, должен быть образован постоянный международный контрольный орган, который будет проверять, как выполняются эти обязательства.

В вышеизложенных предложениях важно то, что принимается сама идея постепенного сокращения вооружений, что в них русские не настаивают на сокращении вооружений на определенный процент, а согласны на сокращение соответственно обусловленным нормам и не требуют, чтобы разоружение началось с атомного оружия.

США принадлежат также два важных предложения, на которых я не имею возможности подробно остановиться здесь. Первое предложение — о структуре и функциях контрольного органа Объединенных наций, ответственного за международный контроль над атомной энергией, и второе предложение, сделанное президентом Эйзенхауэром в декабре 1953 года о строительстве атомных электростанций в слаборазвитых странах, отсталость которых объясняется отсутствием у них энергетических ресурсов ***.

Хотя в дальнейшем это предложение не получило активного развития, такой план мог бы в будущем стать основой для мирного сотрудничества в этой области.

СЕРЬЕЗНЫЕ РАСХОЖДЕНИЯ

Несмотря на достигнутый прогресс в выработке общей точки зрения, еще существуют значительные расхождения. Они имеются главным образом в вопросе о характере и полномочиях международного органа по контролю над атомной энергией. Существенной чертой первоначального американского плана Баруха, относящегося к 1946 году, было предложение передать контролирующему органу — Международному органу по развитию атомной энергии, как его предполагалось именовать, в собственность и под управление все стадии производства и использования атомного топлива. Он должен был решать, когда, и где, и в каком объеме на всем земном шаре должны производиться мероприятия

---

* Англо-французские предложения от 11 июня 1954 года были положены в основу предлагаемой СССР конвенции, а не в основу всей программы разоружения, как указывает Пауэлл.— *Прим. ред.*

** Со времени чтения доклада Пауэлла (26 февраля 1955 года) произошли некоторые изменения в позиции СССР и западных держав по вопросу о разоружении. Так, по предложению СССР от 10 мая 1955 года предусматривается уже не предварительная контрольная комиссия, а один международный контрольный орган с последующим расширением его прав.— *Прим. ред.*

*** Предложение Эйзенхауэра от 8 декабря 1953 года по вопросу о мирном использовании атомной энергии передано не точно. Существо предложения Эйзенхауэра сводилось к созданию международного фонда атомных материалов, а не к строительству атомных станций в слаборазвитых странах. Следует также отметить, что первоначальное предложение Эйзенхауэра претерпело значительные изменения.— *Прим. ред.*

для производства атомной энергии. Предлагалось, чтобы этот орган был правомочен определять, имело ли место нарушение установленных правил, и затем осуществлять санкции, направленные против государств — нарушителей этих правил, и наказывать их. С американской точки зрения, такие огромные полномочия были необходимы, дабы предотвратить возможное нарушение правил, а также, чтобы успешно осуществлять контроль и инспекцию.

В противоположность плану Баруха и последующим американским предложениям, содержащим аналогичные пункты о полномочиях контрольного органа, СССР настаивал, чтобы источники атомного сырья и предприятия по выработке атомной энергии, находящиеся в каждом данном государстве, оставались собственностью этого государства. В сущности Советский Союз заявил, что он не может позволить, чтобы международный орган решал вопросы о развитии такого решающего фактора потенциальной мощи страны, тем более, что при голосовании важнейших резолюций СССР всегда мог бы остаться в меньшинстве в таком органе, где США и его союзникам обеспечено большинство голосов.

СССР был также против двух других пунктов, имеющихся в предложениях США. Во-первых, по вопросу о вето и санкциях. Всем известно, что решения Совета Безопасности, созданного для сохранения мира, подчинены так называемому правилу единогласия. Каждая из великих держав может наложить свое вето на решение Совета Безопасности. Это правило было введено в Устав именно потому, что ООН призвана сохранить мир; применять же санкции, то есть подавляющую силу, к одной из великих держав — попросту значит развязать третью мировую войну.

Великие державы в общем согласны, чтобы обычная деятельность контрольного органа подчинялась решению, принятому большинством. Расхождение имеет место по следующему пункту: СССР настаивает, чтобы вето применялось в отношении мероприятий, предпринимаемых против страны, которую контрольный орган сочтет нарушившей принятое им соглашение. США же стоят на той позиции, что в этом случае вето не должно применяться.

Далее США предлагают, чтобы контрольный орган обладал властью устанавливать для всего мира, где должны быть расположены запасы ядерного горючего, а также закрывать предприятия по выработке его и в виде наказания лишать их сырья. СССР же стоит на той позиции, что права контрольного органа не должны выходить за рамки рекомендаций правительствам об осуществлении тех или иных мероприятий относительно производства атомной энергии и рекомендаций Совету Безопасности принять предупредительные и сдерживающие меры.

Короче говоря, США считают, что контрольный орган должен обладать всей полнотой власти, вплоть до права применять санкции, тогда как СССР настаивает, чтобы этот орган функционировал в рамках системы Совета Безопасности *. Вы видите, как в этих различных точках зрения явственно отражается, насколько различны влияние и поддержка, какими обладает каждая из этих держав в ООН.

НЕЛЕГКАЯ ЗАДАЧА

От того, будут ли найдены приемлемые компромиссы в этих вопросах, зависит ослабление международной напряженности. Никто не станет утверждать, что это легкая задача. Но если не будет найдено ее решение, над всеми нами попрежнему будет висеть серьезная угроза и положение в мире станет еще более неустойчивым и опасным, чем теперь. Вы знаете, что в настоящее время происходят переговоры; в связи с этим чрезвычайно большая ответственность лежит на представителях Англии, Франции и других держав, которые находятся как бы несколько в стороне от обоих гигантов и, советуя им проявить сдержанность и умеренность, могут значительно способствовать делу мира во всем мире.

Величайшую ответственность несут также те из нас, кто хотя бы немного понимает огромную важность решений, которые сейчас принимаются. Соглашение между державами уже в какой-то степени достигнуто, но все это происходит медленно.

В такой опасной ситуации даже небольшой перевес сил может оказаться решающим, и наши перспективы окажутся тем лучше, чем больше людей нам удастся убедить и чем более решительно, без устали они будут настаивать на том, что международное соглашение по вопросу об атомной энергии может быть достигнуто; что оно необходимо, если мы хотим выжить, и что оно должно быть заключено в такой форме, которая не препятствовала бы народам свободно, без давления извне определять свою судьбу.

---

* Советский Союз предлагал, чтобы этот орган не функционировал, а был учрежден в рамках Совета Безопасности.— *Прим. ред.*

Чичероне Теодореску*

Писатель и книга у нас

Прежде чем рассказать о писателе и книге у нас за первое десятилетие со дня освобождения Румынии, мне хотелось бы воздать, как говорится, кесарю кесарево, то есть воздать должное в первую очередь читателю...

Один читатель, мой друг из нашего квартала — железнодорожник, шутник по натуре, как-то вел со мной разговор, которым я должен поделиться.

— Мне хотелось бы разобраться в одном вопросе,— сказал он.— Ты, верно, больше понимаешь в этом, поскольку речь идет о стихах. Я вот прочитал вчера на первой странице нашей газеты стихотворение. Прочитал, понял его, но тут же почувствовал, что мне чего-то нехватает. Словно я чем-то недоволен. Я стал рассуждать так:

«Хорошо, дружище, но ведь это стихотворение помещено на первой странице нашей газеты?»

«Да».

«Ведь оно подписано одним из самых известных наших поэтов?»

«Да».

«Ведь ты же сам говорил, что тебе нравятся актуальные стихи».

«Говорил».

«Тогда чего же тебе еще надо?»

«Хочу знать, почему оно мне не нравится? Не нравится, да и только!»

После недолгого раздумья мой друг-железнодорожник задал себе — или мне — самый что ни на есть коварный вопрос:

— А что, если это стихотворение просто-напросто плохое?

— Почему тебе пришла эта мысль? — спросил я его в свою очередь.

— А вот почему: поэт словно хватает меня за шиворот, за горло, стараясь убедить во что бы то ни стало, а вот за душу-то и не берет так, чтобы и я мог чистосердечно сказать: «Верно. Он прав» — или: «Хорошо сказано. Мне чертовски это нравится!»

Ответ моего друга-железнодорожника заставил меня призадуматься о взыскательности нашего читателя и растущем изо дня в день уровне его запросов. Развитие новой литературы практически для нас теперь совершенно неотделимо от развития нового читателя, от развития его вкуса и требований к новой литературе.

И действительно, наши встречи с читателями показали, что сейчас на эти встречи приходит все больше людей, которые не выступают по шпаргалкам, не повторяют того, что читали о произведении, а имеют свои собственные, продуманные, глубокие и непосредственные мысли. Они спрашивают самих себя и нас, они выдвигают перед нами проблемы, они облегчают нам или даже подсказывают решения, часто поразительно правильные. И они заслуживают, чтобы писатель прислушивался к ним со всей чуткостью и вниманием, так как с этим тесно связано положение литературы в нашей стране и расцвет нашей культуры.

В самом деле, активный интерес, а заодно и претензии к нашей литературе и искусству выросли у нашего рядового читателя за последние десять лет не случайно. Они росли по мере того, как писатели и художники удовлетворяли желание граждан нашей страны узнать правду о новой жизни, изображенной как можно глубже и полнее.

Главная задача всех наших поэтов, прозаиков, драматургов и критиков была очень четко определена в обращении Центрального комитета Румынской Рабочей партии к конференции писателей, состоявшейся в марте 1949 года. В этом письме ясно говорилось, что *«литература должна стать активным фактором преобразований, осуществляемых в нашей стране на пути к социализму»*.

Но для того, чтобы литература стала таким фактором и всеми своими силами включилась в борьбу за экономическое и культурное преобразование страны, в живой процесс строительства социализма, в де-

---

* Чичероне Теодореску—румынский поэт, лауреат Государственной премии РНР.

ло защиты мира и дружбы между народами, писателям пришлось приложить немалые усилия и даже в корне пересмотреть многие ошибочные позиции. В самом начале были проявления отчужденности и безучастности — известных пережитков буржуазного мировоззрения, влияние которого испытывала в свое время значительная часть писателей. Напряженную борьбу пришлось вести против враждебных действий, отражавших позицию господствовавших в прошлом классов. Некоторое время оставалось открытым поле действия для глашатаев «кризиса», причитавших, что в условиях народной власти невозможен подлинный расцвет культуры, что нам якобы предстоит пережить кризис культуры. Единству нашего идеологического фронта мешали и равнодушие, отсталость; терпеливую работу приходилось вести и в этом направлении.

И еще сегодня продолжается наша борьба за то, чтобы укоренить в сознании всех писателей глубокую истину об их «месте в рабочем строю».

Те люди, с чьими убеждениями и с чьими действиями сливается вся твоя деятельность, твои собственные убеждения и дела; те, на стороне которых ты стоишь, те, для кого пишешь, имеют полное право требовать от тебя богатых, сильных произведений, которые не суживали бы масштабов нашей действительности, не обедняли ее красоты и многообразия.

Никогда нелишне вспомнить призыв Маяковского относительно обязанности писателя — не осквернять чистоту коммунизма «грязью пошлости». Это положение он не раз повторял и в стихах, требуя, чтобы мы дарили народу «крепкий стих», который переживет столетия.

Больших книг подстать нашему времени он требовал не ради какого-то ореола, какой-то жажды авторского бессмертия, а, конечно, единственно ради тебя, читатель, единственно для твоего блага и на радость тебе.

Во время одной из встреч с французскими писателями Илья Эренбург сказал, что в буржуазной среде «писатель пускает в свет свою книгу так же, как он бросил бы бутылку с письмом в морские волны». Может быть, кто-нибудь найдет, подберет, прочитает и поймет. Фактически художественное произведение оставляется на произвол судьбы. Встреча с читателем — это дело случая. Произведение не имеет ни назначения, ни адресата. Оно пропадает или же оценивается, опять-таки смотря по тому, как ему повезет...

В нашей же стране развиваются и находят свое место в жизни и писатель и литература. Обретают реальность и громадное значение и классические ценности литературного наследия, которые становятся народным достоянием; и всенародное чествование великих предшественников — Эминеску, Караджале, Крянгэ; и вознаграждение заслуг почтенных современников, таких, как покойный поэт Эмиль Исак или прозаик Гала Галактион; и ореол славы, которым окружает любовь народа имя нашего классика Михаила Садовяну; и сознательное участие всех передовых людей — и молодых и старых — в борьбе на литературном фронте.

Простые факты нашей действительности красноречиво и убедительно показывают, насколько оправдано это участие писателей и как быстро широкие массы приобщаются к культурным ценностям.

Вот один из фактов, свидетельствующих о процессе проникновения книги на село, на территорию, еще вчера совершенно неосвоенную, где сегодня этот процесс становится глубинным и приносит самые обнадеживающие результаты.

Один молодой культработник рассказал мне о своем разговоре с крестьянином-единоличником Ионом Тату и его девятнадцатилетним сыном в деревне Бордушань на берегу Дуная, где они встретились впервые в ноябре 1952 года. Тогда еще ни отец, ни сын не купили ни одной книги в книжном отделе кооператива в Бордушани и ни разу не обращались в деревенскую библиотеку.

— Нам нравятся только народные сказки,— объяснил крестьянин.

— Или как пишет Ион Крянгэ, — добавил парень.

— А вы знаете, кто сегодня пишет так же, как Крянгэ, о народе?

— Кто?

— Михаил Садовяну.

— А его книги есть в нашей библиотеке?

— Конечно.

— Так мы его почитаем...

— А знаете ли вы, кто был самым лучшим другом Иона Крянгэ?

— Кто?

— Михаил Эминеску.

— И он есть в нашей библиотеке?

— Есть. И в библиотеке, и в кооперативе. Его произведения вышли в «Библиотеке для всех»...

Молодой любитель книг добавил, что на днях он снова встретился с этими людьми в деревне и с удовлетворением отметил, что в доме крестьянина-единоличника Иона Тату заняли почетное место и однотомник произведений Иона Крянгэ, и стихи Эминеску, и «Митря Кокор» Садовяну.

Мы с радостью узнаем сегодня о все более многочисленных фактах такого рода.

Так, в селе Лунка района Бабадаг живет сельскохозяйственный рабочий Георге Нэстасе, который требует у местных представителей книжного коллектора, чтобы в его деревню доставили — приведу его слова — «побольше книг, настоящих книг о сегодняшней жизни, с живыми людьми; пускай там будут и самые сложные проблемы, мы в них разберемся, не беспокойтесь...»

«Самые сложные проблемы» пользуются спросом потому, что от их разрешения зависит работа людей.

Полторы тысячи рабочих, инженеров и техников судостроительных верфей Констанцы присутствовали в январе 1954 года

на обсуждении книги «Журбины» Всеволода Кочетова. Поскольку их особенно интересовала проблема поточного строительства судов, они, руководствуясь примером героев книги, резко критиковали работу главного инженера верфей.

Точно так же обсуждение книги «Заря» Лаптева в коллективном хозяйстве села Доробанцу явилось для его членов подходящим поводом, чтобы развернуть основательную и очень «позитивную» критику по адресу своего председателя, который — подобно герою книги — халатно относился к работе, слишком полагаясь на свои прежние заслуги.

В свою очередь молодежь с малых лет приучается ценить произведения писателей и распространять их, считая своим почетным долгом распространение новых изданий. 9 мая прошлого года, в День победы, пятьсот пионеров Констанцы продавали румынские и советские книги, а 1 июня, в честь Международного дня защиты детей, пятьдесят пионеров на грузовиках Металлургического комбината Меджидии провели такую же работу на трассе Меджидия — Нисипарь — Поарта Албэ — Басарабь — Валул Траяна — Валя Сякэ — Овидиу, где продали большое количество изданий новой оригинальной и переводной литературы.

Особенностью новой атмосферы в нашей стране является то, что уважение к культурным ценностям как правило, проявляется не в форме обычной похвалы, но почти всегда в желании помочь совершенствованию произведений откровенным, сердечным высказыванием и критикой...

«Я хотел бы дать товарищу Чичероне Теодореску совет», — вот что я услышал от рабочего Петре Кириака на одной из моих встреч с читателями. «Совет мой таков: голос поэта не должен срываться в стихах... А если появляются такие срывы, надо устранять их».

По тому же поводу чертежник Г. Столеру просил автора «не перегружать стихов заумными мыслями и формами, от которых читателю приходится прикладывать лед к голове... Стихи должны быть доступны пониманию масс, но, конечно, не надо при этом забывать о мастерстве!»

Другой пример, из области «туристского», как говорится, собирания материалов. Приедет писатель к рабочим на стройку или на фабрику. Приедет туда, сидит, целый месяц собирает материал. И вот готов роман в триста страниц... Но ведь дело обстоит вовсе не так просто, и из тридцати маслин не добудешь триста килограммов оливкового масла!

Многие писатели могли убедиться на местах, каково мнение трудящихся на этот счет. Для писателей это важно, потому что это мнение всегда оказывалось интересным.

И я, например, некоторые свои стихи, прежде чем прочесть их какому-нибудь критику, для сравнения читаю в первом варианте таким людям, как токарь Тэнасе Василе с завода «Динамо», как сварщик Ионицэ с Красной Гривицы, как дед Быгу — ветеран забастовок железнодорожников 1933 года.

— Не то красивые эти стихи, не то нет, не знаю. Видишь ли, они как бы тебе сказать, не подходят, не вяжутся! Понимаешь? Не вяжутся. С жизнью. Со всем нашим...

Но, собственно говоря, что означает «все наше»?

Богатство и сложность человека, который творит другие формы жизни — лучшие, более плодотворные, более совершенные, чем в прошлом,— и который заслуживает соответствующего художественного воплощения. Будь то поэзия, проза или пьеса, писатели не прощают себе, если в своих книгах и в своих героях они еще изображают новую и настоящую жизнь по-старому или фальшиво, ограниченно или искусственно, скудно или небрежно. Возможно, что не всегда им выпадают удачи. Но они не прекращают попыток извлечь из недр жизни достоверные, реальные свидетельства гигантских преобразований нашей эпохи. «Всем нашим» являются не только эти гигантские преобразования вообще. «Всем нашим» являются — в их бесконечно разнообразных особенностях — отклики этих гигантских преобразований в каждом человеке. И эти отклики, эти изменения, смотря по характеру, среде, отзывчивости каждого, дают столько же новых источников литературного творчества, сколько людей нам удается охватить своим познанием. Охватим же их по-настоящему. Представим же их в жизнеспособных литературных произведениях. Не будем же отмахиваться от них, как это бывает в «туристских» творческих командировках, в тех «моментальных снимках», от которых имеет полное право отказаться каждый читатель.

Схематизм, неубедительные тирады, мелкотравчатость или декларативность положительного героя — это вовсе не дефекты действительности, которую описывает автор, а исключительно дефекты самого автора, деформация и измельчание, которым подвержен он сам и к которым он, по правде говоря, приговаривает ни в чем не повинную действительность.

Совет Л. Н. Толстого: если можешь не писать книгу,— не пиши ее!..— следует настойчиво и неизменно напоминать такому автору. Потому что подобные авторы существуют. Но настоящие писатели теперь гораздо лучше понимают свое призвание, свою ответственность, свою роль в обществе.

Приведем один пример, который нам кажется самым «деликатным», но и самым показательным: речь идет о так называемых «лозунгах в искусстве».

До настоящего времени большинство писателей боялось того, что в вульгаризаторском толковании называется «лозунгом». Сегодня дела обстоят иначе. Теперь наоборот: «Строку агитаторским лозунгом взвей!» — таков главнейший призыв, на который откликается литература, создавае-

мая нашими самыми лучшими писателями.

Они действительно хотят добиться такой фразы в романе, такой реплики в пьесе, такой строки в стихотворении, которая обрела бы право самого широкого распространения, нашла бы самый глубокий отклик в сознании людей. И фраза прозаика, реплика драматурга, стих поэта обретут это право только ценой силы и красоты заключенной в них истины. А достигнув этого, они в повседневной практике приобретают ценность и популярность поговорки, выразительность и репутацию пословицы.

Итак, в понимании каждого сознательного писателя лозунг — это самое достоверное, самое выразительное, самое доходчивое в его произведении, — то, что призвано стать синтезом общественного сознания, выражать сущность жизни и прекрасного.

И именно в той мере, в какой эти лозунги концентрируют в себе истину и красоту, они запоминаются — как поговорка, как пословица; каждый с удовольствием повторяет их себе и другим при всяком удобном случае.

Такое понимание своей писательской миссии — создавать ценности, в которых соединены истина и красота,— находит горячий отклик у наших читателей, отклик, немыслимый в буржуазном обществе.

Потому-то так восторженно принимают у нас успехи литературы, этим и определяются огромные размеры тиражей литературных произведений.

Понятно, почему истинные писатели, пишущие для людей, о чьей тяге к культуре мы говорили, писатели, радующиеся подобным откликам на свои произведения, уже не боятся так называемых «лозунгов» и тем более не смешивают их с упрощенным, вульгаризаторским, антихудожественным изображением.

Сегодня они непрестанно вдохновляются мыслью, что все лучшее, наиболее ценное из того, что создал писатель как выразитель своей эпохи, теперь доходит до широких масс, может стать общественным достоянием и оружием, то есть стать (в высоком и отнюдь не уничижительном смысле) именно лозунгом!

Иначе говоря — стать оружием наших граждан, напряженно работающих для построения социализма, роста благосостояния и утверждения красоты на земле.

г. Бухарест

Ханс Шерфиг*

Судьба печати в Дании

В одном крупном датском издательстве недавно сменилась дирекция. Речь идет о старейшем и самом уважаемом издательстве Скандинавии, которое за двести лет своего существования приобрело характер скорее культурного учреждения, нежели делового предприятия, и где между директором и авторами царили патриархальные отношения.

Это крупнейшее национальное издательство — издательство Георга Брандеса, Хенрика Ибсена, Августа Стриндберга, И. П. Якобсена, Хенрика Понтоппидана и Мартина Андерсена Нексе — теперь является акционерным обществом. Его акции продаются и покупаются на бирже. Несколько лет назад контрольный пакет акций, а вместе с ним и контроль над национальной датской литературой приобрел некий фабрикант дамского белья.

Фабрикант держал пакет акций почти два года, но его надежды увеличить доходность издательства не оправдались.

В это время издательством заинтересовался крупный торговец зубными протезами. Он под шумок скупал акции издательства, как только они появлялись на бирже. И в один прекрасный день этот человек, известный в финансовых кругах умением рекламировать свои товары, благодаря чему его протезы прославились на всю Данию, стал обладателем контрольного пакета акций старейшего издательства, а значит его хозяином.

Торговца протезами литература не интересовала, и он не помышлял ни о каких изменениях в деятельности издательства. Работа издательства шла своим чередом, и ни писатели, ни читатели не замечали прихода нового владельца. Покупка акций для торговца была чисто деловой операцией. Но его имя пользовалось на бирже таким уважением, что доверие к коммерческой ценности издательства возросло, курс его акций поднялся, и через полгода торговец перепродал свой пакет акций, заработав более полумиллиона крон.

На этот раз контрольный пакет акций приобрел владелец фирмы, экспортирующей сыр. В отличие от своих предшественников он интересовался литературой и в течение нескольких лет поддерживал

* Ханс Шерфиг — известный датский писатель и публицист.

группу писателей, представляющих мистическое, религиозное направление в датской литературе. Став владельцем контрольного пакета акций издательства, литературный сыровар назначил новую дирекцию, которая соответствовала его литературным вкусам и интересам.

Судьба крупнейшего датского национального издательства наглядно показывает, в какой обстановке развивается литература и в каком положении находятся писатели при буржуазной демократии. Как всякий наемный рабочий, писатель вынужден продавать на рынке свое мастерство, свой талант, и когда в издательство приходит новый хозяин, у писателя возникает неуверенность в завтрашнем дне. Если он дорожит своим благополучием, то должен привести свою писательскую деятельность в соответствие со вкусами нового владельца акций. Само собой разумеется, что частнособственнические отношения определяют деятельность не только издательств, выпускающих книги, но также газет и журналов, а, следовательно, и положение критиков.

Один из наиболее крупных периодических органов Дании — либеральная газета «Политикен» была основана в конце прошлого столетия Брандесом и радикальным политическим деятелем Вигго Хёрупом. Своей деятельностью на протяжении многих лет «Политикен» завоевала репутацию прогрессивной и свободомыслящей газеты, служившей прибежищем для наиболее талантливых писателей, репутацию органа либеральной (или так называемой «радикальной») партии. Но постепенно, по мере того как акции газеты переходили в руки реакционных дельцов, позиция газеты в корне изменилась. Дело дошло до того, что «радикальная» «Политикен» использует все свое влияние, опыт и талант своих журналистов для поддержки Атлантического пакта и гонки вооружений, хотя радикальная партия, которую она формально представляет, выступает против Атлантического пакта и гонки вооружений. Во время войны газета, основанная Брандесом, была одной из тех, которые больше всего пресмыкались перед немецко-фашистскими оккупантами...

В буржуазном обществе журналисты вынуждены продавать свое мастерство и приспосабливать свои мнения к мнению работодателей.

В молодости мне в течение нескольких лет пришлось зарабатывать деньги новеллами, которые публиковал один крупный еженедельник, принадлежавший владельцу маргариновых предприятий. Я был волен писать обо всем, что мне заблагорассудится, но герои моих рассказов ни при каких обстоятельствах не должны были есть м а с л о, они должны были питаться только м а р г а р и н о м.

Согласно датской конституции, каждый гражданин обладает неотъемлемым правом свободно веровать и свободно мыслить, выражать любые мысли в устной или письменной форме (разумеется, не нарушая при этом положения Уголовного кодекса, который запрещает порнографию, грубые оскорбления, клевету и т. д.).

Свобода слова составляет предмет гордости буржуазной демократии, но в условиях частнокапиталистической собственности эта свобода превращается в пустую формальность. Каждый имеет право приобрести акции крупных газет или издательств, но для этого он должен располагать необходимыми для покупки средствами. Каждый может основать новое издательство или новую газету, писать и издавать все, что ему нравится, но это право может осуществить только тот, кто обладает крупным состоянием.

При буржуазной демократии существует абсолютная свобода печати, но только тот, кому принадлежит бумага, имеет право решать, что́ будет на ней напечатано. Право частной собственности исключает все другие права. В условиях частной собственности свобода превращается в свою противоположность, в принуждение, которое неизбежно возникает там, где один человек имеет право свободно эксплуатировать другого.

Все это необходимо помнить, когда судишь о положении писателей в условиях буржуазной демократии. Здесь нет цензуры, нет принуждения, но само право собственности на издательства, газеты, типографии и т. д. превращает свободу слова в фикцию.

Отсюда в капиталистическом обществе возникает зависимость газет от рекламных объявлений. Без них в Дании не может существовать ни одна газета. Реклама занимает в газетах огромное место и облегчает владельцам фирм не только продажу товаров, но и покупку (подкуп) редакторов. Объявления чаще всего являются косвенной формой взятки. Публикуя огромные, дорогостоящие рекламные объявления в социал-демократической прессе, мощная восточноазиатская компания вряд ли рассчитывает найти покупателей среди рабочих, читающих эти газеты. Но эти объявления пресекут всякую критику деятельности фирм данной компании социал-демократической прессой. Каждый журналист должен хорошо знать тех, кто помещает объявления в его газете, и никогда не задевать их интересов.

Можно привести множество примеров того, как критика или просто невыгодная фирме информация пресекалась при помощи хорошо оплаченных объявлений. Мне вспомнился директор одной фирмы колбасных изделий, который совершил уголовное преступление, но при помощи рекламных объявлений сумел заставить замолчать газету «Сосиал-демократен». В ответ на критику плохих американских фильмов владельцы кинотеатров бойкотируют газеты, лишая их своих рекламных объявлений. Некий фабрикант бритвенных лезвий не так давно пытался подкупить орган коммунистической партии — газету «Ланд ог

фольк», чтобы заставить ее обойти молчанием приговор, который ему вынес суд. Разумеется, его попытка потерпела крах. «Ланд ог фольк» оказалась единственной газетой, подробно осветившей процесс этого фабриканта. Зато она оказалась единственной газетой, которая лишилась доходов от его обширных объявлений.

Рекламные агентства, отраслевые монополии и отдельные фирмы в течение ряда лет систематически бойкотируют коммунистическую газету, ежегодно лишая ее миллионного дохода. Практически «Ланд ог фольк» вынуждена строить свой бюджет не рассчитывая на объявления, а это означает, что для покрытия дефицита она должна ежегодно путем добровольных взносов и пожертвований собирать более миллиона крон. То, что ей удается собрать эту сумму, говорит о самоотверженности датских рабочих, о любви датского народа к своей неподкупной газете.

В 1950 году в Дании было триста газет, но за последние пять лет примерно пятьдесят из них прекратили свое существование. В прессе, как и в промышленности, намечается тенденция ко все большей концентрации. Крупные газетные концерны постепенно завоевывают рынок, приобретая своего рода монополию на информацию, развлечение читателей и на создание общественного мнения. Односторонность этого так называемого «общественного мнения» достигается без помощи внешнего принуждения или цензуры. Право частной собственности само по себе уничтожает свободу слова.

Наряду с концентрацией для буржуазной прессы характерен процесс снижения ее культурного уровня. Когда деятельность печатных органов не имеет иной цели, кроме коммерческой, элементы развлекательности и сенсационности становятся в ней решающими. Техническое оформление газет непрерывно совершенствуется, а их культурная ценность непрерывно падает. Конкуренция заставляет поощрять самые дурные вкусы. Пресса потакает наиболее низменным инстинктам публики, которая ищет острых ощущений.

В разделе хроники преобладают сообщения о преступлениях — главным образом об убийствах и сексуальных преступлениях со всеми подробностями. Здесь неизменно печатаются сообщения о несчастных случаях (описываемых во всех деталях с приложением фотографий) и «сенсации» из частной жизни актеров и актрис. Предметом развлекательного чтения служат также сексуальные темы. Кроме того, проповедуются всевозможные беспочвенные мечты, бегство от действительности, мечты об «удаче», о нежданном счастье, о возможности разбогатеть не работая. Так изо дня в день пресса отравляет души читателей, используя для этой цели талант писателей и журналистов.

Оружием прессы является также сознательная ложь. Лицемерие пронизывает все существование буржуазного общества. Фальсификация товаров соседствует здесь с фальсификацией идей. Слова утрачивают первоначальное значение, язык становится двусмысленным, понятия приобретают новый, противоположный смысл. Агрессия именуется обороной, подготовка к войне — укреплением мира.

Это своеобразное разрушение языка, хищнически эксплуатируемого капитализмом, отрыв слова от его подлинного значения помогает созданию фальшивых аналогий, лживых сопоставлений.

В западном мире психология — это наука, в такой же мере лишенная независимости, как и атомная физика. Психологические методы воздействия весьма усердно применяются в практической жизни, будь то в целях продажи зубной пасты или создания общественного мнения. Представление о независимости и свободе ученых, об их непричастности к политике — это романтическое представление о буржуазном мире, где в действительности всякий человеческий талант расценивается на деньги.

Продажная стоимость — вот мерило оценки всех человеческих способностей в буржуазном обществе. Любая форма деятельности представляет собой товар, предмет купли-продажи. Это касается не только рабочих, используемых в промышленности, но и деятелей искусства, литературы, науки и любой другой области. Религия — это профессия, политика — ремесло, талант — товар.

Поскольку печатное слово превращено в предмет купли-продажи, вполне естественно, что мнения, высказываемые буржуазной прессой, имеют коммерческую основу. Это означает, что журналисты отнюдь не всегда придерживаются того мнения, которое они высказывают. Речь идет не об убеждениях, а о выполнении приказа. Точно так же как текст объявления, рекламирующего искусственные челюсти, далеко не всегда выражает личное пристрастие к ним автора текста, пропаганда Атлантического пакта вовсе не обязательно должна соответствовать личному мнению того или иного писателя.

«Свобода мнений», которой, как некоей драгоценностью, гордится буржуазная демократия, это не что иное, как свобода продавать свое мнение на рынке. «Свобода слова» в буржуазном обществе имеет также мало общего с подлинной свободой, как «свободная любовь» в публичном доме — с подлинной любовью.

Естественно, что в таких условиях профессия журналиста не пользуется уважением среди населения. Ни один отец не посоветует сыну избрать эту профессию. Но, пожалуй, не стоит слишком строго осуждать буржуазных журналистов, надо попытаться понять условия их существования. Их низкий моральный облик — результат морального облика самого общества. Проституцию следует ненавидеть, к ее жертвам надо относиться снисходительно...

Но датский народ гордится тем, что, несмотря на необычайно трудные условия, в которых приходится работать писателям капиталистических стран, в Дании много талантливых, честных, прогрессивных писателей, которые не продают свой талант, а посвящают его делу прогресса и мира. Эти одаренные, мужественные люди трудятся в различных литературных жанрах.

В Дании существует сатирическая традиция, которая не утратила своей действенности и поныне, в специфических условиях буржуазной «свободы» слова. Эта традиция восходит к старинным народным сказкам, в которых необыкновенно искусно использованы средства иронии и иносказания.

«Отец» датской литературы — Людвиг Хольберг, комедиограф, ученый, моралист, был прежде всего сатириком, который иногда резко и откровенно, иногда лукаво и иносказательно высмеивал ограниченность своих соотечественников, пороки общественного строя Дании XVIII века. Сказочник Андерсен тоже был в первую очередь сатириком, который в иносказательной форме сказок, рассчитанных якобы на детей, рассказывал правду о копенгагенском мещанстве. Конечно, сказки Андерсена написаны не только для детей. Форма сказки служила писателю щитом, давала свободу его юмору, иронии, сатире, его язвительному остроумию, благодаря которым Андерсен и в наши дни, дни своего стопятидесятилетия, пользуется любовью во всех странах мира.

Формально для свободы слова в сегодняшней Дании существуют прекрасные условия. На самом деле эта свобода давно стала вопросом чисто экономическим. Однако там, где закрыты пути для прямой критики, она сплошь и рядом пробивает себе дорогу в форме сатиры, иронического иносказания. Эту традиционную повествовательную форму современные датские писатели нередко используют в своей борьбе за торжество разума и мира.

г. Копенгаген

Мария де Лурдес Тейшейра

Литературная жизнь современной Бразилии

Когда пишешь о литературной жизни Бразилии, хочется прежде всего сказать о тяжелых условиях, в которых находятся наши писатели. Бразильские писатели постоянно борются с материальными трудностями. Чтобы обеспечить свое существование, они вынуждены работать переводчиками или журналистами, врачами или адвокатами, многие работают просто чиновниками, некоторые поэты занимаются редактированием рекламных текстов.

Огромные трудности встречает большинство бразильских писателей и с изданием своих произведений. Небольшое число авторов, уже завоевавших свое «место под солнцем» и имеющих издателя, представляют исключение. Крупные издательства выпускают лишь те книги, успех которых заранее обеспечен.

Средний тираж литературных произведений в Бразилии составляет 5 тысяч экземпляров. Тиражи произведений начинающих литераторов почти никогда не превышают 2—3 тысяч. Молодые писатели добиваются опубликования своих работ после многих лет напряженных усилий. При этом они сами оплачивают все расходы по изданию книги.

Таков удел почти всех бразильских поэтов, за исключением очень немногих, которые имеют постоянных издателей. Из таких можно назвать Мануэля Бандейра, Карлоса Друммонда де Андраде, Гильерме де Алмейда и Менотти дель Пиккиа. Мы не говорим о писателях прошлого, популярных романистах, таких, как Кастро Алвес, Казимиро де Абреу, Алварес де Асеведо и Фагундес Варела.

Однако следует упомянуть о совершенно исключительном для Бразилии явлении — об издательстве «Сараива» в Сан-Пауло. В течение ряда лет оно выпускает серию дешевых изданий тиражом в 45 тысяч экземпляров, причем ежемесячно выходит по одной книге. В издании «Сараива» выходят произведения как старых, так и современных национальных и иностранных авторов. Из современных писателей Бразилии в этой серии публикуются произведения Жозе Жералдо Виейра, Афонсо Шмидта и автора этого письма.

Однако, как правило, книги стоят очень дорого и поэтому доступны лишь узкому кругу населения. Это заставляет издательские компании организовывать различные мероприятия, направленные на расширение книжной торговли. Такие коммерческие мероприятия имеют в то же время большое культурное значение, поскольку они пропагандируют литературу среди населе-

---

* Мария де Лурдес Тейшейра — бразильская писательница и журналистка.

ния. Так, Книжная палата — учреждение, в которое входят почти все издательства страны,—в течение ряда лет проводит большую воспитательную работу, организуя беседы по радио, публикацию статей, распространение плакатов и т. д. Эта кампания ведется постоянно, а ежегодно в течение одной недели принимает более широкие масштабы: проводятся конференции, беседы. Совсем недавно были учреждены «День книги» и «День детской книги».

Другое средство распространения книги, к которому прибегают издатели и книжные торговцы, заключается в следующем: в хорошем внешнем оформлении издается полное собрание сочинений широко известных авторов. Оно продается сразу по высокой цене, но с выплатой в рассрочку. Специальные агенты объезжают всю страну с севера до юга, распространяя книги.

Значительным событием явился состоявшийся несколько месяцев назад по инициативе Книжной палаты в столице штата Сан-Пауло конгресс издателей и владельцев книжных магазинов, в котором приняли участие почти все предприниматели и который проанализировал и обсудил задачи и состояние нашего издательского дела. Принятые на конгрессе предложения были направлены правительству.

Вопросы культурной жизни страны явились предметом обсуждения Первого Национального конгресса интеллигенции, состоявшегося недавно в Гоянии (Центральная Бразилия). Кроме многочисленных писателей, на конгрессе присутствовали педагоги, артисты, деятели театра и кино.

Одним из положительных результатов конгресса явилось решение Ассоциации бразильских писателей провести курс еженедельных лекций по бразильской литературе. Лекции читались в Рио-де-Жанейро, Сан-Пауло и Сантосе известными писателями и привлекли большое число слушателей, главным образом молодежи. Каждая из них охватывала какой-либо период истории бразильской литературы или посвящалась изучению творчества отдельных писателей. В чтении лекций приняли участие такие видные деятели культуры, как Жозе Жералдо Виейра, Абгуар Бастос, Менотти дель Пиккиа, Россини Камарго Гуарниери, Фернандо Гойс, Франсиско де Ассис Барбоса и другие. В них подчеркивался национальный и народный характер творчества писателей, боровшихся за утверждение бразильского национального искусства. Такими писателями были Грегорио де Матос (XVII век); Мануэль Антонио де Алмейда, автор первого, действительно бразильского романа «Воспоминания сержанта народной милиции»; Жозе де Аленкар, который ввел элементы индейской культуры в бразильскую литературу. Большое место было уделено творчеству писателей-романтиков, которые положили начало современной литературе Бразилии. Таким образом, лекции явились проявлением отрицательного отношения к догмам, заимствованным из старой европейской литературы, применявшимся без всякого учета латиноамериканской действительности. Курс лекций ставил своей задачей рассказать об основных вехах развития литературы, отражающей жизнь Бразилии и чаяния ее народа.

Без излишнего оптимизма можно сказать, что усилия писателей и издателей уже дают свои первые плоды. В настоящее время замечается рост интереса к литературе. Принимая это во внимание, некоторые газеты создали специальные отделы, посвященные литературной жизни страны. Так, например, «Коррейо да Манья» в Рио-де-Жанейро и «Фолья да Манья» в Сан-Пауло — две самые значительные бразильские газеты — имеют специальных редакторов и ежедневно посвящают статьи литературному и издательскому делу. Редактором литературного отдела первой газеты является писатель Жозе Конде; во второй — ту же работу ведет автор данного письма.

Эти отделы очень интересуют публику, о чем свидетельствует обширная корреспонденция, получаемая редакциями. Читатели комментируют статьи об искусстве, просят публиковать отзывы на прочитанные ими книги и характеристики творчества любимых авторов.

Кроме того, большинство бразильских газет в своих воскресных изданиях печатают рассказы, стихи, статьи, литературную хронику, библиографию и т. д.

В Бразилии существует несколько литературных журналов, наиболее распространенным из которых является ежемесячный журнал «Жорнал де летрас» («Литературный журнал»), издающийся в Рио-де-Жанейро под руководством братьев Конде. Его читает большинство нашей интеллигенции, он пользуется успехом и среди писателей Португалии. Существует еще несколько литературных периодических изданий подобного рода. Среди них «Аньемби», издающийся в Сан-Пауло и руководимый журналистом и критиком Пауло Дуарте; «Клан» — выходящий в столице штата Сеара, этим журналом руководит поэт Алуизио Медейрос; журнал «Марко» в Рио-де-Жанейро редактируется талантливой и смелой группой писателей; «Энконтро» возглавляется писателем Отавио де Фрейтас Жуниор; во главе журнала «Сул», издающегося в Санта-Катарина, стоит группа молодежи; «Кинкас борба» редактируется врачом и критиком Омеро Сильвейра.

Кроме того, в Сан-Пауло издается журнал «Абитат» — одно из наиболее значительных изданий, посвященных культурной жизни страны. Редактором отдела искусства журнала «Абитат» является писатель и художественный критик Жозе Жералдо Виейра.

Я не перечисляю здесь журналы философские, исторические, филологические и журналы, издающиеся ассоциациями общественных наук и учебными заведениями различных штатов.

Рядовой бразильский читатель обычно предпочитает новеллу или роман, главным образом из тех, которые наглядно и ярко отражают действительность. В этом можно убедиться на успехе книг Жоржи Амаду, Афонсо Шмидта. Кроме них, у широкой публики популярны Корнелио Пена, Лусио Кардосо, Сиро дос Анжос и другие.

Характерно, что в современной Бразилии поэтические произведения не получили широкого распространения. Причины этого явления кроются в печальном разрыве между темами современной поэзии и жизнью народа. Поэзия наших дней едва находит отклик в чисто литературных кругах и совершенно не трогает душу народа.

Правда, часть молодых поэтов в настоящее время старается восстановить контакт между поэзией и народом и противопоставить жизненность темы психологическим измышлениям. Поэт Жоан Кабрал де Мело Нето является лидером этого течения, которое ширится с каждым днем. Органом этого направления является уже упоминавшийся журнал «Марко», издающийся в Рио-де-Жанейро.

Что касается поэтов прошлых времен, то их произведения пользуются большой любовью народа. И по сей день громче всех остальных звучит голос борца за свободу поэта Кастро Алвеса.

Бразильская интеллигенция интересуется и мировым литературным движением. Этим объясняется большое количество переводов, особенно с французского, английского и итальянского, которые издаются сейчас в Бразилии. Через переводы до нас доходят и произведения русской литературы. Из русских писателей наиболее известны у нас Толстой и Достоевский. Их произведения всегда находят спрос, и их печатает несколько издательств. Сейчас самая значительная в стране издательская компания Жозе Олимпио готовит к выпуску огромным тиражом «Войну и мир» Толстого. Перевод этого произведения делает Жозе Жералдо Виейра. Нашей интеллигенцией высоко ценится также Гоголь.

Можно сказать, что иностранная переводная литература составляет экономическую базу бразильских издательств, не считая педагогических и технических книг. Этим же объясняется и то обстоятельство, что перевод превращается в повседневную работу целого ряда известных литераторов Бразилии.

Что касается произведений современных авторов, то их популяризацией начало заниматься издательство «Витория» в Рио-де-Жанейро, руководимое Жоржи Амаду и выпускающее серию книг для народа, которые встречают горячий прием у читателя.

Печальным фактом является почти полное незнание у нас литературной жизни других латиноамериканских стран. В то время как мы внимательно следим за культурной жизнью европейских и североамериканских стран, мы совершенно не знаем произведений и авторов других стран Южной Америки. Мы живем совершенно изолированно друг от друга. Явление это носит взаимный характер и не позволяет нам установить контакт с широкими массами соседних стран.

Конгрессы, которые время от времени проводятся в той или иной стране и в которых участвуют представители различных национальностей, как это было на конгрессах в Сант-Яго или в Гоянии (на последнем присутствовали чилийские писатели и среди них П. Неруда, писатели Уругвая и Парагвая), оказывают серьезную поддержку нашей кампании за установление контакта, хотя наглядных результатов пока еще не видно. Пока речь идет о задачах будущего, когда мы, латиноамериканские писатели, сможем надеяться на то, что наши произведения будут знакомы более широким читательским массам, и когда голоса наши будут звучать громче.

Хочется сказать еще о бразильских писателях, создающих произведения широкого социального содержания. Группа эта пока немногочисленна, но в нее входят очень сильные литераторы. На первом месте в ней стоит известный писатель Жоржи Амаду.

Произведения Грасилиано Рамоса, скончавшегося два года тому назад, представляют самое ценное в нашем литературном наследии. В своих произведениях Рамос с необыкновенной силой и выразительностью рассказывал о животрепещущих проблемах страны.

Среди других прогрессивных писателей следует отметить Амандо Фонтеса, Далсидио Журандира, Алину Паим, Ибиапаба Мартинса, Маслова Гомес Вентури. Однако у нас имеется еще много нерешенных проблем, ждущих писателя, который раскрыл бы их в своих произведениях.

Рассказывая о литературной жизни Бразилии, необходимо сказать о все ширящейся борьбе за сохранение мира, которая встречает энергичную поддержку многочисленной группы бразильских писателей, постоянно выступающих по радио, в печати, на конференциях. Некоторые из писателей участвовали в конгрессах народов в защиту мира, а также в национальных конференциях сторонников мира, имевших место в ряде штатов.

Являясь носительницей традиций национального освобождения, выкованных в тяжелой борьбе за независимость страны, за уничтожение рабства, за провозглашение республики и за демократические свободы, бразильская интеллигенция не могла остаться безразличной перед лицом ужасной опасности, угрожающей человечеству, в виде новой войны и атомного оружия. Большая часть писателей примыкает к борцам за мир, продолжая славные традиции нашей интеллигенции.

Как видно из приведенных выше фактов, которые лишь в общих чертах отражают современную литературную жизнь Бразилии, положение писателя очень тяжело в

нашей стране: его труд плохо оплачивается, круг его читателей очень узок. Положение издателей тоже нелегкое: они не имеют возможности печатать произведения большими тиражами из-за незначительного числа читателей и очень высоких цен на бумагу и другие необходимые в издательском деле материалы. Читателю, в конце концов, тоже не легче, так как он обычно не имеет возможности приобретать необходимые ему книги.

Все эти обстоятельства требуют немедленного и энергичного решения, так как подобное положение наносит глубокий вред национальной культуре.

Нельзя не признать, что небольшое распространение португальского языка также сильно ограничивает возможности более широкой популяризации бразильской литературы, которая всегда зависит от переводов на другие, более распространенные языки. Это мешает нам рассказывать миру о жизни Бразилии.

Однако наряду с этой печальной картиной мы можем сказать, что у нас есть группа литераторов энергичных, прекрасно знающих свое дело, которые сделали бы честь любой стране. Роман, новелла, рассказ, поэзия, очерк, театр, критика — одним словом, все виды литературы и искусства развиты в Бразилии в большей или меньшей степени, подтверждая наличие в стране жизнеспособных творческих сил. Здесь следует отметить полное отсутствие какой-либо помощи нашей литературе со стороны государства.

Бразильский писатель — это герой, который из любви к литературе приносит в жертву свое материальное благополучие. Однако, любя свое дело, бразильский писатель упорно занимается творческим трудом в радостной уверенности, что он трудится для своего народа, для развития национальной культуры, для ее светлого будущего.

г. Сан-Паулу

ЛАУРЕАТЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРЕМИЙ МИРА

И. Мартынов

БЕЛА БАРТОК (1881—1945)

Бела Барток

Композитор, собиратель и исследователь народной музыки, пианист, педагог и общественный деятель,— трудно охарактеризовать вкратце кипучую и разностороннюю деятельность Белы Бартока, который вместе со своими современниками прошел трудный путь творческих исканий, знал успехи и разочарования, но никогда не терял веры в силу искусства. Его воодушевляло чувство пламенной любви к народу, он страстно ненавидел произвол, был демократом и поборником великой идеи дружбы народов.

Еще на заре творческой деятельности он говорил: «Я, со своей стороны, в продолжение всей жизни, всегда и постоянно и всевозможными средствами буду верен единственной цели — верно служить венгерской нации и венгерской родине». И он остался на всю жизнь патриотом своей родины. Это сделало его близким не только собственному народу, но и передовым людям всех стран, ибо всем понятен голос истинного искусства, полного высоких, благородных стремлений. Достойным представителем этого искусства был замечательный венгерский композитор Бела Барток, внесший ценный вклад в сокровищницу мировой культуры.

Бела Барток начал свой творческий путь в начале нашего века, когда его родная страна была лишена национальной независимости. Уже в одном из его ранних произведений — «Кошут-симфонии», вдохновленной революционными событиями 1848—1849 годов,— прозвучал голос патриота, верящего в освобождение своей родины. В 1903 году (год завершения «Кошут-симфонии») он писал матери: «Теперешнее положение угрожающе напоминает положение до сорок восьмого года. Венгры очнулись от длительного оцепенения и требуют своих прав». Этот подъем нашел выражение в юношеской симфонии Белы Бартока.

Огромную роль в его творческой биографии сыграло изучение народных песен. Бела Барток начал записывать венгерские песни в 1905 году и уже через год опубликовал вместе со своим другом и товарищем — замечательным композитором Золтаном Кодаи — первый сборник. Бела Барток и Золтан Кодаи нашли в венгерских селах поистине неисчислимые сокровища крестьянской песни и сделали их всеобщим достоянием. Дело в том, что раньше представление о венгерской народной музыке было очень сужено и ограничено областью городского фольклора. Барток и Кодаи открыли целый мир богатейшей, глубоко самобытной крестьянской песни, увлекшей

их своей поэтической красотой и ставшей основой их творческих исканий.

Бела Барток видел в народном творчестве основу основ профессионального искусства. Он не только записывал и разрабатывал прекрасные песни венгерских крестьян, но и стремился к сближению с их творцами и исполнителями. «Тот, кто действительно хочет прочувствовать бьющую ключом жизнь этой музыки, тому... надо ее пережить, и он сможет достичь этого только путем непосредственного общения с крестьянами»,— писал композитор. Он добавлял, что провел среди трудового народа счастливейшие дни своей жизни, ибо в народе господствует стремление к миру и нет «даже следа ненависти к другим народам..., ее распространяют только «высшие круги».

Главное, что воодушевляло Бартока на фольклорные изыскания,— это желание проникнуться духом народа, его благородными помыслами и чувствами, которые он сознательно противопоставлял ненавистному для него шовинизму «высших кругов». Бела Барток горячо любил свою страну и свой народ, что не мешало ему ценить и уважать культуру других народов. Это нашло отражение и в его фольклорных изысканиях. Он с любовью собирал и записывал не только венгерские, но и румынские, словацкие, арабские, турецкие и другие песни, чутко воспринимая их оригинальные черты, восхищаясь неповторимым обликом каждой национальной культуры.

Особенно много сил и времени отдал Барток собиранию и изучению румынской народной музыки. Его песенные сборники, научные исследования, его музыкальные произведения на румынские темы пользуются заслуженной известностью. Вместе со своими товарищами, румынскими композиторами, Бела Барток принимал участие в деятельности фоноархива народной музыки, хранящего драгоценное собрание песен и танцев.

Живой интерес и внимание Белы Бартока к румынскому народному искусству вызвали ожесточенные нападки со стороны реакционных кругов. Но он не сдался и в ту пору, когда буржуазия разжигала огонь националистической вражды, и продолжал работать, показывая пример понимания и уважения культурных достижений других народов. Румынский народ хранит добрую память о венгерском музыканте. Его именем названа сельскохозяйственная коммуна села Этвешд, и это стало одним из проявлений братской дружбы, навеки объединившей трудящихся Венгрии и Румынии.

Бела Барток жил и творил в те годы, когда в западноевропейском искусстве все более усиливались модернистские течения. Они, в известной степени, сказались и на его творчестве. Но не это явилось в нем главным: в лучших произведениях Белы Бартока продолжают развиваться прогрессивные традиции венгерской национальной культуры, звучат напевы тех чудесных народных песен, собиранию которых композитор отдал столько лет своей жизни. В мелодиях народных песен он искал новые выразительные средства. Они определили характер его творческих исканий и помогли выработать свой, оригинальный стиль. Кровная связь с народным творчеством, ощутимая в любом из лучших произведений Белы Бартока, и определила жизненность и впечатляющую силу его музыки.

Невозможно перечислить здесь все достойное внимания в обширном наследии Белы Бартока. Но и в самом кратком обзоре должны быть упомянуты «Венгерские народные песни» и «Венгерские картины» для симфонического оркестра, третий фортепианный концерт, шестой струнный квартет, замечательный цикл фортепианных пьес «Венгерские крестьянские песни», «Румынские танцы» (также написанные для фортепиано, но особенно известные в скрипичной обработке), хоровые и сольные обработки венгерских песен, детские пьесы для фортепиано и т. д.

В любом из этих произведений мы слышим голос композитора, говорящего на родном музыкальном языке, воплощающего в музыке большой мир человеческих чувств. Музыка Белы Бартока ярко эмоциональна; она то лирична, то полна юмора, даже иронии,— и всегда жизненна и полнокровна.

Такого композитора — создателя произведений, посвященных народу и его жизни, насыщенных высоким гуманизмом, пленяющих оригинальностью и блеском авторской манеры,— ценит венгерский народ, строящий ныне новую, социалистическую культуру, в которой продолжают развиваться демократические традиции искусства прошлого. Таким он дорог всему прогрессивному человечеству.

Не случайно Барток начинал свое творчество «Кошут-симфонией», не случайно обратился он к изучению и разработке сокровищ народного искусства; в его душе жило свободолюбие, он был в числе лучших представителей венгерской интеллигенции, стремившейся служить народу. Пусть не все вопросы были осознаны им до конца — им руководила любовь к народу, и она помогала ему находить правильный путь сквозь множество противоречий.

В 1919 году, в памятные месяцы существования Венгерской Советской Республики, Бела Барток был в числе тех интеллигентов, кто сотрудничал с народной властью; он принимал участие в работе по реорганизации Музыкальной академии.

Бела Барток ненавидел насилие и произвол. Разбойничий захват нацистами Австрии и Чехословакии вызвал его негодование. С презрением отзывался он и об «отечественной» буржуазии, пошедшей на поводу у гитлеровской Германии.

«Имеется налицо непосредственная опасность, что и Венгрия сдастся этому разбойничьему и зверскому режиму. Вопрос только во времени, когда и как? Но как смогу я потом дальше жить или — что то же самое — работать в такой стране, невозможно себе даже и представить»,— писал Бела Барток, добавляя при этом, что стыдится

своего происхождения из среды людей, именующих себя «культурными» и в то же время преклоняющихся перед фашизмом.

В 1940 году Барток был вынужден покинуть горячо любимую родину. Написанное им в то время завещание (из него заимствованы цитированные выше строки) проникнуто ненавистью к фашистскому режиму. Обращаясь к друзьям, которые захотели бы после его смерти назвать его именем улицу либо установить мемориальную доску, он категорически запрещает делать это до тех пор, пока будапештские площади Октагон и Кёрёнд будут называться именами фашистских главарей.

Уехав из хортистской Венгрии, Бела Барток поселился в Соединенных Штатах. Но и здесь, вдалеке от родины, он ни на минуту не забывал о ней и здесь оставался тем же принципиальным художником, не шедшим на компромиссы с бизнесменами от искусства.

Нелегко пришлось композитору в заокеанской стране. «Никогда в моей жизни, с тех пор как я сам зарабатываю свой хлеб, я не был в таком ужасном положении...» — писал он 2 марта 1942 года из Нью-Йорка. Его тяготили не только житейские трудности, но и предчувствия будущего, о которых он говорил в одном из писем к сыну: «Надо было бы ехать домой, каково бы там ни было — к тому времени и здесь будет не лучше».

Бела Барток не увидел больше своей родины. Он умер в Нью-Йорке 29 сентября 1945 года, умер в бедности, в те дни, когда перед ним наконец открылась возможность возвращения в Венгрию. До конца своих дней он продолжал работать на благо родной культуры, занимаясь венгерским фольклором, создавая новые произведения, проникнутые духом народной песенности.

Имя Белы Бартока и его искусство окружены в Венгерской Народной Республике всеобщим уважением и любовью. Его творческое наследие сохраняет первостепенную важность для его соотечественников-композиторов, перед которыми встали новые творческие задачи и которые в своей работе опираются на лучшие традиции искусства прошлого. Произведения Белы Бартока, созданные на основе внимательного, любовного изучения народного творчества, встречают самый живой отклик в сердцах людей свободной Венгрии.

Теперь, когда центральным площадям Будапешта вновь возвращены их исторические названия, в венгерской столице есть и улица Белы Бартока. Его именем назван новый концертный зал, где каждый вечер слушают музыку сотни людей, назван ряд музыкальных учреждений. Молодежь, приезжающая в Будапешт для изучения музыки, живет и работает в общежитии, носящем имя Белы Бартока. Сочинения замечательного композитора издаются и тотчас расходятся среди широких кругов любителей музыки. Осенью 1948 года в Венгрии проводился фестиваль Бартока. В этом году вместе со всеми прогрессивными людьми мира венгерский народ широко отмечает десятилетие со дня его смерти.

Десять лет прошло со дня смерти Белы Бартока, но он продолжает жить среди нас как наш современник. С новой силой звучат сейчас его слова: «Моей руководящей идеей, которую я, с тех пор как стал композитором, в совершенстве осознал, является идея братства народов... Этой идее я стремлюсь по мере своих сил служить в музыке».

Знаком широкого признания гуманистического искусства Бартока, вдохновлявшегося в своем творчестве великими идеями мира и дружбы между народами, является посмертное присуждение ему Всемирным Советом Мира Международной премии мира.

Вик. Горохов

ИОРИС ИВЕНС

Это было в Испании в 1937 году, во время боя. Голландский кинооператор Иорис Ивенс скрывался за стеной разрушенного дома. Снаряды ложились все ближе и ближе. Ивенс перебежал к другому укрытию, и в ту же минуту стену, за которой он только что искал защиты, снес снаряд, а над руинами взмыли к небу голуби. Ивенс вскинул кинокамеру и снял птиц...

Голуби в дыму сражения — кадр, родившийся в бою,— могли бы стать эпиграфом к многочисленным фильмам Ивенса, ветерана армии мира.

С кинокамерой Ивенс неразлучен с детства. В его родном городке Ниймегене Ивенс-отец держал небольшой магазин фото- и кинотоваров. И сейчас в Парижской кинотеке хранится поставленный двенадцатилетним Иорисом короткометражный фильм «Огонь», единственный художественный фильм, снятый Ивенсом. Юный Ивенс мечтал и о театре, и об игровом кино, мечтал сыграть своего любимого героя Уленшпигеля, но больше всего он мечтал отобразить в кадрах документальных фильмов все самое интересное из того, что его окружает. Прошли годы, и молодой Ивенс без киностудии, почти без денег, снял фильмы «Мост», «Дождь», «Прилив», «Конькобежцы». Критики — и не только голландские — отмечали тонкий импрессионизм Ивенса-оператора и изысканный ритмический монтаж Ивенса-режиссера. В амстердамском издательстве вышла монография о

его творчестве. Его наперебой приглашали в одну страну за другой. Фимиам похвал скрывал от Ивенса нерадостную правду о его творчестве. Эту правду «выложили» Ивенсу московские зрители...

На экране сменялись кадры. Фермы моста. Разведенный мост. Сведенный мост. Бег поезда по мосту...

На экране дождь. Капли плывут по окну трамвая. Дождь. Город ощетинился зонтиками. Дождь. Будто закипают лужи. Дождь, дождь, дождь...

В 1930 году после просмотра фильмов Ивенса в клубе московских строителей на их автора посыпались недоуменные вопросы. Зрителям мало было видеть красоты природы и чудеса техники, они хотели знать, чем живут люди. Один из рабочих сказал помрачневшему гостю: «Вы не огорчайтесь — критика, особенно рабочая, вещь полезная. Про мост и про дождь интересно, про людей бы куда интереснее...»

Ивенс мог бы многое рассказать о жизни европейских тружеников, но показать... Показать он пока умел только «Дождь» и «Мост»...

За несколько лет до этого он, Ивенс, участвовал в демонстрации протеста против казни Сакко и Ванцетти и в числе других был избит полицейскими. Он помнит лживое сообщение буржуазной газеты о том, что демонстранты избивали полицейских. В тот день Ивенс дал себе слово каждым своим кадром опровергать ложь буржуазной пропаганды. И вот он сам поддался ей, поверив ее лживым уверениям, что художник должен замкнуться в мире эстетических ценностей.

В тот памятный день просмотра у московских строителей Ивенс подверг жестокой самокритике свое творчество и сделал выводы, определившие его будущее. Снимая «Дождь», он ел, ходил, спал с камерой, готовый по первому звонку ринуться туда, где дождь. Отныне он с камерой будет мчаться туда, где люди, где труд, где горе, где радость. Когда-то, объявив войну буржуазной пропаганде, он брал у знакомых киномехаников выпуски хроники и рядом с «благополучными» кадрами вклеивал специально заснятые им разоблачительные кадры. Теперь он поставит рядом с буржуазной хроникой не отдельные кадры, а целые фильмы.

Туда, где труд, где горе... Дорогами Уленшпигеля прошел Ивенс по родной стране. Он снял фильм «Мы строим» — рассказ о нелегкой жизни голландских строителей. Певцы формализма отшатнулись от Ивенса. Жена рабочего-строителя обняла режиссера. Сняв фильм «Индустриальная симфония», Ивенс рассказал об условиях труда на радиозаводах Филипса. Фирма «Филипс» отказалась от заказанного ею фильма. Он нелегально показывался в рабочих клубах.

Туда, где труд, где радость... Ивенс снимает на Красной площади в годовщину Октябрьской революции. Из Москвы в Магнитогорск. От праздника к будням. Иорис Ивенс — член интернациональной молодежной бригады «Межрабпомфильма», снимающей «Песнь о героях» — публицистический репортаж об Урало-Кузнецком комбинате и его молодежи.

Труд энтузиастов первой пятилетки стал в те годы кровным делом для всех прогрессивных людей. Стал родным он и для Ивенса. Он жил жизнью главного героя фильма, неграмотного киргиза Афанасьева. Оба жили в юрте. Оба «авралили» у домны. Оба изучали русскую грамоту. Обоим в один и тот же день на рабочем собрании присвоили звание ударника.

День пуска домны был праздничным и для Афанасьева и для Ивенса. Пафос радостного творческого труда, комсомольская песня звучит в финале «Песни о героях».

Трагедия бесцельного, ненужного труда, песня гнева и боли звучали в финале фильма «Новая земля» — кинопоэмы о голландских мелиораторах, осушивших залив Зюдер-Зее. Вот она новая земля! На ней впервые заколосилась пшеница. Но наступил кризис. Жгут пшеницу. Жгут кофе. В море — мешки картофеля. На дороги — цистерны молока. Голодают дети. Диктор не в силах говорить от возмущения. Его гнев выливается в неистовую песню — «Балладу о сожженном хлебе».

«Социалистический реализм — дорога в гущу борьбы, в центр событий, путь в будущее»,— говорил Ивенс. В гущу борьбы, в центр событий... Ивенс снимал рабочих московского метро и гамбургских демонстрантов, поход французских безработных на Париж и забастовку бельгийских шахтеров. Снимал и в ясную погоду и в ненастье — это он умел и раньше, часто снимал нелегально — этому он научился.

Туда, где борьба, где борцы... В те годы Ивенс всегда был на переднем крае антифашистской борьбы. В 1935 году, работая над фильмом «Борцы», Ивенс снимал Горького, Димитрова, Барбюса, Роллана. На испанской и китайской землях закипел антифашистский бой, борцы стали бойцами. Стал солдатом и Ивенс.

Когда-то в юности пацифист Ивенс отправил письмо голландской королеве с отказом от военной службы. В Мадриде Ивенс с гордостью надел мундир легендарного 5-го полка и поспешил на фронт.

В те дни Ивенс снимал на позициях республиканцев, чувствуя локоть испанского солдата-пулеметчика слева и локоть советского оператора Романа Кармена — справа. С того времени он не терял этого драгоценного солдатского чувства локтя. В часы атаки солдаты с винтовками и он с кинокамерой вместе перебегали под пулями с места на место. С солдатами он жил в окопах, с солдатами мучился от жары, жажды и пыли.

«Испанская земля суха и жестка, и лица людей, работающих на этой земле, жестки и иссушены солнцем»,— первая фраза диктора определяет и название фильма «Испанская земля», и характер его текста,

кадра и монтажа, суховатых и жестковатых, как земля, о которой идет рассказ.

Ни пули франкистов, ни давний недуг — астма — не помешали Ивенсу снять в Испании все, что он хотел, что должен был снять.

Пули японцев, астма и чанкайшисты не помешали Ивенсу снять правдивый фильм о войне в Китае. Чанкайшисты, боявшиеся правдивого объектива Ивенса, тормозили его работу, подвергали цензуре заснятый им материал. Соглядатай-оператор снимал те же кадры, что и Ивенс. Генерал, «шефствовавший» над Ивенсом, долго саботировал его поездку на фронт, а на фронте хитроумно, но тщетно пытался помешать съемкам. Другой генерал запретил Ивенсу снимать коммунистов, сорвал его поездку в 8-ю армию, которая вела самые ожесточенные, самые героические бои. Но Ивенс всегда находит способ снять то, что от него упорно скрывают.

Дорога борьбы совпала с дорогой творческих побед. Свидетельство тому испанский и китайский фильмы, фильмы страстные по мысли и отточенные по форме.

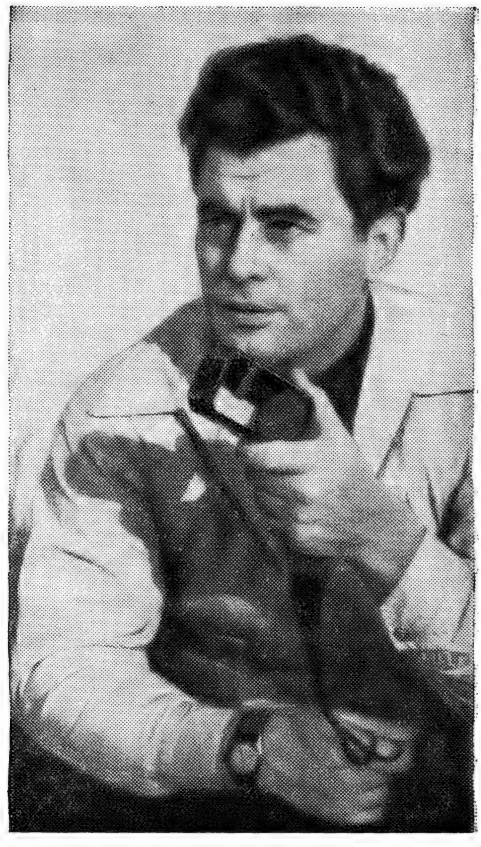
Сражение с фашизмом не кончилось на испанской и китайской землях. Как в сердце Уленшпигеля стучал пепел Клааса, в сердце Ивенса стучал пепел сожженных городов.

Страсть и совесть антифашиста с новой силой прозвучали в его фильме «Наш русский фронт», смонтированном в США из советских военных хроник 1941 года, и в его речи в 1942 году на массовом митинге в Нью-Йорке, когда он вместе с Робсоном, Чаплином и другими прогрессивными деятелями требовал открытия второго фронта.

Страсть и совесть антифашиста вдохновляли Ивенса и тогда, когда он, пересекая Атлантику на канадском военном транспорте, снимал фильм «Тревога», и тогда, когда в 1943 году монтировал фильм «Знай нашего врага — Японию». Фильм обнажал самую природу фашизма, его приметы. Военные власти запретили дальнейшую работу над фильмом.

В конце 1944 года голландское правительство пригласило Ивенса в Индонезию для съемок фильма о «содружестве» голландцев и индонезийцев в строительстве новой Индонезии. В Австралии, по дороге в Индонезию, Ивенс узнал о том, что голландские войска напали на индонезийцев, чтобы вновь силой навязать им свое господство. Ивенс отказался ехать в Индонезию. Он разорвал контракт и тотчас же приступил к съемкам фильма «Индонезия зовет».

...Девять зафрахтованных голландским правительством кораблей не ушли в море, не повезли оружия на Яву. Только один корабль ушел. Только его моряки стали штрейкбрехерами забастовки солидарности австралийских моряков и докеров с индонезийским народом. На маленьком катере руководители забастовки и вместе с ними Ивенс помчались вдогонку кораблю.



Иорис Ивенс

«Братья! Остановите машины. Борьба индонезийцев — наша борьба! Остановите машины, братья!» — кричали они в рупор матросам. Но корабль ушел. Печально говорит об этом диктор. Печаль — на лицах пассажиров маленького катера. Но вдруг голос диктора вскипает радостью. Они вернулись! Вернулись! Не ушел и этот корабль.

Волнующая документальная киноновелла о корабле, который не ушел, заканчивается репортажем о митинге. «Борьба Индонезии — наша борьба»,— говорят австралиец, индиец, японец. «И наша»,— говорит своим фильмом голландец Ивенс.

Туда, где труд, где радость... Как подлинный художник. Ивенс и в дни войны мечтал о наступлении поры мирного творческого труда. И вот он снова вернулся в цеха, на поля. Как всякий истинный публицист, Ивенс искал тему, в которой ощутимо бился бы пульс времени. Ивенс в Варшаве. Ивенс в Праге. Ивенс в Софии. Снятый там фильм «Первые годы» рассказал правду о первых годах жизни народно-демократических стран. Этот фильм был отповедью клеветникам, возродившим геббельсовскую ложь о «железном занавесе».

В гущу народа, в центр событий... Сей-

час это означает: в гущу борцов за мир, в центр борьбы за мир.

Ивенс снова в Варшаве. Он снимает фильм «Мир победит» о Варшавском конгрессе сторонников мира. Ивенс в Берлине — вместе с И. Пырьевым он руководит съемками фильма «Мы за мир» — кинодневника фестиваля юности. Ивенс в Вене — он руководит съемками III Всемирного конгресса профсоюзов для фильма «Песня великих рек».

Ивенс в Будапеште, Ивенс в Москве, Ивенс в Риме, Ивенс в Париже. Приехав в Париж по делам, связанным с работой над новым фильмом, Ивенс встретил двух голливудских документалистов, сетовавших на то, что они не могут найти темы. Кому запрещено снимать правду, тому трудно быть документалистом. А у Ивенса множество тем. Но одному не поспеть на все участки широкого фронта борьбы за мир. В фильмах «Мы за мир», «Мир победит» Ивенс работал с большими коллективами, с советскими и польскими операторами, в фильме «Песня великих рек» — с операторами многих национальностей, объединенными Всемирной федерацией профсоюзов.

«Песня великих рек» — документальный фильм о единстве трудящихся в борьбе за мир, хлеб и свободу.

Ивенс сплотил вокруг себя большой интернациональный коллектив. В работе над фильмом принимали участие французские, немецкие, советские литераторы: Брехт, Полевой, Познер, Каравкин, Кирсанов, композитор Шостакович, певцы Поль Робсон, Буш, Петров, 30 кинооператоров в 30 странах мира. Вместе с ними Ивенс из документальных кадров слагает поэму о труде людей, преображающих природу, о людях, создающих все богатства мира.

...Комбайнер оглядывает волнующуюся ниву... Горняки вгрызаются машинами в угольные пласты.

«Если бы это зависело от меня — на земле не было бы ни одного голодного. Если бы это зависело от нас, никто на свете не боялся бы зимней стужи»,— от имени каждого, от имени всех рабочих говорит диктор.

Поэма о труде выливается в песню Шостаковича о рабочих руках. В музыкальном монтаже сплетаются на экране документальные кадры: опытные руки монтажника, быстрые руки прядильщиц, искусные руки резчика по кости, натруженные руки рыбака... Руки белые, желтые, черные.

«Мы можем все! Если бы это зависело от нас — все труженики мира были бы счастливы».

«Счастливы?» Кадры счастливого труда сменяются кадрами труда-проклятья, кадрами нищеты. Гнев публициста монтирует контрастные кадры нищеты и роскоши, смело и прямо ведет зрителя на биржу, к небоскребам Уолл-стрита, к берегам Миссисипи и тому, что творится на ее берегах. Миссисипи в гневе, мы видим, как ее воды затопляют города и села. Гнев публициста, гнев великой реки выливается в гневную **песнь Робсона.**

Фильм переносит зрителя к Гангу, к Нилу, в Центральную Африку, в Японию, в Алжир, в Ливерпуль, во Вьетнам, к французским докерам, на строительную площадку Варшавы, в угольную шахту Австрии, к берегам Италии, к горнякам ГДР. Зритель присутствует при выборах делегатов на конгресс, слышит наказы рабочих.

Конгресс в Вене. Рабочие берут в руки глобус. «Земной шар в этих рабочих руках чувствовал бы себя недурно»,— замечает летописец и вслед за этим ведет нас на заседание конгресса. Но камера не протоколирует события — она их активный участник.

Снова на просторы мира. Знакомые зрителю делегаты, вернувшись в родные места, отчитываются перед товарищами, претворяют в жизнь решения конгресса. Кадры воспевают радостную жизнь на берегах Волги и Янцзы. Они бичуют тех, по чьей вине бедствуют люди на берегах Амазонки.

Финал фильма. На экране демонстрации в разных странах. Идут и идут люди, и кажется, будто катит волны могучая река...

Хотя все ивенсовские фильмы последних лет посвящены боевым сборам армии мира — конгрессам и фестивалям,— они не повторяли друг друга. Ивенс искал и находил новые формы рассказа о событиях, с каждым разом все смелее и смелее выходил за их рамки — на простор мира.

Теперь он в содружестве с режиссерами нескольких стран снял фильм о Международной демократической федерации женщин. Ивенс собирается также сделать фильм о Всемирной федерации демократической молодежи.

«Ну, а сейчас мечта всей жизни — фильм об Уленшпигеле...» — говорит Ивенс. Он готовится к съемкам фильма, в котором хочет воссоздать образ Уленшпигеля — легендарного борца за независимость родины, за счастье народа.

Рассказывая об Ивенсе, невольно вспоминаешь бессмертного Уленшпигеля, которого можно представить себе седым, но невозможно представить старым. Седовласому, юному сердцем борцу за мир, за счастье людей присуждена Международная премия мира.

Антанас Венцлова

Три встречи с Томасом Манном

Это было зимой 1942/43 года. В качестве военного корреспондента я направлялся из Москвы на фронт. По дороге мне удалось посетить святое для всего человечества место, где жил и творил один из величайших писателей мира, — Ясную Поляну.

Фашистские варвары осквернили ее, но дом, где жил Толстой, к счастью, не был разрушен, хотя гитлеровцы и пытались при отступлении его поджечь.

На фронт я прибыл во время тяжелых боев. В момент временного затишья мне случилось войти в землянку, где я заметил бойца, лежащего на койке. При свете коптилки, сделанной из медной гильзы артиллерийского снаряда, он читал какую-то книгу. Я спросил его, что он читает; в ответ он показал мне «Будденброков» Томаса Манна.

— Нашел я эту книгу не то в Ельце, не то в Ливнах, точно не помню, после отступления фашистов. Они разгромили местную библиотеку, но эта книга уцелела. Взгляните, вот библиотечная печать и даже инвентарный номер... Вещь замечательная и писатель удивительный, — не спеша, спокойно ответил боец.

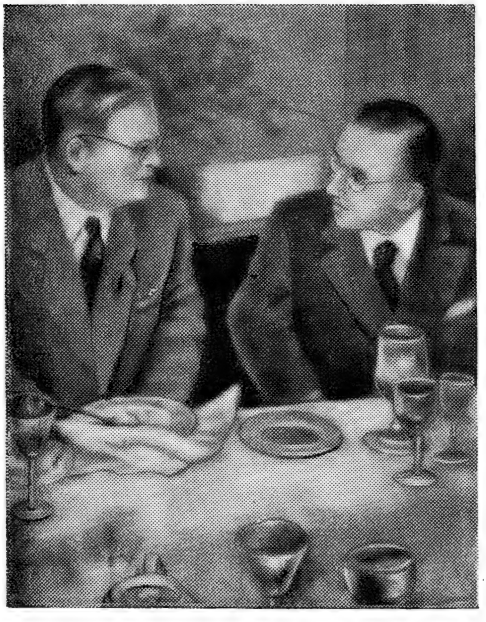
— А что же вам так нравится в ней?— заинтересовался я.

Боец на некоторое время задумался, затем особенно хорошо улыбнулся и произнес:

— Любит он людей, писатель этот, и пишет так, что все видишь, как живое, — и людей, и природу. И жизнь он любит. Может быть, я выражусь не точно или не очень верно, но скажу, что он напомнил мне своей книгой нашего Льва Николаевича Толстого. Очень большой писатель Томас Манн,— словно подытожил свои мысли боец, сделав это, как мне показалось, чуть-чуть литературно.

— Чем вы занимались до войны? — спросил я моего собеседника.

— Учителем был. Что правда, то правда, любят у нас литературу. Читаю вот эту книгу и думаю: победим мы фашистов, обязательно победим, и заживут люди хорошо, и будет у нас библиотека еще лучше и больше, чем была.



Томас Манн (справа) и Антанас Венцлова
(Снимок из немецкой газеты „Теглихе Рундшау")

Затем опять возвратился к книге.

— Вот «Будденброки», ведь у нас все ими интересуются, только времени для чтения нехватает: надо громить фашистов.

* * *

В конце войны я побывал на западе Литвы, в освобожденном Клайпедском крае, на косе Куршю-Неринга. Еще недавно в этих местах, удивительных своей красотой, шли бои, гитлеровцы жгли леса, повсюду были разбросаны гранаты, мины, патроны. Я вошел в курортное местечко Нида и уви-

дал нескольких рыбаков. Они только что вернулись в родные селения, совсем недавно освобожденные от врага. Я заговорил с ними, и они стали рассказывать о всех своих злоключениях.

Покончив с рассказом о себе, один из рыбаков с нескрываемой радостью сказал:

— А домик писателя все-таки уцелел.

И он показал на холм, вздымающийся над синей, сверкающей на солнце гладью залива Куршю-Марюс. На холме стоял дом Томаса Манна, обожженный войной, как и все вокруг, но все-таки уцелевший. Пожилой рыбак помнил Томаса Манна, обычно проводившего здесь летние месяцы. До захвата власти Гитлером он почти каждый год приезжал сюда из Германии. Рыбак показал мне местечко, где Томас Манн обычно любил беседовать с рыбаками, и вспомнил о том, как он оказывал помощь самым нуждающимся из них.

Мы поднялись на холм, где высился домик с синими коньками на крыше. Окна и двери отсутствовали, но, повторяю, домик все же стоял, хотя здесь бушевало пламя войны и шли ожесточенные бои с гитлеровцами, отступавшими под ударами наших частей. Тот факт, что домик уцелел, несмотря ни на что, радовал сердце, как пусть незначительная, но все же наглядная победа жизни над смертью.

— А вы не знаете, жив ли писатель и где он находится сейчас? — обратился ко мне рыбак, убедившись в том, что перед ним городской житель.

— Где он сейчас, точно не знаю, но знаю, что жив и трудом своим честно и мужественно служит делу защиты мира.

— А нельзя ли сообщить ему, что домик его сохранился? Как видите, он требует основательного ремонта, но все-таки стоит крепко. Может быть, писатель снова приедет к нам?

Я пообещал выполнить просьбу рыбака, если представится случай.

— И сообщите, пожалуйста, что здешние рыбаки его помнят и любят.

В ту пору, конечно, я и не предполагал, что случай мне действительно представится и что я смогу увидеть Томаса Манна в незабываемые дни, когда народы мира отмечали в Веймаре стопятидесятилетие со дня смерти его великого соотечественника, Фридриха Шиллера.

* * *

Празднество, проводившееся в местах, где жил и работал гениальный поэт, явилось знаменательным и радостным событием для всего немецкого народа. Это случилось вопреки усиленным попыткам некоторых реакционных кругов отгородить в те торжественные дни еще более глухой стеной Западную Германию от Германской Демократической Республики.

Немало немецких патриотов, преодолев преграды, прибыло из Западной Германии в Веймар.

Западногерманские ученые и писатели переходили границу, чтобы вместе со своими соотечественниками на Востоке еще раз перед всем миром заявить: немецкий народ и его культура едины и неразделимы. Эту мысль хорошо выразил один из крупных современных немецких писателей, Леонард Франк, прибывший из Мюнхена. «Я рад,— сказал он,— что нахожусь среди старых и новых друзей, и надеюсь, что все, чего мы ждем, осуществится; наша родина будет воссоединена и мир будет сохранен».

Веймар в эти весенние дни, солнечные и теплые, стоял светлый и тихий, в белом наряде цветущих садов. Здесь присутствовали представители не только европейских стран, но также делегации из Китая, Индии, Кореи, Монголии.

Советские писатели, как и другие гости, собравшиеся в Веймаре, с нетерпением ждали приезда Томаса Манна. Наше нетерпение было понятно: народы нашей страны давно знают и ценят творчество Томаса Манна. Вместе с тем для всех советских людей очевидно, что Томас Манн не только крупный представитель немецкого гуманизма, но и мужественный борец за мир, за лучшее будущее человечества. Все эти чувства, вместе взятые, питали и усиливали наше нетерпение.

Нам было известно, что в настоящее время Томас Манн живет в Швейцарии. В Веймаре распространялись слухи о том, что враги немецкого единства на Западе делают все, чтобы помешать Томасу Манну прибыть в Веймар, почетным гражданином которого он является с 1949 года. Но замыслы этих людей провалились.

Волнующими были минуты, когда восьмидесятилетний писатель, чья слава обошла весь мир, скромно поднялся на утопающую в цветах трибуну и стал говорить о Шиллере, о единстве и неделимости немецкой культуры, о мире и необходимости защищать будущее человечества.

На обеде, данном министром культуры ГДР Иоганнесом Бехером в честь Томаса Манна, я был в числе тех, кому выпало счастье беседовать с ним. Я рассказал Томасу Манну о том глубоком уважении, с которым наш народ относится к его писательскому труду, к проводимой им борьбе за мир и дружбу народов.

Томас Манн выразил свою радость по этому поводу и с волнением вспоминал о той роли, какую сыграла русская классическая литература в его духовном развитии. С огромной любовью и уважением говорил он о Толстом и Гоголе, Тургеневе и Гончарове, Салтыкове-Щедрине и Чехове.

Тут я вспомнил о своем обещании, данном литовским рыбакам. И пусть с опозданием почти на десять лет, но я все-таки постарался исполнить просьбу рыбака с берегов Балтики и рассказал Томасу Манну об ожесточенных боях, происходивших в конце войны на косе Куршю-Неринга, о судьбе его домика и о том теплом отношении, какое простые люди Литвы до сих пор бережно сохраняют к нему.

Томас Манн вспомнил Ниду, лосей, водившихся в то время неподалеку в лесах Куршю-Мариос; дружеским, искренним словом помянув простых людей тех мест — рыбаков Балтики, Томас Манн сказал с грустной улыбкой:

— Да, дружили мы с ними, хорошие люди.

Писатель очень интересовался жизнью в Советском Союзе и советской литературой в частности. Ему хотелось узнать возможно больше о стране, давшей миру столь ценимых им великих художников слова, о стране, которая так много сделала для спасения человечества от угрозы фашистского порабощения и сейчас идет в авангарде народов, борющихся за мир.

В конце дружеской беседы Томас Манн, поднявшись со своего места, сказал:

— Очень рад, что имел возможность познакомиться со своими советскими друзьями. Надеюсь, что мы видимся не в последний раз.

Мы присутствовали на чествовании Томаса Манна немецким народом, когда ему вручали диплом почетного члена Академии искусств ГДР, а также при церемонии присвоения ему почетного звания доктора философии Иенского университета. Нас поистине взволновала всенародная любовь к этому замечательному писателю, чьим трудом и стойкостью духа вправе гордиться не только немецкий народ, но и все народы, борющиеся за мир, демократию и светлое, безоблачное будущее.

В эти часы все многообразное и многогранное творчество Томаса Манна предстало особенно ясно перед нами как символ единства немецкой гуманистической культуры, как символ единства народа, достойным представителем которого является этот выдающийся художник и мастер слова.

Джозеф Старобин

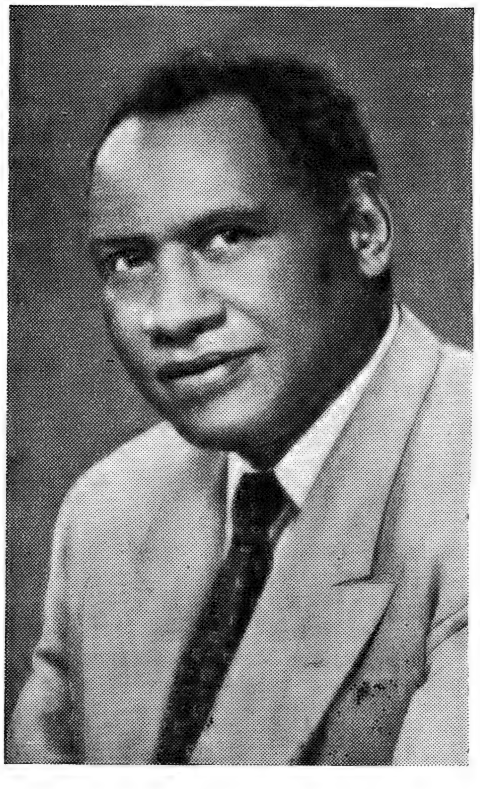
РОБСОН ПОЕТ...

Представляете ли вы себе Поля Робсона, стоящего на самой границе Соединенных Штатов? Его прекрасный голос разносится и за рубеж, но перешагнуть его Робсон не вправе...

Это было 1 августа, в день, сделавшийся традиционно значительным в нашей стране, где воспоминания столь недолговечны, а предания так быстро забываются. Несколько лет назад Поля Робсона пригласили петь перед собранием членов канадского профсоюза рабочих — доменщиков, шахтеров и металлургов Ванкувера, на крайнем западе Канады. Канадские пограничные власти не пропустили Робсона, хотя американскому гражданину обычно не нужна виза для посещения своих северных соседей.

Такое позорное обращение с Полем Робсоном вызвало негодование в Канаде. Профсоюз объявил, что он проведет концерт в Международном парке мира, расположенном по обе стороны американо-канадской границы. Тридцать тысяч человек устремились в тот день к каменным сводам, к Арке мира, возвышающейся в центре парка. В этом парке и пел Робсон. С тех пор ежегодно в первое воскресенье августа на том же месте проводится концерт с участием Поля Робсона. Он приезжает сюда из любого уголка Соединенных Штатов, где в тот момент находится.

Летом прошлого года я так построил маршрут своей поездки по Западу, чтобы



Поль Робсон

попасть в Сиэтл (штат Вашингтон) за несколько дней до 1 августа. Утром в воскресенье вместе с колонной машин мы

отправились на трехчасовую прогулку в парк, расположенный на границе. Стояла яркая солнечная погода. Волны Тихого океана, омывая берег, забегали в сотни маленьких бухт и заливов — от Пьюджит-Санда до елей и сосен, окаймляющих дорогу. Всего в нескольких километрах вправо от нас вздымалась высокая прибрежная горная гряда; отдельные ее вершины были покрыты снегом. Эта часть Америки напоминает нам о временах освоения материка, о той стране, которая жива в песнях Уитмена.

Международный парк мира занимает сотни акров; через него проходит одна-единственная дорога. Когда мы прибыли, в парке уже собралось 10—12 тысяч человек; многие расположились среди красных и желтых цветов, среди зеленого кустарника, на склонах, ведущих к Арке мира.

Это были главным образом канадцы, но здесь можно было увидеть и множество американцев из Сиэтла и близлежащих городов. Я встретил много друзей, проделавших накануне путь в 400 километров из Спокана (по ту сторону гор в восточной части штата Вашингтон) или из старого центра мукомолов и лесорубов — города Астория в Орегоне.

Короче говоря, аудитория состояла из людей трудящихся: горняков и лесорубов, рыбаков и фермеров. На мужчинах были хорошие темносиние костюмы. Солнце припекало, многие сняли пиджаки и остались в праздничных рубашках. Всюду мелькали также женские платья веселых, летних тонов, столь гармонирующих с яркостью цветов на клумбах. Многие привели с собой и детей; немало было и малышей, спящих в колясках.

Но здесь присутствовали не только канадцы или американцы; были тут и скандинавы, высокие, белокурые рабочие — люди, чьи интересы еще 50 лет назад защищал Джо Хилл. Повсюду стояли молодые парни и девушки; некоторые из них делали фотоснимки.

Когда Поль Робсон взобрался на машину, служившую ему помостом, создалось такое ощущение, что он как-то по-особому близок собравшимся. Разве не жил он сам в течение многих лет среди английской природы, о которой так напоминал этот парк? Робсон стоял на машине, слегка подняв свое величавое лицо, то грустное, то улыбающееся. Его массивная фигура особенно четко вырисовывалась на фоне белой мраморной арки.

И вот Робсон запел. Сначала канадский национальный гимн, затем «Звездное знамя» [национальный гимн США. — *Прим. перев.*]. После этого он приступил к исполнению репертуара, состоявшего из английских и ирландских баллад, песен о любви и борьбе. На смену творениям Блейка шли народные песни французской Канады, а затем и чешская колыбельная. Каждый номер заканчивался аплодисментами; отражаясь от горных склонов, они уходили вдаль и гасли над океаном.

Окончив петь, Робсон заговорил. Слова лились, это была столь присущая ему пламенная, острая речь. Он говорил о большой победе сил мира, какой явились итоги женевского совещания, о «другой Америке, настоящей Америке». Он коснулся в речи и своего негритянского народа и тут же рассказал о письме, присланном ему из государственного департамента. Это был очередной отказ предоставить визу для выезда за границу...

Выступление длилось более двух часов. Публика сидела почти неподвижно, если не считать коротких перерывов. Машины туристов, спешивших на Север, тихо съезжали по дороге, люди, сидевшие в них, смотрели на открывающееся перед ними зрелище с любопытством и уважением. В заключение Робсон сделал то, на что может решиться лишь смелый артист, верящий в себя, в силу своего искусства и восприимчивость своих слушателей. Он исполнил отрывок из оперы «Борис Годунов», предсмертную арию Бориса. Крупная фигура Робсона, казалось, трепетала, его лицо омрачилось, голос его нарастал от шопота до громовых раскатов. Канадские рыбаки, горняки и лесорубы понимали все, хотя Робсон и пел на языке Мусоргского.

И в эти минуты, стоя на самом рубеже своей страны, Робсон был как бы единственным в своем роде сыном многих народов. Я чувствовал себя перенесенным то в парки Парижа, то на восстановленные улицы Варшавы, то на берега Москвы-реки, то под сень кедровых рощ в сердце Пекина, то в бамбуковые заросли Индо-Китая. Казалось, Поль Робсон разрушил все невидимые преграды и в своих песнях совершил путешествие по всему свету.

На следующее утро я посетил дом одного «цветного» портового рабочего, у которого Робсон жил. Робсон сидел на кухне, за простым обеденным столом — перед ним были чашка кофе и кусок хлеба. Я часто беседовал с Робсоном у наших общих друзей, бывал у него дома, принимал его у себя, но обычно это происходило по вечерам. Сегодня же я встретил его ранним утром и в непривычной обстановке. Это не помешало сердечности встречи и тому, что Робсон углубился в воспоминания о своем жизненном прошлом.

Родился он в конце прошлого века (в апреле 1955 года ему исполнилось 57 лет). Он был сыном раба из Северной Каролины, сделавшегося пастором в Нью-Джерси. Поль был одним из первых трех негров-студентов, которым удалось добиться государственной стипендии. Он был превосходным атлетом, председателем дискуссионного студенческого клуба и при всем этом отлично учился. Будучи блестящим студентом-юристом Колумбийского университета, он пошел на сцену и вскоре стал одним из ведущих актеров экспериментальной театральной труппы, которая впервые с успехом поставила произведения драматурга Юджина О'Нейля. Он первый начал исполнять народные негритянские

песни в концертных залах, а позже его концерты, в программу которых он включал «спиричуэлз» [народные негритянские песни религиозного характера.— *Прим. перев.*], стали сенсацией Лондона.

В тридцатые годы Поль Робсон жил преимущественно в Англии. И сейчас он тепло говорит о своих первых встречах с африканскими студентами. Встречи эти помогли ему укрепить духовную общность со всеми колониальными народами Африки — родины предков Робсона. Он вспоминает о своих встречах с индийскими борцами за национальное освобождение, о посещении Испании в годы героической борьбы народа с фашистами. Он хорошо помнит свое первое посещение Советского Союза. Сначала проезд через Берлин под мрачными взорами штурмовиков, а затем «добрые, честные, удивленные лица» советских людей, в которых, как он выразился, «не было ни беспокойства, ни коварства, ни надменности».

Робсон возвратился со своей семьей в Соединенные Штаты в конце 1939 года, незадолго до начала войны, как человек весьма известный, артист с большим будущим.

...Тогда в своей стране он был принят как триумфатор. Он стал одним из вдохновителей борьбы против фашизма. Сотни тысяч рабочих с верфей Окленда и с заводов Детройта приезжали, чтобы побеседовать с ним и послушать его пение. Руководители крупных рабочих организаций были рады видеть его в своих рядах и гордились тем, что могли зачислить его в почетные члены своих профсоюзов. Самые большие залы в самых больших городах не вмещали всех тех, кто стремился его услышать. Мэри Маклеод Бетюн, одна из известнейших негритянок Америки, назвала Поля Робсона «самым высоким деревом в нашем лесу»...

Но в течение последующих лет обеспокоенная реакция пыталась заставить Робсона замолчать, «опозорить свое имя», как об этом поется в старой песне. Робсон выступил против угрозы третьей мировой войны. В Пеории (штат Иллинойс), а затем в Пикскилле были сделаны попытки линчевать Робсона; фашисты пытались организовать нападение на него, но успеха не добились. Тогда реакция решила окружить Робсона стеной молчания. Она попыталась объявить его вне закона, запугать его аудиторию, изолировать этого патриота, сделать его в собственной стране человеком безродным...

В то самое хмурое утро, когда Робсон рассказывал в доме портового рабочего обо всем этом, мне почему-то стало особенно ясно, какие тяжелые времена пережил Робсон в годы после Пикскилла. Но он был попрежнему тверд и боролся мужественно.

Постепенно Робсон начал разрушать «блокаду», которую старались вокруг него создать. Сначала он пошел в негритянские церкви, пел с хорами в Гарлеме [негритянский район Нью-Йорка.— *Прим. перев.*], в южной части Чикаго, в Детройте, Филадельфии и Вашингтоне. Это вызывало весьма оживленные отклики. Простые люди, даже когда они не разделяли его взглядов, дарили ему свое сердце, пожимали на улице руку, как бы становились под сень этого «самого высокого дерева в нашем лесу».

В прошлом году он почувствовал, что стены, возведенные вокруг него, постепенно начали рушиться. Он совершил поездку в Чикаго, где студенты университета добились разрешения его послушать. Взгляд Робсона воспламеняется, когда он вслух вспоминает о том, как пел перед многими тысячами этих молодых людей. Его нельзя удержать от постоянного общения с народом. И он ездит по стране. В одном случае он посещает многолюдное собрание, как это было на открытой сцене в парке Вашингтона в Чикаго. Три тысячи человек пришли туда, чтобы увидеть и послушать Робсона. В другом случае он дает концерт, посещает собрание верующих, проводит день с членами профсоюзов. Столь активный образ жизни не мешает ему вместе с тем находить время, чтобы отдохнуть в семье сына, у своих двух внучат.

Сейчас Робсон с удовлетворением видит, что даже те, кто пять лет назад вел себя пугливо и трусливо, сегодня охотно с ним разговаривают, прислушиваются к его словам, принимают его советы. Не так давно в Нью-Йорке состоялся банкет в честь Поля и Эсланды Робсон. Робсон был весел, он выглядел сильным как никогда, прекрасно владел собой...

Робсон не стоит на месте и в своем искусстве. Он сам говорит о том, что должен непрерывно совершенствовать свое мастерство; он дает понять, насколько для него — артиста-певца — важно идти в ногу с новыми явлениями в своей стране и за ее рубежами. Робсон не только владеет многими языками, он серьезно изучает культуру многих народов. Он проявляет живой интерес к культуре африканских народов, исследует родственные связи между Африкой, Индией и Китаем. В центре Гарлема, в доме своего брата, известного священника, Робсон проводит много времени над разучиванием новых песен. Он изучает также Баха и Генделя, работает над чешскими и венгерскими операми, партитуры которых построены на народных мелодиях; сегодня его песенный репертуар шире, чем когда-либо.

Поль Робсон — человек большого и универсального таланта. Бывают моменты, когда он испытывает особенно острую потребность в том, чтобы вновь встретить старых друзей (и приобрести множество новых) в далеких странах. В странах, ставших для него второй родиной. Он ясно представляет себе свои задачи в Соединенных Штатах и выполняет их успешно, со страстью и силой, с чувством удовлетворения. Но он смотрит и за пределы своей страны и умеет видеть весь мир. Этот сын бывшего раба напоминает одну из тех фигур, которые блистали в конце XVIII века:

он — человек масштаба Джефферсона, Франклина. Ведь и они тоже были «высокими деревьями» в девственном лесу той революционной эпохи. Одна из таких фигур — Поль Робсон. Многие из власть имущих, видимо, понимают это, чем, собственно, и объясняется их слепой страх перед Робсоном. Но друзья Робсона во всех странах должны сделать все, чтобы устранить преграды и облегчить ему свободную возможность шагать по всему миру, тому миру, которому он принадлежит.

Дэвид Платт

КОНФЕРЕНЦИЯ В КОЛУМБИЙСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Мне довелось участвовать в двухдневной конференции, посвященной состоянию искусства, которая была созвана студенческим советом Колумбийского университета.

Около сорока видных деятелей американской культуры выступили с трибуны конференции перед аудиторией более чем в шестьсот человек. Среди выступивших можно назвать поэтов Луи Унтермейера, Луизу Боген, Бабетт Дейч, Падрейк Колэм, драматурга Элмера Райса, романистку Фанни Хэрст, критика Мэри Колэм и ряд деятелей американского театра.

Я был поражен суровостью их критики. «Наша литература стоит на распутье, не зная, по какому пути ей идти,— сказал поэт Луи Унтермейер.— Книжные лавки — на грани банкротства. Серьезный театр вытеснен с Бродвея». Весьма критически он оценил состояние телевидения, которому, по его словам, угрожают «холодная рука цензора» и «диктат спонсора» [предприниматель, оплачивающий ту или иную передачу. — *Прим. ред.*]. Он несколько смягчил свой приговор театру, выразив надежду на то, что театр «возродится в переулках и узких улочках где-нибудь в районе Второй авеню»...

Заметив, что американские оркестры каждый сезон претерпевают финансовый кризис, композитор Мортон Гулд сказал о музыкантах и композиторах США: «У них такие же желудки, как и у других. Они идут на все, чтобы добыть пропитание и заплатить за квартиру. В итоге страдает их творческая деятельность».

То обстоятельство, что и писателям трудно прожить литературным трудом, отметила Мэри Колэм. «В противоположность другим странам,— сказала она,— наша страна не помогает писателю. Писатели в США чувствуют себя очень неуверенно, на них смотрят, как на бродяг».

В выступлении Элмера Райса прозвучала жалоба на то, что «писателю сегодня нет места в американской действительности...»

Романистка Фанни Хэрст сказала, что существует «огромная пропасть между художником и его аудиторией». Она согласилась с тем, что писатели очень «неуверенны и встревожены», но добавила: многие трудности «являются следствием того, что писатели уединяются в башне из слоновой кости». Художник должен быть ближе народу, подчеркнула писательница, «через глубокую пропасть между художником и народом должен быть перекинут мост». Прискорбно, добавила она, что «мы продались золотому тельцу, чтобы спрятать свое духовное убожество».

Помощник директора «Метрополитен опера» Джон Гуттман также говорил о «несвященном союзе между искусством и долларом». Он сказал: «Пока все наши помыслы устремлены в сторону кассы, на эксперименты в оперном искусстве шансов очень мало. Будущее американской оперы столь мрачно, что, будь я композитором, я бежал бы от оперы со всех ног...»

Ллойд Гудрич, заместитель директора Музея Уитни, говорил о связях между искусством и долларом: «Мы обеспечены до тех пор, пока биржа это дозволяет».

На конференции отмечалось, что, как показал недавний опрос пятисот видных американских художников, большинство из них зарабатывает на жизнь не живописью, а либо преподаванием, либо выполнением частных заказов, не имеющих ничего общего с их основной профессией... В организации двухдневной конференции был вместе с тем один серьезный недостаток. Если судить по выступавшим, то могло создаться впечатление, будто негритянский народ не внес никакого вклада в развитие нашей культуры и, таким образом, не имел права на представительство при обсуждении проблем искусства...

Участники конференции в ходе прений не раз горячо спорили по основным проблемам искусства. Так, художник Сальвадор Дали отстаивал эстетскую, «очень аристократическую» позицию, позволяющую ему, по его словам, создавать «сенсационные, уникальные и самые божественные шедевры».

Очень резко охарактеризовавший нищенское положение музыканта и композитора в Америке Мортон Гулд в своем втором выступлении неожиданно заявил: «Мы должны прекратить попытки сделать искусство достоянием многих. Нам нужно сделать его достоянием избранных». В конце концов Гулд договорился до полного абсурда, заявив, что «нет ничего худого в неустроенности художника. Это общая судьба. Это

чудесное состояние, если только вы не наносите вреда кому-либо другому».

Впрочем, большинство участников конференции пришло к значительно более практичным выводам относительно положения деятелей культуры и мер помощи им.

Литературный критик Мэри Колэм, киноактриса Лилиан Гиш и другие выступили с настойчивым требованием об организации Министерства изящных искусств для защиты интересов писателей и других творческих работников Америки. Лилиан Гиш заметила, что в Америке «мы увенчиваем синими лентами собак», но «никакие награды не даются деятелям искусств... Настало время оказать нашим артистам помощь, в которой они нуждаются,— сказала она.— Швеция с ее 8 миллионами населения имеет национальные театры в Стокгольме и других городах, а у нас таких театров нет».

Конференция в Колумбийском университете, посвященная проблемам искусства,— явление из ряда вон выходящее... Она показала, что в среде молодежи живет глубокая потребность в великом, гуманном и здоровом искусстве...

Несколько лет назад — и даже всего год назад, — когда Маккарти находился на «вершине славы», была бы вообще немыслима конференция, участники которой единодушно согласились с тем, что искусству в США угрожает серьезная опасность...

Еще одним выражением глубокой озабоченности американской интеллигенции судьбами своей родины явилось недавнее письмо Уильяма Фолкнера в «Нью-Йорк таймс». Фолкнер с глубокой иронией и гневом отозвался о высылке из Соединенных Штатов митрополита русской православной церкви... Не менее красноречив и тот факт, что впервые за долгие годы член редколлегии журнала «Мэссис энд Мейнстрим» Герберт Аптекер стал получать приглашения читать лекции по марксизму-ленинизму перед студенческой аудиторией. Все это отдельные признаки того, что политическая атмосфера в США меняется...

Письмо Анны Зегерс советским студентам

Студенческий кружок зарубежной литературы при Педагогическом институте города Петрозаводска (Карело-Финская ССР) провел дискуссию о книге А. Зегерс «Мертвые остаются молодыми». Участники дискуссии направили писательнице письмо, которое мы публикуем ниже вместе с ответом А. Зегерс.

Здравствуйте, уважаемая товарищ Зегерс!

Недавно мы, студенты историко-филологического факультета, в кружке зарубежной литературы обсуждали Вашу книгу «Мертвые остаются молодыми». Дискуссия оказалась очень интересной, но по некоторым вопросам мнения кружковцев разошлись. Чтобы не оставалось недоразумений, мы решили обратиться к Вам.

Нас интересует, почему Вы свой роман назвали «Мертвые остаются молодыми», а не «живыми». По-нашему, второе название глубже раскрывает идею.

Второй вопрос, который явился почвой для нашего спора, таков: почему Вы знамя революционной борьбы передали Гансу. Из рук твердого, убежденного коммуниста — в руки юноши, растерявшегося под натиском бурных событий жизни, которого в самые критические минуты оставляет решительность, юноши, который следовал своим принципам, очевидно, не до конца. Ясно, что Вы отразили действительность, не может быть сомнения, что и образ Ганса, конечно, реалистичен. Но разве Эрнст Тельман и его закаленная армия, разве она не оказалась бы достойной принять это знамя? От Ганса Вы эту эстафету передаете не родившемуся еще ребенку, будущее которого неизвестно. Некоторые из нас считают, что мысль о наследовании революционных традиций показана в романе неубедительно.

Если идея книги такова, что Эрвин жив, жив, несмотря на то, что одно поколение сменяется другим, то он должен жить не только в воспоминаниях, а и в том, что люди, продолжающие его дело, являются перевоплощением этого человека.

Нам думается, нельзя было Ганса делать наследником и продолжателем революционных традиций.

А, может, в слово «молодые» Вы вкладывали не этот смысл?

Книга нам очень понравилась, она волнует, заставляет думать и, конечно, многому учит. Восхищает нас Ваше художественное мастерство, которое чувствуется на каждой странице. Мы рады, что демократическая Германия имеет такого писателя, как Вы.

Желаем успехов на Вашем творческом пути, ждем новых хороших книг и желаем Вам долгих лет жизни в неутомимой борьбе за счастье немецкого народа.

С горячим студенческим приветом

студенты Педагогического института

(подписи).

Дорогие товарищи!

Сердечно благодарю Вас за письмо, которое Вы мне прислали. Вы пишете мне о дискуссии, которая шла в Вашем кружке по поводу моей книги «Мертвые остаются молодыми». Попытаюсь, насколько смогу, ответить на Ваши вопросы.

Почему я не назвала свою книгу «Мертвые остаются живыми»? Я полагаю, что предложенным вами заглавием вы хотели подчеркнуть, что идея, которая владела умершими, и дела, связанные с этой идеей, остаются жить. Но я хотела подчеркнуть нечто другое. Мы все физически с каждым днем стареем. Если вы потеряли дорогого вам человека, будь это в годы войны, или в недавнее время, или в дни вашего детства, то в вашем представлении он продолжает оставаться таким, каким вы его знали при жизни. Не только символически он остается молодым, не только в смысле той великой идеи, которую вы с ним разделяли, — в своих воспоминаниях вы видите его таким, каким он был при жизни. Поэтому мертвые в нашем воображении, в наших воспоминаниях остаются молодыми.

Теперь второй вопрос. Вы спрашиваете меня, почему я «знамя революционной борьбы» передала Гансу, которого «оставляет решительность»?

В моей книге есть, конечно, ошибки. Даже большие ошибки. Но я думаю, что это не совсем те ошибки, которые вызвали ваши критические замечания.

Если бы у меня было больше времени, чем сейчас, то я, ни одной строки не вычеркнув из этого романа, дополнила бы его некоторыми очень важными моментами, которые теперь представляются мне безусловно необходимыми, потому что сейчас я знаю больше, чем в то время, когда писала книгу. Ведь я писала эту книгу в основном в Мексике, частью еще до окончания войны, — то есть приблизительно в то время, которым оканчивается роман.

Теперь я знаю о немецких товарищах, которые всеми силами, рискуя своей жизнью, оказывали сопротивление гитлеризму. Я знаю о бесчисленных жертвах гитлеровского террора. Я знаю, что сотни, тысячи из них погибли в тюрьмах и т. д. Только в результате одного, последнего судебного процесса гитлеровская тайная полиция отправила на гильотину почти 200 человек.

Я не говорю уже о многих, к нашему великому счастью оставшихся в живых, товарищах, которые долгие годы пробыли в концлагерях, где, находясь под надзором охранников и шпиков, верно служили партии и ее идеям, поддерживали свои силы и силы более слабых товарищей по заключению.

Ваш вопрос надо понять так: почему ты не отвела главной роли в своей книге, например, одному из таких людей?

Я не сделала этого потому, что моя книга написана на совершенно другом материале, на совершенно другую тему. В ней речь идет не о том, чтобы вручить «знамя революционной борьбы» безупречному, незаблуждающемуся человеку. Это, безусловно, величественная тема (Курт и Жанна Штерн говорят об этом в кинофильме «Сильнее ночи»). Но когда я писала книгу, то задавала себе вопрос — его задавали сотни тысяч других людей, — как могло случиться, что все эти замечательные, героические люди оказались изолированными, а многие из них, несмотря

на все свои качества, несмотря на опыт своих отцов и т. д. и т. п., выполняли преступные приказания и принимали участие в этой войне? И я считаю, что подобные проблемы остаются актуальными и сегодня и что нужно смело подходить к их решению.

Сила нашей партии, мы сами, наши способности и наш разум, наша собственная сила оказывают воздействие на детей, рожденных в запутанном, враждебном нашим идеям мире.

Существуют, стало быть, две различные точки зрения. Продолжает ли Ганс революционные традиции без колебаний, без чувства слабости? Нет. Этого о нем сказать нельзя. Он снова находит правильный путь, но не без колебаний и не без сомнений. Между прочим, также как и его отец. Об этом говорится уже на первых страницах книги. Его отец тоже ведь дал себя сначала обмануть. Его тоже разбудила война. И он был расстрелян, как и его сын Ганс, прежде чем смог действительно «продолжить» революционные традиции.

Отсюда вытекает второй вопрос: имеет ли писатель право так поступать? Не должен ли он изображать только подлинного и непоколебимого наследника революционных традиций? Я считаю, что нет. Писатель должен показать причины страшного смятения, показать опасность, которая ныне снова со всей отчетливостью стоит перед нами. В этом его долг, если он любит свой народ и революцию.

Но что он должен сделать — и что я сделала недостаточно полно,— это показать, что, несмотря на ошибки главных героев книги, великие революционные идеи неудержимо развиваются.

Не знаю, достаточно ли ясно я высказала свою мысль. По крайней мере я постаралась сделать это. Возможно, что я упустила некоторые важные моменты, потому что у меня сейчас работы больше, чем я могу справиться. По крайней мере я старалась ответить на Ваши вопросы.

Приветствую вас от всего сердца

Ваша А. ЗЕГЕРС.

АЛЖИРСКИЕ ЗАРИСОВКИ ФРАНЦУЗСКОГО ХУДОЖНИКА

Б. Таслицкого

●

„Мой первый политический рисунок, — рассказывает известный французский художник Борис Таслицкий о себе самом, — был сделан 26 февраля 1934 года, в день когда полицейский по имени Манжен убил при выходе с собрания Анри Вийемена, коммуниста с пятнадцатилетним стажем. Полицейский был оправдан...“

С тех пор в своем творчестве Таслицкий неизменно откликается на животрепещущие проблемы современности. Политическому подъему, пережитому страной в период образования Народного фронта, была посвящена его картина „Демонстрация на кладбище Пер-Лашез“ (1936). Отражением жизни и борьбы рабочего класса Франции явилось такое его полотно, как „Забастовка на заводе Рено в 1939 году“ (1939).

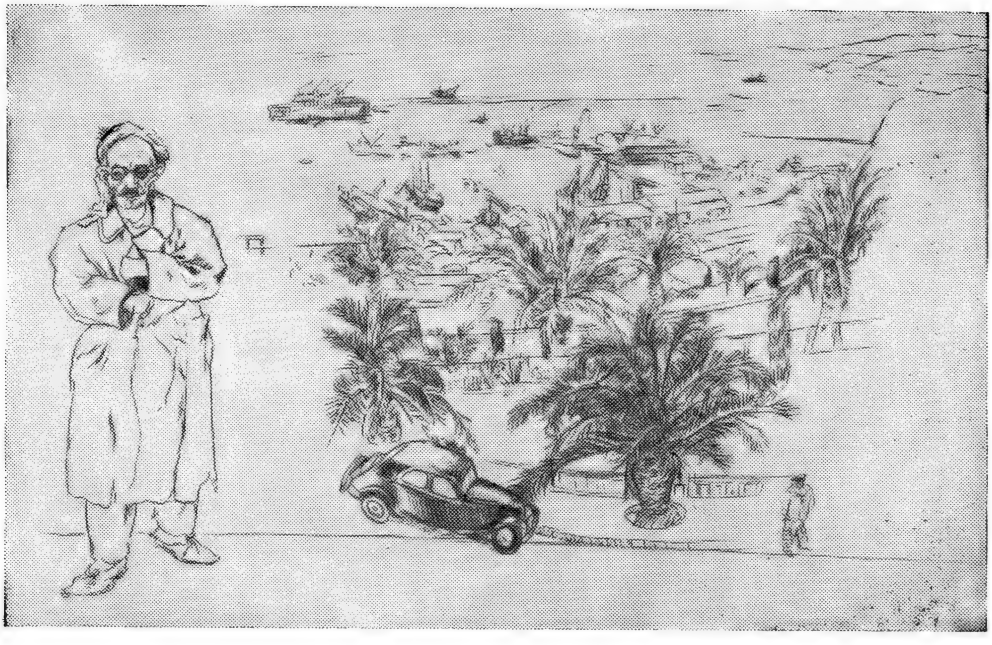
В годы войны Таслицкий принимал активное участие в движении Сопротивления; он был схвачен гитлеровцами и заключен в концлагерь. После войны — в 1946 году — художник выставил в Париже серию картин, в которых была показана славная эпопея борьбы французского народа за свою независимость; в них также нашел отражение страшный быт заключенных в нацистских концлагерях.

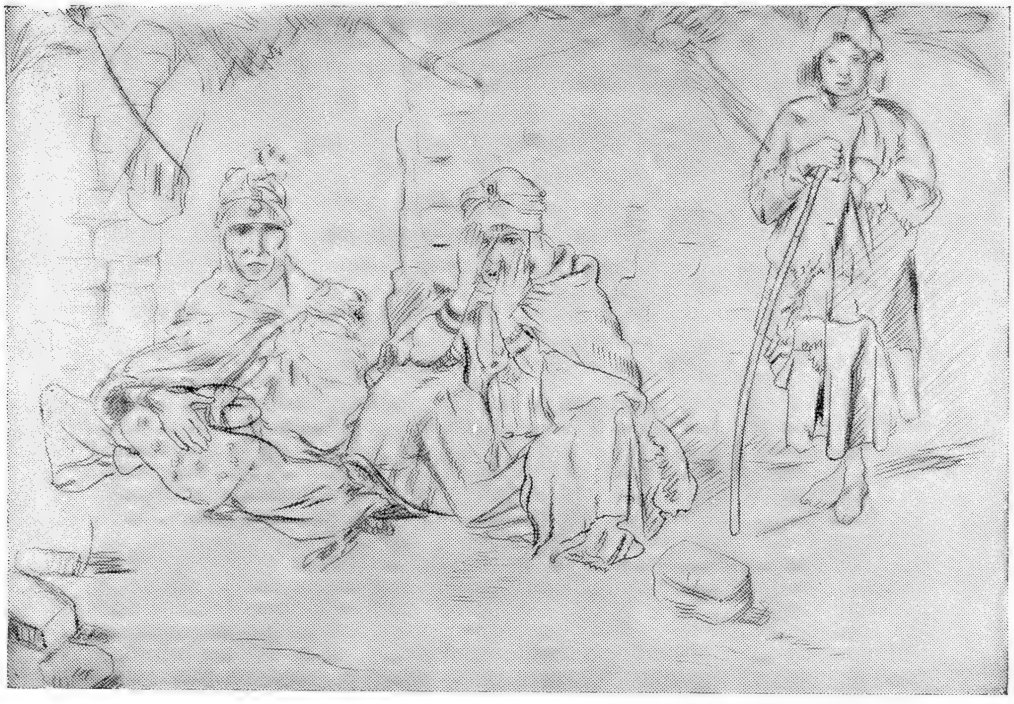
В 1952 г. Таслицкий вместе с художницей Мирей Миай посетил Алжир. „И вот, — говорит он, — в алжирских „бидонвилях“ я снова увидел старую знакомую картину...»

Помещаемые в нашем журнале работы Таслицкого из цикла алжирских зарисовок, явившихся гневным обличительным документом против колониализма, не потеряли и сегодня своей художественной убедительности.

●

В порту Орана





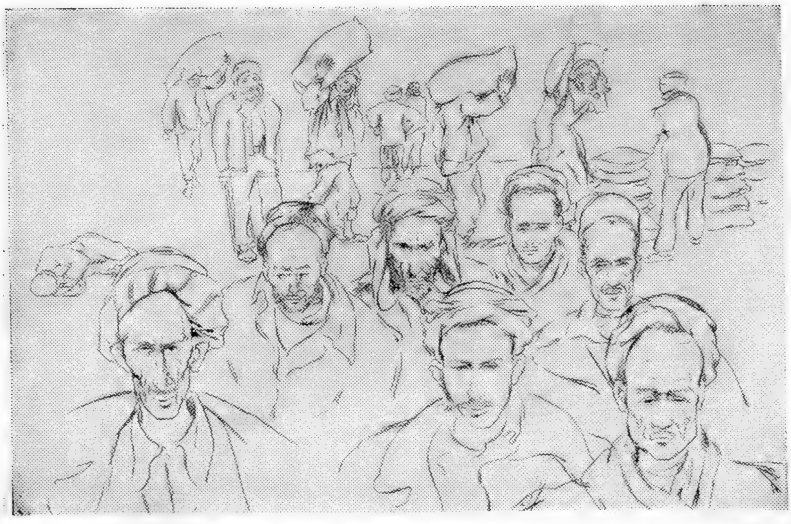
Голодно ...

Алжирцы ...

Семья рудокопа

Дети, живущие в „бидонвиле"

Больная



Докеры

Расправа над бастующими

Женщины останавливают поезд с политическими заключенными

КНИГА О РАБОЧИХ НОВОГО КИТАЯ

雷加著　春天來到了鴨綠江　作家出版社　一九五四年・北京

В конце 1954 года вышел в свет новый роман писателя Лэй Цзя «Весна пришла на Ялуцзян». Это первая часть задуманной автором трилогии «Скрытые силы», посвященной рабочему классу Китая. Действие романа развивается на одной из бумажных фабрик Северо-Восточного Китая вскоре после освобождения этой части страны от японских империалистов. Автор показывает своих героев в тяжелые дни восстановления фабрики, разрушенной войной. В те годы Лэй Цзя сам был директором одной из таких фабрик. Прекрасное знание жизненного материала дало возможность писателю глубоко и ярко воссоздать обстановку этих лет, показать то основное, что позволило в трудных условиях гражданской войны в Китае восстановить производство: рост самосознания рабочих, творческое отношение к труду, развитие новых отношений между людьми, ставшими хозяевами своего труда.

До опубликования отдельным изданием, отрывки из романа печатались на страницах журнала «Жэньминь вэньсюэ» («Народная литература»).

А. К.

РОМАН ХАН СЕР Я „СУМЕРКИ"

한설야 황혼 조선작가동맹출판사 1955년

Издательство Союза корейских писателей выпустило в свет новое издание первого романа Хан Сер Я «Сумерки».

В предисловии автор говорит, что, подготавливая это новое издание, он вновь переработал свое произведение, внес уточнения и дополнения, необходимые потому, что роман создавался в годы господства японского империализма, в условиях цензурного гнета. Хан Сер Я пишет: «Работать над своим произведением я начал в 1934—1935 годах, когда был заключен в тюрьму в связи с моей деятельностью в Корейской ассоциации пролетарских писателей. По выходе из тюрьмы в 1936 году я опубликовал свой роман в газете».

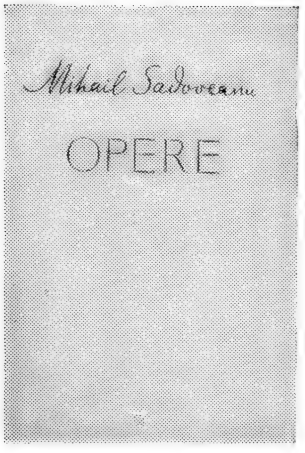
Роман посвящен борьбе корейского рабочего класса против политики угнетения народных масс, которую проводила корейская буржуазия, тесно связанная с японским империализмом. Действие происходит в тридцатые годы на текстильной фабрике в Сеуле.

Журнал «Чосон мунхак» в связи с выходом в свет нового издания дает роману «Сумерки» следующую оценку: «Это эпическое произведение, рисующее рост классового сознания и борьбу наших рабочих, имеет большое воспитательное значение со дня опубликования вплоть до наших дней».

А. Леонов.

РАННИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ МИХАИЛА САДОВЯНУ

Mihail Sadoveanu, Opere, v. I, Bucureşti, Editura de stat pentru literatură şi artă, 1954



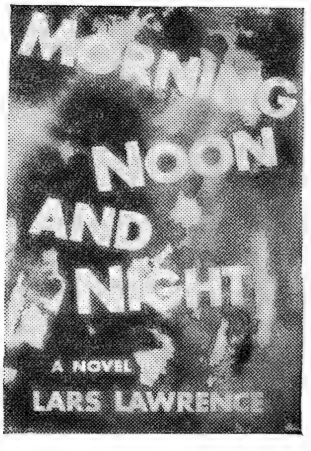
Вышел в свет первый том нового собрания сочинений Михаила Садовяну, издаваемого Государственным издательством литературы и искусства Румынской Народной Республики. На его первой странице портрет юноши в крестьянской рубахе: М. Садовяну в семнадцать лет. В этом возрасте он создал рассказы, не только высоко оцененные современниками, но и выдержавшие испытание временем. В первый том вошли повести и рассказы Садовяну, написанные с 1897 по 1904 год. «Эти ранние рассказы,— говорит М. Садовяну в коротком предисловии к книге,— посвящены были миру мало известному, главным образом простым людям деревни, с которыми я общался среди прекрасной природы северной Молдовы. Мне легко было читать в душе этих людей: они были мне дороги; я страдал и радовался вместе с ними. На природу я смотрел их глазами. Землю и солнце, леса и реки я не отделял от жизни этих братьев, которые — я чувствовал это — из далекого прошлого, под тяжестью эксплуатации и угнетения, шли навстречу новым временам».

Исследователям творчества М. Садовяну первый том нового собрания сочинений дает богатый материал. В комментариях к рассказам, написанным его дочерью Порфирой Садовяну, приведены ценные сведения о раннем периоде творчества писателя.

В. Розенцвейг

„УТРО, ПОЛДЕНЬ, НОЧЬ"

Lars Lawrence, Morning, Noon and Night, New York, Putnam, 1954



Шахтерский городок Реато в штате Нью-Мексико. Большинство жителей Реато — мексиканцы, но есть и негры, итальянцы, словаки. На окраине рабочие построили поселок — ветхие хибарки, собранные из строительных отходов. Сенатор Махони покупает землю, на которой расположен поселок, и требует уплаты ренты. У шахтеров нет денег, и сенатор хочет выгнать их. Борьба рабочих против американской полиции — основная тема книги американского писателя Ларса Лоренса «Утро, полдень, ночь», вышедшей в издательстве «Путнам» в Нью-Йорке в 1954 году.

Необходимость организованной борьбы рабочих за свои права — вот главная идея книги. Автор пишет: «Хозяева хотят представить дело так, что нет никакой классовой борьбы, как будто столкновения в Реато происходят между «патриотически настроенными гражданами» и «иностранными агентами», а не между желудками полными и желудками пустыми». Герои книги — Майк Ковач, Рамон Арсе, один из руководителей совета безработных, Транквилино де Васа — умные, решительные люди призывают к сплоченности, к классовой солидарности. Лоренс рисует деятельность местной организации компартии; показателен образ Хэма Тарнера — авторитетного и уважаемого рабочего вожака.

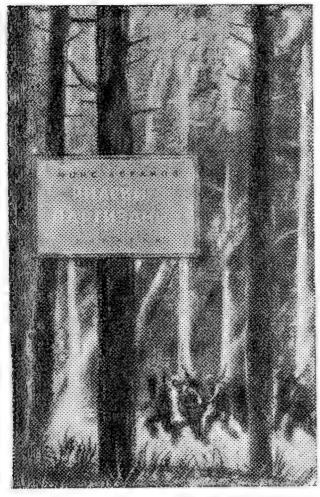
В книге Лоренса есть много яркого, запоминающегося, например страницы, посвященные описанию демонстрации перед зданием суда, полицейского террора в Реато, сцены в женской камере тюрьмы. Однако в книге есть элемент риторики, далеко не все персонажи обрисованы убедительно.

«Утро, полдень, ночь» — первая часть трилогии «Семя», задуманной Ларсом Лоренсом. Можно надеяться, что следующие части покажут рост мастерства молодого талантливого писателя. Начало обещает, что эта трилогия станет заметным явлением в прогрессивной литературе США.

Л. Золотаревский.

ВОСПОМИНАНИЯ ПАРТИЗАНА

Моис Аврамов, Рилски партизани. Спомени, София, Издательство на Българската Комунистическа партия, 1954



В Болгарии издавна сложились прекрасные традиции художественной летописи, повествующей об освободительной борьбе народа. Таким свидетельством свободолюбия остается и по сей день эпопея Захария Стоянова «Записки о болгарских восстаниях», памятник борьбы против турецкого рабства.

В наши дни одно за другим выходят в свет воспоминания болгарских партизан — повествования о суровом пути, пройденном ими, о событиях, которые стали вехами в истории народа, героически сражавшегося против фашизма.

Одна из первых таких книг была написана талантливым поэтом и прозаиком, активным участником партизанского движения Веселином Андреевым. Вслед за нею вышли незаменимые по своей достоверности, обилию богатого материала книги Георги Йовкова, Желязко Колева, Христо Горова, Косты Ламбрева, Ивана Зурлова, Аврама Митева, сборник «Мы были партизанами». Среди них особое место занимает собрание предсмертных писем героев освободительного движения—«Последнее их слово».

В конце 1954 года вышла небольшая книга Моиса Аврамова «Рильские партизаны», написанная искренне, взволнованно, лаконично. Она повествует о создании и боевом пути одного из прославленных партизанских отрядов, действовавшего в районе самого высокого горного массива Балканского полуострова — рильских гор. В отряде сошлись люди разных поколений, различного жизненного опыта, характеров, профессий. Их объединяют и ведут люди, воспитанные Болгарской коммунистической партией. Сдержанные, краткие характеристики этих людей, неизменно показанных в действии, делают эти образы памятными и дорогими читателю. Таков образ неутомимого командира Рильского отряда — Желю Демиревского, Николы Парапунова, командира Разложского отряда профессиональных революционеров, обаятельный образ бесстрашного и шаловливого крестьянского подростка Коце, суровой старой болгарки Гены, политкомиссара Аджията, который увлекал людей и личным примером, и вдохновенным словом. «Верная дружина — крепкая твердыня» — это изречение болгарского воина подтверждает история рильских партизан, хранивших и умножавших заветы Сентябрьского восстания 1923 года.

Книга заканчивается описанием великого дня 9 сентября 1944 года — дня рождения новой Болгарии.

Воспоминания Моиса Аврамова помогают еще лучше понять героические черты в характере талантливого и мужественного болгарского народа.

Л. Фейгельман.

ПОВЕСТЬ О ЮНОСТИ АВРААМА ЛИНКОЛЬНА

Meridel Le Sueur, The River Road, New York, Knopf, 1954

Новая книга Меридел Лесюэр «Путь по реке» — повесть для юношества; писательница продолжает в этой книге свой вышедший ранее рассказ о детских годах Авраама Линкольна («Нэнси Хэнкс с пустынной дороги»). В повести «Путь по реке» Линкольну восемнадцать лет. Вместе с огромной семьей своего стареющего, опутанного долгами отца фермера он живет в тесной бревенчатой хижине в Пиджин Крик — глухом лесном уголке штата Индиана. Замкнутый, долговязый юнец, привыкший к тяжелому труду лесоруба, плотовщика, землепашца, прочитавший на своем веку всего три книги, тяготится долей батрака и мечтает о больших городах, школах, библиотеках. Когда местный богач-лавочник предлагает ему перегнать плот с товарами по Миссисипи в Новый Орлеан, юноша решает воспользоваться этим случаем и уехать в новые края, может быть, даже попытаться попасть в Европу. Описа-

ние трудного и яркого речного путешествия составляет большую часть повести. В Новом Орлеане Линкольн впервые в жизни наблюдает продажу негров-рабов с аукциона, и эта весьма обычная для Южных штатов сцена производит на него потрясающее впечатление. Отныне начинается его душевное возмужание. Линкольн решает вернуться домой, к своим родным и товарищам, чтобы делить с ними лишения и суровый труд, готовить себя к борьбе против ненавистного рабства.

Меридел Лесюэр хорошо знает и любит историческое прошлое родины Линкольна — «края Северной звезды», быт и характер упорных, закаленных тружеников, из среды которых вышел один из величайших сынов американского народа.

Книга была тепло встречена демократической общественностью США, но вызвала нападки некоторых буржуазных критиков, усмотревших в ней «скрытые зловредные идеи».

И. Левидова.

КНИГА ОБ ИВЕ ФАРЖЕ

Claude Morgan, Yves Farge, Les Editeurs Français Réunis, Paris, 1954

В предисловии к жизнеописанию Ива Фаржа Клод Морган предупреждает читателя, что его книга — менее всего биографический роман. И действительно, почти три четверти ее занимают подлинные документы: письма к Иву Фаржу и от него, воспоминания друзей и соратников, официальные документы и т. п. Весь этот материал сплавлен авторским текстом в единое повествование, одновременно художественное и документальное.

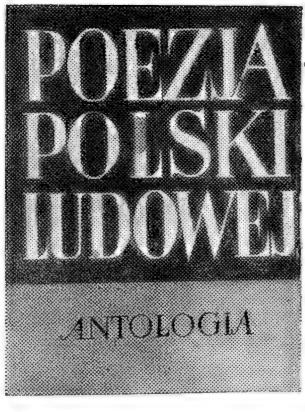
Центральную, наиболее весомую и интересную часть книги составляют пятая глава — «Сопротивление», шестая — «Бикини» (Ив Фарж был официальным представителем Франции при испытании атомной бомбы у атолла Бикини в 1946 году), седьмая — «Борьба с коррупцией» (в ней речь идет о деятельности Ива Фаржа на посту министра продовольствия и о его беспощадной борьбе против спекулянтов), восьмая и девятая главы, где Ив Фарж охарактеризован как непримиримый противник фашизма и решительный борец против войны.

Книга Клода Моргана, написанная энергично и сжато, языком почти что деловой прозы, рисует живой облик Ива Фаржа — верного сына Франции и пламенного борца за дело мира.

Н. Рыкова.

«ПОЭЗИЯ НАРОДНОЙ ПОЛЬШИ»

Poezia Polski Ludowej, Antologia, Warszawa, Czytelnik, 1955



Из литературных сборников, изданных в связи с десятилетием Народной Польши, особый интерес представляет антология «Поэзия Народной Польши», вышедшая под редакцией Ришарда Матушевского и Северина Полляка.

Как пишут в предисловии ее составители, антология «должна явиться поэтическим документом, рассказывающим о жизни и чаяниях людей в первом десятилетии становления нового строя, новой морали, о страданиях и радостях нашей трудной, переломной эпохи». В сборник включены и стихи, написанные в годы войны, в том числе произведения поэтов, бывших в подполье.

В антологии, насчитывающей около шестисот страниц, представлено творчество ста двадцати двух поэтов. Мы находим здесь имена крупнейших современных поэтов Польши, хорошо известных советскому читателю, таких, как Леопольд Стафф, Юлиан Тувим, Ярослав Ивашкевич, Владислав Броневский, Мечислав Яструн, Ежи Путрамент, Константы Галчинский. Наряду с этим в антологии представлены поэты молодого поколения — Сливяк, Новак, Ургач, Гаворский и др.

В антологию вошли стихотворения, разнообразные по теме. Многие из них посвящены людям новой Польши, строителям социализма. Большое место занимают в сборнике стихи о дружбе народов, призывающие к борьбе с враждебными си-

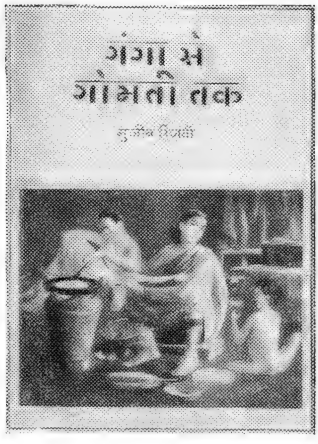
лами, за мир во всем мире. Многочисленные произведения воспевают Советскую Армию — освободительницу Польши, советский народ, вечную польско-советскую дружбу. Богато представлена лирическая поэзия, рассказывающая о человеческих чувствах, волнующих самих поэтов и читателей их стихов. В антологию включены стихи поэтов разных районов Польши, в том числе поэтов Западных земель.

Антология снабжена краткими био-библиографическими справками о жизни и творчестве каждого из представленных в ней поэтов.

Р. Меркина.

РАССКАЗЫ МОЛОДОГО ИНДИЙСКОГО ПИСАТЕЛЯ

मुजीब रिज़वी गंगा से गोमती तक इलाहाबाद १९५४



За последние годы на языке хинди, как и на других языках Индии, все чаще появляются книги, авторы которых поднимают важные и актуальные для индийского народа проблемы. Эти книги показывают противоречия общественной жизни страны, выступают в защиту мира и дружбы между народами. Одной из таких книг является сборник рассказов «От Ганга до Гомти» двадцатипятилетнего писателя Муджиба Ризви, вышедший в свет в 1954 году.

Сборник состоит из одиннадцати рассказов. Тематика их разнообразна. Рассказы «Чья земля» и «От Ганга до Гомти» говорят о том, как мешают жизни индийского народа пережитки древних феодальных порядков. В рассказе «Четыре года спустя» выведены заминдары, жестоко эксплуатирующие бедняков, потерявшие всякое чувство человечности. В рассказе «Голубь мира» автор показывает, как индийские борцы за мир доводят до простых людей Индии правду о Советском Союзе.

Молодой писатель Муджиб Ризви своим первым сборником рассказов на языке хинди внес ценный вклад в развитие современной прогрессивной литературы Индии.

В предисловии к книге известный теоретик и литературный критик Рам Вилас Шарма пишет: «Особенность рассказов Муджиба заключается в простоте их стиля. Каждый умеющий читать на языке хинди без особого труда может понять эти рассказы... Рассказы Муджиба Ризви трогают сердце и облагораживают человека. Именно такая литература нам и нужна. Этим путем шел Прем Чанд. Идя по этому пути, наша литература на деле сможет служить народу».

Е. Челышев.

РЕПОРТАЖ О СЕГОДНЯШНЕЙ ВЕНГРИИ

Karinthy Ferenc, Hazai tudósítások, Budapest, 1954

Книга очерков Ференца Каринти «Репортаж о нашей стране» поднимает вопросы, существенно важные для народно-демократической Венгрии.

Большая часть корреспонденций посвящена проблеме воспитания нового поколения трудящихся. Имре Муска, знаменитый новатор, автор многочисленных изобретений, завоевал всеобщее уважение. Но когда он один раз ошибся, нашелся какой-то бездушный чинуша, который вычеркнул его имя из списка соревнующихся. Секретарь парторганизации завода, не подумав о том, как помочь этому способному, передовому рабочему, счел за лучшее отделаться от него. Однако Муска, несмотря на равнодушие, не сдавался и продолжал свою рационализаторскую работу, хотя ему было трудно и больно терпеть несправедливое к себе отношение.

Боевая, партийная позиция писателя побудила его глубоко обнажить вред бюрократического отношения к человеку и страстно призвать к защите всего нового, передового. «Не легкое дело направлять людей, для этого нужно, товарищи, горячее и умное сердце»,— говорит Ференц Каринти.

В нескольких очерках писатель создает портреты лучших тружеников новой Венгрии. Это шахтеры, сын и отец Матраи, соревнующиеся между собою, работающие как подлинные хозяева страны; Шандор Бабиаш — прекрасный токарь, обучивший многих венгерских рабочих новым методам труда; Эндре Денеша — самоотверженный провинциальный врач, организовавший в отдаленных венгерских деревнях постоянное медицинское обслуживание. Рисуя этих замечательных тружеников, Каринти показывает в них характерные черты борцов, упорно преодолевающих трудности, стоящие на их пути.

И. Липпай.

НАВСТРЕЧУ НОВОЙ ЖИЗНИ

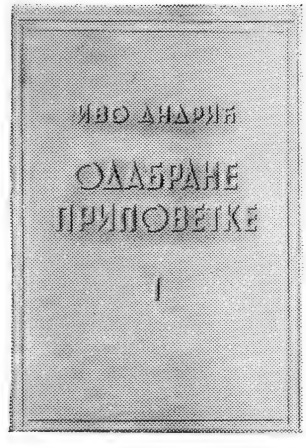
Боян Болгар, С открито лице. Турски мотиви, Български писател, София, 1954

До недавнего прошлого самой отсталой частью населения Болгарии были турки, болгары-мусульмане и цыгане. Отсутствие элементарных политических прав, нищета, неграмотность и мертвящий гнет вековых предрассудков — вот что сковывало жизнь мусульманского населения старой Болгарии. Буржуазное правительство Болгарии искусственно поддерживало его обособленность от болгарского народа. После 9 сентября 1944 года положение национальных меньшинств в корне изменилось. С важнейшим процессом приобщения турецкого населения Болгарии к культуре, преодоления вековых предрассудков знакомит читателя книга рассказов болгарского писателя Бояна Болгара «С открытым лицом», выпущенная в 1954 году издательством «Болгарский писатель». Автор в течение нескольких лет внимательно изучал жизнь мусульманского населения; книга явилась плодом его непосредственных наблюдений. Нелегкий путь борьбы с укоренившимися привычными взглядами и нормами, мешающими приобщению к новой жизни,— вот основная тема книги. Решающее значение приобретает раскрепощение мусульманских женщин, восстающих против рабства и завоевывающих драгоценное право трудиться, учиться и жить наравне с мужчинами. Судьбам женщин-турчанок посвящено более половины всех рассказов и очерков, и в том числе самые лучшие: «С открытым лицом», «Беглянка», «Жена учителя». На обложке книги изображена женщина, срывающая с себя покрывало — воплощение всех мусульманок Болгарии, которые с открытым лицом идут навстречу новой жизни.

Л. Лихачева.

„ИЗБРАННОЕ" ИВО АНДРИЧА

Иво Андрић, Одобране приповетке, књига прва и књига друга, „Српска књижевна задруга", Београд, 1954



Иво Андрич — один из наиболее значительных современных прозаиков Сербии, известен не только как автор крупнейших исторических полотен «Хроника Травника» и «Мост на Дрине», но и как мастер филигранно отделанной, психологической новеллы.

Лучшие из рассказов и повестей, написанных Андричем на протяжении большого и сложного литературного пути (первая его книга вышла еще в 1918 году), собраны издательством «Српска књижевна задруга» в двух томах «Избранных рассказов». Издание это приурочено к исполнившемуся недавно шестидесятилетию писателя.

Произведения расположены в томах по принципу исторической последовательности. В первый том вошли рассказы, посвященные жизни страны во времена турецкого ига. Среди них «Путь Алие Джерзелеза», «Притча о слоне Визира», «Беспокойный год». Во второй том включены произведения, действия в которых происходят уже после 1878 года, после освобождения Сербии и Боснии от турецкого ига, и до наших дней.

Кмет, у которого «на хребте уселся Ага»; девушка из бедной семьи, которая вынуждена выйти замуж за отвратительного, упивающегося своим могуществом торгаша; старик тачечник, дочь которого убили фашисты,—вот герои Иво Андрича. Маленький, простой человек, подавленный нуждой и несправедливостью, его судьба, его переживания и мысли — вот что больше всего волнует писателя.

Когда читаешь небольшие новеллы Иво Андрича, особенно те из них, что посвящены временам турецкого владычества в Боснии и Герцеговине, бросается в глаза тонкое, мастерское умение писателя передать все сложное своеобразие жизни, быта, языка этого славянского края, которому пришлось пережить многовековое турецкое иго, гнет австро-венгерской монархии, немецкую оккупацию.

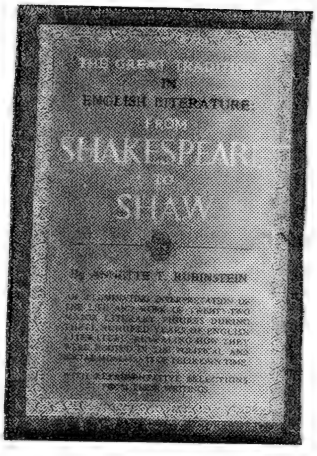
И. Володина.

КНИГА О ТРАДИЦИЯХ АНГЛИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Annette T. Rubinstein, The Great Tradition in English Literature from Shakespeare to Shaw, The Citadel Press, New York, 1953

Книга американского литературоведа Аннет Т. Рубинстайн «Великая традиция в английской литературе» прослеживает основные социальные тенденции в английской литературе от эпохи Возрождения до XX века. «Великая традиция», которую имеет в виду автор, заключается, как она пишет, в способности выдающихся писателей «ощущать будущее в современности». В серии очерков, не охватывающей всех классиков английской литературы, А. Рубинстайн основное внимание уделяет тем писателям, в творчестве которых с наибольшей силой отразились социальные противоречия и передовые идеи их эпохи — Шекспиру, Мильтону, Баньяну, Свифту, Дефо, Фильдингу, Бернсу, Блейку, Вордсворту, Кольриджу, Байрону, Шелли, Диккенсу, Джорджу Элиоту, Бернарду Шоу. В центре внимания автора отношение писателей к социальным вопросам, к общественным теориям их времени. К сожалению, анализ литературных произведений в ряде случаев ограничивается лишь выявлением социальных мотивов, без всестороннего анализа системы образов, особенностей художественного языка и стиля.

Книга основывается на богатом фактическом материале, содержит интересные сведения о писателях, где по новому раскрывающие их социальный облик, выразительные отрывки из произведений и перепи-



Основная ценность книги заключается в том, что автор, подчеркивая социально-критические мотивы творчества английских классиков, раскрывает их демократические симпатии и стремление к наиболее справедливым формам общественного устройства.

А. Аникст.

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

АВСТРИЯ

ФРИЦ ИЕНЗЕН И ЕГО ПОСЛЕДНЯЯ КНИГА

Как известно из сообщений печати, в результате диверсии, организованной тайными агентами чанкайшистской разведки, потерпел катастрофу самолет с некоторыми участниками делегации КНР и ДРВ, а также китайскими и иностранными журналистами, направлявшимися на конференцию стран Азии и Африки.

Среди погибших был также австрийский журналист Фриц Иензен, работавший последние годы корреспондентом в странах Восточной Азии. Иензен известен как убежденный антифашист, участник войны в Испании в 1936—1939 годах. Что привело австрийского врача и журналиста в Азию? По словам Иензена, он прибыл в 1939 году в Китай, «чтобы найти там логическое продолжение борьбы, временно закончившейся с прекращением гражданской войны в Испании». Итогом почти десятилетнего пребывания в Китае явилась книга «Китай побеждает», вышедшая в Вене в 1949 году. Вскоре она была переведена на пять языков. Книга Иензена в 1950 году была издана в СССР.

В своих талантливых статьях Иензен показывал борьбу народов Китая, Кореи и Вьетнама за свободу и независимость. Австрийская газета «Эстеррейхише фольксштимме» помещала репортажи Иензена о Вьетнаме. До последних дней жизни Фриц Иензен работал над подготовкой своего последнего произведения, посвященного жизни и борьбе вьетнамского народа на фронте и в тылу. В письме к своей сестре он писал, что вьетнамские впечатления «наполняют сердце теплотой и обогащают ум», что Вьетнам — «идеальная страна для репортера революции»...

Сообщая о последней работе Иензена, газета «Эстеррейхише фольксштимме» указывает, что его книга о виденном и пережитом во Вьетнаме готовится сейчас к изданию в Вене и Берлине.

„ГОД МОЦАРТА"

Музыкальная общественность на родине Моцарта готовится отметить приближающееся двухсотлетие со дня рождения великого композитора как большой праздник национальной культуры. 1956 год называют «годом Моцарта».

В Зальцбурге начинает издаваться новое полное собрание его произведений. Оно будет состоять из 110 томов, выход его рассчитан на пятнадцать лет. Как сообщает западногерманский журнал «Универзитас», до 27 января будущего года, то есть до дня юбилея, выйдет в свет ряд томов.

Подчеркивая большую важность и своевременность издания творческого наследия Моцарта, журнал указывает, что последние тома прежнего полного собрания вышли еще около 70 лет назад. С тех пор было найдено много неизвестных прежде рукописей.

Появившееся в 1791 году, вскоре после смерти Моцарта, издание его произведений содержало множество неточностей и было далеко не полным, хотя и оказало значительную услугу исполнительской практике XIX века. Предпринятое в 1875 году, в значительной мере по инициативе Брамса, лейпцигское издание также страдало обилием неточностей. Данные, которыми располагает сейчас «моцартоведение», дают возможность произвести уточнения и внести необходимые дополнения при новой публикации произведений великого композитора.

АЛБАНИЯ

СЕМИНАР МОЛОДЫХ ПИСАТЕЛЕЙ

ЦК Союза трудовой молодежи Албании и Союз писателей провели семинар молодых писателей — участ-

ников молодежного литературного конкурса.

На семинаре были обсуждены важнейшие проблемы литературного творчества. Выступавшие отмечали необходимость постоянного углубленного изучения жизни, а также важность глубокого знания истории своего народа.

С большим интересом участники семинара выслушали выступления видных албанских писателей и поэтов: Д. Шутеричи, Л. Силичи, Ф. Дьята, А. Варфи, К. Якова, С. Спассе, А. Бануши.

В своем заключительном слове председатель Союза писателей Албании Д. Шутеричи особо остановился на том большом значении, какое для каждого писателя имеет овладение марксистско-ленинской теорией, изучение советской литературы, внимательное творческое ознакомление с богатствами мировой классической литературы, национальной классики и лучших произведений новой албанской литературы.

Д. Шутеричи пожелал молодым писателям своим творчеством неизменно служить интересам партии, интересам народа.

ОБОГАЩЕНИЕ ЖАНРА

Албанское государственное издательство выпустило в свет сборник стихов Вехби Бала «Сказки и загадки».

Жанр поучительной сказки и басни имеет в албанской литературе прекрасные традиции, восходящие к творчеству классиков. Вехби Бала творчески использовал старинные сюжеты, придав им новую, оригинальную современную трактовку. Его сказки в стихах сообщают маленьким читателям множество полезных сведений, расширяют кругозор, утверждают идею торжества добра над злом — вот почему и читаются они с увлечением.

Большой интерес вызывают также помещенные в сборнике загадки. Оригинальность их в том, что они посвящены таким предметам, которые в этом жанре (если иметь в виду албанскую литературу и фольклор) никогда еще не были использованы: электрическая лампа, самолет, радио и т. п.

Писатель Стерио Спассе на страницах журнала «Нёндори» (орган Союза писателей Албании) отмечает, что появление небольшого по объему сборника Вехби Бала является не только удачным дебютом автора в этом жанре, но и большим успехом албанской детской литературы в целом.

НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ КНИГ СОВЕТСКИХ АВТОРОВ

Как сообщает журнал «Мичесия» («Дружба»), Албанское государственное издательство выпустило новые переводы произведений советских писателей. Вышли на албанском языке: «К новому берегу» В. Лациса, «Водители» А. Рыбакова, «Свет над землей» С. Бабаевского, а также сборник «Рассказы советских писателей», в который вошли рассказы Горького, Фадеева, Симонова, Федина, Полевого, Горбатова и других советских писателей.

АЛЖИР

„БЕЛЫЙ НЕГР"

В городе Алжире с большим успехом прошла пьеса Мухаммеда Аввада «Белый негр». Поставленная арабской труппой оперного театра Алжира, эта пьеса рассказывает о негре Мабруке, который благодаря некоему чудодейственному изобретению доктора Каледа превращается в белого. Сразу же после того как становится известным свойство «элексира Каледа», на изобретателя обрушивается гнев колонизаторов. Но против использования «элексира» выступают и сами негры, не желающие таким способом добиваться равноправия. Единственный достойный путь завоевания равенства — борьба за национальное освобождение бок о бок и рука об руку с белыми братьями. К этому и призывает пьеса Аввада.

ДВАДЦАТИПЯТИЛЕТИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА

Старейшее мусульманское музыкальное общество «Аль-Мусийя» отметило свое двадцатипятилетие. Общество ставит задачей пропаганду национальной классической арабской музыки. Оно располагает учебной базой. Из стен музыкальной школы, в которой сейчас обучается 150 человек, вышли известные музыканты, в том числе один из лучших алжирских пианистов Скандрани.

АНГЛИЯ

ОЛДИНГТОН И „ЛЕГЕНДА О ЛОУРЕНСЕ"

Ожесточенные нападки буржуазной критики вызвала вышедшая в начале этого года биография английского разведчика Т. Э. Лоуренса (1888—1935), написанная Р. Олдингтоном. Рецензенты «Таймс литерари сапплмент», «Лондон мэгэзин», «Энкаунтер» и других изданий обрушиваются на Олдингтона, посмевшего своей трактовкой в какой-то мере — вольно или невольно — «развенчать» фигуру этого агента британского империализма. Имя Лоуренса, как известно, стараниями определенных кругов всячески популяризируется и окружается в Англии романтическим ореолом. Неслучайно именно сейчас выпущена также книга самого Лоуренса «Источник» — дневниковые записи, сделанные во время службы в военно-воздушных силах.

Основным моментом, определяющим и развитие характера, и судьбу своего героя, Олдингтон считает сугубо личное обстоятельство: Лоуренс был незаконн-

норожденным — и отсюда, по мнению писателя, возникла его озлобленность, крайний эгоцентризм, мания величия, склонность к фантастическим выдумкам и преувеличениям. Миф о Лоуренсе-герое, утверждает Олдингтон, скрывает за собой фигуру патологического хвастуна и лжеца, умело вводившего в заблуждение широкую публику, не совершившего хотя бы и части тех подвигов, какие ему приписываются.

Как отмечает «Дейли уоркер», книга Олдингтона помогает разрушить «красивую легенду», сознательно создаваемую в связи с деятельностью человека, «который был послушным орудием британского империализма на Среднем Востоке».

ВЫСТАВКА КАРТИН Р. ГУТТУЗО В ЛОНДОНЕ

Население Лондона в результате инициативы, проявленной музеем «Лестер галлериз», получило возможность ознакомиться с произведениями современного итальянского художника Ренато Гуттузо.

Гуттузо — уроженец Сицилии. Он черпает сюжеты своих картин большей частью из повседневной жизни и борьбы свободолюбивого итальянского народа за лучшее будущее, за свои элементарные права. Вместе с тем художник не забывает и славных страниц его истории: героическая эпопея Гарибальди написана им с той же проникновенной верностью правде и яркостью чувства, как и эпизоды сегодняшней борьбы крестьян и батраков за землю. Мужество, доблесть, несгибаемая воля, любовь к родине — таковы характерные черты людей труда, которых Гуттузо показывает на своих полотнах.

Художник снискал себе большую популярность в массах. На народных празднествах в Италии можно нередко увидеть любовно выполненные копии популярных картин художника.

На лондонской выставке было показано множество картин, посвященных одной из главных тем всего творчества художника — борьбе крестьян и батраков за землю. К числу наиболее впечатляющих полотен на эту тему принадлежит «Героиня борьбы за захват земли».

„Сицилийские рабочие" — две зарисовки художника Ренато Гуттузо

(Английский журнал „Лэйбор мансли")

БЕРТОЛЬД БРЕХТ В РАБОЧЕМ ТЕАТРЕ

По сообщению прогрессивной печати, готовится постановка известной пьесы Бертольда Брехта «Матушка Кураж» на сцене рабочего театра «Тиэтр Уоркшоп» (театр этот, постоянно находящийся в небольшом городке Барнстэпл, выступает также в крупных городах Англии и гастролирует за границей).

Ряд лондонских театров предлагал автору предоставить им эту пьесу, посвященную Тридцатилетней войне и являющуюся высокохудожественным образцом талантливой и убедительной антивоенной пропаганды. Однако автор не дал согласия, поскольку не был достаточно удовлетворен стилем актерского исполнения в этих театрах. После того как Брехт увидел во время гастролей в Чехословакии и Германии труппу Барнстэплского рабочего театра «Тиэтр Уоркшоп», он решил, что именно эта труппа сумеет должным образом воплотить его пьесу на сцене. Так, право постановки пьесы Бертольда Брехта было предоставлено рабочему театру Барнстэпла.

В итоге, как подчеркивает газета «Дейли уоркер», одно из выдающихся театральных событий этого года имеет место не в фешенебельных театрах лондонского Вест-Энда, а в маленьком девонширском городке, на скромной сцене рабочего театра.

КНИГИ ПРАВНУЧКИ ДИККЕНСА

Еще до войны в журнале «Интернациональная литература» (№ 9—10, 1939 г.) сообщалось, что правнучка Диккенса Моника Диккенс опубликовала свою первую книгу — роман «Две руки». В ней двадцатичетырехлетняя писательница изобразила свой жизненный путь и те злоключения, какие выпали на ее долю, когда она, переменив много мест, нанялась в качестве домашней прислуги.

Позднее сообщалось также о выходе ее нового романа «Луна стояла низко».

Во время войны Моника Диккенс продолжала писать. К 1953 году ею было издано несколько книг. Одна из них — «Джой и Джозефина»,— вышедшая в 1948 г., повествует о судьбе подкидыша.

Некоторые произведения Моники Диккенс носят автобиографический характер. Такова, например, ее книга «Сестра Диккенс. Год моей жизни», в которой изображена жизнь в тылу со всеми ее трудностями в годы второй мировой войны; главная героиня книги — медицинская сестра.

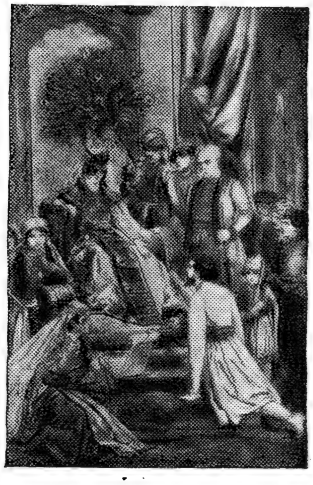
БРАЗИЛИЯ

НАЦИОНАЛЬНУЮ ЛИТЕРАТУРУ — В МАССЫ

Первый национальный конгресс интеллигенции в Бразилии призвал всех деятелей культуры к борьбе в защиту национальной культуры, к сохранению и развитию национального наследия и традиций.

В соответствии с этим бразильская ассоциация писателей совместно с бразильской ассоциацией прессы организовала в Рио-де-Жанейро, Сан-Пауло и Сантосе курсы лекций по бразильской литературе. Лекции охватывают литературу от колониального периода до наших дней.

В качестве лекторов выступают крупнейшие писатели Жоржи Амаду, Жозе Жералдо Виейра, Ориджинес Лесса, литературоведы профессора Мальба Таан, Жоаким Рибейро и др.



Обложка и фронтиспис к книге Шота Руставели „Витязь в тигровой шкуре", изданной на венгерском языке в переводе Шандора Вереша с рисунками Михая Зичи

ВЕНГРИЯ

ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКА БАРТОКУ

В ознаменование десятилетней годовщины со дня смерти выдающегося венгерского композитора Белы Бартока в Будапеште состоялось торжественное открытие памятника (бюста) композитору. Бюст сооружен по проекту известного венгерского скульптора, лауреата премии им. Кошута Андраша Бека.

На торжественном открытии памятника Бартоку, как сообщила «Сабад неп», присутствовали многочисленные представители общественности, деятели культуры и искусства. Заслуженный артист Венгерской Народной Республики, лауреат премии им. Кошута Пал Кадоша выступил с речью.

К подножию памятника были возложены венки от ЦК Венгерской партии трудящихся, от министерства культуры, от Венгерского совета мира, от Союза венгерских композиторов. Были возложены также венки от других организаций.

РУСТАВЕЛИ НА ВЕНГЕРСКОМ ЯЗЫКЕ

За последние годы в Венгрии издано много произведений классиков мировой литературы в новых, более совершенных переводах. Недавно вышел новый перевод «Витязя в тигровой шкуре» Шота Руставели, выполненный Шандором Верешем.

Первый перевод всемирно известной поэмы Руставели появился в Венгрии в начале XX столетия и был большим литературным событием. Однако этот перевод (Белы Викара) страдал некоторыми недостатками. В частности, он не передавал ритмического своеобразия строфы Руставели. Новый переводчик, Шандор Вереш, стремился воспроизвести все ритмические особенности оригинала.

Книга иллюстрирована рисунками Михая Зичи (1827—1906) — известного венгерского художника, с 1847 года жившего в России. Зичи иллюстрировал, кроме венгерских классиков (Петефи, Арань) также и произведения русских писателей — Гоголя, Лермонтова, Гончарова. «Витязь в тигровой шкуре» с иллюстрациями Зичи впервые вышел в 1888 году в Петербурге.

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА ВЬЕТНАМ

НОВАЯ ЖИЗНЬ И НОВЫЕ ЛЮДИ

В эти дни в далеких от нас вьетнамских деревнях с интересом читают рассказ Сергея Антонова о землеустроителе, который так и не узнал, кто же в Поддубках сочиняет частушки. Если бы тот же землеустроитель попал в сегодняшнюю вьетнамскую де-

ревню, то ему нелегко было бы узнать также, кто сочинил народные песни «Куан дой» или «Соан».

На Всевьетнамском национальном фестивале в Ханое исполнялись старые и новые народные песни; были показаны также оперные спектакли и красочные танцы; присутствующие аплодировали «соловьям юга» Кхань Ван и Суан Май — певицам армейской самодеятельности, на протяжении ряда лет сражавшимся в рядах Народной армии на юге страны; со слезами на глазах следили зрители и за потрясающей своей трогательностью игрой оперной актрисы Льеу.

Фестиваль не только сам по себе был крупнейшим событием в культурной жизни Вьетнама, но и оказал благотворное влияние на все ее дальнейшее развитие.

Не успели затихнуть звуки народных инструментов в Ханое, как бригада артистов уже выехала на крупнейшую мирную стройку страны: железную дорогу Ханой — Мук-Нам — Куан. Там, неподалеку от китайской границы, они вместе с китайским хором выступали перед многолюдной рабочей аудиторией. Содружество вьетнамских и китайских артистов — еще одно свидетельство крепнущей дружбы двух народов.

После фестиваля возникли и продолжают возникать новые самодеятельные ансамбли — на фабриках, заводах, в армии. Организован также специальный комитет по пропаганде художественных произведений.

Как отметила вьетнамская пресса, итоги фестиваля оживленно обсуждались широкими кругами общественности Демократической Республики Вьетнам. Большинство участников обсуждения, прошедшего на предприятиях, в армейских частях, на собраниях деятелей культуры, подчеркивало всю важность того, чтобы новая жизнь и новые люди стояли в центре внимания всех творческих сил страны. Указывалось также и на то, что во всех областях и жанрах литературы и искусства нужно во всеоружии творческих средств «изображать живых героев», а не заниматься одним только отвлеченным и схематическим комментированием политических событий. Бурные прения развернулись при обсуждении произведений крупнейшего поэта То Хыу и книги Фунг Куана «Побег с Пуло-Кондора», рассказывающей о героической борьбе заключенных в концлагере на острове Пуло-Кондор (побережье Южного Вьетнама).

Отмечая большое воспитательное значение книги Фунг Куана, рисующей образ стойкого революционера, многие указывали вместе с тем на некоторые художественные слабости этого интересного произведения. Особо подчеркивалось значение революционных стихов То Хыу для развития вьетнамской поэзии. «Поэзия То Хыу — это наше знамя»,— такова оценка творчества поэта, данная газетой «Ван нге» («Искусство»).

Вместе со всем народом деятели культуры Вьетнама борются за объединение всей страны на мирной, демократической основе, за тесную культурную связь Севера и Юга. Они борются за создание общенационального вьетнамского искусства и против всего, что мешает этому, в частности против влияния «культуры» империализма, проникающей на территорию Южного Вьетнама.

То Нгоук Ван — один из крупнейших художников современного Вьетнама. Он активно участвовал во всенародной войне Сопротивления и погиб под Дьен Бьен Фу, не дожив до дня победы.

Его выставка, открытая в Ханое тотчас же после освобождения города, привлекла большое количество посетителей. Произведения То Нгоук Вана дают представление о жизни крестьян Вьет-Бака, о том что принесла крестьянству аграрная реформа.

Произведения То Нгоук Вана на Всевьетнамской художественной выставке 1954 года были удостоены первой премии.

Два рисунка То Нгоук Вана.

Беглое повторение пройденного перед очередным уроком

Старик, держащий факел в руке, отправляется в вечернюю школу

ЕГИПЕТ

СТАТЬЯ О М. ГОРЬКОМ В ГАЗЕТЕ „АЛЬ-ГУМХУРИЯ"

Египетская газета «Аль-Гумхурия» поместила статью литератора Мухаммеда Мах-

буба, посвященную годовщине со дня рождения М. Горького. В статье, озаглавленной «Памяти героя», приводятся факты о детских и юношеских годах великого писателя, о том, каким был его путь до тех пор, пока он «достиг вершины писательской славы и стал во главе писателей мира». В газете помещен также портрет М. Горького; подпись под портретом гласит: «Память о нем сохранится в наших сердцах».

ИТАЛИЯ

„ЕВРОПА ПЕРЕД РАССВЕТОМ"

«Моя кровь, кровь многих благородных мужей пролилась недаром. Шагай же по ней, мой смелый народ; она приведет тебя к победе». Эти слова гетевского Эгмонта, произнесенные французским профессором-антифашистом Бурганом в тот момент, когда он читал лекцию своим ученикам-лицеистам и был схвачен в аудитории гестаповцами, вновь прозвучали недавно, но уже со сцены городского театра в Болонье.

Спектакль «Европа перед рассветом», посвященный десятилетию победного завершения эпопеи европейского Сопротивления гитлеровской агрессии, поставлен в Болонье по инициативе Центра народных театров и зрелищ.

Это произведение, как сообщает газета «Унита», воссоздает картину сопротивления народов Европы на основе исторических документов и множества предсмертных писем героев борьбы с фашизмом.

Именно этих людей авторы — Вито Пандольфи и Джованни Пирелли — сделали основными действующими лицами своей пьесы. Мы слышим голоса рабочих, интеллигентов, священников, школьников, солдат и партизан. Отцы и сыновья, братья, мужья, матери обращаются в предсмертные минуты к самым дорогим для них людям. В их словах звучат проклятья фашизму, звучит призыв к собратьям по оружию продолжать беспощадную борьбу с врагом, уверенность в грядущей победе...

Спектакль поставлен режиссером Вито Пандольфи в духе народной драмы.

ИМЕНИ АНТОНИО ГРАМШИ

В Турине создана организация деятелей культуры имени Антонио Грамши (Грамши — основатель Итальянской коммунистической партии, крупнейший итальянский теоретик-марксист). Эта организация ставит своей задачей привлечь внимание прогрессивной интеллигенции к обсуждению важнейших проблем национальной культуры в свете марксистской теории.

Программа деятельности организации предусматривает серию лекций и дискуссий, посвященных анализу различных течений в искусстве, роли и месту интеллигенции в современном обществе и т. д.

Организации имени Грамши, подобные туринской, существуют и в других городах Италии.

КИТАЙ

ЗА УСИЛЕНИЕ ОБМЕНА ЦЕННОСТЯМИ КУЛЬТУРЫ

Одна из резолюций Бандунгской конференции стран Азии и Африки предусматривает установление и дальнейшее развитие всесторонних культурных связей между странами — участницами конференции.

Этой важной проблемы касаются также опубликованные в китайской газете «Жэньминьжибао» статьи известного историка литературы и искусства Чжэн Чжэнь-до и видного драматурга и деятеля культуры Хун Шэня.

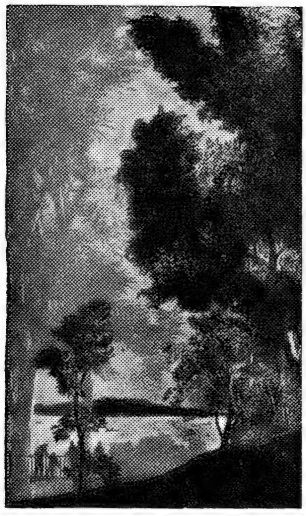
В обеих статьях подчеркивается, что еще в глубокой древности между культурами различных стран Азии и Африки существовала тесная связь.

Можно привести множество фактов культурного взаимообогащения различных народов Азии и Африки в области быта, медицины, астрономии и т. д. Особо следует, однако, упомянуть несколько примеров, свидетельствующих о широте культурных связей народов стран Азии и Африки, в свое время существовавших в области научной и художественной литературы.

И сейчас в Китае имеется много древних книг, в которых весьма подробно описана история Бирмы, Вьетнама, Индонезии, Цейлона, Кореи, Японии; такие книги являются неоценимым источником для изучения истории всех перечисленных стран. В то же время в Корее и Вьетнаме также сохранились книги (в некоторых случаях рукописные), содержащие материал по средневековой истории Китая. Наконец, в настоящее время индийскими учеными делается обратный перевод ряда книг с китайского на индийский (оригиналы этих книг на индийском языке бесследно исчезли).

«Культурный обмен между различными странами Азии и Африки в прошлом,— пишет Хун Шэнь,— строился на основе равноправия и взаимной выгоды», то есть в духе уважения не только культурных достижений, но и национальных традиций всех народов. Однако западные колонизаторы разрушили эти освященные историей культурные связи. «Империалисты,— говорит далее Хун Шэнь,— принесли народам стран Азии и Африки нищету, а их национальной культуре и культурным традициям — позор, унижение и уничтожение».

Глумясь над древней культурой стран Азии и Африки, колонизаторы в то же время беззастенчиво грабили их культурные ценности. Так, например, множество уникальных произведений китайского искусства было попросту укра-



Парк Бэйхай *(гравюра на дереве). „Бэйхай" означает в переводе „Северное море". Этим именем назван один из крупнейших в Пекине и в стране парков культуры и отдыха. Автор гравюры — Хуан Ин — принадлежит к числу лучших художников Китая, работающих в этом жанре.*

дено колонизаторами в период их хозяйничания в Китае.

Империалисты намеренно тормозили развитие культуры стран Азии и Африки, насильственно мешали укреплению традиционных связей между различными странами, стремились посеять рознь между народами этих стран. Им удалось при помощи различных средств оказать пагубное влияние на некоторую часть интеллигенции, которая поддалась растлевающей идеологии империализма и даже, как указывает Чжэн Чжэнь-до, «дошла до потери чувства национальной гордости... до клеветнических утверждений и забвения великих, замечательных культурных традиций собственного народа».

В настоящее время, в великую эпоху национального пробуждения народов стран Азии и Африки, указывается далее в статьях «Жэньминьжибао», настало время покончить с тяжелым наследием прошлого во всех областях культурной жизни. До сих пор, например, некоторые деятели культуры, подчеркивает Чжэн Чжэнь-до,— «частенько пытаются понять Китай, держа в руках старую книгу, содержащую клевету империалистов на китайский народ». Неверные суждения имеют место и в отношении народов других стран. Вот почему Чжэн Чжэнь-до с полным основанием утверждает, что «культурный обмен не только укрепит дружбу между странами Азии и Африки, не только даст возможность народам лучше понять друг друга, но и послужит делу защиты мира в Азии и Африке, а также и во всем мире».

О том, что связи между странами Азии и Африки уже сейчас восстанавливаются и крепнут, свидетельствует обмен культурными и спортивными делегациями, организация выставок искусства и ярмарок, обмен книгами и кинофильмами и т. д. Особенно больших успехов добилась в этом отношении Китайская Народная Республика, вдохновляющая своим примером другие страны.

За прошедшие пять лет с момента установления народной власти Китай наладил постоянный обмен культурными делегациями с Индией и Бирмой. В 1953 и 1954 годах Китай неоднократно посещали деятели искусства Индии и Индонезии; в КНР побывали также культурные делегации из Японии и Цейлона, деятели духовенства Цейлона и Пакистана. Были организованы выставки японского, индийского и индонезийского искусства.

За годы народной власти переведено около ста японских, индийских, индонезийских, турецких и других книг; в настоящее время на китайский язык дублируются японские и индийские фильмы.

«Народы Азии и Африки,— подчеркивает Хун Шэнь,— глубоко уверены, что, не будь иностранной агрессии, гнета и эксплуатации, они, создавшие в свое время своим разумом и своими руками пирамиды, Великую стену и пещерный храм в Аджанте, смогли бы создать и современную промышленную культуру». Полные этой уверенности в своих силах и возможностях, народы Азии и Африки, как указывается в статьях «Жэньминьжибао», держат сейчас курс на укрепление взаимных связей и равноправный, свободный обмен ценностями культуры.

„ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПЕРВЕНЕЦ" ГАО ЮЙ-БАО

Тиражом в четверть миллиона экземпляров издан автобиографический роман бойца Народно-освободительной армии Гао Юй-бао. Сын крестьянина-бедняка, Гао Юй-бао лишь в рядах армии обучился грамоте; накопленный им запас впечатлений в соединении с собственным жизненным опытом и составили основу его романа. Отдельные главы — «Петух-полуночник», «Я хочу учиться» — были ранее опубликованы в Китае, а затем переведены на русский, венгерский и английский языки.

В романе около тринадцати печатных листов; он посвящен изображению тяжелой жизни трудящихся города и деревни до установления народной власти и борьбе народа против империалистов и помещиков-феодалов.

ТРИ МИЛЛИОНА ЗРИТЕЛЕЙ

Один из наиболее популярных в Пекине театров — Художественный театр китайской молодежи — вступил в седьмой год существования. За шесть лет театр показал двадцать пьес. Среди них «Сорокалетние чаяния», «Перед лицом нового», «Цюй Юань», а также «Ревизор», «Дядя Ваня», «Павел Корчагин», «Юлиус Фучик» («Прага остается моей») и др. За пять последних лет театр дал в Пекине почти девятьсот спектаклей; за то же время спектакли театра, в том числе и выездные, просмо-

трело около 3 миллионов зрителей.

Среди последних работ Художественного театра китайской молодежи можно отметить постановку «Дяди Вани» А. П. Чехова.

Впервые эта пьеса была поставлена в Китае в 1930 году любительской труппой и тогда вследствие несовершенства постановки особого успеха не имела.

Новая постановка «Дяди Вани», осуществленная под наблюдением советского режиссера П. В. Лесли и сыгранная лучшими актерами театра, пользуется успехом у зрителей и получила положительную оценку печати.

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ВЕЧЕР В ПЕКИНЕ

В Пекине состоялся вечер, посвященный памяти четырех выдающихся представителей мировой культуры — Шиллера, Мицкевича, Монтескье и Андерсена. Вечер открыл председатель Союза китайских писателей Мао Дунь. К юбилейному вечеру были организованы выставки; в издательстве «Народная литература» вышли следующие произведения: «Валленштейн» (в переводе Го Мо-жо) и «Заговор Фиеско» Шиллера; «Пан Тадеуш» и «Избранные стихотворения» Мицкевича; «Сказки» Андерсена.

На вечере присутствовали гости из ГДР, Польши и Дании.

КИТАЙСКИЕ ПИСАТЕЛИ ОБ АНТИНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХУ ФЫНА

Крупнейшие представители китайской литературы опубликовали в «Жэньминьжибао» от 26 мая 1955 года статьи, резко осуждающие и изобличающие контрреволюционную деятельность Ху Фына.

Го Мо-жо в статье «Ху Фына судить по закону» пишет:

«Даже те разоблачительные материалы, какие нам известны сегодня, в полной мере освещают контрреволюционные, преступные деяния Ху Фына, хотя, возможно, имеется еще не мало документов, нам не известных. Всем тем, кто входил в группировку Ху Фына, представляется хороший случай отказаться от своих заблуждений, разоблачив до конца Ху Фына на основе тех материалов, о существовании которых они знают. Это следует сделать во имя родины, во имя народа, во имя закона.

Внешняя благопристойность — маска подлеца — может легко ввести людей в заблуждение. Сейчас эта маска сорвана. Вряд ли найдется теперь такой глупец, который поверил бы в «честность» этого предателя».

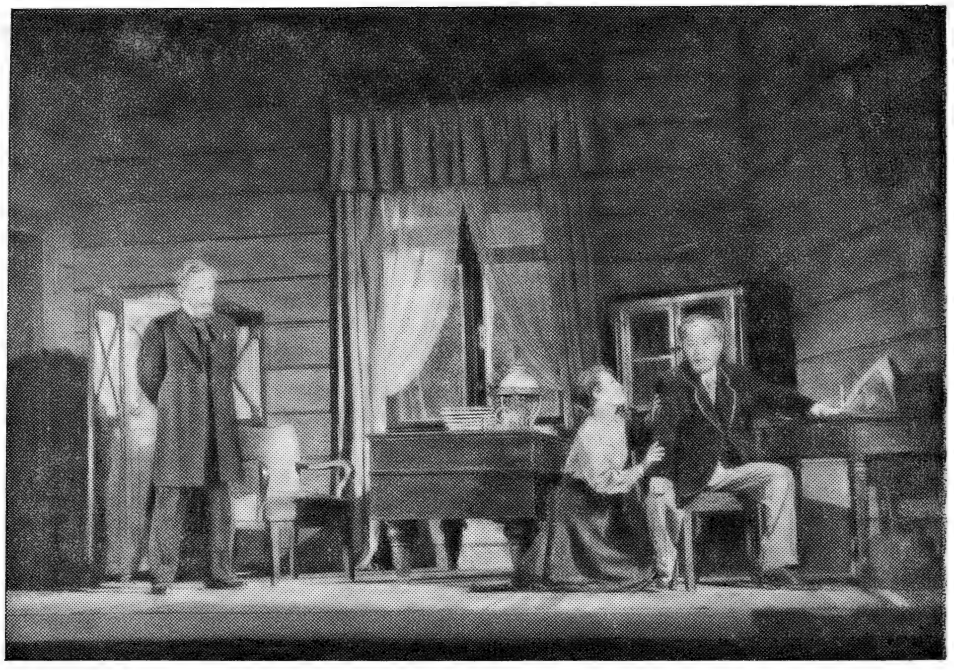
Писатель Чжоу Ли-бо в статье «Очиститься от такого отребья, как Ху Фын» подчеркивает, сколь вероломным и опасным было двурушничество Ху Фына, к которому прибегал не только он сам, но и которому он обучал единомышленников.

«Каждое письмо Ху Фына,— говорится в статье,— пышет злобой к представителям революционной литературы и китайской компартии... Группировка Ху Фына не является каким-нибудь особым направлением в литературе, допустившим идеологические ошибки; она представляет собой... контрреволюционную группу, имеющую свою стратегию и тактику. Ху Фын не только не писатель, он смертельный враг революции. Мы требуем исключения его из числа работников литературы и предания суду как контрреволюционера».

Ба Цзинь в своей большой статье, озаглавленной «Необходимо окончательно

„Дядя Ваня" А. П. Чехова в постановке Художественного театра китайской молодежи

Сцена из первого действия



„Дядя Ваня" А. П. Чехова в постановке Художественного театра китайской молодежи
Сцена из четвертого действия

разгромить антипартийную группу Ху Фына», напоминает о том, что Ху Фын всегда производил впечатление человека неискреннего, но в то же время много разглагольствующего об «искренности» и «гуманности». «...У Ху Фына было два лица: одно — настоящее, другое — фальшивое,— пишет Ба Цзинь.— ...крепко пожимая нам руки и дружески подшучивая, он мечтал о том, чтобы вытянуть нас стальным хлыстом, оправленным в резину».

Кан Чжо в статье «Покарать Ху Фына» подчеркивает, что его подрывная, контрреволюционная деятельность по существу весьма схожа с антипартийной борьбой троцкистско-бухаринской группы. Статья Ху Фына «Памяти погибших» наглядно свидетельствует о том, что он пользуется теми же методами, к каким прибегал Зиновьев, одной рукой подготовлявший убийство Кирова, а другой — писавший хвалебные статьи о нем.

Цао Мин в статье «Ликвидировать антипартийную группировку Ху Фына» указывает, что дело Ху Фына должно послужить уроком на будущее. Слишком инертно отнеслись писатели к статьям, в которых Ху Фын время от времени подвергался критике. И это давало ему возможность действовать безнаказанно. Цао Мин призывает работников литературы и искусства усиленно изучать марксистско-ленинскую теорию, повышать свой идейный уровень и свою политическую сознательность. Это позволит предупредить появление в будущем таких антипартийных группировок, как группировка Ху Фына.

Ли Бо-чжао в статье «Довести борьбу до конца» призывает к решительным мерам против Ху Фына и его антипартийной группировки, ставивших своей конечной целью, как это явствует из его секретных писем, свержение народной власти.

Цзинь Цзинь в статье «Ху Фын — враг народа» считает, что все те инструкции и наставления, какие этот предатель давал в письмах своим приспешникам, вроде подслушивания и собирания важных сведений, похищения партийных документов, ничем не отличаются по сути дела от преступных действий чанкайшистских тайных агентов. Глубоко возмущаясь тем, что в рядах литературных работников мог оказаться главарь контрреволюционной шайки, именующий себя писателем, Цзинь Цзинь призывает «повысить бдительность, чтобы иметь возможность пресечь всякую попытку преступной деятельности любого врага, в какие бы одежды он ни рядился».

КОРЕЙСКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ОДИН НОМЕР ЖУРНАЛА

Журнал «Чосон мунхак» («Корейская литература») — ежемесячный литературно-художественный орган правления Союза корейских писателей. Один из очеред-

ных номеров журнала открывается стихотворением Пак Сан Уна «Песня, звучащая на рассвете»; оно посвящено памяти великого вождя трудовых масс всего мира — Ленина и воспевает нерушимую дружбу советского и корейского народов.

Изучение проблем социалистического реализма, овладение творческим методом прогрессивных писателей — все это задачи, стоящие в центре внимания современной корейской литературы. Естественно, что им уделяет большое внимание и орган Союза писателей КНДР. Корейский поэт Хон Сун Чер в статье, озаглавленной «Классовое воспитание трудящихся и литературная критика», подчеркивает значение работ Второго всесоюзного съезда советских писателей для литературы КНДР и подробно останавливается на воспитательной роли литературы.

Одна из статей, помещенных в номере, посвящена поэтическому мастерству Ли Сан Хва, литературная деятельность которого началась более тридцати лет назад. Автор статьи подчеркивает то большое влияние, какое оказали на творчество Ли Сан Хва Великая Октябрьская социалистическая революция и освободительная борьба корейских трудящихся против японского колониального режима. Особо выделен в статье тот период (1925—1926 гг.), когда Ли Сан Хва написал наиболее важные и крупные свои произведения.

Художественный отдел журнала представлен рассказами Ли Ен Гу «Ким Мен Хва» и Ким Сан О «Вместе с товарищем». Рассказы написаны на современные темы.

Очерк Сон Ена «Герои-партизаны антияпонской борьбы» посвящен борцам, которые под руководством Ким Ир Сена отстаивали свободу и независимость своей родины.

На страницах журнала систематически печатаются новые произведения советской прозы и поэзии. В этом номере напечатан перевод пьесы Корнейчука «Крылья».

ЛИВАН

„КРУЖОК ПО КУЛЬТУРНОМУ ОБМЕНУ С СССР"

По инициативе прогрессивных писателей и деятелей культуры Ливана организован «Кружок по культурному обмену между Ливаном и Советским Союзом». Цель этого кружка, как сообщает ливанская печать, состоит в том, чтобы содействовать культурному сближению между обеими странами и организации взаимного обмена делегациями писателей, художников и артистов между Ливаном и СССР.

В Ливане большой популярностью пользуется советская и русская классическая литература. На арабский язык переводятся произведения Л. Толстого, Чехова, Горького.

На арабский язык переведен также ряд произведений советских писателей: роман Н. Островского «Как закалялась сталь», «Падение Парижа» И. Эренбурга, «Апшерон» Мехти Гусейна и другие.

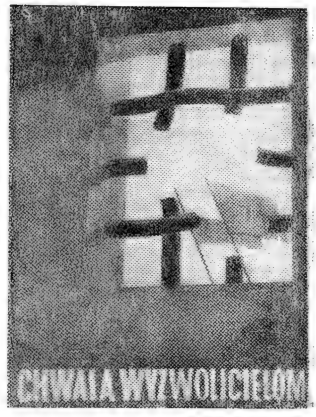
ПОЛЬША

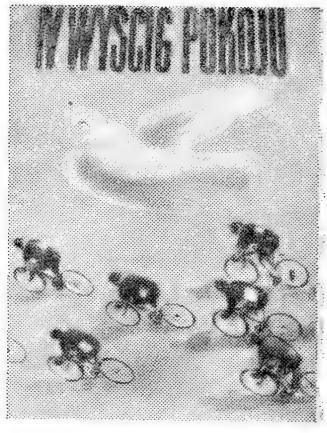
МИЦКЕВИЧ ДЛЯ ЗАГРАНИЦЫ

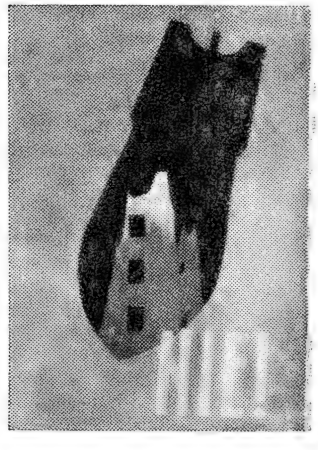
В связи с «Годом Мицкевича» издательство «Полония» готовит ряд брошюр о великом польском поэте, выпускаемых одновременно на нескольких языках. Автором одной из них является известный польский поэт Мечислав Яструн, написавший монографию об Адаме Мицкевиче.

Предполагается также издание избранных произведений Мицкевича на четырех языках.

Арагон подготавливает французское издание стихов Мицкевича. В Италии выходит «Пан Тадеуш».







Плакаты польского художника Тадеуша Трепковского „Слава освободителям", „Четвертый велопробег мира", „Нет!"

(Польские журналы „Нова культура", „Столица")

Эскиз композиции „1907-й год" румынского художника Григоре Стоенеску

(Румынский журнал „Флакэра")

Как известно, по предложению Польши, ЮНЕСКО издаст тиражом в 50 тысяч экземпляров монографию о Мицкевиче на французском, английском и испанском языках.

КНИГА ГНЕВА И СКОРБИ

Государственное научное издательство Польши выпустило необычную книгу под названием «Потери государственных библиотек и архивов в области рукописных источников». Она представляет собой грозный и гневный обвинительный акт, направленный против гитлеровских варваров, подвергавших безжалостному истреблению «огнем и мечом» бесценные рукописные сокровища в самых известных библиотеках Варшавы.

Помимо уникальных средневековых изданий, подверглись варварскому уничтожению от бомбардировок и артиллерийского огня или были расхищены бесценные рукописи крупнейших польских писателей — Мицкевича, Словацкого, Красинского, а также Конопницкой, Крашевского, Ожешко, Сенкевича, Пруса, Реймонта и других.

Почти полностью уничтожены фонды рапперсвильской и батиньольской библиотек — богатейшего источника материалов о польской политической эмиграции XIX века. Для наглядного представления о том ущербе, какой нацистские варвары нанесли польским книгохранилищам, достаточно привести две цифры: из 30 тысяч рукописей варшавской Национальной библиотеки сохранилось немногим больше тысячи!

Многие из уцелевших рукописей совершили далекий путь, до того как были возвращены в Варшаву. Часть фонда библиотеки Замойских оказалась вывезенной после варшавского восстания 1944 года в Германию. Рукописи были обнаружены в местности Гербитч близ Франкфурта-на-Одере частями Советской Армии; их переслали в Москву, а оттуда — в Варшаву.

РУМЫНИЯ

ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА

На очередной сессии отделения литературы, языка и искусства Академии наук Румынской Народной Республики с сообщениями о литературном языке и о языке исторических повествований выступил Михаил Садовяну—крупнейший знаток литературного стиля, различных местных говоров и социальных диалектов.

Подкрепляя лингвистические исследования собственными долголетними наблюдениями, М. Садовяну указал на то, что румынский литературный язык образовался задолго до XIX века.

Касаясь вопроса о неологизмах, М. Садовяну отметил, что передовые румынские деятели литературы всегда выступали за использование неологизмов в той мере, в какой они содействуют обогащению выразительных средств румынского языка и не противоречат внутренним законам его развития.

Забота о народности культуры, об общедоступности литературного языка всегда была характерной чертой румынских писателей-демократов. «Тщетно думать,— сказал М. Садовяну, обращаясь к молодым писателям,— что достаточно перелистать сборник поговорок, загадок и пословиц, песен и баллад и, сидя за письменным столом, выбрать, что требуется. Речь народа слушают и изучают в непосредственном общении с ним. Не только собирайте, но и отбирайте... Стремитесь к словарю и стилю, который воплотит все, что прекрасно, точно и просто в нашем языке».

Речь выдающегося румынского писателя вызвала многочисленные отклики. Академик И. Иордан, автор недавно вышедшего в свет фундаментального труда по современному румынскому языку, призвал писателей к более действенному участию в той большой и плодотворной работе по определению и утверждению единой национальной языковой нормы, которая ведется в настоящее время в стране.

Реформа орфографии, проведенная по решению правительства РНР для того, чтобы унифицировать румынское письмо и облегчить народным массам доступ к грамоте, издание в прошлом году двухтомной нормативной грамматики румынского языка, многочисленные выступления партийной и литературной пе-

чати свидетельствуют об усилиях Румынской рабочей партии, направленных к повышению культуры речи народа.

Этой цели служит и первый том словаря современного румынского литературного языка, изданного Академией наук РНР. Приветствуя выход в свет словаря, «Газета литерарэ», орган Союза писателей РНР, писала: «Интерес, вызванный словарем в самых широких кругах общественности, тот факт, что в книжных магазинах словарь распродан в рекордно короткий срок, показывают, с каким нетерпением ожидалось его появление. Составленный многочисленным коллективом, состоящим из академиков, профессоров, научных работников, специалистов институтов языкознания в Бухаресте и Клуже, этот труд является одним из важных завоеваний культурной революции, происходящей в нашей стране».

США

ЦЕНТР ИСКУССТВ В НЬЮ-ЙОРКЕ

Колумбийский университет (Нью-Йорк) отпустил, по сообщению газеты «Дейли уоркер», одиннадцать миллионов долларов на создание центра искусств, в том числе драмы, музыки, кинематографии, живописи, архитектуры и скульптуры. Предполагается постройка трех театров, радио и телевизионных студий, лабораторий и других учреждений в одном здании. Это будет одиннадцати- или четырнадцатиэтажное здание, расположенное вблизи университета.

ФИЛЬМ О РЯДОВЫХ АМЕРИКАНЦАХ

За последнее время на страницах американской, да и английской печати довольно часто упоминается художественный фильм «Марти» в качестве образца реалистического киноискусства. Напомним также, что именно этот американский фильм был отмечен премией на каннском фестивале.

Что же представляет собой картина «Марти», названная по имени основного героя? Это — бесхитростный и правдивый рассказ о том, как одинокий мужчина и одинокая женщина встретились и полюбили друг друга, причем история их любви дана на фоне современной американской действительности.

Кто такой Марти? Он — бывший военнослужащий, участник второй мировой войны, простой, честный, работящий, трудолюбивый человек, каких в Америке много. Он не слишком образован и не обладает особенно широким кругозором, он мечтает лишь о том, чтобы купить лавочку у своего хозяина, иметь свое доходное дело, свой дом и семью. Но он хороший товарищ, он любит людей и жизнь, он очень деятелен, а во время войны проявляет себя как достойный гражданин своей страны.

В картине, по мнению американской печати, убедительно и верно показана также духовная опустошенность известной части американской молодежи. Вот наступает вечер, работа окончена и возникает неизменный вопрос: куда деваться? Пойти в кино? Сыграть в карты? Познакомиться с девушкой? Марти не может удовлетвориться ни первым, ни вторым, ни третьим. И когда им овладевает серьезное чувство, он весь перерождается.

Тоже самое происходит с его невестой Клэр. Роман между Марти и Клэр развивается на улицах, в барах, в обычной обстановке Бронкса, одного из районов Нью-Йорка. Сила картины именно в том и состоит, что правдиво показанная жизнь современного большого города в США, особенно оттеняет прекрасные, человеческие качества, высокие и чистые чувства, яркие образы двух любящих людей. «Вы можете не соглашаться, — пишет газета «Уоркер» с отдельными частностями в этой картине, но в целом она трогательна, убедительна и обладает элементами правды и красоты».

Итак, правда — вот что делает фильм «Марти» живым и убедительным. Именно это имеет ввиду и английский еженедельник «Чэлленджа», когда пишет: «Это простой, теплый, человечный фильм, который мог быть заснят на любой из улиц Нью-Йорка».

ФАКТЫ, КОТОРЫХ НЕ ОПРОВЕРГНУТЬ...

Колумбийский университет в Нью-Йорке выпустил составленный Гленорой Браун и Деминг Браун справочник «Советские переводы американской литературы на русский язык».

Инициатива выпуска книги принадлежит отделению славянских языков Колумбийского университета. Содержащиеся на страницах справочника фактические данные начисто опровергают измышления реакционной пропагандистской кухни о Советском Союзе. «Как бы вопреки собственным намерениям, авторы подготовили важное и полезное пособие», — замечает газета «Пиплз уорлд».

В книге перечислены американские авторы, приведены названия и тиражи их книг, изданных на русском языке за тридцать лет (1918—1947 гг.). Авторы оговаривают, что их сведения неполны и что их данные включают только переводы на русский язык, при наличии шестидесяти других языков, на которых печатаются книги в Советском Союзе.

«Тот факт,— подчеркивает «Пиплз уорлд»,— что эти книги раскупаются, по утверждению авторов справочника, в миллионах экземпляров, говорит о том, что

советские граждане представляют собою исключительно культурную массовую аудиторию, равной которой не существовало нигде во всем мире.

Неграмотность, признают авторы, ликвидирована, и ныне мы наблюдаем в Советском Союзе «популяризацию мировой литературы в массах». Страна, утверждают авторы справочника, «превратилась в нацию ненасытных читателей». И они читают лучшее в мировой литературе, все демократическое, передовое, искреннее и красивое, все жизнелюбивое, все революционное».

За тридцать лет (1918—1947 гг.), по данным, приведенным в справочнике, на русский язык было переведено около 180 различных американских авторов и около 23 миллионов экземпляров их книг было распространено в СССР.

Таковы факты. Но взглянув на картину, объективно складывающуюся из приведенных ими же фактов, составители справочника приходят в смятение. И сразу же начинают «искать спасения» в следующем утверждении: после 1947 года многое из американской литературы, мол, вообще не переводилось на русский язык.

Справедливо парируя этот необоснованный выпад, «Пиплз уорлд» подчеркивает, что некоторая часть непереведенной американской литературы, о которой идет в данном случае речь, «отдает ароматом человеческих отбросов»,— как выразился журнал «Тайм» о последнем сборнике рассказов Теннесси Уильямса. Всегда переводы делались с отбором, всегда отбор основывался на принципах социалистической этики и эстетики,— подчеркивает «Пиплз уорлд».

В заключение «Пиплз уорлд» приводит цифры: за 36 лет советской власти в СССР был издан и раскуплен 51 миллион книг лучших американских писателей (в том числе 12 миллионов в период с 1950 по 1954 год).

„ИСПЫТАНИЯ МЭНСАРТА"— НОВЫЙ РОМАН УИЛЬЯМА ДЮБУА

Имя доктора Уильяма Дюбуа, одного из старейших писателей Америки (ему сейчас 87 лет), историка и автора ряда художественных произведений, хорошо известно советским людям. Дюбуа — убежденный и стойкий борец за дело мира, лауреат Международной премии мира.

Как сообщает журнал «Мэссиз энд Мэйнстрим», Дюбуа закончил новый роман «Испытания Мэнсарта». В этом большом романе (объем рукописи превышает тысячу страниц) описывается жизнь негра Тома Мэнсарта в США. Книга охватывает огромный период — от эпохи после гражданской войны до 1950 года.

В февральском номере журнала помещен отрывок из романа Дюбуа.

ЧЕСТВОВАНИЕ МЕРИДЕЛ ЛЕСЮЭР

В Нью-Йорке состоялось дружеское чествование Мередил Лесюэр. Приветствовать одну из старейших американских писательниц собралось свыше ста деятелей культуры, в том числе ряд известных писателей, художников и общественных деятелей. С кратким словом о творчестве Лесюэр выступил автор романа «Железный город» Ллойд Браун.

Принимая в дар от друзей диктофон, писательница выразила надежду, что это даст ей возможность записать немало народных рассказов о борьбе за мир и за лучшее будущее среди фермеров Миннесоты и Дакоты.

ПРОГРЕССИВНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО В НЬЮ-ЙОРКЕ

Как сообщает «Дейли уоркер», в Нью-Йорке создано прогрессивное издательство «Ассошиэйтед оторс». В опубликованном перечне книг, намеченных к изданию в ближайшее время наряду с публицистической работой Бернарда Манделя «Труд — свободный и рабский», значатся первые романы Герды Лернер «Без прощания» и Эстолва Уорда «Профсоюзный босс».

Известный драматург и искусствовед Джон Говард Лоусон, характеризуя роман Г. Лернер, сказал: «Герда Лернер дает правдивую картину одного из напряженных периодов новейшей истории — борьбы против фашизма в Австрии в тридцатых годах. Роман Лернер вышел в Европе несколькими изданиями».

Что касается романа Э. Уорда, то он, по свидетельству бывшего редактора газеты «КПП Ньюс» Де-Кокса, «написан с большим знанием рабочего движения» в США. Интересно отметить, что главы из этого романа были прочитаны в прошлом году в качестве иллюстрации к докладу Джона Говарда Лоусона о прогрессивной культуре в США.

ФРАНЦИЯ

ПАМЯТИ ДЕЯТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ — АНТИФАШИСТОВ

Французские деятели культуры чтут память своих друзей — борцов против фашизма, убитых и замученных гитлеровцами.

«Леттр франсез» в одном из своих номеров опубликовала произведения поэтов Робера Дено и Пьера Юника, погибших в нацистских концлагерях.

Журнал «Пансе» посвятил специальный номер памяти своих сотрудников-ученых героев Сопротивления: философа Жоржа Политцера и физика Жака Соломона, расстрелянных в 1942 году оккупантами, Макса Боре-

ля, умершего под пытками в гестапо, философа Анри Мужена, который после заключения в концлагере физически уже не смог оправиться и умер.

«Юманите», высоко оценивая этот номер журнала «Пансе», подчеркивает, что в дни, когда западногерманским реваншистам вновь разрешено воссоздать вермахт, журнал «Пансе» с полным основанием воспроизвел столь злободневно звучащие высказывания героев французского народа, отдавших жизнь в борьбе с германским милитаризмом.

ПОЛЬСКАЯ ВЕСНА

Этими словами, набранными во всю ширину первой страницы, открывается номер «Леттр франсез», все двенадцать страниц которого посвящены современной культуре Польши и ее лучшим классическим традициям. Тщательно подготовленный номер еженедельника, созданный совместно французскими и польскими писателями, обладает немалой познавательной ценностью.

Широким охватом исторического материала привлекает читателя большая статья Л. Арагона о глубоких связях, существовавших между революционным движением Польши и России, а также Польши и Франции. Сообщая французским читателями о близости Мицкевича к декабристам, Арагон приводит отрывки из произведений великого польского поэта, отражающих эту близость. Арагон напоминает также и о том, что польский революционер Ярослав Домбровский, бежавший из сибирской ссылки, впоследствии встал на сторону героической Парижской Коммуны. Интересная статья Арагона является достойным вступлением ко всему разнообразному содержанию номера «Леттр франсез», кратко знакомящего французских читателей с достижениями литературы и искусства польского народа за последние десять лет. В номере напечатаны рассказы и очерки польских писателей Брандыса, Чешко, Ивашкевича, Налковской, Трушинского, стихи Тувима, Броневского, Яструна, Галчинского, Важика, Стаффа и других польских поэтов в переводе П. Элюара и Ш. Добжинского, статьи о современной польской литературе и о литературе XIX века, статьи о современной польской музыке, а также о размахе строительства, повсеместно идущего сейчас в народной Польше.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАРОДНЫЙ ТЕАТР

Национальный народный театр — значительное явление в культурной жизни Франции. Создавая высокохудожественные спектакли, он в то же время (в смысле цен на билеты) значительно более доступен для трудящихся, чем многие другие театры Парижа.

В Париже ННТ играет в зале дворца Шайо; весной и летом он совершает поездки по стране и выезжает на гастроли за ее пределы. Многие тысячи простых людей уже видели на сцене этого театра лучшие произведения классиков: трагедии «Сид» и «Цинна» Корнеля, «Дон Жуан» Мольера, «Ричард II» и «Макбет» Шекспира, «Лорензаччо» Мюссе и др. Художественный руководитель театра Жан Вилар получил премию Мольера за постановку «Дон Жуана».

Главные роли в спектаклях театра исполняют Жан Вилар и Жерар Филип (советские зрители знают его по картинам «Пармская обитель» и «Фанфан-Тюльпан»).

ФИЛЬМ ОБ ЭМИЛЕ ЗОЛЯ

Крупный мастер биографического жанра в кино режиссер Жан Видаль, автор фильма, посвященного жизни и творчеству Бальзака, создал новую документальную картину «Жизнь Золя». Этому кинофильму присуждена ежегодная премия Жана Виго, которую французские киноработники приравнивают к Гонкуровской премии в литературе.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

ПОДГОТОВКА К СЪЕЗДУ ПИСАТЕЛЕЙ

Весной 1956 года в Чехословакии состоится Второй съезд писателей.

В порядке подготовки к съезду в Братиславе была проведена общесловацкая конференция писателей, посвященная детской литературе. Основной докладчик литературовед академик Андрей Мраз отметил, что детская литература стала серьезным фактором воспитания детей — будущих строителей новой жизни. Он подчеркнул, что в чехословацкой послевоенной литературе уже имеется немало талантливых детских писателей. Вместе с тем в книгах для детей встречается еще немало дидактики, схематического изображения жизни.

КОНКУРС НА К[illegible] ДЛЯ МОЛОДЕ[illegible]

ЦК Союза молодежи Словакии и Союз словацких писателей объявили конкурс на лучший роман для молодежи, реалистически изображающий ее участие в борьбе за построение социализма. Одновременно объявлен конкурс на приключенческий и научно-фантастический роман. Результаты будут объявлены в декабре 1956 года.

ЮГОСЛАВИЯ

КНИГИ, СТАВШИЕ ИЗВЕСТНЫМИ ЧИТАТЕЛЯМ

Из новой югославской литературы наиболее популярны за последние годы произведения Иво Андрича, Добрицы Чосича, Михайло Лалича, Бранко Чопича, Владана Десницы, Десанки Максимович и других.

Всеобщее признание югославских читателей заслужили новая повесть Иво Андрича «Проклятый двор» и два тома его рассказов, большая часть которых посвящена временам турецкого ига.

Реалистическую картину партизанской борьбы народов Югославии против гитлеровских оккупантов рисуют сербский писатель Добрица Чосич в своем романе «До солнца далеко», черногорский писатель Михайло Лалич в романе «Свадьба».

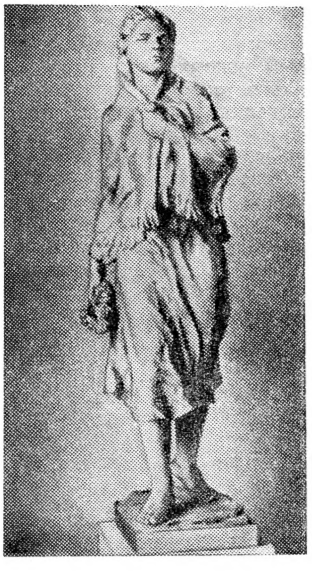
Волнующему событию в истории южнославянских народов посвящена драматическая хроника словенского драматурга Братко Крефта «Великое восстание». В драме рассказывается о восстании, поднятом во второй половине XVI века хорватскими крестьянами под водительством Матия Губца против феодального гнета.

Широко издаются и произведения югославских классиков, так же как и переводная литература. Так, впервые опубликован на сербском языке полный перевод «Евгения Онегина» Пушкина, сделанный Томиславом Прпич; на словенском языке вышли четыре тома произведений Пушкина в переводе поэта Миле Клопчича.

ДЕСЯТЬ ЛЕТ КИНЕМАТОГРАФИИ

Югославская кинематография отмечает в 1955 году свое десятилетие. В связи с этим были установлены ежегодные премии за лучшие отечественные фильмы. В этом году премию получил фильм «Невера», знакомый советским зрителям под названием «Буря». За лучшее исполнение женской роли премии удостоена Мария Црнобори, игравшая в фильме Елу, а за лучшую мужскую роль в фильме «Их двое» награжден Миливое Живанович, также известный в Советском Союзе по исполнению роли Нико в фильме «Буря».

Вацлав Бейчек—„Шахтер" *(гипс)*
(Чехословацкий журнал „Свет в образех")



Иржи Грушковский—„Марička Магдонова" *(дерево)*
(Чехословацкий журнал „Свет в образех")

Из кинокартин, снятых в этом году, внимание печати привлекает югославо-норвежский фильм «Кровавая дорога». Он посвящен событиям, происходившим во время второй мировой войны. В нем рассказывается о мучительной судьбе югославских военнопленных, заключенных в гитлеровском концентрационном лагере в Норвегии, об их дружбе с простыми людьми этой страны.

Второй мировой войне посвящен и другой югославский фильм «Их двое». В фильме показана судьба двух друзей, которые разными путями приходят к решению о необходимости активной борьбы против немецких оккупантов.

Недавно вышел на экраны словенский фильм «Кровавая река», тоже воспроизводящий картину национально-освободительной борьбы народов Югославии.

РЕПЕРТУАРНЫЕ НОВИНКИ ТЕАТРОВ

За последнее время репертуар югославских театров обогатился новыми спектаклями. К значительным явлениям в театральной жизни страны следует отнести постановку балета Крешимира Барановича «Сказание о Китае». Музыка «Сказания о Китае» построена на китайских фольклорных мотивах; автор часто использует оригинальные китайские и тибетские мелодии. Старая китайская легенда о любви и ревности, о победе добра над злом тепло принимается публикой.

Из драматических спектаклей внимание зрителей привлекает комедия классика сербской литературы Бранислава Нушича «Опечаленная семья», недавно возобновленная в Белградском драматическом театре. В этой комедии Нушич зло высмеивает лицемерие, ограниченность и корыстолюбие мещанства.

Этот же театр показал и другой спектакль — инсценировку повести известного сербского писателя Стевана Сремца «Поп Чира и поп Спира».

ЮБИЛЕЙ ПЕВЧЕСКИХ ОБЩЕСТВ „АБРАШЕВИЧ"

Во многих городах Югославии — Белграде, Нише, Крагуеваце, Шабце и др.— торжественно отмечается пятидесятилетие существования рабочих певческих обществ «Абрашевич», созданных в 1905 году и названных по имени первого сербского пролетарского поэта Косты Абрашевича. Художественные коллективы «Абрашевич» еще в период существования королевской Сербии, а затем и в королевской Югославии пропагандировали революционное песенное творчество и были тесно связаны с рабочим движением страны, за что неоднократно подвергались запрету. Но выступления их не прекращались.

В ознаменование полувека своей творческой деятельности рабочие художественные коллективы «Абрашевич» выступали с концертами, в программу которых были включены хоровые песни, оркестровые номера, народные пляски. Общества «Абрашевич» пользуются большой популярностью в Югославии.

КОНЦЕРТ ИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ П. И. ЧАЙКОВСКОГО

Одним из наиболее примечательных событий нынешнего музыкального сезона в Белграде, по мнению югославской печати, явился концерт из произведений П. И. Чайковского. Были исполнены «Струнная серенада», концерт для виолончели с оркестром и четвертая симфония. Дирижировал Крешимир Баранович. В концерте для виолончели с оркестром солировал Бранко Паевич. Как сообщила печать, концерт прошел с большим успехом при переполненном зале.

ГАСТРОЛИ БОЛГАРСКИХ ПЕВЦОВ И МУЗЫКАНТОВ

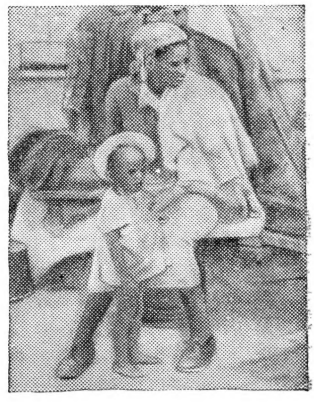
В начале года Югославию посетили болгарские певцы и музыканты — солисты Софийской оперы Михаил Попов и Нели Карова, композитор и пианист Панчо Владигеров, виолончелистка Неделка Симеонова. Михаил Попов выступил на сцене белградского Народного театра в партии Бориса Годунова. Нели Карова исполнила партию Мими в опере Пуччини «Богема». Панчо Владигеров в авторском вечере сыграл свой четвертый концерт для фортепьяно с оркестром. Дирижировал югославский дирижер Живоин Здравкович. Неделка Симеонова исполнила виолончельный концерт Бетховена.

Югославская музыкальная общественность и публика тепло встретили болгарских гостей.

ЮЖНО-АФРИКАНСКИЙ СОЮЗ

ЮБИЛЕЙ ПИСАТЕЛЬНИЦЫ ОЛИВИИ ШРАЙНЕР

Столетие со дня рождения писательницы Оливии Шрайнер (1855—1920) отметила в этом году английская и южноафриканская общественность. Оливия Шрайнер — крупнейшая писательница Южной Африки, автор романов «История африканской фермы», «От одного к другому». Она выросла в бедности, близко знала жизнь трудового люда своей страны — и белых и «цветных» рабочих, мелких фермеров, батраков. Первую и самую значительную свою книгу



Оливия Шрайнер

(Английский журнал „Уорлд ньюс")

«История африканской фермы» она написала в двадцатилетнем возрасте, работая гувернанткой. С трудом накопив немного денег, Оливия Шрайнер отправилась в Англию, мечтая опубликовать свой роман.

Потребовалась огромная энергия и упорство, чтобы добиться издания этой смелой, страстной книги, говорившей о равноправии женщин, бросавшей вызов условностям и предрассудкам викторианской Англии. (Любопытно, что первое издание этой книги в 1883 году вышло не под фамилией писательницы, а под мужским псевдонимом Ральф Айрон.) Оливия Шрайнер хотела стать врачом, но плохое здоровье заставило ее отказаться от этой профессии. Вернувшись на родину, она продолжала работать в литературе; книги ее быстро завоевали широкую и стойкую популярность среди трудящихся различных стран.

Писательница демократических убеждений, реалист по своему творческому методу. О. Шрайнер посвятила свою жизнь защите угнетенных и эксплуатируемых и, в первую очередь, защите прав африканских женщин.

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Сильвия-Маджи Бонфанти — современная итальянская писательница. На литературном конкурсе на лучший роман об итальянских женщинах, объявленном журналом «Нои донне» в 1954 году, первая премия была присуждена ее роману «Сперанца». Этот роман — первая книга С. Бонфанти.

Иоганнес Бехер (род. в 1891). Жизнь и творчество Иоганнеса Бехера хорошо известны советскому читателю. Публикуемые в журнале стихи взяты из разных послевоенных сборников поэта.

Эрскин Коллдуэлл (род. в 1903)— известный американский писатель, мастер короткого рассказа, автор многочисленных романов и очерков. Лето 1941 года Коллдуэлл провел в Советском Союзе, напечатав за это время в американской прессе ряд корреспонденций о героической борьбе советского народа против фашистских захватчиков. На русский язык переведены роман Коллдуэлла «Табачная дорога», повесть «Мальчик из Джорджии» и около 40 рассказов

Главный редактор **А. Б. Чаковский.**

Редакционная коллегия:
И. И. Анисимов, М. Я. Аплетин, М. О. Ауэзов, Н. Н. Вильмонт, С. А. Герасимов, С. А. Дангулов (зам. главного редактора), **Т. Л. Мотылева, Л. В. Никулин, С. В. Образцов, С. П. Щипачев.**

Адрес редакции: Москва, ул. Воровского, д. 52, журнал «Иностранная литература». Телефоны Д-5-17-83, Д-5-17-10, Д-5-19-81

Художеств. редактор *М. М. Милославский.* Технический редактор *А. М. Королев.*

Сдано в производство 16/VI 1955 г. Подписано к печати 20/VII 1955 г.
А-03869. Учетно-изд. листов 27,9. Бумага $70 \times 108^1/_{16} = 9$ бум. л., 24,8 печ. л., в т/ч 1 вкл. Зак. 288. Изд. 19/2906. Цена 10 руб.

Министерство культуры СССР. Главное управление полиграфической промышленности. 13-я типография, Москва, Гарднеровский пер., 1а.

Цена 10 руб.